НОВЫЙ МИР

5

1962

5
НОВЫЙ МИР
1962

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII № 5 Май, 1962 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — **Авдюшин и Егорычев.** Эпизоды из жизни двух солдат 3

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — **Из лирики** 37

САБИР *(К 100-летию со дня рождения)* — **Два стихотворения.** Перевели с азербайджанского С. Липкин и Лев Пеньковский 40

ЮРИЙ БОНДАРЕВ — **Тишина,** роман. Окончание 43

А. ТВАРДОВСКИЙ — **Слово о словах,** стихотворение 93

Б. ЧИЧИБАБИН — **Дождик,** стихотворение 95

И. ЭРЕНБУРГ — **Люди, годы, жизнь.** Продолжение 96

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — **Дорожные записи** 155

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ — **Ухуру — значит свобода.** Перевел с туркменского В. Курдицкий 166

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ — **Щучинские заметки** 193

К 50-летию «Правды»

А. ТУЧИНА, Б. ЯКОВЛЕВ — **Ленин читает «Правду»...** (1917—1923) 210

П. КРАСНОВ, В. ШЕВЕЛЕВ — **Фельетонист «Правды»** 228

К. ДЕМИН — **Об одной литературной полемике и забытой статье Н. К. Крупской** 235

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ЛЮБИМОВ — **Перевод — искусство** 238

ВИКТОР НЕКРАСОВ — **Неюбилейное признание** *(К 70-летию И. С. Соколова-Микитова)* 249

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 253

Л. Левицкий. Не жалеть тепла для людей...— **М. Блинкова.** Куда ведут следы прошлого.— **М. Чудакова.** Гайдар и время.— **Н. Берковский.** Новая советская книга о Бальзаке.— **М. Злобина.** Вначале были пушки.

Политика и наука 269

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. У истоков «Правды».— **А. Сидоров,** член-корреспондент АН СССР. Книга о письме.— **Д. Щербаков,** академик. Средняя Азия глазами географа.— **Ю. Кормнов,** кандидат экономических наук. Решающий фактор развития общества.— **А. Турков.** Трезвость и оптимизм.

КОРОТКО О КНИГАХ 280

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 286

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

АВДЮШИН И ЕГОРЫЧЕВ

(Эпизоды из жизни двух солдат)

I

Двенадцатого мая жена Клава родила красноармейцу Авдюшину Николаю сына. Он узнал об этом позже, когда пришло письмо, написанное еще в больнице, карандашными слабыми буквами без нажима. «Весь как есть на тебя вылитый, такой складненький мальчик»,— писала Клава.

Николай пошел вдоль коек, слегка пристукивая каблуками, как бы пританцовывая, и помахивая письмом, как платочком.

— Ну что? — спросил друг его Мылов, поднимая голову: он пришивал пуговицу.

— Сын!

— Молодец! Поздравляю.

Все его поздравляли, и он испытывал чувство удовлетворенной мужской гордости, как после всякого удачно оконченного дела — работы, драки или состязания.

А вечером его поздравили даже перед строем. После вечерней поверки и назначения завтрашнего наряда старшина сказал:

— Поздравляю товарища Авдюшина с рождением первенца, а нас всех — с появлением нового доблестного бойца Красной Армии, со временем, конечно...

Красиво говорил старшина. Он не был, разумеется, пророком и провидцем, но в данном случае как в воду глядел.

В общем в этот день Авдюшина баловали вниманием. После отбоя, уже раздеваясь, он спросил, так, полуофициально, у командира отделения Музыкантова:

— Товарищ отделенный командир, может, мне в отпуск краткосрочный попроситься? Пустят?

Музыкантов, высокий, рябой, серьезный, посмотрел на него удивленно.

— Я узнаю...

Когда легли, Мылов зашептал с соседней койки:

— Коля, не пустят тебя, не просись. Если бы, скажем, крышу починять — другое дело, а так не пустят. Да и ни к чему тебе, Коля, неинтересно. Пацан маленький, смотреть не на что. Да и вообще подожди, пока жена поправится...

— Разговорчики! — буркнул Музыкантов.

Но Николай почти и не слушал Мылова. Он лежал и думал о своем городе, о парке, где познакомился с Клавой, как хотел обнять ее — он

знал, что нравится девушкам — стройный, темноглазый,— а она сказала: «Держишь себя развязанно. Не люблю!» — как он гулял с ней два месяца (у них в городе называли — «ходил»), как поженились. Сына он представлял себе смутно, он никогда не имел дела с такими, только что родившимися детьми. Ему хотелось, чтобы сын был постарше. Вот они идут гулять в парк — он, Клава и мальчик. Он ведет парня за руку. Даже может на руки взять, если пацан устал. Пожалуйста. А еще лучше — они вдвоем идут с ним по грибы. Очень рано, они оба мокрые совсем от росы, и грибы мокрые в корзинках, а потом солнце все жарче, от одежды валит пар, потом они приходят домой и Клава жарит грибы. Ну, ему, конечно, четвертинку может поставить, а парню — мороженое.

Он не был сентиментальным, и такие мысли (а может, это сны?) были у него впервые. Интересно, что и потом такого с ним не было.

Через две недели Клава сообщила, что записала сына Михаилом, как договорились.

А время шло быстро.

Под воскресенье заступили в караул. Николай любил караул и предпочитал его всем другим нарядам, особенно кухонному. Там — мытье жирных котлов, чистка картофеля, жара, чад, а здесь — красота и четкость развода, строгость караульного помещения, тревожность ночного поста.

Ему достался дальний пост — склад боеприпасов,— он отстоял первую вечернюю смену и, глядя в спину разводящему Музыкантову, вернулся в караулку. Четыре часа, пока его смена была бодрствующая, он честно бодрствовал — читал журнал, вполголоса болтал с ребятами о разных пустяках (потом он надолго подробно запомнил эту ночь — кто где сидел, кто о чем говорил). Подняли отдыхающую смену. Она ушла на посты, вернулась с постов предыдущая. Теперь его смена стала отдыхающей, он расстегнул воротничок гимнастерки, ослабил ремень на две дырки, лег и сразу заснул — он никогда не страдал бессонницей.

Музыкантов поднял его,— было совсем светло. Он быстро умылся, взял винтовку, и они пошли. До поста было полтора километра, поэтому полагался отдельный разводящий. И снова он шагал, глядя в спину Музыкантова. Ох, как он изучил эту чуть-чуть сутуловатую спину!

Они шли по узкой луговой тропке, и сапоги их были мокрые от росы.

Склад был виден издали — длинный сарай, а рядом фигурка Мылова. Он в свою очередь заметил их издалека и стоял в положении «смирно». Подошли.

— Товарищ разводящий,— начал Мылов бойко,— за мою смену никаких происшествий не произошло. Пост номер восемь — склад боеприпасов. Дверей двое — пломбы две. Противопожарный инвентарь: ящик с песком, четыре ведра, бочка с водой, лопаты три, топора два...

Потом Николай все это проверил и повторил.

— Пост сдал!

— Пост принял!

Мылов повернулся, щелкнув каблуками, незаметно подмигнул Николаю и зашагал по тропке за Музыкантовым, подражая его походке; он знал, что Николай смотрит вслед.

Склад стоял на небольшом холме, и при свете дня к нему невозможно было подойти, оставаясь незамеченным, поэтому Николай чувствовал себя совершенно свободно — можно было прислониться к стене, а при желании даже сесть или закурить, что, конечно, строго запрещалось уставом.

Николай время от времени обходил сарай кругом, а потом становился с восточной стороны и подставлял лицо еще нежаркому солнцу.

У него не было часов, но он уже каким-то образом мог определять время — не по солнцу, нет, просто в нем сильно развилось ощущение времени, наверно, потому, что весь день его был расписан по часам и минутам. Конечно, определяя время, он мог ошибиться минут на пятнадцать—двадцать. Но теперь у него была возможность проверять себя. Примерно тогда, когда он и ожидал, донесся гудок ремонтного завода, спустя сорок минут простучал вдали московский поезд. Все было правильно.

Но потом он почувствовал тревогу. Пора было прийти смене — ее не было. Прошло еще сколько-то времени, и он уже готов был дать голову на отрез, что смена опаздывает. Это было не похоже на Музыкантова. Николай попытался отвлечься, думать о доме, но это как-то не удавалось. Он еще раз обошел вокруг склада и наконец вздохнул с облегчением — по тропке быстро шел Музыкантов, а за ним едва поспевала смена — невысокого роста боец из соседнего отделения.

Николай стал по стойке «смирно» и, глядя на рябое, вроде бы такое же, как всегда, но вместе с тем странное лицо остановившегося Музыкантова, негромко отчеканил:

— Товарищ разводящий, за мою смену никаких происшествий не произошло...

— Война!

Погрузились в эшелон и поехали. И все было, как всегда, только оружие не было «законсервировано», то есть не было смазано густой, почти заводской смазкой и упаковано в ящики, а стояло посреди вагона в пирамиде. Но, конечно, различие было не только в этом.

Почти все поездные пассажиры любят смотреть в окна, а солдаты в особенности — только не в окна, а в двери, которые откатываются вбок, как в мягком купе, разве что зеркала нет изнутри. Солдат никогда не знает точно, куда он едет, и он смотрит на бегущую вдоль полотна землю, старается угадать — что его ждет впереди.

А сейчас смотрели с особенным вниманием, с особенной острой жадностью, с какой никогда не смотрели прежде.

— Смотрите! — вдруг сказал Мылов.

И они увидели разбитый завод. Среди кирпичных развалин нелепо торчала красная труба, на которой выделялись цифры «1937». Она была мертва, эта труба, над ней не было даже малого дымка, но зато у ее подножья из-под груд железа, кирпича и бетона тянулся черный страшный дым, а кое-где еще вспыхивали желто-синие огненные языки.

Поезд прибавил ходу; они молчали, подавленные.

— Может, наши сами взорвали? — спросил кто-то несмело.

«Неужто и отсюда собираемся уходить, если сами рвем?» — подумал Николай.

А следом за заводом появился рабочий поселок. Вернее, это было рабочим поселком раньше, наверное еще вчера. Теперь это тоже были развалины, и это было еще страшней, чем развалины завода. И среди этих развалин копошились люди — военные и гражданские, подъезжали и отъезжали машины, но стояла, казалось, долгая зловещая тишина.

Потом опять начался лес, луг, паслась коза, привязанная к колышку, мелькали серые деревенские избы, дети, ярко сверкали зеленью листья и трава, и с виду все было мирно, но на всем уже лежал отпечаток ожидания, тревоги.

День был длинный, но и он прошел, и прошел быстро. Николай все стоял у раскрытой двери, а эшелон все мчался и мчался. Это был тяже-

лый состав, и два паровоза дружно тащили его вслед красному садящемуся солнцу.

Николай проснулся среди ночи от невероятного удара, какого он никогда в жизни не слышал и даже не предполагал, что такой может быть. Вагон шатнуло и наклонило, он продолжал катиться, но как будто лишь по одному рельсу, лишь на двух правых колесах, как иногда телега на резком повороте. Затем возникла вспышка такой яркости, что в вагоне стало светло, хотя двери от удара почти совсем закрылись, и новый удар, сбросивший Николая с нар. Вагон задребезжал на стыках, почти подпрыгивая, и вдруг резко остановился; ребята еще на ходу кинулись в двери, но среди этого дикого грохота и света одно слово и один голос коснулись сознания Николая — это был крик Музыкантова:

— Оружие!

Николай рванулся к пирамиде, почти на ощупь, как во время учебной тревоги, необъяснимо узнал свою винтовку, схватил, прыгнул на пути, еще под какой-то состав, услышал команду: «Ложись!» — и лег между рельсами на теплые шпалы.

Неотвратимо приближающийся, ужасающий, невыносимый свистящевоющий звук вдавил его в землю так, что шпалы едва не прогнулись под его грудью.

Последовал новый взрыв, его кинуло волной, ударило плечом и боком о вагонное колесо, но он не чувствовал боли.

— У, суки, у, суки! — повторял он шепотом.

Что-то ярко горело — не то состав, не то станция, неизвестно откуда слышались конское ржанье и истерический женский крик. И вдруг среди всего этого явственно донеслась пулеметная очередь. «А ведь стреляет кто-то,— смутно подумал Николай,— не лежит под вагоном, гад, а стреляет».

Главный удар пришелся не по их эшелону, а по складам и вокзалу. Потом они тушили пожар, расцепляли и сцепляли вагоны, носили раненых. Ночь была короткая, скоро рассвело, Авдюшин и Мылов, грязные, закопченные, посмотрели друг на друга и ничего не сказали.

Часа через два исправили путь, и эшелон (он стал немного короче) двинулся дальше.

В их роте убитых не было. Был тяжело контужен лейтенант, командир второго взвода.

— Ничего,— заметил Мылов,— отдышится. Пусть спасибо скажет, что не ранен...

Они еще не знали, что это похуже любого ранения.

А в других ротах были и убитые. Был убит, например, один паренек — запевала из пятой роты, которого не все в батальоне знали в лицо, но все знали по голосу.

Поражало, что убиты и ранены не вообще какие-то бойцы, а свои, соседи, «с нашего эшелона».

После обеда быстро выгрузились, прошли маршем километров тридцать и стали рыть окопы в полный профиль. Хорошо, что принесли откуда-то большие лопаты, а то маленькой не управиться бы. Уже молочно забрезжил рассвет, когда Николай кончил копать. Подошел Музыкантов, постоял сверху, спрыгнул в окоп.

— Еще на штык!

Для высокого Музыкантова окоп, конечно, был мелок, но Николай спорить не стал, углубил. Потом замаскировал окоп, обложил бруствер

дерном, который нарезал, как и все, за склоном холма, свернул рулоном и, стянув ремнем, принес — и для себя и для умаявшегося Мылова. Потом соскочил в окоп и почти тут же, стоя, задремал. Он так устал, что у него уже не оставалось сил для ожидания и страха.

Все случилось совершенно неожиданно и непонятно. На правом фланге начался огонь — сначала пулеметный, а затем орудийный и, видимо, минометный. Он все время усиливался, перешел в сплошной рев, и все было закрыто пеленой пыли и дыма. Затем наступила тишина, и отчетливый гул моторов, и стрельба, теперь уже только пулеметная. Это продолжалось, вероятно, долго — они не поняли сколько, все молчали, повернув головы направо и прислушиваясь.

Потом и это стихло.

Прошло полчаса, еще больше. Взводный пошел к ротному, но тот был у комбата, вернее сидел и ждал комбата, который был у командира полка.

Приказов никаких не поступало.

В тот день прозвучало страшное слово «окружение».

Лишь ночью они стали отходить и шли долго, а утром после короткого привала двинулись дальше. Шли мелколесьем, без дороги, мешаясь с другими ротами и батальонами, не зная, где соседи, где фронт, где противник.

Шли почти молча, лишь иногда Музыкантов поворачивал рябое лицо и говорил серьезно: «Давай-давай, Авдюшин!» или «Веселей, Мылов!» — и Николай снова смотрел на слегка сутуловатую, такую знакомую спину отделенного. Они были совсем из другого мира, из иных времен, эта спина и этот голос, и, если отвлечься, можно было представить себе, что это маневры, «выход» или что это они идут сейчас на пост. Но лучше было так не отвлекаться.

Остановились, потом залегли.

— Что там?

— Шоссейка.

Стали продвигаться ползком и подтянулись по кустам к самой дороге. И неизвестно каким образом, но всем вдруг стало ясно, что надо перейти эту дорогу, перешагнуть эту черту, что только в этом спасение и что, однако, это не просто.

И в это время так же, как вчера, но только ужасающе близко заревели моторы и несколько танков — а точнее, их было четыре — вышло из-за поворота. Они шли гуськом, друг за другом, и потом разом ударили из пулеметов по кустам так, что зазвенел над головой воздух. Они были совсем близко, и Николай видел их тяжелые башни с белыми крестами, их гусеницы, провисающие вверху. Один танк слегка оскользнулся на булыжнике, и из-под гусениц полетели искры.

Николай лежал на животе, касаясь щекой земли, испытывая страх, унижение и дикую, растущую ярость. «У, суки, у, суки!» — исступленно повторял он про себя, как тогда, во время бомбежки. И еще он с ужасом чувствовал, что никакая сила не заставит его подняться с этой земли.

Танки прошли мимо и стали разворачиваться вдали.

— Встать! Вперед! — крикнул кто-то властно, а до этого казалось, что нельзя даже громко разговаривать.

Николай оттолкнулся ладонями и локтями, поднялся на колени, вскочил на ноги и, держа винтовку сперва в одной руке, а затем наперевес, в несколько прыжков достиг шоссе и мгновенно перемахнул через него,

стараясь не отстать от бегущих впереди. В какое-то мгновение он даже оглянулся и увидел, что многие не захотели встать и остались лежать на той стороне. И он удивился, вернее сам перед собой притворился, что удивляется и не знает, почему они остались там. Все это промелькнуло в мозгу молниеносно. Он уже бежал между осинками, проваливаясь, ругаясь — здесь оказалось болото — и стреляя на бегу. Немцы били справа, и он стрелял в том направлении. Разорвалось несколько мин, они плюхались, поднимая столбы коричневой торфяной жижи.

Противогаз съехал вперед, бил по коленям, и Николай на бегу сбросил его. Краем глаза он заметил, что сбоку кто-то упал, споткнувшись, а потом перед ним появилось рябое, перемазанное болотной гнилью лицо Музыкантова.

— Коля, помоги ему! Быстро!

Николай повернулся и увидел Мылова, лежащего на мху лицом вниз. Он потянул его за плечи, и тот неожиданно легко поднялся и пошел, прихрамывая, держась за плечо Николая.

— Веселей, Мылов! — машинально говорил Николай, не удивляясь тому, как Музыкантов увидел, что Мылов, бегущий сзади, упал, как он узнал, что Мылов жив, и тому, что отделенный назвал его на «ты» и Колей.

Они миновали болото и все шли, бежали и снова шли — уже лесом, настоящим большим лесом, который тянется, наверное, на сотни, а то и на тысячи верст.

Шум боя совсем затих вдали, они вышли на полянку — несколько человек — и опустились на землю.

Они поняли, что вырвались, и неуверенно посмотрели друг на друга: они не знали, нужно гордиться этим или стыдиться этого.

— Ну-ка, спускай штаны! Ага!

На правой ноге Мылова, повыше колена, была сквозная ранка.

— Это тебе осколком зацепило,— сказал Музыкантов.— Ну, ничего, кость цела, заживет...

Он забинтовал ногу.

Из своей роты их было трое, двое из своего батальона, и шестеро совсем незнакомых бойцов.

— Одиннадцать человек!

— Футбольная команда,— хмуро бросил Николай.

— Я буду вратарем,— подхватил Мылов,— бегать не могу, буду в голу стоять.

— Ничего, придется и побегать,— сказал Музыкантов.— Коммунисты есть?

Коммунистов (вместе с ним) было двое, комсомольцев пятеро, остальные несоюзная молодежь.

— Ну что же.— Музыкантов помедлил.— Нужно нам решить главное: к своим будем пробиваться или останемся в тылу и организуем партизанский отряд?

Решили — к своим.

— Тогда пошли!

Ночевали в лесу. Огонь разводить не стали, пожевали сухарей, попили воды из ключика. Свалились и заснули после напряжения последних дней мгновенно. Дежурили по очереди. Музыкантов разбудил Николая, как прежде, в караульном помещении,— потряс за плечо: «Авдюшин, подъем!» — посидел с ним минуту и, удостоверясь, что Николай больше не заснет, лег. Николай обошел вокруг спящих, потом сел, прислонившись спиной к сосне и положив винтовку на колени.

Сосны чуть слышно поскрипывали, вершины их, если смотреть прямо вверх, мерно раскачивались, а между ними спокойно и ясно горели звезды. Тихонько стонал во сне Мылов.

А на земле творилось невероятное — земля полосовалась железом и огнем, выворачивалась наизнанку. И гибли, гибли люди — на это уже почти не обращали внимания. И катились на восток наши армии — Николай не знал, остановились они уже или нет.

Он стал думать о доме, о Клаве и сыне Мише, но думал обо всем этом как-то отчужденно. То, что у него где-то там, за лесами-горами, за полями-фронтами, есть дом и жена Клава, с которой он прожил до армии три месяца, и сын Миша, которого он никогда не видел, было настолько странным, и далеким, и недостижимым, что мечтать об этом и не стоило.

Небо над вершинами сосен посветлело, звезды стали совсем бледными.

Николай разбудил белобрысого, испуганно вскинувшегося бойца:

— Подневаль-ка, брат, немного, я вздремну.

Шли лесными тропками и лесным бездорожьем, забредали на хутора и в маленькие деревушки, где немцев еще не было или где бывали они лишь налетами. Сперва долго, затаившись, высматривали, посылали на разведку одного, потом шли остальные. Очень осторожничали, затем осмелели, но в деревнях не ночевали.

Шли гуськом, впереди обычно Музыкантов, а сзади двое, сменяясь, вели Мылова, почти висящего на плечах у товарищей. За последние дни ему стало хуже — нога распухла, обметало губы, у него был жар.

Наткнулись на домик лесника. Там жили две женщины — молодая и старуха. Может, и мужчины были, да попрятались, кто их знает? Мылова устроили в тени, около крыльца, постелив шинель и подложив под нее свежего сена.

— Что слышно, не знаете? — спросил Музыкантов.— Фронт далеко?

— Откуда нам знать? — вопросом ответила молодая, поднимая светлые-светлые, почти голубые глаза.— Приемника у нас нет, газет тоже не получаем.

— А поесть дадите?

— Бульбы наварю.

Потом Музыкантов отошел с обеими женщинами в сторону и долго с ними разговаривал. Высокий, худой, с рябыми впалыми щеками, он говорил тихо, серьезно, и так же отвечали ему женщины.

Он медленно приблизился к лежащему Мылову.

— Слушай, Мылов, не можешь ты дальше идти, мы тебя здесь пока оставим...

Мылов приподнял голову. Ужас и одновременно облегчение мелькнули в его глазах.

— А поправишься,— продолжал Музыкантов,— выйдешь или наши сами придут.

Мылов ничего не ответил и снова прикрыл глаза.

И Николай, потрясенный, подумал, что́ было бы, если б его здесь оставили. Уйдут ребята, а кругом тишина, только сосны поскрипывают, стволы их покачиваются, и кто выйдет сейчас из лесу — неизвестно. А баба все смотрит светлыми-светлыми глазами.

— Но запомни,— голос Николая даже сорвался от волнения,— если с парнем что случится — тебе отвечать!

— А ты на меня не ори,— ответила она спокойно.— Ты лучше немца пужни.

— И пугнем, не бойся.
— Вот тогда и на меня крикнешь!
— Варвара! — вдруг возвысила голос старуха.
— Оружие мое мне оставите? — спросил Мылов, не открывая глаз.
— А как же, обязательно!

Теперь, без Мылова, пошли гораздо быстрее. Но вскоре еще один стал отставать. Это был белобрысый боец, который ночью сменил Николая на первом их привале. Он отстал на пять шагов, потом на десять.

Музыкантов остановился, подождал.

— Почему отстаете?

— Я ногу испортил.

— Тоже остаться захотелось? — крикнул Николай.

— Обожди,— прервал его Музыкантов и к парню: — Покажи, что там у тебя.

Боец засуетился, стал искать, куда бы сесть. Все молча и хмуро смотрели на него.

Наконец он сел на валежину, кривясь, долго стаскивал сапог. Кровь и гной прошли сквозь портянку, засохли красно-желтым отвратительным пятном.

— Как же ты натер? Сапог нормальный! — Музыкантов засунул руку внутрь сапога и исследовал его там.

Парень с испугом посмотрел на Музыкантова, на Николая, он ждал новых обвинений.

— Ну-ка, встаньте! Так не больно? Вот так и пойдете, пока не заживет. А сапог в мешок положите.

Это должно было случиться, и это случилось.

— Авдюшин! — приказал Музыкантов.— Пойди посмотри, все ли там в порядке.

— Есть!

Николай не торопясь двинулся к деревушке. Низко согнувшись, он осторожно шел березничком, несколько раз ложился, внимательно рассматривал три избы, которые были ему видны, и прислушивался. Ничто не вызывало подозрений, но он по-прежнему действовал очень осмотрительно. Последние десятки метров он прополз; распластавшись, подлез под жердину и попал на огород. Он миновал гряды моркови, слегка приподнялся, хоронясь за кустом малины, и вдруг у него оборвалось дыхание, словно его ударили под ложечку,— он увидел немца.

Немец стоял в избе у окна и брился. На оконном шпингалете висело зеркальце. Немец был в нательной рубахе, он брился и насвистывал что-то очень знакомое, кажется «Полюшко-поле», но Николай твердо знал, что это немец. Немец густо намыливал щеки и, раздувая их, помогая изнутри языком, скреб широким блестящим лезвием.

Не в силах двинуться с места, Николай смотрел на него, как околдованный, но руки его действовали сами по себе. Когда-то давно (неправдоподобно, страшно давно!) он шел летней ночью, проводив Клаву, а его поджидали двое, и он избил их обоих и сам дивился, как они летят от его ударов, словно это не он бьет, а кто-то другой. И сейчас он почти растерянно смотрел на немца, а рука тихонько потянула вверх, а потом назад рукоятку затвора. Это нужно было сделать очень медленно, только тогда это можно было сделать бесшумно.

А в голове стучало: «У, суки, у, суки!»

Немец кончил бриться и вытер бритву.

Николай отвел затвор до отказа и двинул его вперед.

Немец взял плоский флакон, вытряхнул из него на ладонь немного одеколона и растер лицо.

Пружина магазинной коробки подала патрон вверх, гильза вошла в чашечку затвора, Николай толкнул затвор вперед, вогнал патрон в патронник и закрыл затвор.

Немец надел мундир и стал расчесывать на пробор волосы. Николай совместил мушку и прорезь прицела на уровне лба немца. Палец потянул спусковой крючок, боек ударил в капсюль, воспламенился порох, и пуля ударила немца между глаз.

Теперь Николай щелкнул затвором — выбросил стреляную гильзу и дослал новый патрон, то есть мгновенно сделал то, на что у него перед этим ушло столько времени. Несколько секунд он ждал, но никто не появлялся, и он стал отползать назад, пролез под жердиной и оказался в березнике.

— Молодец! — сказал Музыкантов.— Орел!

— А если бы там еще немцы были? — спросил кто-то.

— Еще бы двух-трех положил! — ответил Николай твердо.

— Правильно! — Музыкантов встал.— Пора нам в бой вступать, а то забудем скоро, что бойцы. Нечего ждать, пока к своим выйдем.

Как птицы, что весной тянутся на родину — любой ценой, сквозь запоздалые метели и ранние грозы, домой, домой,— так и они шли по лесам и болотам, голодные, заросшие, оборванные — к своим, к своим! — держа оружие в порядке, храня в нагрудных карманах красноармейские книжки, партийные и комсомольские билеты.

Почти все они только недавно узнали друг друга, и они не говорили о минувшем, мысли их были устремлены вперед, их объединила одна цель — выйти из окружения.

Белобрысый боец — его фамилия была Фетисов — стал доставать сапог из мешка: рана на подъеме засохла, можно было попробовать опять обуться. Николай увидел у него в мешке желтые бруски.

— Что это у тебя, мыло?

— Тол.

Музыкантов вскинулся:

— Сапер? И запалы и шнур есть?

— Есть.

Николай закипятился, но уже миролюбиво:

— Почему молчал, гад?

— Так никто не спрашивал.

Они вышли наконец к шоссе. Облюбовали мостик, небольшой, но не будет такого — не проедешь. В сумерках Фетисов поставил заряды, прикрутил головые шашки, протянул бикфордов шнур, вопросительно посмотрел на Музыкантова.

— Давай! — кивнул тот.

Фетисов вынул спички из непромокаемого маленького мешочка, чиркнул — при этом звуке Николаю страшно захотелось курить.

— Ложись!

Николай лег и, уткнув лицо в ладони, ждал, как ему показалось, слишком долго. «Шнур, наверно, попорченный»,— подумал он и только хотел поднять голову, как ударил, заложив уши, взрыв.

Мостик был разворочен по всем правилам.

— С почином,— сказал Фетисов.

Но они не ушли. Они ждали.

Послышался разом натянувший нервы комариный звук мотора. Он приближался очень медленно, и когда, казалось, был еще далеко, появился грузовик. В кузове лежал какой-то груз и сидели солдаты — человек пять-шесть. Грузовик стал тормозить перед взорванным мостиком.

— Внимание,— сказал Музыкантов,— залпом...

Грузовик остановился.

— Пли!

Грузовик загорелся — мотор вспыхнул мгновенно.

— Залпом... пли!

И они вышли к своим. Линии фронта почему-то не было. Просто ясным росистым утром наткнулись в перелеске на наше передовое охранение, столкнулись носом к носу.

— Ребята! Свои! — крикнул Николай звонко.

— Тихо-тихо-тихо-тихо! — невозмутимо произнес ладный парень в пилотке набочок и с автоматом.

— Все документы при нас,— сказал Музыкантов.

— Ладно, разберемся,— ответил парень.

— Понятно.

Что-то сильно ударило Николая в бок и в руку, и он начал медленно падать на спину и падал очень долго, удивляясь, что никто не поддерживает его, и, еще падая, услышал далекую пулеметную очередь и понял, что́ ударило его, но тут же забыл об этом. Он увидел перед собой приближающуюся синюю глубину, которую уже где-то и когда-то видел, узнал голос Музыкантова: «Ну-ка, Фетисов, помоги поднять!» — хотел сказать: «Ребята, обождите, я сейчас встану!» — но вместо этого только еле слышно захрипел.

Он очнулся сразу — от боли, от едкого запаха лекарств и от покачивания. Он увидел над головой синюю лампочку, удивился, почему такой низкий потолок, но, скосив глаза, заметил, что висит высоко над полом, и понял, что едет в поезде. А через минуту опять уже не понимал, где он. Вагон мотало и раскачивало, кто-то громко стонал, а тонкий изумленный голосок кому-то рассказывал:

— Нагнулся я к воде напиться — смотрю, вся лицо разбитая...

Он несколько раз приходил в себя, но тоже еще смутно видел синюю лампочку, ощущал боль, тряску и прикосновение чьих-то холодных рук и снова терял сознание.

Потом очнулся от свежего, чистого воздуха с привкусом дыма. Он лежал на носилках на перроне, было холодно, шел дождь, и, хотя носилки стояли под навесом, по грязному перрону текла вода. Его голова была почти на уровне перрона, и он близко видел, как проплывал мусор — спички, соломинки, скорлупа кедровых орешков.

Открыл глаза — палата. Рядом на койке лежал человек с желтым лицом и смотрел в потолок.

— Эй, парень,— зачем-то позвал его Николай, но тот ничего не ответил, лишь часто-часто замигал.

— Чего тебе, милый? — Над Николаем наклонилась сестра, и такое у нее было утомленное и славное лицо, такой ласковый голос, что он чуть не заплакал от жалости к себе.

— Потерпи, потерпи...

Его везли в операционную по длинным-длинным, нескончаемым коридорам, и всюду были люди в белье или в халатах, из-под которых торчали кальсоны,— люди на костылях, с перебинтованными головами, с руками в гипсе.

Он лежал на столе, под зеркальной лампой, совершенно не заботясь о том, что голый, а кругом сестры и санитарки, а врач, занятый чем-то своим, говорил ему:

— Не робей, брат, ничего не услышишь. Считай до десяти! — И залепил ему нос мокрой, со сладко удушающим запахом ватой.

— Раз... два... три...

— Считай, считай...

— Четыре...

Острая, нечеловеческая боль пронзала его, жила в нем. И не то, чтобы подступила, даже очень сильная, а потом отпустила — нет, она была беспрерывной, непрекращающейся, и это длилось бесконечно. И невозможно было поверить, что настанет такое счастье и ее не будет совсем.

О ней нельзя было рассказать кому-нибудь — человек, не испытывавший ее, никогда не поймет, что это такое. И даже сам ты, когда она пройдет, словно забудешь, какой невыносимой она была, и будешь разговаривать и смеяться как ни в чем не бывало. Лишь когда она с тобой, внутри тебя, в душной ночной палате, ты знаешь, как это страшно.

Потом (через неделю? через две?) сестра и нянечка делали ему перевязку в палате, осторожно его переворачивая.

— А красивый парень! — сказала нянечка.

— Они все красивые!

Очнулся. посмотрел направо — там лежал уже другой человек, а не тот, с желтым лицом.

— А где тут лежал один?

Пожилой боец с усами, сидящий, свесив ноги, на койке в углу, ответил неопределенно, немного замявшись:

— А его уже нету...

Так длилось долго, пока однажды он не открыл глаза и не почувствовал, что уже выздоравливает бесповоротно. За окном была видна крыша дома и рядом сосна, и они были в снегу, в густом белом снегу, блестящем и искрящемся, а над ними сияла чистая синева неба.

Николай лежал на спине и, улыбаясь, смотрел на эту крышу, и сосну, и на ворону, которая, прилетев, обрушила вниз целую гору сухо рассыпавшегося снега.

И нянечка, прибиравшая в палате, увидела его взгляд и улыбку и тоже вся заулыбалась, засветилась.

— Никак получшило, сынок?

Вошла сестра и тоже радостно вскинула брови.

— Как зовут, сестрица? — слабым голосом весело спросил Николай, не зная, куда девать свое веселье.

— Клава!

— О! Тезка!

Он уже сидел, привалившись спиной к подушке, и, подложив книжку, писал домой, жене Клаве. Так она писала ему когда-то из родильного дома — слабыми карандашными буквами без нажима. А за окнами пела метель, во дворе госпиталя раскачивался фонарь на столбе, и тень от столба качалась на снегу, как маятник.

«Дорогой Коля, мы с Мишей живем хорошо, чего и тебе желаем. Миша уже стал большой, у него шесть зубков. Очень он на тебя похож. Когда началась война и от тебя писем не было, у меня пропало молоко, и Мишу я кормила искусственным питанием. Сейчас он в яслях, я работаю в горячем цехе, там плотят хорошо, ты знаешь. Получили твое письмо и из него узнали, что ты был в окружении. Коля, хорошо бы после госпиталя отпустили тебя в отпуск хотя бы дней на двадцать. А у Маруськи Копыловой мужа на месяц отпустили после ранения...»

Николай потянулся. «Неплохо бы!»

Вошел усатый пожилой боец — единственный ходячий из их палаты, он слушал в коридоре радио. К нему все повернулись — какая сводка?

— Катится фриц от Москвы почем зря!

Они лежали все в одной палате — восемь человек,— но у них не было особенного желания сближаться, потому что они знали, что они вместе только временно, а потом выпишутся не разом и разъедутся по разным частям и никогда не увидятся.

У них была общая судьба — всех их ранило на войне,— но она, эта судьба, была слишком общей.

Когда попадался земляк или боец с одного фронта, направления, это было приятно, с ним можно было обменяться мнениями или вспомнить что-либо, понятное по-настоящему лишь им двоим. Но то, что они скоро расстанутся, мешало сближению.

Он поднялся, подошел к окну, смотрел долго, жадно, не отрываясь, хотя за окном ничего особенного не было, но был дом, раньше он видел только его крышу, и сейчас страшно интересно было, каков же он весь, этот дом, и кто там живет и что делает, и какая это сосна, у которой прежде он видел только вершину, и сколь она высока, и какая под ней скамеечка.

Он вышел в коридор, посмотрелся в большое зеркало. Лицо у него было нехорошего цвета, как у всех, долго лежавших в постели. Встретил сестру Клаву, обнял ее: «Клавочка!» Она глянула ему в глаза, усмехнулась: «Поправился?» — и привычно, мягко оттолкнула его.

Нет, не пустили его в отпуск. Он вместе с командой ехал в часть, лежал на полке, подложив вещмешок под голову, курил госпитальный табак и, смутно улыбаясь, вспоминал медсестру Клаву, которая была не очень строга к нему, и жену Клаву («отвык я от нее»), и совсем отдаленно — Музыкантова, Мылова, сосновые шумящие леса.

Но мысли его сами собой обращались не к тому, что уже было, а к тому, что ждет его впереди.

2

Погас свет, и бабушка, старенькая, до этого молчавшая кряду чуть ли не неделю, вдруг сказала:

— Вот придет Гитлер, посадит, и будем вот так-то во мраке сидеть.

— Где ты только такого наслушалась? — возмутился Алеша.— Не придет он сюда, не бойся.

Бабушка ничего не ответила, опять замолчала.

Свет, правда реже, но гаснул и до войны. Однако тогда было проще — посмотришь в окно: темно везде, ничего не сделаешь, надо ждать, а если у других горит — значит, дело в пробках. А сейчас затемнение — ничего не узнаешь. В полном мраке лежит поселок, ни огонька, лишь изредка где-нибудь щель света — плохо завесились,— к ним бегут, стучат. Поселок маленький, отдаленный, воздушных налетов («Слава богу,

тьфу-тьфу-тьфу!» — сказала однажды бабушка) не было, но порядок есть порядок.

Алеша взял лампу и спустился вниз: под лестницей, у выхода на улицу был групповой щиток — пробки. Собственно, пробок самих не было, их давно порастаскали, и вместо них в патрон нужно было вставлять проволочную спиральку — «жучка». Однажды Алеша вставлял «жучка» карандашом, и его здорово ударило — он не знал, что графит прекрасно проводит электричество. Теперь у него была заготовлена специальная палочка.

Так и есть, в их патроне не было спирали. Он свернул проволочку, сунул в патрон, поправил палочкой: заискрило — значит, все нормально, ток есть.

Он задул лампу и вернулся домой. Прошел к себе — с тех пор, как отца взяли в армию, у Алеши была маленькая комнатка, где он занимался.

Громко постучали во входную дверь.

— Кого? — испуганно спросила мать.

— Егорычева Алексея Петровича,— детский голос, заставивший вздрогнуть.

— Нет его, нету,— быстро-быстро заговорила мать,— иди-иди, я сама не приму.

Алеша открыл дверь.

— Я здесь, мама.

Он знал этого мальчишку. Его мать работала в поселковом Совете, а он помогал ей разносить повестки, его почти все знали в поселке.

Алеша взял повестку — на послезавтра его вызывали в город, в военкомат.

— Ну, давай распишусь,— сказал он,— где тут?

Мальчишка ушел. Мать заплакала.

— Ну, чего ты? — Он положил руку ей на плечо.— Ведь еще не с вещами. На медкомиссию.

Бабушка пошевелила губами:

— Отца забрали, хватит уж...— И опять замолчала.

Алеша постучал в соседнюю квартиру, к Пашке Замкову.

— Получил?

— Ага.

Шепотом:

— Как тетя Шура?

— Мать держится.

— В школу завтра пойдем?

— Не стоит.

Они учились вместе в десятом классе. Но у них в поселке была только семилетка, и они ходили в поселок имени Чапаева, за семь километров. Там был большой завод.

Они предпочитали ходить пешком, на лыжах ходили только после метели — школа находилась посреди поселка, и идти на лыжах по шумной, почти городской улице было нелепо, равно как и тащить лыжи на плечах. Когда была особенно плохая погода, они вообще не ходили в школу — ничего! Можно было бы, конечно, устроиться жить там, в поселке имени Чапаева, но это было очень неудобно — и с жильем и с карточками,— как ни ряди, дома лучше. Как-то обнаружился один случай сыпного тифа у них в поселке, был объявлен карантин, и они жили в школе несколько дней, это было на редкость скверно.

В единственном их десятом классе было шестеро ребят, остальные девчонки.

Военкомат был забит битком, негде было не только присесть — не к чему было прислониться. Они ждали с Пашкой с самого утра, измученные, голодные, а очередь все не подходила. Было жарко — раздевалки не было, маленький дошатый райвоенкомат не был приспособлен к таким наплывам — ведь собрались ребята со всего района. И никто не задавал другому одного из главных вопросов, звучащего в эшелонах, госпиталях, пересыльных пунктах:

— Ты с какого года?

Шел призыв. Все были одного года рождения.

Но как они отличались друг от друга! Одни плечистые, рослые, другие плюгавые, слабенькие, одни хохочущие, другие грустные, одни испуганные, другие отважные. И все-таки все они были похожи друг на друга.

Это было одно поколение.

Посреди зала стоял табурет, на него садились один за другим, по очереди. Толстая нарумяненная парикмахерша в белом халате мигом снимала машинкой густые, почти мальчишеские волосы. Не остригшихся не пропускали на медкомиссию.

Одни ребята опускались на табурет печально, пригорюнившись, другие с лихостью, махнув рукой — «эх, пропадай, моя головушка!»

Это была не просто стрижка в гигиенических целях — в этом было нечто символическое, бесповоротное.

И время от времени, довольно часто, уборщица сметала в общий огромный ком эти волосы — мягкие и жесткие, кудрявые и прямые, русые, черные, рыжие.

— Куда только их денут? — полюбопытствовал кто-то.

— Сапоги валять будут! — ответила парикмахерша лениво.

Все засмеялись.

Давно уже опустили маскировочные шторы и зажгли свет, военкомат заметно опустел, и парикмахерша, решительно сунув машинку в чемоданчик, заявила:

— Все! Больше не могу! Говорили, что меньше будет. Мне завтра с утра на работу...

Теперь стали пускать на комиссию прямо так, с шевелюрой. Алеша с Пашкой переглянулись, и Пашка подмигнул. Не то, чтобы это их очень утешило, но все-таки приятно.

Наконец одними из последних вызвали и их. Алеша неуверенно разделся в углу и, ежась, мучительно стыдясь своей наготы и худобы и завидуя плотному Пашке, прикрывшись, подошел сначала к главному столу, а потом пошел вдоль длинной стены, и его по ходу взвешивали, измеряли рост, проверяли слух и зрение. Впереди него через все эти процедуры проходил Пашка, сзади еще какой-то парень — четко, размеренно.

Обойдя таким образом, вдоль стен, всю громадную комнату, Алеша опять оказался в том углу, где лежала его одежда. Он с облегчением оделся, получил опять свою повестку с пометкой, что был на комиссии, и услышал:

— Ждите распоряжения!

Они вышли с Пашкой на улицу. Ясно светила луна, было морозно. Они закурили (они только недавно стали курить открыто, не таясь, при матерях) и пошли к шоссе в надежде встретить попутную машину. Им еще нужно было добираться домой.

На другой день пошли в школу, но не к началу занятий, а часам к одиннадцати, книжки-тетрадки оставили дома. Шли не торопясь, мимо стандартных двухэтажных строений, потом спустились к реке и пошли по улице, которая называлась Поселок индивидуальных домов, вышли к реке и знакомой, петляющей между старыми березами тропинкой — в поле. Мела поземка, тропинку занесло, но она еще слабо угадывалась под снегом. Сначала впереди шел Пашка, затем на его место вышел Алеша, так шли они, меняясь, по очереди пробивая тропинку в снегу.

Директора не оказалось, он был на уроке. Они стали ждать. Директор Виктор Иванович был хороший, молодой. В финскую войну он был тяжело ранен, и теперь его в армию не брали. Когда в поселке был карантин и они жили в школе, он часто заходил к ним вечером, угощал папиросами — за разговором, как равный равных.

Он вошел, постучал белыми бурками, спросил:

— Почему не на занятиях? Что случилось?

Они протянули ему повестки.

— Вот, Виктор Иванович...

— Угу...

Он взял повестки, пробежал взглядом, повертел в руках, вернул.

— На завод хотите?

Остальные их одноклассники (их было-то всего четверо) жили здесь, в поселке имени Чапаева, и не только учились, но и работали на заводе по четыре часа в день. И у них была броня.

— На завод хотите?

Они замялись, переглянулись смущенно.

— Сейчас я вам записку напишу.

Они знали, что и тех ребят устроил на завод Виктор Иванович, что заместитель директора завода его старый друг.

Виктор Иванович кончил писать, протянул записку, Пашка ее взял.

— Идите в контору, все будет в порядке. Ну, конечно, перебраться нужно будет сюда, на хождения времени не останется.

— Спасибо.

Заводоуправление (в просторечье его называли конторой) помещалось перед заводом, на площади, вход туда был свободный. Это было оживленное место: подъезжали машины, входили и выходили люди, среди них и военные.

Алеша и Пашка замедлили шаги, остановились у входа, посмотрели друг на друга.

Они выросли рядом, каждый из них помнил другого почти с того же времени, с какого помнил себя, вместе они играли, вместе учились и росли. Они понимали друг друга.

— Ну? — спросил Пашка неуверенно.

— Может, не пойдем?

— Давай!

Они повернули и пошли обратно, сперва очень медленно, потом нормальным ровным шагом. И, странное дело, они испытывали чувство, похожее на чувство облегчения,— решение было принято.

Они прошли мимо школы, не заходя туда, ничего не говоря о Викторе Ивановиче, миновали поселок, вышли в поле. Следы их уже затянуло снегом, и приходилось снова по очереди пробивать тропинку. Когда прошли половину, Пашка вспомнил:

— Давай записку посмотрим!

Они развернули и с любопытством прочли записку, которая могла так много значить в их жизни и которая теперь ничего не значила.

На миг Алеша почувствовал благодарность к Виктору Ивановичу, но сразу словно забыл о нем.

— Ну что, на память записку эту оставить? — спросил Пашка.

— Может, порвем?

— Давай!

Дома Алешу ожидало письмо отца — маленький помятый треугольник. Отец сообщал, что жив-здоров, что бьет немецко-фашистских гадов. и интересовался школьными успехами сына.

Через десять дней пришли повестки — «с вещами».

«...явиться в райвоенкомат к 10 часам утра, имея при себе смену белья и продукты питания на трое суток...»

А до этого они с Пашкой бездельничали, ходили в клуб по вечерам — в кино, на танцы,— и все.

Мать продала кофту, купила большую буханку хлеба, брус шпига, немного сахару. Зато было только начало месяца, и Алешина «ученическая» карточка оставалась почти на месяц для матери и бабушки, и он испытывал такое чувство, будто побеспокоился об остающихся женщинах.

За день до отъезда устроили нечто вроде проводов у девчонок, в Поселке индивидуальных домов. Сложились деньгами и талонами, а кое-что поставили сами девчонки.

Здесь были девчата, с которыми они когда-то учились и которые потом бросили учиться и пошли работать, и ребята, с которыми они учились,— теперь они тоже шли в армию, и другие, моложе, и совсем незнакомые.

На столе горели две керосиновые лампы — электричества здесь совсем не было,— в углу на тумбочке стоял патефон.

Алеша выпил (пили разбавленный, подкрашенный ягодой спирт) и увидел Ляльку, с которой они учились раньше, она ему давно нравилась, но он ей об этом никогда не говорил — как-то это было ни к чему. Он решил было сказать ей об этом сейчас, благо установилась какая-то удивительная откровенная атмосфера, но раздумал.

В полумраке комнаты плакали девчонки, целовали ребят, не стесняясь окружающих. Звучал патефон, некоторые танцевали, натыкаясь друг на друга, и их тени, колыхаясь, двигались по стенам.

Алеша встал, нетвердо пошел к выходу. В сенях Пашка целовал какую-то девчонку (в темноте Алеша не разобрал кого, не все ли равно!), прижимая ее к стене. Алеша вышел на крыльцо, постоял, как был, без шапки. Доски крыльца и снежок на них приятно поскрипывали под его ногами. Он замерз, вернулся в дом, налил себе полстакана, выпил. Рядом с ним села Антонина — раньше он ее видел всего несколько раз,— здоровая девка его роста, даже повыше, положила ему голову на плечо.

— Чего ж ты один, бедненький? Мне тоже налей!

Он встал, налил ей водки, она выпила, запила чем-то и сказала, почти не понижая голоса:

— Ох, кудрявенький, приходи ко мне. Знаешь, где живу? — Она засмеялась и стала прикуривать над ламповым стеклом.

Он смутился, хотя никто и не слушал их, встал, начал заводить патефон, ставить пластинку.

Потом он одевался, долго искал шапку, его целовали девчонки, с которыми он когда-то учился. Пашки нигде не было, и он пошел один. Он шел по дороге вверх, поднимаясь к своему дому, что-то напевая, иногда останавливаясь, думая о Ляльке и Антонине, путая их. Он совсем не

чувствовал себя пьяным. Кругом не было видно ни огонька, но было светло от снега.

На другой день, накануне отправки, они с Пашкой пошли в парикмахерскую.

Алеша уселся в кресло, посмотрел на себя в зеркало.

— Под машинку! Под ноль!..

Молоденькая мастерица провела ладонью по его мягким вьющимся волосам.

— Может быть, под полечку?

— Под машинку!

— Или под бокс?

— Я говорю — наголо!

Она вздохнула и стала стричь.

Потом он посмотрел на свою незнакомую круглую шишковатую голову, провел рукой по щетинке волос.

Они сами пришли стричься, они будто добровольно шли в армию.

Вечером, уже в темноте, он прошелся по поселку, постоял возле семилетки, где учился когда-то, возле клуба. Затем он вышел к фабрике и с замирающим сердцем, замедлив шаги, прошел мимо барака, где жила Антонина, повернул обратно и пошел уже совсем медленно, даже остановился у входа в барак, но заходить не стал — не решился.

На нем была старая ватная фуфайка, ватные брюки, сто раз латанные и подшитые валенки, на голове ушанка, ставшая слишком свободной. Он поднял свой мешок, чуть подпрыгнул, поправляя его на спине, увидел близкое, исказившееся от слез лицо матери, поцеловал ее, с трудом оторвал от себя, бормоча:

— Надо мне идти, опоздаем... вон уж Пашка зашел...

Поцеловал бабушку, она перекрестила его, чего никогда не делала, сказала: «Присели бы на дорогу»,— но ее слов никто не слышал. Он опять поцеловал мать, опять с трудом оторвал от себя ее руки, крикнул Пашке, который снова прощался на площадке со своими: «Пошли!» — и сбежал по лестнице.

Военкомат снова был полон; в той большой комнате, где они проходили комиссию, пожилой лейтенант в очках выкликал кого-то по фамилиям, люди отходили в сторону, становились неровным строем. Выкрикнули и Пашку. Потом уже только им одним снова сделали перекличку. Кто-то сказал:

— Тех в училище!..

Лейтенант крикнул:

— Кого сейчас буду называть, строиться во дворе!.. Егорычев!

Теперь они с Пашкой поняли, что расстаются. Алеша подошел, они в спешке растерянно пожали друг другу руки, не думая о том, что видятся в последний раз.

За воротами военкомата было полно народу, играла гармошка, пели и плакали девчонки и женщины, какая-то пьяная девка плясала, платок ее съехал назад, волосы растрепались; бегали, кричали и свистели мальчишки.

Вся эта толпа двинулась к станции вслед за неровным, идущим не в ногу строем, забегая сбоку, обтекая и обгоняя его.

Стали грузиться в вагоны, провожающих к составу не пускали. Наконец погрузились, но поехали не сразу, опять долго чего-то ждали и дви-

нулись неожиданно — паровоз коротко прогудел и тут же плавно тронул вагоны.

С неожиданно подступившей острой тоской Алеша напряженно смотрел на уплывающий назад, удаляющийся маленький районный городок. Начинало смеркаться, в вагоне было холодно.

Не сняв мешка с плеч, Алеша все смотрел и смотрел на белые поля, запорошенные леса, мелькающие будки обходчиков.

Поезд мчался вдаль, но Алеша думал не о том, что ждет его впереди, а о том, что он оставил за спиною.

3

Запасный, или, как все говорили, запасной полк стоял среди степи — белой равнины без возвышенностей и деревьев. Несколько казарменных старых зданий, обнесенных каменной стеной. Смотришь вдаль, и не понятно, где кончается степь, а где начинается смутное белое небо.

Дров здесь не было, угля тоже. Топили камышом, он хорошо горел, но его нужно было очень много. Ходили за ним всем полком.

Километрах в пятнадцати от расположения были плавни, и камыша там было сколько угодно. Его резали ножом, стягивали ремнем или веревкой и тащили на плечах этот сноп, легкий, но неудобный. Странное зрелище представлял из себя растянувшийся по дороге полк, со связками камыша на плечах, шелестящими под ударами ветра.

Если начинала мести пурга, то мела она пять-шесть дней кряду. Потом они день и ночь расчищали дорогу, иначе терялась связь с дивизией, им не могли подвозить продукты.

Запасать камыш и расчищать дорогу было их основным делом, на занятия времени уходило меньше. После такой работы Алеша Егорычев валился на нары и засыпал мгновенно, впрочем, как и другие.

После пурги началась оттепель, двор расположения был весь растоптан, валенки у Алеши были вечно мокрые насквозь и не высыхали за ночь. Но тут им выдали обмундирование — полтора месяца они проходили в своем, домашнем.

— Все правильно! — сказал старшина Богун.— Казенное на полтора месяца дольше проносите. Разве на такую ораву напасешься?

Он говорил как хозяин, вернее даже как хозяйка, как мать большого семейства: «Разве на такую ораву напасешься?» — а сама старается, чтобы ходили дети «более-менее прилично».

Старшина Богун выдал, а писарь вписал Алеше в красноармейскую книжку: «Шинель — 1, гимнастерка хлопчатобумажная — 1, шаровары хлопчатобумажные — 1, рубаха нательная — 1, кальсоны — 1, шапка (слово «шлем» было зачеркнуто) — 1, ботинки — 1 пара, обмотки — 1 пара, портянки — 2 пары, ремень брезентовый — 1, перчатки — 1 пара».

Почти все «б/у» — «бывшее в употреблении», помятое, выцветшее, но еще прочное.

Вот ты и настоящий боец, Алеша!

Хотя обожди, еще не настоящий!

Занятия были тяжелые. Выходили за ворота в метель, тянули волокушу со старым «максимом». Командир отделения Лепиков кричал: «Бегом!» — они бежали, увязая по пояс в снегу, обливаясь потом. «Ложись!» — они с облегчением падали в снег. «По-пластунски вперед! Короткими перебежками вперед!»

Вскакивали, пробегали несколько шагов, падали на левый бок, переворачивались на живот и снова вскакивали, подтянув под живот правую ногу, наступая на полу шинели.

А на дворе училища строевая — одиночная — подготовка бойца.

— Кру-гом! Нале-во! На пле-чо! Отделение...— Лепиков пятился, не отрывая от них глаз и бормоча: — Выше ножку, выше ножку... Стой! Раз-два! К но-ге! Отставить! Егорычев, ко мне! На пле-чо! Раз-два! К но-ге! Раз-два-три!

Алеша тоскливо, уныло смотрел на Лепикова и старался сделать все как надо — красиво и четко. А тот пятился, щуря глаза.

— Егорычев! Шагом... арш!.. Полы будешь мыть! Два наряда не в очереди (он так говорил вместе «вне очереди»)!

Только занятия по материальной части и политзанятия проводились в помещении. Но тут была другая беда. Отделенный или взводный говорит, а глаза слипаются, слипаются... И знаешь, что спать нельзя, да нет сил удержаться, это происходит само собой.

— Егорычев, встать! Повторите!

Было два страшных, ни на секунду не оставляющих, гнетущих, сладких желания — спать и есть. Запасные полки снабжались по третьей, самой низшей, норме.

Большой удачей считалось попасть в кухонный наряд. Дошла очередь и до них. В полутемном помещении около кухни сели чистить картошку. Картошка была мороженая, начавшая оттаивать, черная, скользкая; пока держал ее в руке, мерзли, заходились пальцы.

Но все же начистили и на котел и кастрюлю «для себя», поставили в сторонку, чтобы сварить попозже, вечером.

Потом Алешу и еще одного бойца послали за водой. Воду возили на верблюде. Верблюд, одногорбый, худой и унылый, был запряжен в сани, на санях стояли две бочки. С трудом подъехали к колодцу — кругом все заросло бугристым льдом, колодезный сруб едва над ним возвышался, так что, поскользнувшись, можно было легко упасть вниз. Второй боец стал крутить скрипучий ворот, вытащил наконец почему-то всего полведра, они перелили воду в другое ведро, а Алеша, скользя, балансируя на льду, отнес и вылил ее в бочку. Вскоре их ботинки обросли льдом, полы шинелей стояли торчком и гремели, как железные, двупалые перчатки почти не гнулись. Они все чаще менялись местами. Когда в конце концов они доверху наполнили обе бочки, оказалось, что сани примерзли ко льду. Верблюд после нескольких неудачных попыток рывком стронул их с места, часть воды выплеснулась, и Алешу, стоявшего с этой стороны, окатило.

На кухне было тепло, но не настолько, чтобы совсем раздеться, шинели и ботинки оттаяли, с них капало, валил пар. Алеша стучал зубами. На ужин была «шрапнель» — перловая каша. Им положили больше, чем обычно. Дежурному по кухне Лепикову повар выдал целый котелок. Когда весь полк поужинал, выскребли котлы, перед тем как мыть их, и еще получилось три котелка, и еще досталось понемножку, потому что наряд был очень большой.

На завтра готовили пюре и поздно вечером сварили ту, «свою», картошку. Повар дал ложку комбижира — заправить.

Алеша уснул около котла, свернувшись клубочком, подтянув колени к груди. Разбудили их в четыре часа утра, пора было разводить огонь под котлами.

На обед был гороховый суп — как обычно, из пивного гороха. Это специальный сорт гороха, который подается в доброе время к пиву.

Сколько ни вари этот горох, он не разваривается и навару не дает. Он сам по себе, а суп сам по себе.

«Дорогая мама! У меня все в порядке. Я нахожусь сейчас на учебе, чтобы потом лучше бить немецко-фашистских захватчиков. Учимся очень напряженно, и времени остается мало. Как ты живешь? Как себя чувствует бабушка? Интересно, что пишет Паша Замков? Узнай у тети Шуры. Есть ли письма от отца? Я забыл номер его полевой почты, пришли мне, пожалуйста, я ему напишу.

Обо мне не беспокойся. Целую тебя и бабушку.

Твой сын Алеша».

Как-то под вечер старшина Богун привел незнакомого бойца. Боец был постарше их, и привлекала в нем особенная не то чтобы лихость, а уверенность и естественная красота движений, свойственная людям, уже по-настоящему знающим армию, службу, чувствующим себя во всем этом как рыба в воде. Шинель на нем была необычная, табачного цвета, перетянута широким кожаным ремнем, а не брезентовым поясом, как у них, на ногах хоть какие, а сапоги — у них у всех были ботинки,— шапка в меру сдвинута на правую бровь, а на левом плече, не мешая, висит полупустой вещмешок. И чувствовал Алеша, что был он из той, другой, далекой от них, настоящей жизни, где была война, где были не запасные, а боевые, лихие полки и где была наконец не третья, а первая, черт возьми, фронтовая норма питания.

— Вот здесь,— сказал старшина Богун,— устраивайся. Вот здесь место есть на нарах.

— Порядок.

Он бросил вещмешок на нары, в голова, скинул шинель, стянул сапоги. Портянки у него так ловко были подвернуты, что не спадали, и он в них, как в носках, прошел к печке, опустился на корточки, взял охапку шуршащего камыша и, ломая, запихал в печку, сказав при этом: «Шумел камыш, деревья гнулись!» — потом повернулся к ним.

— Новости слыхали? Немец под Сталинградом накрылся! И форма новая вводится — погоны. Слыхали?

Принесли ужин. Полк был большой, помещение столовой было занято под жилье, и ели прямо в казармах, пристроясь кто где, на нижних и верхних нарах. До кухни было далеко, и, чтобы всем не ходить, еду носили в бачках на десять человек и разливали уже на месте по котелкам.

Принесли суп. Новенький засмеялся:

— Всякое видел, а такого нет. Суп на ужин! Надо же!

Командир отделения Лепиков взял половник, именуемый «разводящим», зачерпнул со дна, налил себе, отрезал толстый ломоть от общей полбуханки, остальное отодвинул от себя.

— Разбросайте!

Новенький привстал и, с виду совсем спокойный, сказал самому отделенному:

— Эй, обожди-ка, парень! — И к остальным: — Это что, всегда у вас так?

Кто-то осмелел, тихонько пробормотал:

— Надо старшине сказать или замполиту...

— Обожди, успеется. Я говорю, всегда у вас так? — Он взял котелок Лепикова и вылил суп обратно в бачок и хлеб положил к остальному.— Делите!.. Ну, тогда я сам разделю!

Лепиков сощурил глаза.

— Я взял сколько все, только первый. Как командир отделения. А ты не лезь со своим уставом в чужой монастырь...

— Здесь не чужой монастырь, а Красная Армия. А отделенных я видал, не ты первый!

Он разрезал хлеб, разлил суп.

— У кого напарника нет? Ну, давай с тобой.

Он поставил котелок на край нар перед Алешей, сел с другой стороны, еще возбужденный, зачерпнул.

— Суп из семи круп! Всегда так кормят? Ты ешь, ешь! Ну и порядочек! Да любой фронт в сто раз лучше!

— А... вы на фронте были?

— Чего ты меня на «вы» величаешь? Был. И в сорок первом был и после госпиталя был... Ну и супец! Тебя как зовут?

— Алеша.

— А фамилия?

— Егорычев.

— А я Авдюшин Николай.

Теперь они всегда ели из одного котелка и спали рядом — когда холодно, прижавшись друг к другу и укрывшись сразу двумя шинелями, а когда жарко, стараясь отодвинуться друг от друга. Они вместе ходили на занятия, и Николай ворчал, что сто раз уже проходил это,— правда, его особенно и не гоняли; Лепиков, может, и хотел бы, но у взводного и старшины были другие правила — ходили вместе и в караулы и в другие наряды.

Говорили они о том, что́ сегодня на обед, далекий ли будет учебный «выход», чем лучше чистить оружие... Но хотя и говорили они только о таких обычных — правда, важных — вещах, они все более привязывались друг к другу.

Однажды Алеша увидел у Николая помятую, с поломанными уголками фотографию девушки, спросил, кто это, и очень удивился, услыхав ответ:

— Жена.

Теперь изредка стали говорить о женщинах.

Николай говорил о женщинах легко, свободно, откровенно — даже о жене, и Алеше было иногда неприятно, хотя он и не перебивал Николая, а сам Алеша, рассказывая, сбивался, конфузился — да ему, собственно, и нечего было рассказывать.

Однажды ночью — они вдвоем дневалили — стали говорить о доме, и Алеше нестерпимо, до слез, захотелось домой — не к Ляльке и не к Антонине, не к Пашке, а домой, к матери, к бабушке, в комнаты, где он помнил каждую мелочь, и чтобы одновременно обязательно вернулся отец. Как бы все это было хорошо! Он, конечно, верил, что когда-нибудь это и будет, но сейчас беспощадно понимал, что может быть это очень и очень нескоро и он сам уже будет совсем не таким, каким уходил из дому, и не таким, какой он сейчас.

А Николай сказал тихо:

— Хорошо бы, конечно, домой поехать, но, знаешь, по правде говоря, сильно я от Клавки отвык. Жил-то я с ней мало, пацан без меня родился. Вернусь — не знаю, как будет. Ты знаешь, подумаю иной раз: а может, у нее кто есть, тыловичок какой-нибудь? — и ничего! Надо бы не спать, зубами скрипеть, а я ничего! А раньше бы весь измаялся! Отвык я от Клавки...

Он говорил и тонко чувствовал, что Алеше не все понятно в его словах и что-то даже дико по молодости лет, но что он все-таки поймет его лучше, чем кто-нибудь другой.

Под пористым снегом была вода, проваливаться было очень неприятно, потом сугробы осели, прогнувшись, а потом снег сошел очень быстро, не то что в лесу, и земля быстро высыхала.

И покрылась степь никогда ими не виданными, редкой красоты цветами тюльпанами. И не верилось, что это та же самая унылая степь, по которой таскали они гремящие охапки камыша, где падали в снег и ползли по-пластунски, где расчищали дорогу после метели.

Как-то были на «выходе», на учениях, и Николай проснулся на рассвете, встал и уже не стал ложиться. Ребята спали на земле, укрывшись с головой шинелями.

А из-за горизонта поднималось солнце. Оно поднималось быстро, ему ничто не мешало — ни дома, ни деревья. Оно было огромно и очень близко от Николая. И как все кругом, оно, казалось, было мокрым от росы. И красные, влажные сверкали тюльпаны.

И, честное слово, не верилось, что идет война, и не где-то вообще, а по нашей земле, и не верилось, что вот он, Николай Авдюшин, наблюдающий в цветущей степи восход светила, попадал под бомбежку, вырывался из окружения, стрелял почти в упор в немцев, терял друзей, валялся по госпиталям, снова дрался и отступал и снова стонал и бредил в душной ночной палате; что где-то далеко есть у него жена Клава и сын Миша, которого он никогда не видел.

Во все это не верилось, но все это было так.

Он подошел к спящим, нагнулся над Алешей и поправил шинель, хотя и так Алеша был укрыт хорошо.

Начали поговаривать, а потом и точно стало известно, что скоро они отправятся на пополнение других частей — не запасных, боевых, настоящих.

Перед этим приняли военную присягу. Не все, конечно,— Николай, например, принимал еще давно, до войны, да и младшие командиры почти все принимали.

Сперва хотели, чтобы присягу выучили наизусть, и стали учить. Алеша, разумеется, выучил за час, но были другие, которые никак не могли запомнить. Между прочим, это не значило, что они будут плохо воевать.

Решили читать по листку.

Присягу принимали на плацу девятого мая.

Алеша тоже, как все волнуясь, прочел вслух по листку — хотя и знал их наизусть — железные слова присяги. Потом подошел к накрытому красным столу, перехватил винтовку левой рукой, расписался. Оркестра в полку не было, но и так вышло достаточно торжественно.

Позже писарь вписал в красноармейские книжки: «Принял присягу 9 мая...»

Мог ли кто-либо из них предполагать, что этот день будет великим праздником?

Вот ты и настоящий боец, Алеша!

Хотя обожди, еще не настоящий!

Уезжали через несколько дней.

Получили сухой паек на дорогу и стояли уже во дворе, ждали команды строиться, чтобы идти за сорок километров на станцию. Хорошо хоть попали вместе.

Николай увидал проходящего Лепикова.

— Остаетесь, товарищ сержант?

Тот сощурил глаза:

— Остаюсь!

— Молодое пополнение будете принимать? Обучать его будете?
— Давай иди-иди!
— Воевать не любите, товарищ сержант?
Лепиков повернулся, пошел.
Николай бросил вслед брезгливо, презрительно:
— Устроился. Ну и гад!..

4

Воздушно-десантная бригада принимала гвардейское знамя.
Вчера приехав, они сегодня становились гвардейцами.
— С корабля на бал! — сказал Алеша.
Николай очень удивился:
— С какого корабля? — И, выслушав объяснение, присвистнул: — Надо же!
В небольшом городке, где стояла бригада, выстроились на стадионе, заняв гаревые дорожки и половину футбольного поля.
— Под знамя, смирно!
Вынесли знамя, и, преклонив колена, несколько тысяч человек повторяли вслед за грузным полковником слова гвардейской клятвы, и они, эти слова, как эхо, катились над стадионом.

Потом все поднялись, разом отряхнули колени и стояли вольно, а затем старший лейтенант — командир роты и лейтенант — командир взвода пошли вдоль строя. Рядом с ними шел сержант, они уже знали его фамилию — Карпов, и нес в вытянутых руках раскрытый вещмешок. Ротный брал из вещмешка гвардейские значки и вручал солдатам.

Николай и Алеша привинтили их друг другу на правую сторону груди. Значок был красивый — темно-красное, словно бархатное знамя с четкой надписью «Гвардия», под ним звезда, по краям золото — он немного напоминал орден Красного Знамени.
А потом — парад.
«...К торжественному маршу! Поротно! Дистанция на одного линейного! Первая рота, прямо! Остальные напра-во! Шагомм-арш!..»
Оркестр грянул марш, не захочешь — пойдешь. Они взяли на плечи свое противотанковое ружье — они были теперь в роте ПТР. Ружье было длинное, оно лежало на их плечах. Николай как первый номер расчета — впереди, Алеша — второй — сзади. Их связывала теперь эта грозная железная тяжесть.

Вот они «дают» уже строевым, скосив глаза направо, на знамя, на командование бригады.
— Хорошо идете, бронебойщики!
И они отвечают под левую ногу:
— Служим! Советскому! Союзу!

Вечером, когда они ужинали — на ужин была рисовая каша с тушенкой,— Алеша сказал:
— Полк этот запасной как дурной сон вспоминается. Правда?
Николай засмеялся:
— Еще бы!

Стали изучать парашют ПД-41 — купол, стропы, подвесная система, тренироваться — прыгать на землю с четырехметрового трамплина, не с парашютом, конечно, просто так.
Командир взвода, москвич, молодой, но уже воевавший и раненый, говорил:

— Нужно хорошо свое дело знать, очень хорошо знать то, что делаешь. Материальную часть знать в совершенстве. Ясно? Это еще Суворов говорил, что солдат должен знать свой маневр. Ясно? Еще важна и привычка, навыки. Это с опытом приходит. На фронте, например, надо исполнять определенные правила, иначе погибнешь сразу ни за грош. Ясно? Как, скажем, в большом городе, вот у нас в Москве нужно знать правила уличного движения. Перешел улицу, а там еще трамвай или левый поворот. Провинциал мечется, а москвич идет спокойно, многое инстинктивно делает. Он уже приобрел навыки, у него точная реакция. Ясно? Вот и при прыжке с парашютом то же самое. Знание, хладнокровие, расчет! А теперь можно покурить. Разойдись!

Алеше очень нравился лейтенант.

Подошли к аэростату, влезли в его корзину — Николай, Алеша, третий номер их расчета маленький Колотилов и парашютист-инструктор. Сели, посмотрели друг на друга.

Дали команду, и аэростат вознесся ввысь с такой неожиданной прытью, с такой неожиданной легкостью, что они ахнули. Он взлетел стремительно, как воздушный шарик, вырвавшийся из рук малыша, потому что голубому пространству, которое его влекло, было безразлично — детский шарик это или аэростат.

Сверху открывался большой кругозор, как с балкона, скорее как с площадки, которые бывают на высоких старых башнях или на пожарной каланче,— обзор на все четыре стороны. Только этот балкон, эта площадка все время поднималась и поднималась, заставляя быть собранным и напряженным.

Вдруг аэростат резко мотнулся в сторону, как, бывает, воздушный шарик или воздушный змей,— почти горизонтально, потом опять вверх. Наверху был ветер, сильный ветер. Корзина стала раскачиваться.

— Приготовиться! — сказал инструктор.

Первым прыгал Алеша. Не потому, что он был самый смелый, а потому, что он вошел в корзину последним, просто так получилось. Теперь он стоял, держась за бортик, не глядя на Николая.

— Пошел!

Алеша помедлил всего мгновение, а потом, судорожно глотнув воздуху, перепрыгнул низенький порожек и разом исчез, ухнул вниз, как в прорубь.

— Молодец! — Николай встал, подошел к раскрытой дверце.

Корзину сильно раскачивало.

— Пошел!

Николай прыгнул не как следовало — ногами вниз, а как плохой пловец, упал вперед, плюхнулся животом на тугой, ощутимо движущийся воздух. Он полетел так, ничего не помня, ожидая удара, но тут его дернуло вверх, будто кто-то схватил за шиворот,— это над ним раскрылся белый перкалевый купол.

Ветер был сильный, Николай болтался на стропах, как маятник, но не обращал на это внимания: «У земли затихнет!»

Он не видел, как идущий следом Колотилов не захотел прыгать, стал цепляться, как инструктор ловко оторвал от бортика его пальцы, и Колотилов, тихонько вскрикнув, оборвался вниз, и над ним тоже распустился купол: он раскрывался автоматически — принудительное раскрытие.

Николай посмотрел вниз. Ниже его и впереди по движению опускался Алеша.

— Алеша! — крикнул Николай.

— Ага!

— Как дела?

— Порядок!

Еще не один раз ему случится прыгать вот так вслед за Алешей и с удовольствием спрашивать в воздухе: «Как дела?» — и с удовольствием слышать: «Порядок!»

Ветер был сильный, их отнесло километра на полтора, там уже сидели, собрав парашюты, и курили прыгнувшие раньше них ребята.

Занимались много: и прыжки, и матчасть, и длинные, изнурительные «выходы», и стрельбы.

Алеша слегка побаивался стрелять из ПТР, остерегался отдачи. У винтовки и то отдача сильная, а тут такая махина — как даст в плечо. И он срывал спусковой крючок, нажимал не плавно, а резко, ствол сдвигался, все прицеливание шло насмарку.

Командир отделения Карпов заметил это.

— Егорычев, крючок срываешь!

— Я не срываю, товарищ гвардии сержант!

— Давай на огневой рубеж!

Алеша лег, прицелился, а потом, невольно зажмурившись, дернул крючок. Послышался сухой щелчок, выстрела не последовало.

— А оно не заряжено,— сказал Карпов, очень довольный своей хитростью.— Теперь сам видишь, что срываешь! Повторить!

Алеша уходил с огневого рубежа, опять возвращался, усталый, мокрый, пока другие отдыхали в тени. Теперь, когда ружье было не заряжено и отдачи быть не могло, он плавно нажимал пальцем на спусковой крючок.

— Плечо, плечо сильней прижимай к прикладу!

Другие снова стали стрелять по мишеням — макетам танков. Алеша подошел, должно быть в тридцатый раз, лег, тщательно прицелился, плавно потянул крючок. Выстрел грохнул неожиданно. Пока он уходил с рубежа, Карпов зарядил ружье.

Сейчас он оторвал от глаз бинокль.

— Есть попадание!

Так Алеша отучился срывать спусковой крючок.

Они стояли в строю на опушке леса, а перед ними на траве стояло на двух своих железных ножках новое противотанковое ружье.

— Получаем новое оружие,— говорил лейтенант, прохаживаясь вдоль строя,— более совершенное, более мощное. Ясно? Противотанковое ружье системы Симонова вместо системы Дегтярева, которое было у нас на вооружении до сих пор. Ясно? Новое ружье имеет более совершенный дульный тормоз, лучше амортизирует, специально для вас, Егорычев. Оно тяжелее, но разымается на две части — ствол и коробку.— Он показал, как это делается.— Ясно? Это удобно в походе. Колотилов, покажите, как разымается ружье. Правильно, становитесь в строй! Главное же в том, что оно в отличие от однозарядного дегтяревского — пятизарядное. Ясно? На что похожа магазинная коробка этого ружья?

— На СВТ!

— Правильно, Авдюшин. Молодец. Но самозарядная винтовка Токарева часто отказывала — это ружье действует хорошо. Сейчас получим у старшины ружья, очистим от заводской смазки — и на занятия. Ясно?

Пришло на новый адрес письмо от Клавы и фотография — она держит мальчика, серьезного, с напряженным взглядом. Николай долго смотрел на карточку, качал головой:

— Надо же! Похож? Снимусь, им фото вышлю...

На обороте письма карандашный контур — детская рука с растопыренными пальчиками и приписка: «Вот какая ручка у нашего Миши».

Николай засунул письмо в бумажник — надо было идти в наряд — и словно забыл о нем.

Через неделю он проснулся ночью в землянке от острой, как боль, тоски по жене и сыну.

Совершили учебный групповой прыжок с самолета, приземлившись, разыскали ПДММ (парашютно-десантный мягкий мешок, сбрасываемый на грузовом парашюте) со своим ружьем, отрыли окопы, вскоре опять поднялись, марш-бросок через лес километров двадцать. Кроме десантного рюкзака, лопатки, противогаза, фляжки, финки, автомата, плащ-палатки (горе, если это плохо подогнано!), ствол и коробка (она вдвое легче ствола) противотанкового ружья. Они несут их по очереди — три номера расчета. Маленький Колотилов с коробкой отстает. Сержант Карпов выхватывает ствол у Николая — у самого Карпова нет ружья, он командир отделения. Карпов кричит:

— Помоги Колотилову! Где коробка?..

Ствол без коробки не оружие. Николай бежит обратно, крикнув Алеше: «А ты — вперед!» — видит Колотилова, который плетется по лесу, хватает коробку, бежит, хрипя: «За мной!»

Колотилов не может поспеть, снова отстает, а Николай догоняет своих, передает коробку Алеше. Ворот у Николая распахнут, пилотка в кармане, грязный пот течет по лбу.

— Шире шаг! — командует лейтенант.

На опушке остановились, долго не могли отдышаться.

Снова лейтенант расхаживал перед строем.

— Вы бронебойщики! Ясно? Танки должны вас бояться, а не наоборот. Вы видите все, обзор из танка ограничен; вы можете зарыться в землю, а он нет! Чем ближе вы к танку, тем вы страшней для него, а не он для вас! Ясно? Объясняю задачу.

Они попрыгали в окопы, приготовленные здесь, вблизи леса, настоящие окопы в полный профиль, со стенками, обшитыми тесом.

И тут они услыхали рев. Рев моторов. И Алеша увидел, как вдали, метрах в трехстах, из лесу выходят три танка. Они шли совсем медленно, верхние люки были открыты, и Алеше был виден танкист в шлеме, возвышающийся над башней. Но вот он исчез и опустил за собой крышку люка. Танки резко прибавили скорость.

— Бронебойными огонь! — Это кричал лейтенант.

Николай, вжавшись плечом в приклад, нажимал на спуск, но выстрела не было — как тогда у Алеши на стрельбище,— только сухой щелчок: ружье было заряжено даже не холостыми — учебными патронами. Алеша помогал перезаряжать.

Они смотрели на приближающиеся танки, и каждый видел свое: Алеша видел наши танки со звездами, нашего танкиста в шлеме, закрывшего люк, комбата, ротного, начальника штаба, стоящих в стороне, а Николай — далекий день, шоссе, танк, оскользнувшийся на булыжнике, болото, упавшего Мылова, грязное рябое лицо Музыкантова.

Танки били из пулеметов. Они были совсем уже рядом, это уже не было похоже на игру.

— Ружье! — крикнул Николай.

Алеша, нагнув голову, потянул за ножки, схватился за ствол, они втянули ружье в окоп, бросили на дно. Что-то страшное, черное, пахнущее горячим железом и бензином, закрыло свет, осыпая на них землю, с ревом прошло над головой. Николай быстро приподнялся, вытащил из

ниши деревянную болванку в виде противотанковой гранаты, метнул в прошедший танк. Болванка упала на танк сзади, там, где бензобаки, и скатилась вниз.

«От-бой!..» — пропела труба.

Они, еще не опомнившись, перемазанные землей, вылезли из окопов. На их место подошла другая рота — проходить «утюжку» в траншее. Танки были уже на исходных.

Расчету Авдюшина командир роты объявил благодарность.

Слова «красноармеец», «боец» вышли из употребления. Говорили «солдат», а официально «рядовой». Как приятно было докладывать:

— Гвардии рядовой Егорычев.

А Николаю присвоили звание младшего сержанта.

— Гвардии младший сержант Авдюшин.

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться. Можно сходить сфотографироваться?

— Зачем?

— Ну как? На память...

— Хочется иметь собственное изображение? Идите.

Они подошли к будочке у входа на рынок. Нет, им не надо никакого рисованного фона. Фон гладкий, и все! Это сказал Алеша. Размер? Девять на двенадцать.

Они стояли рядом, касаясь друг друга плечами, как много раз стояли в строю. У обоих чистые подворотнички. У одного две лычки на погоне, у другого погоны гладкие. У обоих на правой стороне груди гвардейский значок, а рядом не менее почетный знак — синий парашютик. У обоих на ремне левее пряжки — финка (положено!): у одного с наборной ручкой, у другого с простой. У обоих ботинки и обмотки на ногах (давно развалились у Авдюшина сапоги), но этого не видно, какой-то диванчик загораживает их ноги.

— Все? Когда будет готово?

И в разные места пошли два письма, не треугольнички, пришлось клеить конверты, и лежали в них две одинаковые фотографии, и стояли на конвертах фамилии двух женщин — Авдюшиной и Егорычевой.

5

Уехали совершенно неожиданно и для маленького городка, где стояли, и для себя. Получили приказ, а назавтра уже подан эшелон. Перед отправкой уложили свои парашюты, так что куда едут — сомнений не было.

Стучат колеса, мощно идет эшелон. Раскрыты обе двери, и приятный сквозняк гуляет по вагону. Все дальше идет эшелон, чтобы удобнее было десантироваться, все ближе к врагу, чтобы меньше было лететь.

Лейтенант сказал:

— При десантировании разное бывает, могут все эти каптерки и канцелярии пропасть. Нужно, чтобы каждый знал на память домашние адреса всех остальных солдат из своего отделения, всех своих товарищей. Пока едем, выучить. В двадцать ноль-ноль командирам отделений доложить! Ясно?

И началось: Москва, Арбат, 12, квартира 22... Дмитриев... село Уклоново Вышнерецкого сельсовета Колобковского района... Карпов... город Арзамас... Колотилов... город Лисогорск, улица Челюскинцев, 14, квартира 3... Авдюшин... Воронеж... деревня Кустовка... Хабаровск...

А поезд все шел и шел...

Подъезжали к большой узловой станции. Поезд замедлил ход, и было непонятно, остановится он или протянет мимо на такой скорости. Они все стояли у двери вагона и смотрели — на соседнем пути остановился другой эшелон, он тоже, судя по всему, шел на фронт, только, наверно, не в том направлении, а может, и в том же самом. И солдаты с того, другого эшелона, стоя в вагонах или внизу, около них, смотрели на этот медленно катящийся состав.

Неизвестно, непонятно, как взгляд Николая наткнулся на высокого сутуловатого человека, стоящего внизу у вагонов. Он стоял спиной к проходящему поезду, но Николай мгновенно почувствовал, понял, вспомнил, что где-то встречал его, где-то видел эту сутуловатую спину. Сверху Николаю были видны лейтенантские погоны на плечах человека, и это как будто мешало ему вспомнить что-то до конца.

— Лейтенант! — крикнул вдруг Николай срывающимся голосом.

Тот обернулся, и Николай увидел знакомое, такое близкое, что он сам поразился, загорелое рябое лицо и недоумевающий, ищущий взгляд.

— Музыкантов!

Он увидел Николая и всего одно мгновение не понимал, кто это.

— Авдюшин!

А в это время машинист передвинул рычаг, кочегар подкинул угля в топку. Поезд плавно, но сильно прибавил ходу, стало ясно, что он здесь не остановится.

В степи, в небольшой роще, которая маскировала их, они отрыли неглубокие землянки и ждали приказа, летной погоды.

— Сидим у неба и ждем погоды,— сказал Алеша.

Парашюты их были уложены, противотанковые ружья, боеприпасы, а также пулеметы и минометы из других рот были упакованы в ПДММ. Все было готово. И они жили в напряженном ожидании: ложась вечером, они не знали, что ждет их назавтра. И в душе у Алеши жила тревога, но вместе с ней ясная уверенность в том, что все окончится хорошо — с ним во всяком случае.

Поодаль стояло несколько белых мазанок, слышались женские голоса, но там расположился штаб, комендантский взвод, и соваться туда не имело смысла.

Объяснили задачу, и взводный напомнил:

— Кроме немцев, там две дивизии власовцев. Так что если кто и говорит по-русски, это не значит, что он наш. Ясно?

Стали прибывать «дугласы». Сначала один сделал круг и пошел на посадку, ему выложили букву «Т» — посадочный знак,— он плавно, как лыжник с горки, съехал на равнину, подрулил к тополям, стал под ними.

За ним второй, третий, четвертый.

Около белых мазанок появились летчики. Они были словно из другого мира, эти аристократы войны, в своих кожаных куртках, шлемах, унтах, с висящими ниже колен большими планшетами.

Николай и Алеша пошли туда, к хаткам, и Алеша завороженно смотрел на летчиков. Один из них, совсем молодой, сняв шлем, сидел на каком-то ящике и пил молоко из кринки.

— Хочешь молока? — спросил он Алешу и, когда Алеша отказался, допил все.

Подошел другой, постарше, и угостил их папиросами. Не табаком, а настоящими папиросами «Казбек». Какого звания были эти летчики, неизвестно, потому что были они в кожаных куртках без погон, но, конечно уж, офицеры.

— Ты посмотри, какой подсолнух,— сказал старший летчик,— как блюдо все равно. Надо бы Валерке привезти...

— А у вас сын? — спросил неожиданно Алеша.— Вот и у младшего сержанта,— он кивнул на Николая,— сын...

— Да, сын,— ответил летчик, не заинтересовавшись сыном Николая,— сын у меня, Валерка. У нас, у летчиков, многие так сыновей называют — Валерий. В честь Чкалова...

Стало вечереть. Подъехали грузовики с обмундированием. Что еще такое? Ротный вскочил на машину, стал наверху, в кузове, расставив ноги.

— Слушать внимательно! Всем известно насчет власовцев? Сейчас получите ватное обмундирование — брюки и фуфайки. Во всей нашей оперативной группе, начиная от рядового и кончая генералом, не будет ни одного человека в шинели. Все слышат? Ни одного нашего человека в шинели! Если кто-нибудь в шинели будет кричать: «Свои!» — или что еще, бей без разговору: это враг! Получить новое обмундирование!

— Ясно? — крикнул взводный.

Надели все новое, шинели побросали в грузовики. Получили свои парашюты. Надели десантные рюкзаки, тяжелые, в них продукты, боекомплект, гранаты — все хозяйство. Сверху, на спину,— парашют. Впереди, на животе, запасного парашюта нет — при боевом прыжке не положено. Со всем этим стоять на ногах тяжело, легли на бок — единственно удобное положение,— стали ждать.

Совсем стемнело. Они лежали молча, ждали, ни о чем не думая.

Карпов начал рассказывать, непонятно к чему, об одной девчонке, любившей его. Она была дочкой начальника ленских золотых приисков, и если бы он ответил ей взаимностью, то тоже был бы сейчас большим начальником, была бы у него броня, но он честный человек и уехал оттуда. А девчонка решила его разыскать...

Карпов явно врал, и чем дальше, тем больше, но никто не пытался опровергнуть его и вывести на чистую воду.

На земле было очень тихо, потом взревел заведенными моторами первый самолет.

Старшина принес спирт, его как-то разливали в темноте по кружкам. Николай сунул Алеше кружку и сухарь. В кружке было мало. Алеша выпил разом, пожевал сухарь.

Потом лейтенант подал команду, они встали и пошли и шли довольно долго, подошли к самолету, остановились, натыкаясь на передних. Лейтенант побежал что-то выяснять, они ждали, затем он вернулся, и они стали подниматься в самолет по трапу.

Они сели на две длинные скамьи, идущие вдоль самолета, друг против друга. Горела синяя лампочка, и лица их были неприятного странного цвета. Кто-то крикнул снизу, снаружи:

— Счастливо!

— Спасибо! — ответил лейтенант.

Двери закрыли, зашумели моторы, сперва один, потом второй, самолет слегка задрожал, все громче ревя моторами. Потом он двинулся с места, стал разгоняться, но они знали, что это был еще не настоящий разгон, он замедлил движение, остановился, вырулив на старт, и вот теперь стал разгоняться по-настоящему, затем он оторвался от земли и сразу же немного провалился вниз, словно его потянуло обратно, словно он не хотел расставаться с землей. Но тут же он резво пошел вверх.

Они долго летели, сидя в синем полумраке, глядя на странно освещенные лица товарищей и ничего не говоря, потому что в реве моторов ничего нельзя было услышать. Прямо против Николая сидели Карпов и Колотилов. Карпов сидел твердо, положив руки на колени и хмуря брови. Колотилов ерзал на месте, то жмурился, то вновь открывал глаза, то опускал голову, то задирал ее, касаясь затылком парашюта.

Алеша сидел рядом с Николаем, справа от него. Они касались друг друга плечами, как в строю, как на том снимке. Николай покосился на Алешу. Тот задумчиво смотрел на Карпова, но, должно быть, не видел его.

Они не знали, сколько они летят, но Николай чувствовал, что скоро они будут на месте. Один раз за бортом самолета возникло несколько лопающихся и свистящих звуков, и Алеша вопросительно глянул на Николая, но тот сидел так же неподвижно.

Потом резко зазвучала сирена, и тут же замигала у входа в штурманскую кабину красная лампочка — «приготовиться!».

Они встали и повернулись направо — в затылок друг другу, будто стояли в очереди. И Николай стоял следом за Алешей. Открыли обе двери, на обе стороны. Там, за дверьми, был мглистый рассвет, что-то серое — не то дым, не то облака.

— Пошел!

Очередь двинулась, и уже первые исчезли в мутных проемах дверей. Лейтенант стоял спиной к пилотской кабине и, как регулировщик, делал отмашки — направо, налево, направо, налево. Скорей! Скорей! Скорей!

Полетели вниз ПДММ с противотанковыми ружьями — в одну дверь. А в другую уже Алеша делает короткий шаг и вылетает наружу, и Николай следом выходит в ту же дверь, видит мутное серое небо — не то в облаках, не то в дыму разрывов — и окунается в него. Несколько мгновений спустя он уже сидит на лямках подвесной системы, слышит пальбу внизу и видит ненадолго, ниже и правей, спускающегося Алешу.

«Алеша! Как дела?» — хочет крикнуть он, но не решается, будто кругом тишина и на земле могут услышать его. Внизу стреляют, и он опускается, высвобождая автомат.

6

Алексей Егорычев ехал из госпиталя.

Держа под рукой вещмешок с сухим пайком, он курил, щурясь от табачного дыма, и посматривал в окно. Он ехал в вагоне, который почему-то назывался «классным» — наверное, просто в отличие от теплушек,— в битком набитом вагоне, и слушал разговоры, и рассказы, и рассуждения о положении на фронтах. И говорили об этом люди — старики, мальчишки и инвалиды — обстоятельно, уверенно, убежденно.

— Давно переключили задний ход на передний! — сказал парень в шинели с засунутым в карман левым рукавом.

За время, которое провел Алеша в госпитале, у него порядочно отросли волосы — удалось уберечься от стрижки,— они уже не просто топорщились, а слегка вились, мягкие, волнистые.

Справа на гимнастерке были у Алеши гвардейский значок и парашютный значок, а слева — орден Славы III степени и медаль «За отвагу». Они висели на колодках и, когда Алеша двигался, чуть-чуть позванивали.

Вот ты и настоящий солдат, Алеша! Ничего не скажешь!

Стучали колеса, какая-то старуха говорила парню с одной рукой:

— Ничего, милай, мне в Лисогорске слазить, ты мою полочку и занимай!

Алеша повернул голову.

— В Лисогорске?.. Что там такое, в Лисогорске? Лисогорск... Лисогорск... Лисогорск...

И память выбросила ему на поверхность: идет эшелон, они учат адреса товарищей... Лисогорск, улица Челюскинцев, 14, квартира 3, Авдюшин...

Алеша снова скрутил цигарку, жадно затянулся, закашлялся.

— Когда он, Лисогорск? Скоро?

Теперь он, не отрываясь, смотрел в окно. И хотя пейзаж нисколько не переменился — те же сосны и ели,— он представлялся Алеше важным, полным глубокого значения. Это были окрестности города Лисогорска.

Поезд миновал будочку обходчика, переезд с опущенным шлагбаумом, поплыл вдоль перрона, заполненного людьми, страстно жаждущими сесть на этот переполненный поезд. Алеша увидел черные по белой жести буквы ЛИСОГОРСК и вдруг, схватив мешок и шинель, стал пробиваться к выходу.

— Дай-ка пройти, слышь! Дай-ка сойти сначала, кому говорю! — И вырвался-таки на платформу.

Он надел шинель, запоясался, сдвинул пилотку на правую бровь, небрежно бросил вещмешок за левое плечо, вышел в город на грязную привокзальную площадь, спросил:

— Где тут улица Челюскинцев?

Он подошел к дому. Кажется, это был номер 14. Собственно, вся улица была из одинаковых стандартных домов. Они были похожи на его, Алешин, дом, только тот был бревенчатый, а эти оштукатурены снаружи. Правда, во многих местах штукатурка осыпалась, а там, где она сохранилась, она была грязная, в пятнах и потеках.

Около подъезда, сидя на корточках, играл мальчик, совсем маленький. Алеша спросил все же:

— Э, герой, это дом номер четырнадцать?

Мальчик поднял на него темные глаза и молча кивнул. Что-то — он не мог понять что — заставило Алешу остановиться.

— Тебе сколько лет?

— Тли.

Алеша тоже опустился на корточки, задохнулся.

— Как зовут?

— Миса.

— А фамилия?

— Авдюсын.

Молодая, очень молодая женщина выскочила на крыльцо, спросила прерывисто:

— Вы к кому?

Он поднялся.

— Вы Клава?

В углу на тумбочке стояла в рамке фотография — они с Николаем. Стоят, касаясь друг друга плечами, как в строю или как в самолете. У обоих чистые подворотнички. У одного две лычки на погоне, у другого погоны гладкие. У обоих на груди гвардейский значок, а рядом парашютик.

А за фанерной стенкой шумит рынок, светит солнце.

...Он осмотрелся. Кровать, маленькая кроватка для мальчика, стол, тумбочка, коврик и зеркало на стене, снимки. Швейная машина.

Клава сказала:

— Мама умерла, брат мне прислал машину...

Она с заплаканными глазами накрывала на стол, принесла неизвестно откуда бутылку, подала огурцы, капусту.

— Погодите, погодите! — начал Алеша.

Она поняла:

— Ну что вы! Теперь ведь легче стало...

Он достал из мешка хлеб, тушенку, сахар — свой дорожный сухой паек.

— Не надо, не надо, вам еще ехать! Наливайте.

Он налил ей и себе в граненые стопки.

Она вздохнула:

— Ну, чтоб все было хорошо! — Выпила и опять коротко всплакнула.

Он выпил, и его залила волна жалости и нежности к ней, такой молодой и милой.

— А вас, Алеша, тогда же ранило?

— Нет, меня когда уж ранило! Вместе с лейтенантом! А тогда страшный бой был. Ружье мы свое не нашли. Сбросили его неизвестно куда. Нас минометным огнем накрыли. Много тогда ребят полегло. Мы потом с Карповым танк подбили. Нашли ружье, не знаю уже чье. Я из ружья, а он еще гранатой его приложил. Ну ладно, выпьем!

Он ослаб в госпитале и сейчас быстро захмелел и неожиданно стал рассказывать о себе, о своем поселке, о том, как он уходил в армию, о Ляльке и об Антонине, и она слушала его серьезно и внимательно, глядя на него заботливо и нежно, и так же серьезно и внимательно слушал его мальчик.

Стемнело. Она зажгла свет — здесь и с самого начала не было маскировки. Она уложила Мишу, и они долго еще сидели у стола и разговаривали.

Потом она сказала:

— Я вам сейчас постелю на кровати, а сама на полу лягу.

Он запротестовал:

— Почему? Я на полу!

— Нет, нет, вы еще на полу да на земле належитесь.

Она постелила ему и вышла, он разделся, лег. Она, войдя, погасила свет, он напряженно слушал, как она раздевается. Он долго прислушивался, лежа с открытыми глазами, время от времени ровно дыша, притворяясь, что спит. Он отоспался в госпитале и теперь мог не спать. Но постепенно сказалась усталость и выпитая водка, и его сморил сон.

А она еще долго не спала, глядя в темноту широко раскрытыми глазами.

Когда он проснулся, она уже встала и возилась на кухне. Он умылся, сел за стол, они встретились глазами, и он подумал вдруг: «Дурак я, дурак!»

С Мишей на руках она пошла провожать его на станцию. Потом она устала, и Мишу нес он. На станции купил ему красного сахарного петушка на палочке, а она говорила:

— Ну зачем же? Ведь дорого очень...

Показался вдали поезд, и опять зашевелилась, зашумела толпа, страстно желающая сесть на этот переполненный поезд, и охрипшие, огрубевшие, одуревшие проводницы готовились, не надеясь на успех, отразить этот натиск.

— Ну, я поехал,— сказал он, и они неожиданно просто, без колебаний, расцеловались.

— Кончится война, я приеду!

Она снова коротко всплакнула и, держа на руках Мишу, смущенно улыбаясь, быстро-быстро закивала головой.

7

Они ехали в Германию, в Группу советских войск. Сначала они не знали, куда едут, видели только, что на запад, потом миновали Брест, быстро пересекли всю Польшу, переехали через Одер.

Выгрузились из эшелона. Они служили в армии уже два месяца. Они были в шинелях и шапках, потому что в Союзе войска уже перешли на зимнюю форму одежды, а здесь было еще тепло, и наши, встречавшие их, были еще в пилотках.

Погрузились в машины, поехали по выпуклому, блестящему от мелкого дождика асфальту через маленькие, словно игрушечные, городки, мимо зеленых, лишь кое-где тронутых желтизной рощ.

Около контрольно-пропускного пункта загремел маршем встречающий их оркестр. Они въехали внутрь, построились на плацу.

— Смирно! Равнение на середину!

Миша Авдюшин, стоявший в первой шеренге, увидел, как из красного кирпичного дома вышел высокий моложавый генерал, а вместе с ним полковники и другие офицеры.

Генерал подошел поближе, приложил руку к козырьку.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ генерал! — дружно ответили они, и это звучало, как а-а-а-а!

— Вольно! — бросил он негромко.

И сразу несколько звонких голосов донесли до всех:

— Вольно! Вольно!

— Товарищи! — начал генерал негромко, но было слышно каждое слово.— Вы прибыли в Группу советских войск в Германии, на один из самых ответственных рубежей. Вы будете нести свою службу далеко впереди наших пограничных застав и постов. Это почетно, и это накладывает на вас особую ответственность. И еще одна важная особенность. Вы пополнение рождения тысяча девятьсот сорок первого года! Вы родились в суровый, страшный год, когда мы отступали с жестокими боями, когда мы вырывались из окружения, теряли друзей и близких. И отцы многих из вас сложили свои головы в борьбе за свободу нашей великой Родины, за вашу свободу.

В тот тяжелый год мы верили в победу, но мы не думали, что вы, дети, рожденные тогда, будете в рядах нашей армии служить здесь, на немецкой земле, освобожденной от фашизма.

Мы верим в вас, солдаты тысяча девятьсот сорок первого года рождения! Я желаю вам отличной службы, больших успехов в боевой и политической подготовке, счастья в личной жизни вам и вашим близким. Ура!

— Ур-р-р-а-а-а-а! — покатилось над строем.

Однажды в воскресенье — уже весной — они поехали на экскурсию в близлежащий городок. Они без строя шли по площади, у старшины был аппарат, и он фотографировал их на фоне памятников и разных красивых домов с башенками и говорил:

— Карточки только тем, кто заслужит!

Прошли куда-то попарно — наверно, тоже на экскурсию — маленькие немецкие ребятишки, замахали руками, закричали по-русски:

— Дружба! Дружба!

Старшина их тоже сфотографировал.

Потом вышли еще на одну площадь, там расстилался яркий зеленый газон, темнели аккуратные дорожки, и посредине стоял обелиск с надписью: «Слава героям Советской Армии, которые в самые последние дни войны отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма».

А за этим обелиском были маленькие каменные плиты с выбитыми на них именами.

Миша Авдюшин вместе с другими ходил по тропинкам около этих плит, читая про себя, а иногда произнося вслух фамилии лейтенантов, сержантов, рядовых, когда-то давным-давно погибших здесь, в бою за этот чистенький, вымытый городок.

— Пошли к машине! Ехать пора! — произнес кто-то из солдат.

Но Миша не слышал. Он стоял над плитой, на которой было выбито: «Гв. сержант Алексей Егорычев. 7.V.45 г.»

Миша стоял над этой плитой, мучительно сдвинув брови. Оно было очень знакомо, это имя. Миша много раз его слышал, но сейчас почему-то не мог вспомнить, где и когда, но он знал и чувствовал, что просто случайно не может, что вспомнит это обязательно и очень скоро; может быть, даже сегодня, может быть, даже сейчас.

— Авдюшин, строиться! — крикнули от машины.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

ИЗ ЛИРИКИ

Весна

В лощинах снег, слоистый, как слюда.
От падающих капель конопатый.
Смотри! — ручей надбил скорлупку льда
И снова спрятался, как виноватый.
Он что-то с берега хотел стянуть —
Уже струю он протянул, как руку.
...Кусок коры, хвоинку,
что-нибудь,
Что первых поисков умерит муку.
Краснеет пня сочащийся надрез.
Лучи в ветвях плегут свои корзины,
Ноздрями мха свободно дышит лес;
Лед на воде не толще паутины.
Я прутиком разбила лед ручья.
— Бери весну, ручей!
Она — твоя!

Попугай

По клетке, шкафами задвинутой,
Где книги в пыли вековой,
Взъерошенный, всеми покинутый,
Он бегает вниз головой.

Чудак с потускневшими перьями!
Чудит — а под веками грусть...
Язык истребленного племени
Он знает почти наизусть.

Язы́к,
За которым ученые
Спускаются в недра веков,
Где спят города, занесенные
Золой раскаленных песков.

Язык,
Что плетьми виноградными
Петляет по плитам гробниц
И хвостиками непонятными
Виляет с разбитых таблиц.

Прекрасный язык!
Но забылся он,
Забылся, навеки заснув,
Огромный,— но весь поместился он,
Как семечко, в маленький клюв.

Привык попугай разбазаривать
Бесценную ношу в тоске,
С собою самим разговаривать
На умершем языке.

В кольце кувыркаться стремительно,
Вниманья не видя ни в ком.
И сверху смотреть снисходительно,
Когда назовут дураком.

Сводники

Кухарка вышла замуж за компот,
Взял гусеницу в жены огородник,
Грядущий день влюбился в прошлый год,
А виноваты — сводница и сводник.

У сводников — своих законов свод:
К бирюльке в плен идет бирюк-работник,
Прилежницу всегда прельщает мот,
Но никогда — негодницу негодник.

Всех сводят сводники:
Козла — с капустой;
Сор —
С отсутствием метлы;
Рубашку — с молью;
Огонь — с водой;
Пилу или топор —
С деревьями;
Шиш — с маслом,
Рану — с солью.

Но близок час расплаты!
Он придет —
И сводника со сводницею сведет.

Исправленный

Поэта понемногу исправляли
Друзья. Вдвоем, втроем, вдесятером...
Улыбками участливой печали,
Овсом, кнутом, конфеткой, топором...

К хвостам коней привязывая, рвали,
На вертеле держали над огнем...
Исправился бедняга,
Но едва ли
Услышат внуки что-нибудь о нем.

Умылся, причесался, обтесался.
Друзья ушли — и хлопнули дверьми:
«А жаль, что он так пошло исписался!
В нем что-то было, черт его возьми!»

И — с толку сбитый и подслеповатый —
Старел поэт с улыбкой виноватой...

К 100-летию со дня рождения

САБИР

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Творчество великого азербайджанского поэта Мирзы Алекпера Сабира, чье столетие со дня рождения отмечается в нашей стране, знаменует важную веху в истории азербайджанской культуры.

Сабир был новатором в азербайджанской литературе. Работая почти во всех классических формах восточной поэзии, он придал им новое содержание, нарисовал галерею социальных типов своего времени.

Одним из распространенных творческих приемов Сабира является рассказ-саморазоблачение от лица тех, кого поэт решил подвергнуть едкому осмеянию. Это рассказ моллы о своих проделках, жалоба помещика, которого возмущает дерзость рабочего, осмелившегося бороться за свои права, песенка кочи — наемного убийцы, которому нет дела до угнетенного и обездоленного народа, и другие.

Ниже мы печатаем два стихотворения Сабира в новых переводах.

Посвящается бакинским рабочим

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Зачем свой нос во все дела теперь сует рабочий?
Зачем бояться перестал своих господ рабочий?
Зачем, богатых не страшась, идет вперед рабочий
И за какие-то права борьбу ведет рабочий?

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Зачем, рабочий, мы тебя должны хвалить всечасно
И почему твои слова звучат отныне властно?
Глупец, богатых уважай, их славя громкогласно,
И много, мало ли дают — смотри подобострастно!

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Будь осторожнее, богач, своим добром владея.
Рабочий правду говорит? Не слушай ты злодея!
Крамолу черни уничтожь, к наживе тяготея,
Со всяким нищим не делись казною богатея.

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Богач, ты хочешь на земле прожить в покое, в мире,
Не знать, что есть и страх, и месть, и зло другое в мире?
Тогда с рабочим не дружи — найди иное в мире:
Копи деньгу и презирай все остальное в мире!

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Зачем тебе любить народ, на рабство обреченный?
Зачем тебе кормить сирот, чьи раздаются стоны?
Чертоги власти и щедрот воздвиг ли угнетенный?
Для слабых — бич, для бедных — гнет: вот богачей законы!

Река времен стремится вспять. Что стало с нашим веком?
Рабочий тоже пожелал считаться человеком!

Перевел с азербайджанского **С. Липкин.**

Что мой сын нашел в ученье?

Ну что хорошего нашел мой сын в ученье?
Долбит все то же! Ах,
От чтенья книг, газет и прочей дребедени
мой сын зачах!
Читает день и ночь — сошел с ума, как видно.
Другой надежды нет,
Как на тебя, аллах. Обидно мне и стыдно.
Жена, подай совет.
Все ты, проклятая, ты, ведьма, виновата:
не ты ли в дом внесла
Заразу книжного, безбожного разврата?
Молчи, исчадье зла!
Тебе, злодейка-мать, глаза бы вырвать надо:
свое дитя любя,
Какая мать его низвергнет в пламя ада?!
Бог покарай тебя!
Кто вынудил меня отдать мальчишку в школу,
шайтана дочь?!
Что делать думаешь? Ведь мы в беде тяжелой.
Чем тут помочь?!
Как мальчика спасти? Где взять бальзам целебный,
представить не могу!
От книжек и газет, от чепухи учебной
туман в его мозгу.
Мой дом ты рушила, сгубила сына, дура,—
конец мне самому!
Знать не хочу наук, что мне литература,
искусства мне к чему?!
Мечтал я, чтоб мой сын добился уваженья
без глупых книг,

Чтоб сильным кулаком — богатства, положенья,
как я, достиг.
Хотел я, чтоб мой сын подобен стал Рустаму,
чтоб славу заслужил
Разбоем, грабежом и, преданный исламу,
жил — не тужил!
Из-за тебя, жена, погиб сынок мой милый,—
несчастный я отец!
Смотри, как сохнет он, всегда унылый, хилый,
неопытный птенец!
Ай, непутевый сын — мое страданье, мука!
Когда же ты поймешь,
Что денег не сулит нам книжная наука,—
нам их дает грабеж!
О свет очей моих, меня счастливым сделай —
от книжек отрекись,
Сядь на коня, скачи: преуспевает смелый!
Так за разбой берись!
Себя ты изведешь учебою усердной.
От грешной чепухи
Скорее откажись, прочь, прочь от книжной скверны.
Оставь стихи!
Как ни был бы учен, а никому не нужен
без денег человек!
В морях поэзии будь лучшей из жемчужин —
оценят ли в наш век?!
Ты роду моему почтенному изменник,
черт побери!
Пойми, ученостью не наживают денег!
Ну что ж — дури,
Читай, зубри,
Жри сухари,
Вопи, ори
И хоть сгори —
Себя кори!

Перевел с азербайджанского **Лев Пеньковский.**

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

ТИШИНА

*Роман**

Глава девятая

Не раздеваясь, уже в конце ночи задремал на диване, неудобно прикорнув на боку, и в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто воровски спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих людей.

— Сергей, Сергей!..

Он рывком сел на диване — и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове.

Было утро, солнце висело над мокрыми крышами.

Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати, укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне; синие тени проступили под веками. Сергей, отчетливо вспомнив все, подумал сразу, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса, позвал осторожно:

— Ася!..

Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился и вместе с ним — громкий голос Константина в коридоре:

— Сергей, открой! Открой!

С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного, в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.

— Сережка! Отца взяли? Ночью? — Константин скользнул взглядом по комнате со следами беспорядка — книги, бумаги еще валялись на полу,— придвинулся к Сергею, сжимающему зубами сигарету.— Сережка... ночью взяли... отца? Я слышал возню — ни дьявола не понял! Что молчишь, т-ты?..

— Да,— сказал Сергей.— Не все ли равно когда.

— И Ася?...— Константин на цыпочках подошел к кровати, где, сжавшись, лежала она под пальто, наклонился с желанием помощи — положил руку на край постели, прошептал: — Асенька.

Она лишь на секунду посмотрела на него, стуча зубами, с испугом и, застонав, повернула голову к стене, зажмурясь, как от боли.

— Быков! — вдруг осипшим голосом проговорил Константин, оглядываясь на Сергея.— Быков! — крикнул он.

---

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 3, 4 с. г.

И рванул дверь, выскочил в коридор, и сейчас же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и, поняв, бросился следом за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова.

— Костя! Сто-ой!..

Он не успел догнать Константина, увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его, так, что трещала пижама, рыхло колыхалось короткое плотное тело. Быков не отбивался. только, съежив шею, багровый, вздымал голову к потолку, хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.

— Па-аскуда! Сволочь!.. Это ты... это ты, б..., доносы строчишь? Ты людей мараешь?.. Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать!

Он, крича, перекосив неузнаваемо лицо, дернул Быкова к себе — с треском лопнула, расползлась пижама на груди, обнажая пухлую волосатую грудь. И в это же мгновенье Сергей, напрягая мускулы, оттолкнул их, оторвал друг от друга. Быков в расползшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударившись о нее спиной так, что полетели на ковер фарфоровые слоники. Он тяжело сполз на пол, глядя на обоих глазами загнанного зверя.

— Костя, подожди! Костя, стой! — крикнул Сергей, боком став между Быковым и Константином.— Подожди, я тебе говорю!

— Живет мразь на земле: ест, спит, ворует, ходит в сортир! — задыхаясь, выговорил Константин и шагнул к Сергею.—Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит! А? Все берет от жизни, а сам копейки не стоит! Гроша не стоит!

— Ответите... за все ответите... я вас всех... ответите... истязание...— одними губами бормотал Быков, сидя на полу, и слезы побежали по щекам, он рванулся, пошарил руками по полу, слепо натыкаясь пальцами на фарфоровых слонов, и потом, покачиваясь и схватив себя по-бабьи за щеки, закричал визгливым шепотом: — Лю-юди! Люди-и! На помощь, на помощь!

— Люди, помогите этой мрази, поверьте этой шкуре! Люди-и! — передразнил Константин, заглушая крик Быкова.— А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?

Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сжимал щеки ладонями, с одышкой выдавливая из себя:

— Люди, люди-и!..

Мигали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало его жалкой бабьей позе, неуверенному крику, его разорванной на волосатой груди пижаме. И Сергей почувствовал отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал. «Мог ли он оклеветать отца? — спросил себя Сергей. И ответил сам себе: — Мог...»

Он ответил сам себе «мог», но все же не поверил, как сразу поверил этому Константин, и с тяжестью в голове, не оставлявшей его после ночи, сказал:

— Пошли, Костя.

— Я еще доберусь до тебя, паук! — Константин, выругавшись, отшвырнул носком ботинка валявшегося на полу фарфорового слоника.

— Петя, что ты? Что с тобой сделали? — взвизгнула жена Быкова, вбежав из кухни в комнату.

— Люди-и!.. Люди-и!.. На помощь,— все нарастая, все накаляясь, переходя в сильный рев, неслось из комнаты Быкова.

— Ты встанешь завтракать, Ася?

— Мне не хочется, Сережа. Я полежу. Можно?

— Что у тебя болит?

— Ничего.

— Ну что-нибудь болит?

— Нет.

— Ну что-нибудь?

— Нет. Немножко озноб. Это грипп. Возьми градусник. Пожалуйста...

— Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь? — повторил он.

— Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп.

Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деление, не веря: температура была пониженной — тридцать пять и четыре. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем; белизна ее лба, в ознобе дергавшиеся веки, худенькая жалкая шея вызывали в Сергее чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу, будто лишь сейчас понял, осознал, что это единственно родной человек, которому был нужен он. «Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен...» —подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил вполголоса, нежно, как никогда не говорил с ней:

— Сестренка, не хочу слышать слово «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу.

— Я спать... Больше ничего. Спать...— прошептала Ася, не поворачиваясь от стены, и когда говорила это, край губы начал вздрагивать и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом движением плеча краем одеяла вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом: — Костя здесь? Пусть уходит, пусть уходит! И ты уйди... Я одна. Мне одной...

Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял молча, прислонясь плечом к косяку, тоскливо покусывая усики. Услышав ее шепот, мрачно кивнул, с хрипотцой сказал:

— Асенька, я ухожу.— И с трудом оторвал плечо от косяка.

Когда оба вышли в другую комнату, Константин спросил угрюмо:

— Она видела все?

— Да.

— Ну что мы стоим как идиоты? — непонимающе воздел руки Константин.— Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?

— Не надо орать.— Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся от усталости.— Я попросил бы тебя,— добавил он мягче.

В другой комнате стояла полная тишина.

— Жизнь бьет ключом,— произнес Константин ядовито.— И все по головке. Все норовит по головке. Н-да, стальную головенку нужно иметь. Ну что мы сидим?

Сергей не узнавал его — шла от Константина непривычная для него и раздражающая Сергея самоуверенная сила.

— Слушай,— сказал Константин,— ты хоть знаешь — он на Лубянке?

Сергей молчал — был он разбит, опустошен ночью, не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад, в ушах, как во

сне, звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги и усталость, удушье подступало к горлу; хотелось лечь, закрыть глаза.

— Костька, уйди, я полежу, отдохну,— проговорил Сергей и лег на диван.

И тотчас что-то скользкое, вызывающее тошноту заколыхалось перед ним, и среди этого двигалась, мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестевший в мутной тьме. И почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и стучали капли, били в висок металлическими молоточками, и что-то непреодолимо надвигалось на него. И, пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березовых поленьев, Сергей, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон...

«Что это? Что это со мной?»

Он судорожно приподнялся на диване, озираясь,— слепило солнце в окно, четко зеленела листва лип. Был полдень, тишина, жара в комнате.

— Что я? — вслух сказал Сергей, чувствуя мокрые щеки, вспоминая, что он только что плакал во сне, и стыдясь этого.— Что я? — повторил он и снова лег тихо, вытирая щеки. Потом, услышав голоса, повернул голову.

В углу комнаты на краю стула сидел Мукомолов, напротив него — Константин; Мукомолов, подергивая, пощипывая бородку, смотрел в пол, слушал Константина — тот что-то говорил ему, часто затягиваясь сигаретой. Увидев их, Сергей отвернулся к стене.

— Это ужасно,— сказал Мукомолов.— Зачем это, зачем это, кому это нужно? Ужасно! Николай Григорьевич — честный коммунист. Я верю, я знаю. Кому нужен его арест?

— Таким сволочам, как Быков,— нетерпеливо ответил Константин.— Вот вам ответ на все ваши вопросительные знаки. Чему вы удивляетесь? Подлецам верят! Верят их словам, доносам! А вам — нет!

— Не делайте обобщений, Костя! Стыдно! — шепотом крикнул Мукомолов.— Что значит верят? Ложь, цинизм! Я живу, вы живете, живут другие люди, миллионы советских людей. Подлецы — накипь! Именно — грязная накипь! Мы должны счистить эту грязь, да, да! Так, чтобы от нее брызги полетели, брызги! Это жаль, это горько! Но не все подлецы! Нельзя! Кроме того, эти органы — да, да! — контролирует Берия!..

— А кто его знает? — с неохотой проговорил Константин.— Я с ним чай не пил.

Сергей с закрытыми глазами слушал голос Константина и думал, что все это было: его, Сергея, грубовато-ядовитые разговоры с отцом, и открытая насмешка, и грустные, что-то особо знающие глаза отца — понимал, что не мог ему простить усталости после войны, после смерти матери, его замкнутости, похожей на равнодушие, его ранней седины. Он не мог простить ему старости.

«Болен... Он был уже болен, болен! — подумал он и даже замычал, стискивая зубы,— вспомнил долгие лежания отца на диване по вечерам, шуршание газеты, молчаливую возню с позванивающими пузырьками за дверью и тишину после этого.— У него все время болело сердце! Что я сделал? Как помог? Раздражался, злился!.. Один вид отца раздражал меня...»

Он лежал весь в поту, и удушье в горле, что было во сне, не отпускало его. «Что это со мной?» — подумал он и дважды глотнул воздух и, преодолевая это незнакомое оцепенение тела, спросил с тревогой:

— Как Ася? — И сел на диване.

Мукомолов, с яркими пятнами на щеках, сутулый, в своем длиннополом пиджаке, на носках, ныряющей походкой приблизился к дивану, своими испачканными краской пальцами сжал Сергею плечо, бородкой указал на дверь в другую комнату.

— Там Эльга Борисовна. Ничего, ничего... Это, как говорится...— забормотал он неопределенно и чуть исподлобья все смотрел выцветшими глазами как бы сквозь Сергея, точно видел что-то свое.— Там они, да, да, женщины...— снова забормотал он и тотчас вынул чистый клетчатый платок, высморкался, как бы не зная, что делать, долго вытирал мясистый нос, бородку, заговорил, покашливая: — Вам, Сережа... это полагается, да, да, члену партии... Это необходимо... здесь никого не обманешь... и нет смысла... Заявление в партком... Поверьте... так лучше... В партком института вам надо...

Сергей молчал.

Мукомолов, грустно подняв брови, тоже помолчал.

— Николай Григорьевич арестован органами МГБ, и в этих случаях... да, да...— Не договорил, с жадностью закурил папиросу; казалось, задымилась вся голова.

Сергей проговорил отчужденно:

— Это ошибка, Федор Феодосьевич. Отец будет дома. Зачем мне заявление?

— Да, да, да,— пробормотал Мукомолов и подергал бородку так, что папироса затряслась в зубах.

Константин, взглянув на Сергея, сказал:

— Напиши. Бумаги не жалко. На всякий случай.

— Никаких заявлений, пока своими ушами не услышу правду!— ожесточенно сказал Сергей, вставая с дивана.— Пока все не узнаю об отце. Я на Лубянку пойду, к министру пойду — все узнаю. Заявление! — повторил он.— Какое заявление?

— Сережка-а,— сжав ладонями виски, произнес Константин.— До министра ты не дойдешь. А осторожность — часть мужества, как сказал один умный человек. Не лезь напролом, Сережа...

Помолчав, Сергей шагнул к Константину, проговорил спокойно:

— Такая осторожность — это мужество для сволочей. «Знать ничего не знаю, отца арестовали, я к этому отношения не имею». А я знаю, что отец не виноват.

Мукомолов, рассеянно посасывая папиросу, глядел в окно, на солнце, в оранжевой пыли садилось оно за крыши домов. Константин угрюмо рассматривал ногти, и Сергею в эту минуту было больно и неприятно то, что он слушал его невнимательно.

— Фамилия министра МГБ Абакумов,— проговорил Константин.— Рад, если ты дойдешь до него.

— Я все узнаю. Я потрачу на это все время, но узнаю все,— повторил Сергей.— Я все узнаю, все!.. Иначе не может быть...

— Действуйте, действуйте, Сережа, дорогой! — Мукомолов нервно заходил по комнате, покашливая, рассыпая вокруг себя пепел от папиросы.— Нужно бороться, нужно не опускать руки! Простите, Сережа, мы здесь мешаем, мешаем!.. Вам надо побыть одному, обдумать все! Эля! — шепотом позвал Мукомолов, затоптался возле двери.— Эля, Эля!

Дверь приоткрылась, бесшумно вышла Эльга Борисовна, маленькая, хрупкая, движения тихи, близорукие глаза виновато прищурены.

— У нее не грипп, никаких признаков,— шепотом сказала она и растерянно показала кальцекс на детской ладони.— У нее нервы, Сережа... Она бредит, плачет, бедная девочка. Ее преследуют какие-то ужасы...

О, как это понятно, как понятно... Я позвоню на Петровку, у нас знакомый врач... Федя, перестань курить, пожалуйста, и не кричи! Девочке нужны покой, тишина... Сережа, если ты позволишь, я буду с Асей. Бедная девочка сжимала мне руку, когда я сидела рядом... Боже мой, боже мой...

— Это... это серьезно? — не сразу спросил Сергей, не отрывая взгляда от кальцекса на ладони Эльги Борисовны, желая только одного — чтоб с Асей не было серьезно.— Это... быстро проходит?

— Как я могу знать, Сережа? Надо вызвать хорошего врача.

— Уже,— недовольно произнес Константин со своего стула,— я вызвал профессора из Семашко. Этому профессору в тяжелые времена завозил дрова. Это не забывают. Будет через час.

— Спасибо, Костя,— сказал Сергей негромко.

— Пошел... со своим спасибо! — ответил Константин, отворачиваясь.

Мукомолов и Эльга Борисовна посмотрели на него удивленно.

Внезапно затрещал, словно вскрикнул, телефонный звонок. Сергей, вздрогнув, сорвал трубку, сказал «да», и знакомый, чудовищно знакомый теплый голос прозвучал из трубки, как будто из другого мира, с далекого Марса:

— Сере-ежа...

— Его нет дома,— не слыша самого себя, сказал Сергей и положил трубку.

Глава десятая

Справочная МГБ находилась на Кузнецком мосту — Сергей точно узнал это.

После жары полуденной улицы, потока машин, горячего света стекол, после душного асфальта тревожно было войти в пахнущий холодным бетоном подъезд, в полутемную от запыленных с улицы окон приемную с кабинетно темными дубовыми панелями, с дубовыми стульями у стен.

Была тишина здесь особая, больничная; люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья, лица казались тусклыми пятнами.

Когда Сергей вошел сюда с преувеличенной решимостью, с неисчезающим желанием действовать, он спросил громко: «Кто последний?» — и тотчас, услышав бесцветный ответ: «Я», почувствовал ненужность своего громкого голоса — с крайних стульев взглянули на него опасливо и вопросительно. Женщина в белом пыльнике, с усталым красивым лицом вздохнула, и беззвучно захныкала, кривя большой рот, некрасивая девочка лет пяти у нее на коленях, придавливая к груди соломенную корзиночку; лысый, начальственного вида мужчина, бесцветно ответивший «я», помял кепку в руках и замер, держа ее меж колен.

— Я за вами,— вполголоса проговорил Сергей, и этот кисловатый казенный запах приемной, этот чужой запах неизвестности сразу же обострил ощущение беспокойства.

Лампочка сигналом зажглась, погасла над дверью, обитой кожей, и человек в углу неслышно вскочил, с лихорадочной торопливостью засовывая газету в карман пиджака, и мимо него из серых тайных глубин комнаты быстро простучала каблуками к выходу молоденькая женщина, непослушными пальцами закрывая лицо носовым платком, сморкаясь осторожно. Человек с газетой оглянулся на нее, неуверенно потянувшейся рукой открыл дверь, обитую кожей, и тихая, как будто пустая, без людей комната поглотила его.

Все молчали, прислушиваясь к слабо возникшим, зашуршавшим

голосам за толстой дверью. Лысый мужчина с начальственным видом мял кепку, глядел в пол. С улицы, залитой солнцем, глухо — сквозь двойные пыльные стекла — доносились гудки автомобилей на Кузнецком мосту. Девочка стеснительно завозилась на коленях у красивой женщины, растянула губы, крохотные сандалики с белыми носочками задвигались над полом.

— Тетя, пи-ть,— захныкала она тоненько и жалобно.— Тетя Катя, я хочу пи-ть. Я хочу-у...

— Подожди, родная, потерпи, деточка,— заговорила красивая женщина, прижимая к себе слабое тельце девочки, и просительно оглянулась на соседей.— Сейчас наша очередь, и мы пойдем домой. Потерпи, потерпи, маленькая...

Все по-прежнему молчали, не обращая внимания на женщину с девочкой. Лысый мужчина неотрывно, тупо уставясь в пол, мял кепку. Мальчик лет пятнадцати, в футбольной безрукавке, испуганно расширенными глазами следил за лампочкой над дверью, ерзал на стуле, весь пунцовый. Рядом с женщиной — старуха в темном платке, в новых сапогах, возле ног темнел узел; старуха эта, старательно жевавшая из кулечка, покосилась на девочку, вздохнула, вынула из кулечка деревенский пирожок, протянула его, бормоча тихонько и непоследовательно:

— Покушай, покушай, милая. Ить я тут третий раз... Из Бирюлева... Вот зятю велели одежу привезти. И двести рублев... Две сотельных можно. В дорогу-то... О господи, грехи наши...

«Все они... так же, как я? — подумал Сергей, оглядывая сидящих в приемной, угадывая в них то, что было в нем самом.— Кто они? Как у них случилось это?»

Вспыхнула лампочка. Немой свет, сигналя, замигал над дверью. Вышел тот человек с газетой, торчащей из кармана, зашагал к выходу, вытирая взмокший лоб.

— Валенька, пошли, Валенька... Бабушка, она не голодная... Спасибо...

Красивая женщина суетливо встала, потащила девочку за руку к двери, девочка протянула другую руку к пирожку, косо, нетвердо переступая сандаликами, и ее маленькое тельце оказалось точно распятым между дверью и этим пирожком. Девочка громко заплакала, упираясь сандаликами в каменный пол. Женщина сердито втащила ее за дверь.

— О господи, грехи...— всхлипывающе вздохнула старуха, аккуратно завернула пирожок в газету, по-мужски положила большие темные руки на колени.

«Они все узнают так же, как я...— думал Сергей, остро чувствуя эту появившуюся нить, которая связывала его и с лысым мужчиной, и со старухой, и с красивой женщиной, вместе с девочкой ушедшей за толстую дверь.— Как у них случилось это? Так же, как с отцом? Или, может быть, муж этой красивой женщины или отец девочки в сандалях — враг?»

Он мог и хотел поговорить со старухой, с лысым мужчиной, с беспомощным подростком в безрукавке, выяснить обстоятельства ареста, сравнить с обстоятельствами ареста отца. Но отчужденно разъединяющее людей молчание давяще стояло в этой тусклой от пыльных стекол приемной.

В дверь входили и выходили люди — пустела приемная. Она уже гулко отдавала шаги. Никто не задерживался за обитой кожей дверью более пяти минут. Время продвигало Сергея к двери, и со все нарастающим ожиданием он пересаживался на опустевшие стулья. И вдруг свет лампочки словно резанул по зрачкам — и что-то, казалось, мгновенно надвинулось из этой двери на него; широкой фигурой, шумно сопя,

скользнул мимо лысый мужчина со смятой кепкой в руках, и Сергей, как через очерченную границу, перешагнул за этот свет лампочки в чрезвычайно узкую, тесную, освещенную сбоку окном, похожую на коридор комнату.

За огромным — на половину кабинета — письменным столом, лишь с двумя тоненькими папками на углу, выпрямившись, сидел средних лет, с высокими залысинами майор МГБ, одна рука с папиросой — у полных с поднятыми уголками губ, близко поставленные к переносице карие глаза весельчака глядели сейчас заученно-покойно. Эту бесстрастность, как показалось Сергею, немолодой майор умел терпеливо сохранять все время дежурства, потом, видимо, взгляд сразу же менял выражение, тотчас веселел, готовый к своей и чужой остроте.

— Слушаю, слушаю,— сказал он приятным бархатистым голосом, не отнимая холеной руки с папиросой от губ.— Садитесь, молодой человек. Слева от вас стул.

— Я пришел выяснить насчет отца,— сказал Сергей, не садясь.— Я хотел бы узнать...

— Фамилия?

— Вохминцев.

— Имя и отчество?

— Николай Григорьевич.

Майор потянул папку с угла стола, раскрыл ее бледными интеллигентными пальцами, полистал, обволакиваясь дымом папиросы. И хотя в эту минуту ничего не выражающий взгляд его скользил по бумаге и он все выше подымал брови, листая, щелкая страницами в папке, Сергей, стоя перед столом, с задержанным дыханием ожидал внезапной виноватой улыбки на полукруглых губах майора, его вежливого извиняющегося голоса: «Простите, произошла ошибка, ваш отец уже освобожден. Он, возможно, ждет уже вас дома. Так что, молодой человек, простите за ошибку...»

— Вохминцев Николай Григорьевич?.. Ваш отец, Вохминцев Николай Григорьевич, одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года рождения, находится под следствием.

— Под следствием?

Спокойный голос майора вдруг смял все в Сергее — все еще жившую в нем надежду, и сосущая пустота вновь холодом охватила его. Он сказал через силу:

— Мой отец не может находиться под следствием, он не виноват ни в чем. Его арестовали по ошибке. Мой отец — честный коммунист...

— Следствие все покажет, гражданин Вохминцев. По ошибке никого не арестовывают в советском государстве, смею заметить. Заходите. Узнавайте.

Светлые волосы над залысинами были еще, казалось, влажны, гладко блестели после утреннего умывания и причесывания, лицо мучнисто-белое, холеное, только темнота заметна под близко поставленными к переносице глазами весельчака,— казалось, он плохо спал ночь. И голос прозвучал слегка заспанно:

— Я вас не задерживаю, гражданин Вохминцев.

Рука майора заученно потянулась к кнопке. И сейчас же, приостанавливая это движение, Сергей подался к краю стола, где чернела эта кнопка сигнализации, проговорил голосом, заставившим майора взглянуть любопытно-зорко:

— Объясните, пожалуйста, в чем его обвиняют?

Майор молча, с удивлением разглядывал Сергея.

— Где он находится? В тюрьме? Можете ответить? Почему отца арестовали — я могу знать?

Майор нажал кнопку и, выждав, сказал официально, с оттенком раздражения:

— Ваш отец находится под следствием. Повторяю.

— Долго оно будет продолжаться... следствие? — произнес Сергей не в меру громко.

Он уже испытывал то прежнее ощущение непроницаемой стальной стены, притиснувшей его, то бессилие и отчаяние от противоестественной человеческой несправедливости, которую почувствовал тогда в сарае один на один со старшим лейтенантом, и уже не веря даже в уклончивый ответ майора, спросил еще:

— Вы что-нибудь знаете о деле моего отца?

Голос майора был сух, вежлив.

— Ничего не могу ответить вам положительного, гражданин Вохминцев.

Сергей почувствовал, будто летит вниз, в черный провал каменного колодца без дна,— он задыхался от подступавших к нему душных стен, нескончаемо скользящих вверх,— он падал в эту глубину, срывая ногти на пальцах... Ему казалось, он крикнул в бездну колодца: «В чем обвиняют отца?» Из глубины этой проступало покойное лицо, близко поставленные к носу карие глаза человека веселого нрава; человек этот, видимо, привык здесь ко многому. Он торопился покончить с этим неожиданно затянувшимся посещением. Его рука снова потянулась к кнопке сигнала.

— Ваш отец находится под следствием. Я вам сказал об этом вполне русским и ясным языком. Больше ничего не могу добавить. Вы задерживаете посетителей, гражданин Вохминцев.

— Тогда разрешите все же спросить, зачем... на кой черт ходить к вам? Ходить для того, чтобы ничего не узнать?

— Вы, кажется, забываетесь,— внезапно откинувшись, с любопытством во всей позе полнеющего сорокалетнего человека произнес майор и, обежав глазами лицо Сергея, добавил с выражением улыбки:— Иногда легко войти, трудно выйти. Не будьте чересчур смелым, иногда это опасно. Это абсолютно ваше личное дело — ходить или не ходить,— увидев вошедшую посетительницу, уже корректно проговорил майор и привычным движением отодвинул папку на край стола.— Вы ко мне? Прошу вас. Садитесь. Слева от вас стул.

— Спасибо за откровенность,— сказал Сергей.

Он вышел на улицу; везде был пестрый хаос толпы, стекал поток машин по Кузнецкому, была парная духота воздуха, и Сергей двинулся по тротуару, как в жаркой печи, не ощущая внешних толчков жизни.

То, что он говорил майору в справочной МГБ, казалось уже глупым мальчишеством, ненужным вызовом, не имеющим никакого смысла. Все шло от растерянности перед страшной, где-то вблизи неумолимо заработавшей машины, вбиравшей в себя арест, следствие,— той машины, о существовании которой он лишь слышал, но движения которой не видел раньше. Железные шестерни с хрустом прошлись рядом с ним, задев его, смяли наполовину его, и прежняя уверенность в себе, что было так необходимо ему, оборачивалась беспомощной наивностью. Он, казалось, еще искал точку опоры и, не находя ее, чувствовал, что, переломав кости, разобьется; и что-то рушилось, ускользало от него.

«...Мы еще встретимся, Сергей Николаевич...», «Иногда войти легко, выйти трудно...» Железный намек, предупреждение звучали в этом. Наивной своей смелостью он заставил их говорить так. Кому нужна его смелость? Или что-то произошло — и нет доверия, не нужна откровенность? Зажать все в душе, молчать и терпеть — это выход? Это выход? Но зачем тогда жить? «Не будьте чересчур смелым, не будьте чересчур

смелым». Если б в войну кто-нибудь сказал это, он набил бы морду. Что ж, мера человеческой ценности изменилась? Кто мог это сделать? Кому нужно было арестовать отца? Зачем? Где истина? Кто ее знает — один Сталин? Знает и терпит? Во имя чего это? В чем тогда смысл?

«— Что я должен делать? Что делать?»

«— Измениться. Взять себя в руки. Надеть маску милого парня. Со всем соглашаться».

«— Не могу! Не могу!»

«— Тогда тебе сломают судьбу, дурак! Не будь чересчур смелым. Будешь искать истину? Она давно найдена».

«— Не могу, не могу, не могу! Не могу быть камуфляжным. Есть вещи, понятые раз и навсегда. С детства. С войны».

«— Можешь, можешь! Должен. Иначе гибель!»

«— Не могу, не могу!»

«— Можешь! Сначала заставь себя, потом привыкнешь!»

«— Не могу!»

«— Можешь!»

Он остановился на тротуаре, весь мокрый от пота, в ноги дышало жарой асфальта, пекло голову, и улица, оглушая визгом тормозов, гудками, летела, неслась перед ним — мимо сквера, мимо Большого театра, и от этого движения стучало, больно колотило в висках.

«Под следствием... Я должен сейчас же поехать в институт. Я должен сегодня отказаться от практики. Что я должен делать теперь?» — снова подумал он.

Теплые сквозняки продували троллейбус, охлаждая Сергея, пестрота улиц скользила мимо, пропеченное зноем кожаное сиденье пружинило, кидало Сергея вниз-вверх; и сзади шевелился в тесноте, шуме движения, пробивался чей-то дребезжащий голос:

— Не смотрите, что я деревенская женщина, говорю, а я за вас, дохторов, ухвачусь. Что хотите делайте, а его не упустите. А он все на фронте животом мучился. А тут вернулся, поест — схватится за живот: «Ой, мама, пропадаю!» Я говорю: «На фронте самые главные врачи были, чего ж ты у них не полечился?» — «Был я у профессора, говорит, мама, сказал: «Неизлечимо».— «Врешь, говорю, не был».— «Нет, говорит, не был. Я, говорит, как они зашуршат это, сердце рвется. Ничего, я вином вылечусь». Три раза раненый он был, весь фронт там был. Ну вот, поехал он в аккурат перед Октябрьскими к дяде, чистое белье надел, гимнастерку новую, а назад его мертвого привезли. Когда, значит, у него случилось, его сразу в больницу, а у них чего-то неправильно перед самой операцией. Его на самолет — и в Куйбышев. А летчик молоденький, в пути сбился да вместо Куйбышева в Кинели сел. А когда в Куйбышев прилетели, рассвет уже. Семь минут он пожил... и рвало все... лучше б на фронте его убило! Как вспомню я...

Сергей услышал хрипловатый визгливый плач, оглянулся: темное морщинистое лицо деревенской женщины, сидевшей сзади, было искажено судорогой, слезы текли по трясущимся морщинам; грубые, с рабочими буграми пальцы прижимали кончик черного головного платка к губам, к носу. Вся в черном, эта женщина деревенски и траурно выделялась здесь.

И Сергей почувствовал жгучую жалость к ее морщинистому лицу, к ее изуродованным работой рукам. Эта женщина с грубыми руками казалась ненужной, чужой в этом цивилизованном троллейбусе, было чужим, некрасивым ее горе. И возникла вдруг связь, как из колючей проволоки сплетенная связь, между ним и ею. Ему показалось, что она

говорила о нем. Он отвернулся, глядя в дующее зноем окно, ничего не видя.

Если на фронте солдат был убит не в бою, а возле окопа, выйдя по своей нужде, он даже тогда погибал для родных героически. Сейчас солдат умирал в тылу, обычной смертью, от болезни, и смерть его была ничтожной, незаметной. А он не хотел этой смерти, спустя четыре года после войны,— смерти от случайности.

— Лучше бы на фронте убило. Знала бы я...— услышал он визгливые рыдания женщины, и какая-то неподчиненная ему сила подняла его с сиденья, подтолкнула вперед, к выходу. И он спросил кого-то:

— Простите, вы не сходите?

И испугался и удивился своему голосу.

Глава одиннадцатая

Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова партбюро, он нахмурился, услышав за дверью голоса, постоял в нерешительности, спросил:

— Это долго будет?

— Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?

— Почему, Иннеса? И почему — любовная?

Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, у нее были с черным отливом, яркие во все лицо глаза; на ней всегда клетчатая юбка, спортивная блузка, вправленная в юбку; всегда пачка сигарет в черной сумочке. Она была из Каталонии, привезенная в тридцать седьмом году в Россию. Она говорила наивно отчетливо и замедленно, с едва заметным акцентом.

Сергей сказал, садясь на кожаный диван:

— Худеют разве только от любовных историй?

— Конеч-но. Но я шучу! — Иннеса взглянула на него живо.— Вы говорили, у вас жена. Жена? У вас дети, ребенки? — Она подмигнула.

— У меня много детей, Иннеса,— усмехнулся Сергей.— Один в Рязани, другие в Казани.

— Молодец! Это хорошо!

Смеясь, Иннеса стала перед ним, расставив крепкие ноги, узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках — носками врозь, ладонью показала от пола воображаемый рост детей, спросила:

— Так, так и так? О, я люблю детей. У меня будет много детей. Так, так и так. Когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами! А зачем нахмурился, Сережа?

Она наклонилась, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщила губы, лоб, смело и быстро пальцем провела по его бровям, разглаживая их и улыбаясь вопросительно.

— У мужчины должны быть прямые брови. Он мужчина. Надо всегда быть веселым.

— Мне очень весело, Иннеса,— сказал Сергей.— Мне хочется хохотать.

Он особенно, как никогда раньше, ощущал пустоту института, везде на этажах безлюдные аудитории с накаленным глянцем досок — и одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Иннесу. И чувствовал в естественной интонации голоса, в смешно наморщенных губах Иннесы, во всей ее мальчишеской фигуре открытую непосредственность, которой не было у него

сейчас. И слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо бы уехать с ней, бросив все, в какой-нибудь тихий городок с рекой, с тополями, работать и ждать, как праздника, вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике с садом за окном чувствовать ее доброту к нему...

Он отклонился к спинке дивана — стало душно. «Я устал?» — подумал он, и тотчас — стук открываемой двери, приблизившийся звук голосов, отодвигаемых стульев, и он понял: там кончилось.

Сергей встал: выходили из кабинета Морозова члены партбюро, знакомые и малознакомые лица кивали ему бегло, закуривали в приемной, и показалось нечто настороженное, полуотталкивающее в их кивках, в коротком пожатии руки, в повернутых к нему спинах. Косов, с красной, сожженной, видимо, в Химках шеей, обнаженной распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть.

— Слушай, старик...

Сергей увидел, как пронзительно засинели его глаза, и, не отвечая, слегка отстранил Косова, шагнул в кабинет, уже готовый к тому, что могло быть, и не желая этого.

— Я к вам, Игорь Витальевич,— сказал он спокойно, ровным голосом.

Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, длинными пальцами собирая со стекла бумаги в портфель, полы чесучового помятого пиджака задевали разбросанные листки, узкое книзу, серое лицо угрюмо сосредоточенно. Возле стоял Уваров, в тенниске с молнией, сильной, покрытой золотистым волосом рукой подвигал бумаги, объяснял что-то серьезно, негромко Морозову, тот слушал.

В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов, как всегда желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, сжимавшие палку-костылек.

Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью, увидел, как при его словах: «Я к вам» — Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть портфель, как приветливо и широко, как всегда при встречах, улыбнулся Уваров и поднял голову Свиридов, отняв подбородок от палки. «Что ж,— успокаивая себя, подумал Сергей,— он улыбнулся мне как равный равному».

— Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич,— повторил Сергей, подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет разговора один на один.

— А-а, так, так,— суховато произнес Морозов.— Поговорить? Ну что ж. Садитесь. Здесь два члена партбюро, секретарь партбюро.— Он указал на Свиридова и сел, будто обвалился на стул, глубоко запустил пальцы в волосы.— Ну, садитесь. Говорите.

Была минута замешательства — Сергей взглянул на Свиридова, на Уварова,— и в эту минуту Уваров, улыбаясь, подошел к нему, с особой значимостью пожал руку, сказал:

— Садись. Все свои.

— Спасибо. Я сяду.

И какая-то чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда произнес «спасибо», когда ощутил почти неподчиненное ему движение своих пальцев в ответном рукопожатии — и, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь только к Морозову:

— Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу... Как бы я ни хотел, я не могу.— Голос его ссыхался, спадал, он повторил:— Не могу...

— Какие же семейные обстоятельства, Сергей? Если это не секрет? — спросил Уваров сочувствующе.— Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.

— У меня тяжело больна сестра.

Морозов пошевелил пальцами в редких пепельных волосах, взгляд, исподлобья устремленный на Сергея, загорелся недобро. Он отнял руку от волос, стукнул ладонью по столу. Крикнул, вытянув длинную шею над столом:

— Стыд и позор! Стыд и позор! С нашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь — цепь новостей! Сложные семейные обстоятельства, больна сестра — грандиозная причина, чтобы отказаться от главного! Вы, фронтовик, ответьте мне: в бой тоже не ходили, когда заболевал ваш друг? А? Что? Не объясняйте, я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь! Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода! Безобразие, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев!

— У меня больна сестра,— повторил Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказательна, но упорно повторяя ее.

— А, Вохминцев! — произнес Морозов, с досадой теребя, взлохмачивая волосы.

— У тебя, кажется, семья состоит из трех человек: ты, отец и сестра,— сказал Свиридов своим обычным, округляющим слова голосом, сказал это, опираясь подбородком в набалдашник палки, глядя в стол.— Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?

«Вот оно, главное! — скользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся пергаментные щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытала изжога — он отставил палку, налил из графина в стакан, отпил — были слышны жадные щелчки глотков. Морозов, прижимая ладонь к бровям, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем с пытливой жалостью. Сергею нужно было вытереть пот с висков, но он не двигался, с усилием не меняя прежнего выражения лица. Сказал:

— Отец не может заниматься этим.

— Отец в Москве, Сергей? — спросил голос Уварова.

— Да. Но какое это имеет значение? — возразил Сергей и тотчас увидел: Уваров с удивленной улыбкой развел над столом руками.

— Но я имею право поинтересоваться как коммунист у коммуниста.

— Имеешь.

Морозов, не отнимая ладони от бровей, странно и горько качал головой, будто смотрел не на Сергея, а вглубь себя, страдальчески прислушиваясь к этому, своему.

— Ах, Вохминцев, Вохминцев! — произнес он с досадливым сожалением.— Что же вы, что же вы!..

— Вот, Игорь Витальевич! Вот работа нашего партийного бюро, вот он — наш либерализм!

Свиридов с треском оттолкнул стул — восково-желтый, с прямыми плечами, опираясь на палку, захромал перед столом.

— Вот, Игорь Витальевич! — Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в сторону Сергея.— Вот они, наши коммунисты! Ложь! Эт-то же страшно, коли есть такие коммунисты и иже с ними! Страшно! Ты знаешь? Знаешь...— И порывисто наклонился через стол.— Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин. За стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей! Вот они, смотри,— сочинения! — Он застучал пальцем по листу бумаги на столе.— Вот они. «А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать двадцатый век великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек!» Понимаешь, о ком это говорится? Вот,

полюбуйся: «сухой и черствый человек!» Понимаешь, что мог... мог написать этот... этот гад, который учился с нами!

— Я бы и не читал эту подлость вслух,— сказал Уваров.— Противно...

— При чем здесь я? — спросил Сергей и встал.— Знать не знаю никакого Холмина! Какое это имеет отношение?

— Отношение? Нужно отношение? Хорошо! — Свиридов съежил плечи, они превратились в острые углы.— Ты врешь нам, врешь, недостойно коммуниста!

— Прошу поосторожней со словами....

— Брось! Ты не женщина! Слушай правду. Она без дипломатии! Ты врешь нам, трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ! И ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденоносец! Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Не-ет! — Он затряс пальцем перед подбородком.— Не обманешь!

Морозов хлопнул ладонью по столу, перебил его:

— Павел Михайлович, не горячитесь! — и добавил уже тише: — Прошу, не горячитесь!

— Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза! — уже не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и круто обернулся к Сергею.— Ты знал, что как коммунист обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?

— Мой отец не виновен. Произошла ошибка.

— Ты что — гарантируешь? Подумай трезво — органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а? Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь. Ты что же — органам МГБ не доверяешь?

Сергей услышал это, и что-то повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя, он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью, он улавливал лишь общий смысл. Он еще ждал, что Морозов вступит в разговор, но тот, прикрыв козырьком ладони лоб, молчал.

— Может быть, ты скажешь, что Холмина арестовали по ошибке?— цепким голосом спросил Свиридов.— Вот наш коммунист, твой товарищ Николай Уваров сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?

— Нехорошо, Сережа, нехорошо,— слабо перебил Свиридова Уваров.— Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом, разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо — надо быть бдительным... И тем более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро.

Все время, когда Свиридов говорил, Уваров сидел, опустив веки, только при словах Свиридова о найденных в столе стихах Холмина взглянул на Свиридова с короткой ненавистью и, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея — голубизна глаз была улыбчивой.

— В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена... Знаешь, наверно: в гражданскую войну бывало — сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался — моральная гибель, конец...

И Сергей понял: это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение — Свиридов верил каждому слову Уварова. Было четыре года затишья, с редкими выстрелами — устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей уже не мог сейчас сопротивляться, окружали его, сжимая

в тиски, как бывало только во сне, когда попадаешь в плен — немцы тенями, беззвучно вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности вырваться, шевельнуть рукой...

В эту минуту он осознал все — отчетливо понял, что отступал. И вдруг недавняя унизительная улыбка, фальшивое, непроизвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову.

— Не знал,— проговорил Сергей хрипло.— Не знал... Почему я не знал? А что я должен был говорить об отце? Подозревать отца? За что? В чем? Отец делал революцию... Он старый коммунист... Подозревать отца... за что? Ты что говоришь? Что ты мне советуешь? Так только фашистские молодчики могли...

Он взглянул на Уварова, на его мужественный, сильный подбородок — стол разделял их,— Уваров сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и утомленно-сожалеющим было его лицо.

— Вохминцев! — крикнул Свиридов, хромая к столу.— Молчи! За эти слова — знаешь? Гонят из партии! Ты... коммунист коммуниста! Как смеешь?

— Он уже не коммунист,— тихим голосом произнес Уваров и с печальным сожалением поцокал языком.— Жаль, но он в душе уже не коммунист. Разложился... Очень жаль! Хороший был парень.

— Я плевать хотел на то, что ты думаешь обо мне. И не вам, Свиридов, судить. Потому что вы верите не себе, а ему, вот этому «принципиальному» парню... с душой предателя! — проговорил Сергей уже как в холодном тумане.— Вы верьте ему, я буду верить себе!

— Достаточно! Прекратите! Можете идти, Вохминцев. Когда будет нужно, вам сообщат. Идите, идите...

Был этот голос Морозова, и Сергей, все время ожидавший вмешательства, искоса посмотрел на него. Морозов будто растерянно прикрывался козырьком ладони от боя, который шел рядом, и то, что он неуклюже и не вовремя оборвал этот бой и поднялся за столом, уже ничего не решало. Морозов стоял некоторое время в молчании, длинные руки прочно уперты в стол, высокий лоб наклонен, как обычно за кафедрой читал лекцию.

— Вам, Вохминцев, написать следует... необходимо в партбюро заявление... в связи с отцом,— сказал он размеренным голосом.— Все, что нужно. Можете завтра принести. И... идите.

Сергей нехотя произнес:

— Заявление, Игорь Витальевич, я писать не буду. Отец не осужден. А то, что он арестован, знаете сами.

Морозов ниже наклонил лоб, стали видны пепельные волосы, прикрывавшие пятачок лысины.

— Идите! — полоснул он рукой в сторону двери.— Слышите вы? Идите! Немедленно!

— Жаль. Очень жаль,— сказал Уваров задумчиво.

Когда он вышел из кабинета, в горле стояла металлическая сухость, ломило в висках — головные боли в последние дни стали повторяться,— и все туманилось в сером песочном свете: приемная с солнцем на паркете, кожаный диван, столик с телефоном; и голос Иннесы тоже был как бы соткан из серого цвета.

— Как, Сергей?..

Он машинально взглянул на ручные часы, но стрелок не увидел — было ему все равно, сколько сейчас времени, и странно улыбнулся Иннесе.

— Вам не хочется холодного пива, Иннеса? В жару — это идея, правда?

Не услышал, что ответила она, услышал звук открываемой двери — Уваров со Свиридовым выходили из кабинета Морозова. Повернувшись спиной к ним, Сергей произнес нарочито неторопливо:

— Вам не хочется выпить, Иннеса? Закатиться куда-нибудь в ресторан — великолепная идея! Разлагаться так разлагаться.

Он спиной почувствовал: замедлив шаги, они проследовали в коридор. Он рад был, что они услышали его. В конце концов ему было все равно.

— Серьезно, Иннеса,— сказал он уже иным тоном, через силу весело.— Не хотите ли вы куда-нибудь пойти со мной? Ну в ресторан, в кафе, в бар — куда хотите. Мне безразлично.

— Я не могу. На работе, Сережа.— Она удивленно выпятила нижнюю губу, показала темными бровями на дверь кабинета.— Игорь Витальевич...

Он закурил, глубоко затянулся сигаретой.

— Какие формальности, Иннеса! Институт пуст, никого нет, одни уже на практике, другие на каникулах, черт бы их драл. Морозов сейчас уйдет. Что ему тут делать? Идемте, Иннеса,— повторил он.— Вы говорили, мужчина должен все время смеяться.

— Потом. Ладно? Завтра. Ладно? Но завтра ты не захочешь.— И договорила: — Замучился... Плохо тебе?

Она, вглядываясь ему в глаза, сильно, по-мужски взяла за плечи и с осторожностью прикоснулась губами к щеке — это был какой-то дружественный знак понимания,— спросила снова, отклоняясь:

— Замучился, Сережа?

Она больше ни о чем не спрашивала.

— Нет,— сказал он и невольно тронул щеку возле губ, усмехнулся:— Нет.— И бросил сигарету в пепельницу.— Счастливо, Иннеса.

— Сч-частливо-о! — ответила она.— Завтра ты не придешь, нет?

— Я не знаю, что будет завтра.

Глава двенадцатая

Вернулся домой поздно.

Он долго не попадал ключом в отверстие замка, а когда открыл дверь, в первой комнате — полумрак; светил в углу на диване зеленый ночник, и прямо перед дверью загорался огонек папиросы, подсвечивая усики: Константин стоял, молча смотрел на Сергея.

— Ты? — спросил Сергей, пошатываясь.

— Я.

— Как Ася?

— Ты готов? — спросил Константин серьезно.

— Я спрашиваю, как Ася? Какого... ты еще?

— Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное. Нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?

— Ася...— глухо повторил Сергей, нетвердыми шагами подошел к дивану, сел, потер горло, наклонился, расшнуровывая полуботинки.— Пьют от слабости,— внезапно заговорил он шепотом.— Я понимаю. Я — не от слабости... Я никогда ничего не боялся... даже смерти... Ни-че-го...

Сергей ниже наклонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатывае-

мый стон. Сергей будто давился, расшнуровывая полуботинки, не разгибаясь. Константин впервые видел его таким. Он заторопился:

— Сережка, идем в ванную, старик. Надевай тапочки. Пошли. Душ — великолепная штука. По себе знаю. Надирался, как змей. Обдает свежестью — и ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, почувствуешь себя человеком. Где эти тапочки? Леший бы их драл!

— Не зажигай свет,— шепотом попросил Сергей, по-прежнему не разгибаясь.— Я сейчас... подожди.

— Пошли, старик. Поверь мне. Примешь душ — увидишь небо в алмазах. Пошли! Жизнь не так плоха, когда есть в квартире душ.

Он обнял его одной рукой за плечи, довел до ванной, задевая за развешанное на кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:

— Давай! Это выход из всех положений.

Сергей ощущал: душ был ожигающе свеж, колкие струи ударяли по плечам, по груди; сразу озябнув, он поднял лицо, крепко зажмурив глаза навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех утрах зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду, в эту ванну, чудо человечества, как казалось ему.

— Теперь растирайся до боли! Почувствуешь себя младенцем! — Константин бросил ему мохнатое полотенце.— Я сейчас крепкий чай сочиню.

Сергей молчал, растираясь колючим полотенцем,— тишина была в доме, как на степном полустанке, и движений Константина на кухне не было слышно.

В открытое окошечко ванной прохладно тянуло ветерком, чернело звездное небо за смутными силуэтами лип. И доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов.

Сергей вышел из ванной. Константин стоял возле плиты спиной к нему, не обернулся — незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, с торопливостью курил.

— Я тебя ждал сегодня,— сказал он, не отрывая взгляда от чайника.

— Дай сигарету.

— Я тебя ждал.— Константин кинул ему сигареты.

— Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай спичку.— Сергей сел на табуретку.— Ася меня ждала?

— Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?

— Я многого не знаю, Костька...— Сергей вяло размял сигарету.— Но меня ничем уже не удивишь.

— Н-да...

Константин снял крышку чайника, посмотрел в булькающий кипяток, снова закрыл крышку.

— Трудно мне сказать это тебе...

— Тогда не говори.

Было молчание. В ванне щелкали, отрываясь от душа, капли.

Константин опять снял крышку, взглянул на бурлящую воду, на пар, не поворачиваясь к Сергею, сказал медлительно:

— Слушай, Серега... Вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее. И вообще... это так.

Опустив руку с сигаретой меж колен, Сергей поднял голову.

— Ну и что? Я тоже люблю... То есть как любишь?— спросил уже другим тоном, с расстановками, провел рукой по влажным волосам.— Не понимаю, в каком смысле?

Константин не поворачивался к Сергею — со всхлипом задохнулся дымом сигареты, так, что поднялись плечи под полосатой ковбойкой, и, выключив газ, бросил:

— Я должен был тебе сказать... Я люблю Асю. С сорок пятого. Когда ты был еще в армии.

— На кой черт ты мне говоришь это? — Сергей хмуро посмотрел на Константина.

Никогда он серьезно не думал об этом; иногда лишь появлялась мысль, что когда-то вечером зайдет за Асей неизвестный парень, наделенный теми качествами, которые могли бы понравиться ему. Он всегда был спокоен за Асю — была прочная уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье. И то, что Константин неожиданно открылся ему сейчас, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-то неестественного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы сказал он о каком-то очередном увлечении своем, а не о любви к Асе, это было бы естественно.

— Вот что, — проговорил Сергей, — с меня хватит всего... Я всем сыт по горло. У меня тошнота. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь и воды и черт те что, а Ася — святая. Ей нужен парень ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.

— Все же выпей чаю,— не сразу выговорил Константин.

И протянул чайник с мрачным, замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах не светилось обычное выражение иронически настроенного ко всему человека — взгляд был незнаком.

— Считай, что этого разговора не было,— сказал он, и, показалось Сергею, рука его, протягивающая чайник, дрожала.— Кстати, тебе... — он помолчал, — звонили... Звонила Нина. В десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил.

Ручка чайника была невыносимо горячей. Сергей стоял мгновенье молча, потом с хмурым видом перебросил чайник в другую руку.

— Спасибо. Уже не нужно.

— Что?

— Спасибо,— повторил он.— Пойдем чай пить?

— Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром — тю-тю! — уезжаю на практику. Под Тулу, — сказал Константин весело.— А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так? Откровенно...

— Брось! Ты знаешь, как я к тебе отношусь?

— Нет! Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой, кто? И уж если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?

— Брось сентименты, Костька. Я просто был «чересчур смелым человеком» и ничему не научился. А жаль!

— Будь здоров! И не городи ерундовину перед сном — вредно.

Константин поднялся по лестнице на второй этаж, насвистывая блюз.

Здесь же, наверху, он постоял в темноте коридора, не сразу прошел в свою комнату, ощупью зажег свет. Его окружил знакомый, близкий ему хаос холостяцкой обстановки — пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные затрепанные журналы, раскиданные на стульях, на полу; порожние бутылки на подоконнике, кинофотографии Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками; на тумбочке — портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не было здесь, чего-то не хватало.

Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.

Он включил радиолу на тихий звук, лег в мягкое облезлое кресло, потянулся за сигаретами — пластинка шипела, возникли еле слышные звуки джаза,— и, не закурив, он охватил голову руками, слушая хрипловатый низкий женский голос и потирая лицо, подбородок, морщась, напевал шепотом: «О, Сан-Луи...»

Ночью Сергея разбудил телефонный звонок.

Минут сорок назад, чтобы уснуть, он принял люминал, найдя его в аптечке отца, и сон тяжело потянул во тьму. Он чувствовал, как засыпал, и чувствовал, как возникает что-то знакомое, то приближаясь, то удаляясь. Как человек, как летящее тело между небом и землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что — он не мог понять.

...Потом возникли какие-то темные, как туннель, ворота, а позади — он видел — под луной каменная площадь. И он вбежал под арку — его преследовал, настигал, бил по сердцу грохот подкованных сапог.

Этот грохот звучал на весь город. А людей не было. Никого не было. Только стучали, приближаясь, подковы сапог.

Он бежал через арку, через черный туннель, он видел впереди светящееся под луной отверстие выхода. И мысль о том, что он один в городе и что у него нет оружия, бросала его из стороны в сторону. Щупая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как спасение, как передышка открылся этот выход... Четыре силуэта шли навстречу ему, загородив выход из туннеля. Он не видел их лиц, но знал — это немцы. И в то же время донесся металлический приближающийся цокот подков за спиной. И он понял, что пропал.

Отступая, он еще напрасно рванул пустую кобуру на боку — что-то душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознавал, что погибнет сейчас, и почему-то особенно ясно чувствовал, что его предали. Заметил за спинами людей в черном чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был — не мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по улыбающимся губам и крикнул, задохнувшись: «Уваров? Уваров!.. Где, сволочь, твой партбилет? Сжег?» — и от удара, падая под сапоги, услышал радостный знакомый рев: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце!.. Он так умрет!»

Он очнулся от этого крика, от назойливого постороннего звука.

Открыл глаза — огромная, раскаленная, во все окно луна светила нацеленно — прямо в глаза ему. Они смотрели друг на друга. Он не мог оторвать взгляда от нее. Он лежал, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце. Ему казалось, что оно разорвется. «Это сон, сон?» — спросил он себя, оглядываясь. Настойчиво звонил телефон, накрытый на столе подушкой с дивана.

И этот придавленный настойчивый звук стряхнул с него тяжесть сна.

Он потер сердце, взял трубку, сел на постели.

— Да, — сказал он хрипло, машинально придвигая к себе часы на столе. Шел второй час ночи.

— Прости, пожалуйста, я разбудила тебя? Ты спал? Сережа, я хочу тебя увидеть! Обязательно! Сегодня, сейчас!

— Кто это? — Он сразу узнал ее голос; колотилось сердце и после сна и после торопливого ее голоса.— Кто это?

— Не узнаешь? Это я, Нина... Я тебе звонила! Я тебе вчера звонила, сегодня звонила...

— Ты мне звонила? — переспросил он и сел на диване.

— Да, да! Я вчера вернулась, я тебе звонила. — Она замолчала. — Послушай... Я звоню из автомата. Я сейчас приеду к тебе. Я обязательно...

— Мы потом... потом поговорим! Я не могу сейчас,— перебил он и прикрыл ладонью трубку.— Если ты хочешь, то потом. Сейчас не надо мне звонить.

— Сере-ежа!..

Он опустил трубку, положил подушку на телефон, стал шарить сигареты на столе. И сразу почувствовал, что не так говорил, не так ответил, что не думал все это время о ней и об ее муже, который вернулся в Москву. И как только лег и увидел висевшую в квадрате окна красную душную луну, почудилось — были порваны все реальные нити с миром.

Снова затрещал под подушкой телефонный звонок. Это был задушенный крик. Он вздрогнул, оглянулся на дверь в комнату Аси, потом взял свою подушку и накрыл ею этот крик. Он чувствовал удары крови в висках.

Телефон снова затрещал слабым, жалобным звонком. Сергей курил, не глядя на телефон, — так, казалось, было легче ему.

Телефон трещал, сжатый подушками. Его звук походил на прерывистый комариный писк.

Потом он замолк.

Сергей лежал, не испытывая облегчения. Предметы в комнате сместились, потонули в тени — луна уходила, сдвинулась над железными крышами к краю окна, был виден только багрово-раскаленный кусочек ее. И стояло в мире такое безмолвие, какое бывает, когда в лунную ночь переползает на нейтралку через бруствер разведка — туда, в сторону гребня немецких окопов.

Он лежал, курил.

Он услышал с улицы легкий шум подвывающего мотора, все стихло, четкий и сильный щелчок дверцы, и сейчас же стук каблуков — с улицы во двор.

Сергей, поняв, вскочил, потянул со стула брюки, от волнения не попадая ногами в штанины; робкий, короткий звонок забился в коридоре. Он бросился в коридор, нажал замок, не говоря ни слова, быстро прошел в комнату, оставив дверь открытой.

— Сергей!

— Здесь спят.

— Сергей!

В сумраке забелел плащ — она вошла, затихла, остановилась посреди комнаты.

— Зачем ты приехала? — спросил он нерассчитанно громким голосом.

— Сережа,— сказала она и шагнула к нему, выступила из сумрака в лунный свет.— Я не могла ждать. Ты послушай...

— Зачем ты приехала? Для чего? Вот что — разговора сейчас у нас не получится! Еще тут мне нужна путаница! К черту — мне хватает своих забот!

— Сере-ежа-а, я ничего не понимаю...

Она вдруг неумело, не по-женски заплакала, приложив ладони к глазам. И плача опустилась на стул, сжавшись, локтями доставая колени. Он смотрел на нее растерянно.

— Идем,— сказал он.— Разбудим Асю. Идем. Я провожу тебя.

Глава тринадцатая

— Я сегодня узнала все...

— Что ты узнала?

— От Аркадия... от Уварова. Он не был два года и зашел сегодня...

— Ну и что? Что ты узнала?

— Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним! Жалею! Думала, все проще... Я просто верила Тане. А он притворялся, ждал. И дождался.

— Ты это хотела мне сказать?

— Послушай, Сережка, перестань! Как все мелко, ужасно мелко по сравнению... что случилось с твоим отцом! Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.

— Значит, он рассказал?

— Будь осторожен! Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на партбюро, будь доказателен. И взвесь все — это главное. Уваров не так прост! Знаешь, что он сказал? «Ну все, конец, наш Вохминцев испекся!» И какое было лицо — спокойное, лицо победителя! Сережа, послушай... Он сказал: завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время. Если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты... Пойми, они не шутят! Они не шутят!

— Что ж, спасибо... Я проводил тебя до Серпуховки.

Он остановился, достал сигарету.

— Подожди!

Он посмотрел на нее, прикуривая, и не прикурил: погасил спичку. Стояли на углу, в густой тени каменного дома, возле наглухо закрытого подъезда.

— Еще,— сказала она.

— Что «еще»?

— Еще проводи. Мне страшно. — Она оглянулась.

Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, с низким зданием шахты строящегося метро была огромной, безжизненно-синей; под луной металлически блестели крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустой площади казалась неподвижной, неживой. Луна будто умертвила город. И даже не было ночных такси, стоявших обычно на углу.

— Сергей...

— Пойдем,— прервал он.

Она замолчала. Он не смотрел на нее.

Но когда свернули на узкую Ордынку, стало темнее на тротуаре от застывших теней лип, только мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку, и, перехватив это, она чуть подалась к нему, словно хотела взять под руку, но не взяла, застегнула плащ у шеи, опустила подбородок. Они молчали.

Она шла, двигалась рядом с ним, изредка касаясь его плащом, и он видел ее всю — от этих стучащих по асфальту каблуков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ, — и все было знакомо, нежно в ней, но одновременно не исчезала какая-то неприязнь к ней, после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж говорил что-то, уверенно положив руку на плечо ей. Он хотел спросить просто: зачем он приехал, почему она не сказала об этом, но боялся, не хотел снова сбиться на тот неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату. Он чувствовал, что не имел права унижать ее.

Ее каблуки стучали медленнее. Затихли.

— Мы почти дома, — услышал он и увидел: она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах — ждущее выражение.— Спасибо. Ты меня проводил.

Он не смотрел на нее. Он хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот, под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена пыльной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично

вились ночные мотыльки, стукались крыльями о стекла, был слышен шорох в листве.

— Я не имел права,— сказал он,— разговаривать с тобой так...

Он замолчал.

— Еще, — попросила она, виновато улыбаясь краями губ и осторожно сняла мотылька, упавшего на его плечо. — Упал к тебе,— сказала она, — прости...

— Что, Нина?

— Скажи что-нибудь еще. Я прошу...

Она держала ладонь на весу, внимательно смотрела на мотылька, который полз по ее пальцам. И Сергей видел ее наклоненный лоб, руку, и в эту минуту ненужное внимание к мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью.

— Ну, все, — сказала она и стряхнула мотылька с ладони.

— Что все? О чем ты говоришь? — спросил он и внезапно взял ее за плечи, потряс так, что у нее безвольно и жалко откинулась голова.— Я не понял, что «все»?

— Я люблю тебя, Сере-ежа... А ты? Ты?..

Она качнулась к нему, повторяя: «А ты? Ты?» — и он, чувствуя, что задыхается, стал сильно, как будто хотел ей сделать больно, целовать ее в губы, в подбородок, в глаза.

— Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?

— Нет.

— У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию.

— Он воевал?

— Да. Он майор, командовал саперной ротой.

— Ну, и любил тебя?

— По-своему. На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Потом — в Москву. Не будем говорить об этом. Сейчас мне не хочется об этом...

Они помолчали.

— Я только сейчас вспомнила... Знаешь, что он сказал? «Сергей — декабрист, а наше время не для декабристов».

— Кто это сказал?

— Уваров. Ты понимаешь, что это значит?

— То, что он сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что я коммунист. И наше время не для вранья, фальши и подлецов, таких, как он.

— Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить...

— Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду работать шахтером, забойщиком, я могу носить мешки, грузить вагоны. Я все могу... Только... только бы...

— Что, Сережа?

— Только... Я хотел бы, чтобы никто не брал чемодан и не переводился в другую экспедицию.

— Сере-ежа-а, ты не должен об этом... Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно! Я не знаю, как это передать — что я чувствую к тебе... Как это передать?

Она подошла, прижалась к нему, он чувствовал, как дрожали ее колени.

— Этого не будет, чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет... — говорил он с нежностью и отчаянием, сильно обнимая и целуя ее в ледяные губы. — Ты увидишь, этого никогда не будет...

Константин слышал — еле уловимо и звеняще тикали ручные часы на стуле возле дивана.

Константин, уже одетый, лежал на диване, положив руку на грудь — зябкость утра, вливающаяся в открытое окно, щекотно касалась кожи лица,— и прислушивался к ранней возне воробьев в дворовых липах. Потом воробьи с шумом брызнули под окнами из ветвей: стукнула форточка на нижнем этаже. Этот звук раздался на весь двор. И показалось, что форточку закрыли в комнате Аси, и Константин, сразу очнувшись, вспомнил о времени своего отъезда. Он взял часы и стал надевать их на руку.

«У меня есть четыре часа,— думал он.— Я сначала зайду к ней, потом я пойду т у д а... Успею ли я все сделать, все как нужно, все как надо? А что раньше коленки дрожали — не мог отнести эти деньги? Вот они, быковские десять тысяч. Что ж, деньги лежали у меня две недели. Долго собирался. К черту эти деньги! Смотреть на них не могу. Так что же, Костенька, действуй, вперед, милый, подан свисток атаки, хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережку, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!..»

Константин, охваченный холодком, встал, шагнул к чемодану и, раскидав белье, вынул со дна завернутую в газету пачку денег, вложил ее, туго надавившую на грудь, в боковой карман пиджака.

Сделав это, он стал бросать белье и ковбойки в чемодан и, опустив крышку, щелкнул никелированными замками — все было готово. Он знал, что не вернется сюда до осени — практика на шахтах длилась два месяца. Он оглядел комнату без сожаления — весь этот когда-то уютный ему беспорядок — и ничего не тронул, ни к чему не прикоснулся, только накрыл старой газетой ящик радиолы. «Оревуар, старина»

«Вот и все, Костенька,— сказал он себе, — вперед, милый!»

Когда с чемоданом Константин спустился по лестнице на первый этаж, а потом, стараясь не натолкнуться на вешалки, прошел тихий коридор, он понял, что весь дом еще спал. Константин постоял перед дверью Вохминцевых с желанием постучать, разбудить и Сергея и Асю, но, так и не решившись, подсунул под дверь записку в конверте, написанную ночью.

Старый и чистый асфальт двора показался ему огромным и пустынным. И было странно, что во всех окнах неподвижно висели алеющие занавески и были закрыты двери парадных — везде покой, сон, и только стая проснувшихся воробьев все сновала, возилась в липах над окнами Вохминцевых, и шевелилась, трещала листва.

Он стоял и смотрел на окна в комнате Аси; в тени они отливали скользким мазутным светом.

И, переборов себя, весь озябнув, он подошел и еле слышно, ногтем, не постучал, а притронулся к стеклу три раза.

И, смотря вверх, ждал.

Он постучал еще — худенькая рука отдернула занавеску, за стеклом мелькнуло плечо Аси, распахнулась форточка над его головой, и он услышал ее голос:

— Костя, Костя, это ты, да?

И Константин, увидев в это мгновение ее лицо в форточке, упавшие на глаза короткие волосы, сказал глухо:

— Я уезжаю в Тулу, Ася. На практику. До свиданья. Я уезжаю...

— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал, Костя? — проговорила она торопливо и неспокойно в

форточку и встала на стул, поднялась за стеклом.— Чемодан... Ты с чемоданом?

— Я уезжаю в Тулу, Ася, — повторил он.— Записка Сережке под дверью. Для него. До свиданья, Ася, не болей... Ну его к черту — болеть! — Он улыбнулся ей.— До свиданья! До осени!

— Костя, Костя, что же будет?

— Прекрасно будет.

Он поднял руку, пошевелил пальцами, все стараясь улыбаться ей, и пальцы его замедлили движения. И вдруг он увидел, как она прижалась лбом к стеклу и заплакала, глядя на него сквозь свесившиеся волосы, и стала кивать ему и тоже подняла руку, приложила ее к стеклу.

И он отошел от окна, не поворачиваясь, пошел спиной вперед по асфальту пустынного двора.

Глава четырнадцатая

— Ася, я в институте задерживаться не буду. Позавтракай. И тебе полежать надо. Зачем ты вставала к телефону?

— Ты спал. А из партбюро звонили два раза.— Ася перевела на него темные на бледном лице глаза; сидела на кровати, в накинутом на плечи халатике, в тапочках на босу ногу, говорила слабым голосом: — Ты ничего не слышал? Приходил Константин прощаться. Он уехал на практику. Оставил тебе письмо. Сережа, ты не вызывай больше врачей. Мне лучше.— Она помолчала.— Бедный папа, где он сейчас? Как мы будем без него? И как он без нас? Как он?

— Ася, позавтракай и ложись. Я не буду задерживаться. Я уверен: ошибки потому ошибки, что их исправляют.

Он спал лишь три часа (вернулся домой на заре), и, когда вышел на крыльцо, на слепящее солнце, все было, казалось, в песочной дымке, и что-то мешало глазам, резало веки, слабо болели мускулы. Он чувствовал усталость. И даже намеренно тщательное бритье и горсть колючего одеколона не освежили его полностью.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — раздался из этого неясного, как бы суженного мира кашляющий голос.— Добрый день!

Возле крыльца, в жидкой тени, Мукомолов в нижней рубахе щеткой буйно чистил, махал по рукавам висевшего на сучке липы старенького пиджачка, в зубах торчала погасшая папироса. Увидев Сергея, он проворно перехватил щетку из правой руки в левую, протянул сухую ладонь.

— А вы знаете, она права! — заговорил он, смеясь одними глазами.— Да, да, женщины часто бывают правы! Могу сообщить вам — меня разбирали!

— Где разбирали? — спросил Сергей, не понимая еще, хмурясь, зажег спичку, поднес к потухшей папиросе Мукомолова.

— В Союзе художников! — воскликнул Мукомолов, перхая от дыма.— Нацепили столько ярлыков, что будь они ордена — груди не хватило бы! Так и обклеили всего, как афишную будку.— Он закашлялся, щеки стали дряблыми.— Простите, Сергей, я несколько... очень устал, выдохся вчера. На это наплевать. Это все чепуха, мелочи, дрязги... Да, да. Это чепуха! Ниоткуда меня не выгонят, я зубастый!

Он согнал с лица возбужденное выражение — сразу погас, морщины проступили в уголках глаз его.

— Простите меня, как с Николаем Григорьевичем? Что известно? А все остальное — чепуха, чепуха. Не обращайте внимания.

— Пока ничего.

— Н-да! А как Асенька?

— Кажется, лучше.

— Это уже хорошо. Заходите вечерком. Буду очень вам рад, очень рад.

Эта оживленность Мукомолова не была естественной, он заметно и как-то сразу постарел, в бородке островками заблестела седина, и, казалось, согнулась спина, ослабла. Это все видел Сергей, но в то же время не видел, все это как бы проходило мимо его сознания.

Только на троллейбусной остановке он понял, что торопился, хотя знал, что торопиться было бессмысленно.

Он несколько удивился тому, что заседание партбюро проходило в директорском кабинете.

Слои дыма замедленно переваливались в солнечных этажах над столом, и кожаные кресла в кабинете, зеленое сукно стола, графин с водой, белеющие листки бумаги, карандаши на них были, казалось, накалены июльским зноем. Уличный воздух душно и масляно вливался в окна, лица лоснились потом.

Сергей сидел в стороне от стола, возле тумбочки, вентилятор с тонким комариным писком вращался за его спиной. Прохладный ветер, дующий от шуршащих лопастей, немного освежал его: он то видел все реально, то темная пелена нависала над глазами, и тогда лица Свиридова, Уварова, Морозова за столом не были видны отчетливо. И в эти минуты он пытался всмотреться в насупленное лицо Косова и в не очень хорошо знакомые лица остальных членов партбюро, углубленно и молча чертивших карандашами по листкам.

— Если он не понял этого, то должен понять. Я говорю прямо, в глаза ему. Обман партии — преступление. Понял ли он? Нет, как видно, не понял...

Его удивляло то, что сейчас он был спокоен; и он даже усмехнулся чуть-чуть, услышав этот сухой голос Свиридова. Он стоял за столом прямой — прямые узкие плечи, ввалившиеся лимонные щеки двигались, когда он выталкивал изо рта жесткие, бьющие слова, поправил желтыми пальцами толстый узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке.

«Зачем он поправляет галстук, для кого это? Почему он не снял пиджак — для официальности? Или торжественной строгости? Почему он? Почему именно он?. У него гастрит или язва? И больная нога... был ранен? Верит он в то, что говорит?»

— Я изложил членам партбюро подробно все как было, когда Вохминцев пришел отказываться от практики. Это только факты.

Сбоку взглянув на Сергея, Косов, мрачно замкнутый, медленно вынул из кармана брюк трубочку с вырезанной головой Мефистофеля, с железной крышечкой, сосредоточенно стал набивать табаком.

«Кто подарил ему эту трубку? Кажется, Подгорный... На подготовительном еще, в сорок пятом...»

— Вохминцев, возьмите пепельницу,— ровным голосом сказал Морозов.

«Он что — успокаивает меня?»

Сергей встал, подошел к столу, взял одну из расставленных на зеленом сукне металлических пепельниц, сел на место. И спокойно поставил пепельницу на подлокотник кресла. Все посмотрели на него: внимательно — Свиридов, мельком, как бы хмуро осуждая — Уваров, вопросительно, из-под ладони, которой прикрывал лоб,— Морозов. Директор института, весь сахарно-седой, с заметным брюшком, постоянно веселый профессор Луковский, в чистой крахмальной сорочке, натянутой на

округлых мягких плечах, с засученными до полных локтей рукавами (горный мундир висел на спинке стула) молча пошевелился в кресле в глубине огромного кабинета, тоже достал папиросу, проговорил: «Хм» — и опустил белые брови.

«О чем они думают сейчас все? Они. Все... О том, что я обманул партию? О чем думает Луковский? И он, кажется, неплохо относился ко мне... О чем думает Косов?»

— Я хочу добавить еще к этому следующее, и мне не даст соврать Аркадий Уваров. Однажды во время встречи Нового года — и я и Аркадий Уваров были в одной компании — Вохминцев демонстративно пытался сорвать тост за Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, это было. И, видимо, это, мягко выражаясь, не случайно...

Желтые щеки Свиридова сжимались и проваливались, сухие губы выбрасывали, как ржавые режущие куски железа, слова, и Сергей, глядя на высушенное лицо его, почему-то некстати подумал, что ему вредно есть мясо, и представил, как он брезгливо ест, двигая провалами щек, и как жена его (какая она могла быть?) и дети (у него, говорили, было двое детей) глядят на его щеки. О чем он говорит дома? И как? Или ложится на койку с грелкой и жалко стонет, страдая от болезни?

— И последнее...— Свиридов сухощавой, будто из одной кости рукой налил себе из графина воды, выпил брезгливо — задвигался кадык под толстым узлом галстука.— И последнее...— Он с сурово окаменевшим лицом взял со стола листок бумаги, помолчал, значительно оглядел всех.— Последнее... Это заявление в партбюро от члена партии и члена нашего партбюро Аркадия Уварова. Я его прочитаю...

С однотонным шуршанием вентилятор вращался на тумбочке, дуя на волосы Сергея теплым ветром, и из окна отдаленно доносился шум улицы, гудки автомобилей, крики детей на бульваре. А рядом, здесь, в папиросном дыму, в душной от толстого ковра под ногами, от нагретых кожаных кресел комнате — здесь настойчиво металлически звучал голос:

— «...назвал меня фашистом. Я считаю, что это самое низкое, самое грязное политическое оскорбление. И я как коммунист прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКП(б) с 1945 года Уваров».

«В сорок пятом году, значит... Где он вступил в партию, в запасном полку? Конечно, так. На фронте его не могли принять. И, впрочем, в запасном полку, если бы знали... Но он знал, где вступать».

— Перед тем как перейти к обсуждению дела члена партии Вохминцева, перед тем как спросить его: как он дошел до жизни такой,— хочу добавить: мы, члены партбюро, авангард, мы в первую голову несем ответственность за высокую идейность членов партии и беспартийных, мы виноваты в том, что развели гнилое болото в институте. Заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька и потеряли принципиальную партийную бдительность! Арест первокурсника Холмина и... это позорное дело члена партии Вохминцева должны быть суровым уроком для всех нас. Прошу высказываться. Думаю, регламент устанавливать не стоит, поскольку дело слишком серьезное.

В тот момент, когда Свиридов произнес «развели гнилое болото в институте», Уваров подтверждающе закивал с серьезным лицом, директор института профессор Луковский неудобно, грузно зашевелился в глубине кресла, подвигал седыми бровями. Весь институт знал: своими косматыми бровями профессор Луковский обычно в официальных разговорах скрывал свою доброту, веселую подвижность маленьких живых глаз. Но Сергей не видел сейчас их — брови были опущены, белыми гусеницами двигались над коробкой «Казбека», и только дедовское его брюшко, округлые плечи говорили о прежней его

домашности. Было тихо, карандаши членов партбюро чертили по листкам.

«Кто будет сейчас выступать? Уваров, Луковский? Ах, Морозов...»

Морозов отнял ладонь ото лба, взглянул на Свиридова, сказал мягко, почти шутливо:

— В порядке реплики, Павел Михайлович. Вы уж, думаю, чересчур смело заострили.— Он улыбнулся, обнажая щербинку меж передних зубов, и показалось Сергею, что эта реплика была подана только для того, чтобы разрядить обстановку.

— Гнилой либерализм никогда, Игорь Витальевич, до хорошего не доводит,— жестко отрезал Свиридов.— Мы перед лицом фактов. А факты упрямая вещь. Когда я шел работать к вам в партийную организацию, надеялся: преподаватели, опытные коммунисты, будут помогать мне. Не всегда помогают. Студенты больше помогают — это тоже факт. Да, факт! Я прямо скажу — могу гордиться Уваровым как коммунистом, который помогал больше всех. И об этом я буду докладывать в райкоме.

— Хм,— полукашлянул, полупромычал профессор Луковский, завозившись в кресле, по-прежнему прикрыв глаза косматым навесом бровей.— М-м... Хм...

Все посмотрели на Луковского, но он молчал, сопел в кресле.

— Прошу высказываться коммунистов.

Снова стало тихо. Морозов, пожав плечами, начал задумчиво водить карандашом по бумаге. И то, что он замолчал, не ответив Свиридову, то, что Свиридов заговорил о помощи Уварова, то, что его слова о беспомощности преподавателей невольно прозвучали как угроза и предупреждение, вызвало в Сергее не злость, не гнев, а какое-то насмешливое чувство и к Свиридову и к замолчавшему Морозову.

— Прошу высказываться, время идет, товарищи члены партбюро.

— Что ж вы, дорогой мой, а? Как же это? Не понимаю, голубчик!

Заговорил профессор Луковский, слегка наклонясь вперед, к стулу перед креслом, где висел его директорский мундир, вопросительно взглядывая из-под бровей на Сергея, голос звучал нетвердым распекающим тенорком:

— Что ж это вы, а? Солгали партбюро... м-м... скрыли... о своем отце... и потом отфордыбачили еще такое, что ни в какие уклады не лезет, голубчик. Обругали хорошего студента, партийца, своего однокашника, фашистом. Вы же сами отлично воевали, знаете, что такое фашизм. Вы что же, позвольте спросить... мм... кхм... убежденно облаяли его этаким политическим обвинением? Или вгорячах, так сказать, ляпнули: на, мол, тебе, ешь!

— Абсолютно убежденно! — сказал Сергей, и при этих словах изменилось, стало растерянным лицо Луковского, тотчас повернулись головы, и Сергей увидел: скулы атлетически сложенного малознакомого студента в синей футболке — от движения напряглись на плечах мышцы — загорелись румянцем; но Уваров не обернулся, спокойно рисовал на бумаге.

— Этим словом не ляпают, Вячеслав Владимирович, я хорошо знаю ему цену, с войны,— добавил Сергей.

— Тогда извольте доказательства, дорогой вы мой... доказательства, если уж... хм!

— Пусть он расскажет вам, за что я бил ему морду однажды в ресторане, в сорок пятом году. Думаю, он это честно не расскажет!

— Да, пусть объяснит. Пусть объяснит Уваров! — оглядываясь, произнес парень в синей футболке.— Все надо выяснить, товарищи.

Уваров поднял голову, проговорил устало:

— Почему же ты так уверен, Вохминцев? Я расскажу. Что ж, разрешите мне, уж коли так далеко зашло.

Он кивнул Свиридову, вставая, аккуратно положил карандаш на расчерченный листок бумаги, потом не спеша оглядел всех, покойно улыбнулся голубыми, чуть покрасневшими глазами.

— Вот видите, получается странно,— заговорил он с мягким удивлением и как бы смущенно провел рукой по светлым волосам.— Я не хотел даже здесь выступать. Почему — я объяснял это Свиридову перед партбюро. Ну что ж, если уж так, я должен объяснить. Хорошо. Коротко расскажу по порядку. Мы знакомы с фронта. Здесь Вохминцев напомнил о ресторане, видите ли, о нашей встрече в сорок пятом году.— Он в раздумье передвинул карандаш на сукне.— Право, не знаю, мне очень бы не хотелось вспоминать одну трагическую историю и... ну... косвенно, что ли, утяжелять вину Вохминцева. И так достаточно. Но уж если он сам затронул, я вынужден рассказать. В сорок четвертом году, да, осенью сорок четвертого года мы служили в Карпатах, я командовал второй батареей, Вохминцев — третьей. Да, я, кажется, не ошибаюсь — третьей. Ночью нас вызвали в штаб дивизиона, и Вохминцеву был отдан приказ немедленно выдвинуться вперед на танкоопасное направление, мне — прикрывать его орудиями с фланга. Ну, получилось, говоря вкратце, вот что: Вохминцев, то ли не разобравшись в обстановке, то ли еще почему — не буду додумывать,— завел батарею в расположение немцев, в болота, так, что орудия нельзя было развернуть, а утром немецкие танки в лоб расстреляли батарею. Да, погибли все, исключая вот...— Он провел ладонью по испарине на залысине, указал в сторону Сергея.— Вохминцева. Но и он был ранен. Я прибыл утром к Вохминцеву, и тут случилось странное: он стал обвинять меня в том, что я погубил его батарею, не поддержал огнем. Но дело в том, что я и не мог поддержать его батарею, так как Вохминцев завел орудия на пять километров в сторону, к немцам, а стрелять, как известно, надо было прямой наводкой. Добавлю, что от трибунала Вохминцева спасло ранение, эвакуация в тыл. А потом, как это бывает на войне, затерялись следы. Вот первое.— Он наклонился к столу и, как бы отмечая первое, стукнул карандашом по бумаге.

«Вот, значит, как!..— подумал Сергей.— Вот, значит, как он...»

— Забыл,— проговорил Уваров и поднял руку к влажному лбу,— забыл о главном. Мы случайно встретились в ресторане в сорок пятом году. И там была, как говорят, неприятная стычка между нами. Это первое. Второе.— Уваров помолчал с опущенными глазами.— Это уж совсем разговор не для партбюро... Второе... совсем личное. И может быть, отсюда ко мне постоянная неприязнь, ненависть, что ли. И здесь я не знаю, что делать. Начиная с фронта Вохминцев все время испытывает ко мне какую-то странную ревность, совершенно непонятную.— Он смущенно развел руками.— Не знаю — ну в чем ему завидовать мне? Мы равны. Вот все. Я просто должен был объяснить, почему я не хотел выступать на партбюро. Но я протестую против политического оскорбления, не достойного коммуниста.— Голос Уварова потвердел и снова зазвучал смягченно: — Часто я думал, прошло много времени с войны. А время меняет людей... Вот и все,— повторил он и сел с неловкостью, точно извиняясь за вынужденное выступление, кивнул Свиридову. Вздохнув, Уваров очень утомленно двумя руками провел по лицу, будто умываясь, стирая незаметно пот, договорил сконфуженно: — Простите, говорил сумбурно, наверно не совсем убедительно. Здесь много личного...

— А свидетели есть у вас? — донесся из угла комнаты низкий голос

парня в футболке, и в тишине было слышно, как заскрипел стул под его телом.— Есть?

И голос Уварова ответил спокойно:

— Для этого нужно искать однополчан, фронтовиков. Но я ничего не пытался доказать...

В эту минуту Сергей, не подымая глаз, медленно протянул руку с сигаретой к пепельнице на подлокотнике кресла, и он боялся, что рука дрогнет, столкнет пепельницу с окурками, боялся, что он встанет, шагнет к столу, где спокойно и как бы смущенно, но незаметно вытирал со лба пот Уваров. Ему хотелось сказать: «Подлец и сволочь!» — и ударить, вкладывая всю силу, по этому смущенному лоснящемуся лицу, как тогда в «Астории», в сорок пятом...

Но он не мог встать, не мог подойти к столу. Он сидел, боясь пошевелиться, чувствуя, что может сейчас заплакать от бессилия.

Все молчали. Жужжал вентилятор в духоте комнаты.

«Что я молчу? Что я молчу?..» — мелькнуло в сознании Сергея.

— Значит, батарею погубил я, а не ты? — чуть вздрагивающим голосом проговорил Сергей.— Теперь понимаю... Переставил нас ролями: меня на свое место, себя — на мое. Я завидовал тебе? Может, поэтому? — Ему трудно было говорить, он перевел дыхание.— Потому, что на твоей совести двадцать семь человек убитых? Если нужно, я многих могу назвать по фамилии... Ты не останавливался ни перед чем. За твое шкурничество в Карпатах ответил твой подчиненный, командир первого взвода Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже, а потом раненого Василенко отдал под суд, хотя в штрафную должен был идти ты. Но на тебя доказательств не было — все погибли. Жаль, что меня ранило... И после я тебя не нашел на фронте...

— И что бы сделали, Вохминцев? — перебил Свиридов, подозрительно косясь на Уварова.— Что?

— Дайте договорить! — громко бросил Косов.— Не перебивайте!

— Ты забыл одну деталь, Уваров. Когда танки добивали батарею, Василенко, уже контуженный и раненный, успел позвонить мне, и я приехал. Но среди убитых тебя не нашел. И если бы меня не ранило в тот же день, ты был бы в штрафной, а не Василенко.

— Ближе к делу, Вохминцев,— опять перебил Свиридов, с прежней изучающей внимательностью взглядывая в сторону Уварова.

— Потом я встретил его в сорок пятом и набил ему морду публично, и он не защищался и почему-то не поднял дела против меня. Ну, а потом он заявил, что я еще до ареста должен был заявить об отце куда следует.

— Как не стыдно, Сергей! — с упреком произнес Уваров, глядя не на Сергея, а на Луковского.— Нельзя же так. Нельзя... Так далеко можно зайти.— Он вздохнул, выпрямился.— Может быть, мне, товарищи, все же не стоит присутствовать здесь ввиду... исключительного случая? Я бы попросил членов партбюро...— Лицо его было скорбно-серьезным, он поглядел на Свиридова, на неподвижно сидевшего Морозова.— Я попросил бы членов партбюро, чтобы это дело разбирали без меня. Есть мое заявление. Секретарь партбюро все факты изложил. Кажется, что мое присутствие накладывает на серьезное дело что-то личное.

— Это, кстати, умно придумано,— сказал Сергей с усмешкой.— Молодец! Но ты объясни: где ты вступил в партию, в запасном полку?

— Ну, а если так? — покойно спросил Уваров.

— Я это знал. Кто тебе давал рекомендации?

Не повернув к нему головы, Уваров молчал, будто не слышал вопроса Сергея, и Свиридов с настороженностью впился в лицо Уварова замершими зрачками.

— Ну, кто, кто давал рекомендации? Назови. Забыл? — поторопил Свиридов.

— Подполковник Басов и майор Черенков. Но я все же попросил бы товарищей разбирать это дело без меня.

— Они, конечно, не знали тебя по фронту? — снова с настойчивостью спросил Сергей.— Не знали?

— Ну и что же?

— Ничего. Просто на фронте свистели пули — и ты был ясен как на ладони, а в тылу опасности нет — и ты ловко умеешь надеть на себя маску доброго парня. И в бинокль тебя не разглядишь!

Остро пекло солнце. Густо плыл дым над столом, смещая, затуманивая лица. Директор Луковский, насупясь, ушел весь в кресло, белые руки сцеплены на папиросной коробке, лежащей на коленях. Косов смотрел перед собой непроницаемо синими глазами, посасывая трубку; растерянно оглядывался то на Уварова, то на Сергея мускулистый паренек в синей футболке, пытаясь, видимо, сказать что-то, и не говорил; и в эту минуту показалось Сергею, что Морозов из-под длинной ладони все время наблюдает за ним, карандашом водит по бумаге лишь машинально. «Неужели они не чувствуют все?» — мелькнуло у Сергея, и тотчас медлительный строгий тенорок заставил его взглянуть на Луковского.

— Зачем же, дорогой вы мой? Оставайтесь... хм... Вы член партбюро, и мы не вправе вас упрекнуть... мм... в личном. Я только хотел бы, чтобы вы оба не касались воспоминаний, хотя здесь все запутано и... серьезно, надо сказать. С обеих сторон. Перейдем к настоящему. Павел Михайлович, мы отвлеклись. А у меня, дорогой, полтора часа времени.

И Луковский, засопев, подался телом в кресле, показал на ручные часы.

С подозрением слушавший до этого и Уварова и Сергея, Свиридов внушительно постучал карандашом по графину, заговорил:

— Неорганизованно проходит партбюро. Ближе к делу. Конкретно. Факты, всё говорят факты. Мы не можем не верить коммунисту Уварову, поскольку фактов нет против него. Он не обманывал партбюро, не скрыл факта ареста своего отца, не оскорбил члена партии, товарища, гнусным политическим ярлыком. А так, знаете, Вохминцев, вы завтра на любого — погубил, убил... Для этих вещей доказательства нужны. Суровые доказательства. А мы тратим время на ваши домыслы и соображения. Факты, факты нужны. Прошу высказываться по существу вопроса. Слушал я, и даже неловко как-то, Вохминцев, знаете ли. Да, неловко, стыдно. Прошу высказываться! А вам посоветовал бы посидеть и крепко подумать над своими ошибками, товарищ Вохминцев. У меня как секретаря партбюро создается впечатление, что ничего понять не хотите.

«Значит, ничего не нужно?» — подумал Сергей с ощущением, что все рушится, ломается и он не может ничего изменить. И вдруг впервые в жизни он почувствовал непреодолимую жуть одиночества не оттого, что так просто решалась его судьба, а оттого, что ничего нельзя было доказать, оттого, что не верили ему, не хотели верить.

— Прошу высказываться конкретнее,— донесся до него, как сквозь железную толщу, спокойно сухой голос Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, его толстый узел галстука под кадыком, его подозрительные, щупающие глаза, его прямолинейность,— эта мысль не вязалась с тем,

что в руках Свиридова его, Сергея, судьба и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть.

— Разрешите?

Сергей увидел, как сквозь серый туманец, низкорослую фигуру Косова; трубка, зажатая в кулаке, исчезла, и возбужденный басок его стал ударять, кругло звенеть над столом.

— Выступление Уварова для меня — это нежное блеяние оскорбленной овечки. Посмотришь на его хилые плечи — и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары — рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то и, простите, баланда! Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу спросить и Вохминцева: почему до сих пор молчал и он? — Косов покачался за столом, исподлобья взглянул на Сергея и снова косолапо переступил с ноги на ногу.— Как парторг курса я должен сказать вот что. Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что: Вохминцев, грубо говоря,— подсудимый, и мы все — судьи. Так, кажется? И судья — Уваров как член партбюро? А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит.— Он решительно наклонился к Свиридову.— Я Уварова плохо знаю, кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал, и на разных курсах. Он выступал здесь так, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров!

— Вот как бывает, товарищи члены партбюро,— дошел до Сергея прыгающий от изумления голос Свиридова.— Парторг курса... Идейную, политическую незрелость вы показали, товарищ Косов! Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите? А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище-коммунисте... Так необоснованно?

Свиридов, замолчав, в упор, не мигая, изучал лицо Косова, севшего уже на свое место; кончики ушей у Свиридова отливали на солнце восковой желтизной.

Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимал его крепкими пальцами, неожиданно засмеялся резковато и зло, махнул трубкой над столом.

— Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом! Они и переизберут, если уж надо.

Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил с места на место листок чистой бумаги перед собой, произнес иссушенным и как бы отталкивающим голосом:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично как секретарь партийной организации до последнего вздоха, до последнего... буду бороться за идейную чистоту партии...

Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды себе не налил, распрямился за столом.

— Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим! Нет, не дадим, товарищ Косов! Кто хочет выступить?

«Он не верит ни одному моему слову, чтобы я теперь ни говорил,— снова подумал Сергей.— И не верит уже Косову...»

— Вы говорите о бдительности и принципиальности, о чистоте говорите,— нашел в себе силы, чтобы сказать, Сергей.— Но рано хороните моего отца и меня.

— Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев! — не дал договорить Свиридов, строго застучав карандашом по графину.— Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово.

В эту минуту все молчали.

Он знал, что, если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И не в силах уже преодолеть возникшее чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося, и журчащий тенорок Луковского, вставшего возле кресла со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, звучавшие в комнате: «выговор» и «исключить»; и выговор возникал в его сознании как нечто ватное, серое, «исключить» — режуще-острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все время с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти, он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши,— сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены с портретом Сталина, и голос Свиридова прозвучал, казалось, над головой:

— Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?

«И он воспитывает меня? И он считает, что воспитывает? — почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: — Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, ответил:

— Нет.

И, ответив это, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы и, когда вынул сигарету, не кислую и не жесткую, не ощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: «3 часа, 21 минута. Все!»

В 3 часа 22 минуты началось голосование. Пятеро проголосовали за исключение, двое за выговор — Морозов и атлетический паренек в футболке; Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.

— Исключить из членов... из членов вэ-ка-пе-бэ...— донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол.

Было душно.

«Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь, никогда не будет...»

Все кончилось. Ему казалось, кабинет давно опустел, но еще слышал стук отодвигаемых стульев, негромкие голоса выходивших людей и, когда увидел медленно подошедшего Косова, сказал хрипло:

— Потом, Гриша, потом.

А рядом — шорох надеваемых пиджаков, кто-то рвал листки с записями. Его не интересовало, что делают, говорят эти люди, и он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось одного — чтобы они как можно быстрее, не медля, ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро: ему необходимо, ему нужно было сказать все этому добряку директору Луковскому. В ту минуту, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль, что нужно что-то делать. И он понял, что ему следовало делать,— ему нельзя было больше оставаться в институте. Уйти из института... здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая. Потом его все равно попросил бы об этом Луковский.

Он курил, и ждал, и еще находил в себе волю, чтобы стряхивать пепел в пепельницу на подлокотнике кресла. У него давило в горле и, казалось, подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Он услышал — все стихло в кабинете, посмотрел в сторону стола — и встал. От его движения пепельница соскользнула с подлокотника, упала почти без стука, окурки высыпались на ковер. Он не стал подбирать их.

— Ну что еще? Что еще?

В опустевшей комнате на кресле, выжидая, сидел, согнувшись, положив перекрещенные сухощавые руки на костылек, Свиридов, изучающе смотрел на Сергея.

— Что? — спросил он строго.— Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтоб ты понял, что член партии...

— Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? — выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты...— Свиридов поднялся, опираясь на костылек, синева залила щеки, зрачки заострились.— Ты с-смотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я коз пасти не доверил, а не то что возглавлять партоорганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят!

— Молчи! — Свиридов стукнул костыльком об пол.— Ты что? Ты что?

Сергей сказал:

— Я отказался от последнего слова. Это — последнее.

Сергей повернулся, в этот миг боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь на стул, останавливая рвущийся, скачущий почерк, написал:

«Директору Московского горного ин-та
проф. Луковскому

Прошу отчислить меня из ин-та в связи с семейными обстоятельствами.

Студ. 3 курса Вохминцев».

В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.

— Вы, дорогой мой, ждете меня?

— Вас. Вот, возьмите.

— Что это? Позвольте, дорогой...

Надевая мундир, застегивая пуговицы на брюшке, профессор Луковский, проворно втискиваясь между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, читая,— косматые брови поднялись, открыли глаза, добрые, усталые.

— Что ж это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой? Прекрасный студент, умный ведь вы малый, а что наворотили. Зачем вам нужно было... хм... скрывать, оскорблять... мм... Уварова... ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек. Ай-яй-яй, Вохминцев... Горняки, властелины земли. И зачем вы это настрочили? Вгорячах? Мм? Ну, признайтесь. С обиды махнули: на вот тебе, ешь!

Луковский качал седой львиной головой своей, тыкал пальцем в заявление Сергея, и, домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен, и это сейчас неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально:

— Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал вгорячах, но это совершенно осмысленно.

— Прекрасные студенты, умницы, вы же станете гордостью горного

дела... Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались... Потом...— Луковский махнул детской рукой, произнес с досадой: — Партбюро... и исключили ведь. А! Пятерки... ведь пятерки у вас. Помню отлично.

— Я прошу подписать мое заявление, профессор.

Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра придет к нему Свиридов со своим костыльком и он, Луковский, подпишет все, что потребует Свиридов.

— Ай-яй-яй, молодежь... Один стишки, другой это вот сочинение принес. А! Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. А о жизни, о профессии думаете? Или так все? Шаляй-валяй? Вы что же, изменяете профессию? Разочаровались?

— Вячеслав Владимирович!

— Как же это... хм! Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой? Мм? И что же мне делать, вашему директору?

— Случилось так, профессор, что подлец выиграл бой.— сказал Сергей как можно спокойней.— И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще.

Он шел по длинному коридору, почти бежал мимо пустых аудиторий, стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон,— он торопился скорее выйти, выбежать отсюда.

— Вохминцев!

Он вздрогнул, услышав свою фамилию.

За поворотом коридора к лестнице, из закутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, с длинными руками доцент Морозов, не глядя в глаза ему, кожаной папкой перегородил путь.

— Сергей, слушайте,— проговорил он.— Вечером, часов в десять, зайдите ко мне домой. Сегодня.

— Зачем же это? — спросил Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас.— Не понимаю, Игорь Витальевич, зачем?

— Мне надо поговорить с вами. Зайдите. Я буду ждать.

— Благодарю вас. Я не приду.

Он вышел на бульвар.

Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей; с гудением скользящий поток машин за железной оградой бульвара, слитный шум улицы — все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков.

Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам — осталась последняя измятая сигарета в пачке,— сел на теплую скамью, располосованную тенью. И, кажется, чуть отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, развернутая книга — на коленях. Она взглянула мельком.

А он смотрел на институт за бульваром, пустой и чужой, обезлюдевший.

«Ну что же, как же теперь? Что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил о записке Константина, вынул ее из бокового кармана, развернул ее — узкий почерк был небрежен, тороплив, неразборчив.

«Серега!

В 11.30 уезжаю в Тульский бассейн (7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники) на лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно.

Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось — все мои капиталы от шоферской

деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там, ясно, нет. Мне эти гроши — до Феньки. Тебе с Асей могут сподобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил — пусть заваливается без вызова.

Серега! Я все же тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал, что у тебя. (Хотя знаю — ты в сорочке родился.) Ты просто думал, что в башке у меня — сплошной джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе судья!

Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровления Асе.
Твой Костька.

Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда, вечером.

Еще раз обнимаю, старик!»

Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную...

Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и усиками, с его полусерьезной манерой говорить, с его набором пластинок, с его броско-модными ковбойками и галстуками, с его безалаберностью, с его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить! Нет, ему нужен был Константин, нет, без него он не мог жить...

Он перечитал записку; девушка в сарафанчике закрыла книгу, подобрав под себя ноги, испуганно обернулась, когда он, застонав, прислонился затылком к спинке скамейки и сидел так с закрытыми глазами.

— Вам плохо, может быть?..— услышал он робкий голосок.

— Что? — И открыл глаза.

— Мне показалось, вам плохо как-то... Может быть, позвать...

— Что? Что вы! Жара... Вы видите, какая жара...— Он улыбнулся.

— Простите, пожалуйста.

Она встала, одернула сарафанчик; поскрипывая босоножками, ушла, оглядываясь.

Глава пятнадцатая

Целый день он бродил по городу.

Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопного газа от проносившихся возле тротуара машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над переполненными летними кафе, дребезжанье трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуаре, разомлевшие люди, потные лица — все перемешивалось, двигалось, город жил по-прежнему, изнывал от жары, и ломило в висках от блеска, от гуденья, от запаха бензина.

Уехать!.. Куда? У него три курса Горного института. Уехать, да, уехать немедленно, на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору! Что ж, он сможет работать шахтером, он знает неплохо горное дело. Новые люди, новая обстановка, новые лица... Работа... Его она не пугает. Уехать!.. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно!

Почти инстинктивно он зашел на углу возле универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снял ожигающую ладонь трубку, машинально набрал свой номер и, только услышав гудки, тотчас же нажал на рычаг — что он мог сказать Асе сейчас?

Он постоял, глядя на эбонитовый кружок с номерами, потом неуверенно, с нерешительностью поднял руку, набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившейся в автомат. Голос:

— Алю-у, Нину Александровну? Нету ее...

И он повесил трубку, обрывая этот голос.

Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что недоделал, не решился на что-то, и медленно пошел по размякшему асфальту под солнцем.

«Уехать? От всего этого уехать? От Нины, от Аси? Невозможно. Не могу!.. А как же жить? Что делать?»

В поздних сумерках он сидел в кафе-поплавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил — не хотелось есть,— глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, багрово светилось под гранитными набережными; городские чайки вились над мостом, садились на воду, визгливо кричали; мимо скользких мазутных свай причала течение неторопливо несло пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги — уносило под мост, где сгущалась темнота.

«Почему люди любят смотреть на воду? — спрашивал он себя.— В воде перемена, тяга к чему-то? Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло? Впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому, что есть такие, как Луковский, Морозов?.. Морозов, Морозов... «Зайдите ко мне. Надо поговорить». О чем?»

Он расплатился и вышел.

— Пришли, Сергей? Очень хорошо, я вас ждал. Очень ждал. Спасибо, спасибо, что пришли. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?

— Благодарю. Я не хочу ничего.

— Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами... Вы можете побыть немного у меня?

— Вы просили, чтобы я пришел?

— Я вас ждал, Сергей. Я вас ждал. Садитесь, Сергей.

Был Морозов в пижаме, короткой для его длинной неуклюжей фигуры, неудобно как-то торчали кисти рук, видны были голые ноги в мягких шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался возле низкого столика, на котором в тарелках — колбаса, сыр; неумело ввинчивал штопор в коньячную бутылку, казался всецело занятым этим.

Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами, письменный стол перед открытым окном завален горами книг, рукописей, на тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами. В квартире — тишина. Слышно было, как с шумом поднялся лифт на верхний этаж.

«Нужно ли было приходить? — подумал Сергей, следя досадливо за неловкой возней Морозова с бутылкой.— Он ждал?»

— Я никогда не думал... Делают пробки! Крошево, шлак! — заорал Морозов, розовея.— И ни к богу! Протолкнуть ее, что ли?

— Сразу видно, что вы не воевали в конце войны,— сказал Сергей.— Дайте, я открою. По вашему умению вижу: часто пьете.

Он выбил пробку ударом ладони, поставил бутылку на стол.

— Я просто хочу с вами выпить, Сергей,— заговорил Морозов, наливая в рюмки, расплескивая коньяк.— С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дербалызнуть коньяку. С вами.

— А за что именно? — Сергей помолчал.— Это странно... Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело — лишь стоит узнать. Не опасаетесь?

— Пейте, Сергей!

— Я не хочу. Благодарю.

Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кусочек колбасы, пожевал, снова налил. И, чокнувшись, выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел опьянеть скорей. Сергей взглянул на него удивленно, но не выпил. Закурил.

— Дайте, что ли? — сказал Морозов и взял сигарету.— Тысячу раз бросаю курить и никак... У меня в войну после завала на «Первой», в Караганде, легкие малость — да бог с ним! Дайте прикурить.

— Вот спички.

— Пейте. Почему вы не пьете?

— Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?

— Оставьте, Сергей! Мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтоб мне подумать... Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам — вы способный, умный парень, и это я всегда любил. Что уж там — вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель.

— Ну — и что? — спросил Сергей.— И что же вы, интересно, думаете об Уварове? То же самое?

— Сложно думаю, Сережа, сложно. Да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас. Опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и неглупо устраивает свою жизнь. Никто не поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону. Вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка.

— Какую он понял обстановку?

— Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончилось.

— Благодарю. Я не хочу. Какую он понял обстановку?

Морозов выпил снова, покривился, лицо не розовело, а бледнело, встал и заходил по комнате своей неуклюжей походкой, какой решительно ходил по коридорам института,— шаркали по паркету шлепанцы.

— Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку...

— Каких причин? — спросил Сергей.— И почему они влияют?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка, могут быть и еще внутренние причины, не знаю. Но идет борьба... И все напряженно. Все весьма напряженно сейчас. А в острые моменты у нас часто не смотрят — кому дать в глаз, а кому смертельно под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов. «Есть сигнал от студентов — не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Думаю, все внимание отечественной технике должно быть, подумайте о сигнале».

— Свиридов! — повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу.— Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете все, молчите и оправдываетесь междуна-

родной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?

— Нет, не перепугала. Но я ответил, что подумаю,— не сразу сказал Морозов.— Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям, как линейка. И он тупо, по-бычьи, проводит борьбу за идейную чистоту института. «Факты, факты!» Не учитываете, что нашлись бы один-два студента, которые написали бы: да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции. И пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу, это я знаю не один год. Не будете возражать?

— Нет.

— Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу.

— Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня — с воспитательной целью? К черту летит все, ваше умное молчание, когда ломают кости! А вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это еще читал в девятом классе. К черту она мне!

Морозов приблизился, уперся руками в край столика, серые небольшие глаза его были грустны.

— Хочешь сказать, почему я молчал? — спросил он вполголоса, переходя на «ты».— Почему?

— Нет. Это мне ясно.

— Не совсем. Тактически создался очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Так я молчал потому, что весь бой за тебя впереди. Хотя и не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...

— Я уверен и всегда буду уверен, что отец не виновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца — это как расписка в моей трусости.

— Все понимаю. Но есть факт, как говорит Свиридов. Объективный факт. И очень серьезный. Беспощадный. Но весь бой еще впереди.

Наступило молчание. Было слышно, как прошел с шорохом лифт на верхний этаж, стукнула дверца.

— Поздно! — проговорил Сергей и внезапно, неожиданно для самого себя взял рюмку, наполненную коньяком.— Ваше здоровье! — Он чуть усмехнулся и сейчас же, нахмурясь, сказал несдержанно-вызывающим голосом: — Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент. А в сорок втором. Под Сталинградом.

— Что «поздно»? — тоже выпив, спросил Морозов и достал сигарету из пачки Сергея.— Не понял. Что поздно?

— Я уезжаю, Игорь Витальевич,— сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку на столе.— Как говорят — в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн... Вот вам и ваша польза — горные машины. Ваши пятерки в зачетке. Не примут забойщиком, не возьмут на врубовку, на комбайн, пойду рабочим, на поверхность — уголь грузить. Посмотрю...

— Куда?

— Еще не знаю. Все равно. Лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич.

Огни над Чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже, с умными книгами на полках, тахтой, рукописями, с коньяком и рюмками на столике и разговор с доцентом Морозовым — все вдруг показалось отрывающимся от него. И были за тесной комнаткой на Чистых

прудах другие города, люди, лица — в это мгновенье все отчетливо существовало, было где-то, и решение уехать представлялось единственно верным. И возникло минутное облегчение.

— Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич. А не за разумный эгоизм!

Но Морозова не было рядом. Он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груду книг, рукописей, горбато опустив костистые плечи, стал что-то нервно, быстро писать, не оборачиваясь, проговорил в стол:

— Пей. Я мысленно.

Сергей, держа рюмку, прижимая ее к столику, не выпил — глядел, не понимая, на Морозова. Странно было: он сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим казались грубовато-шахтерскими, не доцентскими. Профессор Луковский с его благородной седой шевелюрой, со своими полными домашними руками не был похож на него.

— Вот,— проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта.— Вот! — И он, плотно припечатывая ладонью, заклеил конверт на столике.— Мой совет тебе: езжай в Казахстан,— заговорил Морозов отрывисто.— На «Первую». В Милтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову. Акиму Никитичу. Здесь все указано: адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым пять лет. Да, был у него главным инженером. Езжай! Время все покажет. А научишься на всю жизнь. И вот что еще, знаешь ли.— Морозов с неуклюжестью выдвинул ящик, вытащил пачку денег.— И вот, знаешь ли, на первый случай... Да, видишь ли, таким образом...

— Не надо. У меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги.

— Выпьем, Сергей, за это?

— Что ж, давайте.

Он медленно, поглаживая перила, оглядывая ступени, стены, поднялся по лестнице и остановился на площадке под знакомой запыленной лампочкой в сетке, видя эти старые, обшарпанные стены, перед дверью переждал немного, не решаясь сразу нажать кнопку звонка,— все казалось, исчезнет, оборвется, упадет куда-то: и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги или шаркающий звук тапочек, и поднятые полоски бровей, и голос ее: «Ты?» И с тем, что он не будет приходить сюда, не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что с этим он расстанется надолго.

Он знал: это было самым страшным, что могло еще произойти с ним.

Сергей нажал кнопку звонка, и, когда дверь открылась, он все еще держал руку на звонке, не веря в то, что она здесь.

Нина стояла в передней.

Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.

— Что? Что?

— Я люблю тебя... И больше ничего... И больше ничего...

— Сережа, что?

— Я люблю тебя,— повторял он с сжимающей горло нежностью, прижимая к себе, чувствуя напряжение ее тела.

— Что? Что? Мне страшно, Сережа...

— Я люблю тебя. Я люблю тебя!..

— Что, Сережа, что?..

И он чувствовал дрожь ее пальцев на своей спине, ее руки, гладящие, прижимающие его.

Глава шестнадцатая

Это письмо-записку — свернутый, помятый и грязный треугольник, без штампа, без печати он вытащил утром из почтового ящика, и потом, когда читал его, с трудом разбирая написанные химическим карандашом и рвущим бумагу неузнаваемым почерком неясные слова, он еще не верил тому, что это письмо отца, что это его так неузнаваемо изменившийся почерк, а когда прочитал и разобрал слабую, скользящую вниз, к обрезу грязного листка подпись отца, он подумал, что за одну встречу с отцом, за то, чтобы увидеть его хоть раз, он мог бы отдать все.

«Дорогой мой сын!

Прости меня, если все, что случилось со мной, отразится на твоей судьбе, на судьбе Аси, на вашей молодости...

Верь, что я всегда любил тебя, Асю, мать, хотя ты никогда не мог простить мне ее смерти. И многое ты не мог простить мне после войны. Я помню твою неприязнь, твой холодок ко мне, а я ничего не мог сделать, чтобы его разрушить. Мы не совсем понимали друг друга, и в этом моя вина, только моя.

Мой дорогой сын Сергей!

Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной что-нибудь случится,— верь, что я и другие были жертвы какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Ты знаешь по войне. Нет, самое страшное не допросы, не грубость, не истязания, а то, когда человек не может доказать свою правоту, когда силой пытаются заставить подписать и уничтожить то, что он создавал и любил всю жизнь. Все должно кончиться, как ошибка, в которую невозможно поверить, как нельзя поверить, что все чудовищное, что я видел здесь, прикрывают любовью к Сталину.

Поверь мне, что я не виновен.

Поверь мне, что я коммунист, а не враг народа, как тебе будут говорить обо мне.

Поверь мне, что для меня дело партии — это все мое, чем я жил.

Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить! Я верю в твою непримиримую честность.

Люби Асю. И береги ее. Она еще ребенок.

Придет время, и оно, мой сын, само разберется в судьбах правых и виновных.

И прости мне то, что мне не хватало сил быть образцом для тебя. А каждый отец хочет этого.

Помни, что я всегда любил вас.

И последнее... Я понял, что должен уехать очень далеко...

Крепись — и не горюй. Смерть — не самое страшное...

Твой отец».

Глава семнадцатая

В сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание мутно проступало в сером воздухе, лишь за деревьями светилась длинная полоса окон на втором этаже — там был зал библиотеки. А все здание было пусто, тихо, сумрачно.

Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями, капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его — неприятно холодили брови влагой. И его слегка знобило от дождевой сырости.

Целый день он бродил по городу, шагал по лужам, потом в сумерки петлял по мокрым и узким переулкам вокруг института, но, когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон библиотеки, как бы оборвалось все: лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный «треп» с Косовым и Подгорным в общежитии, в их комнате, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером, заходил просто так, по дороге.

«Значит, все? Это — все?»

Стоя под деревьями, он посмотрел на глубину институтского двора, на флигельки общежития, уже тоже опустевшего,— под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода в лужах.

И не хлопали двери, не звучали голоса — все казалось безлюдным.

Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного — знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс. Он просто хотел их увидеть.

Когда, прошагав через двор по прилипшим к асфальту листьям, он на мгновенье задержался перед дверью общежития, а потом переступил через порог в коридор с одной матовой лампочкой, сразу едко пахнуло на него нежилой обстановкой: стояли сдвинутые к стенам столы, на них — оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка, был сыроватый запах ремонта.

На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление: «Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением Косов, Подгорный, Морковин».

Сергей усмехнулся, толкнул дверь.

В комнате был хаос: на кроватях чернели сетки, матрацы вздыблены, свернуты в рулоны, на тумбочках кипами лежали старые конспекты, стол завален обрывками чертежей, на подоконниках валялись пузырьки из-под туши — и здесь был тот же ремонтный беспорядок.

Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, подложив под голову стопу учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный и задумчиво курил, ощупью стряхивая пепел в горлышко порожней бутылки из-под пива, стоявшей на полу.

Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился с деревянным, как сундук, чемоданом Морковин; наваливаясь коленом на трещавшую крышку, он дышал озлобленно и шумно: что-то не умещалось. Подгорный следил за ним, скосив глаза.

— Здорово,— сказал Сергей, кивнув.— А где Косов? Уезжаете?

Он остановился посреди комнаты возле стола, руки в карманах, с плаща капало, капли шлепали по газетным обрывкам на полу.

Подгорный, не вставая, повернул лицо к нему, глаза округлились, лоб пошел гармошкой; затолкал окурок в горлышко бутылки. И приподнялся, потирая затылок, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью.

— Здоров... Сережка! Ты к нам?..

Морковин распрямился возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами. И, хлюпнув носом, спросил с изумлением:

— Это как же? Значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?

Подгорный сел на кровати, глядя не на Сергея, а на чемодан Морковина.

— Ты бачил, Сережка, этот сундук? — проговорил он замедленно.— Думаешь, он горную литературу везет? Заблуждение. Старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи — як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на практике. А ты думал! Он знает. Три часа укладывает. Во, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова-а! Мыслитель! Аж над башкой сияние.

— Отцепись! — Морковин дернул носом, опустился на чемодан, выставив колени, не отводя взгляда от Сергея.— И на практику уже не едешь? — опять заговорил он тихо, съеживаясь.— Значит, все теперь? Как же тебя выключили?

Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем, и Сергей, стоя посреди комнаты общежития, молчал, как будто необычным был его приход сюда, куда с легкой душой приходил он прежде.

— Вот, заметил? Над башкой нимб мыслей. Сокра-ат! И за что ему четверки ставят, мыслителю калужскому? — произнес Подгорный.— Садись, Сергей. Ну, що стоишь? Григорий по гастрономам бегает. Консервы на дорогу... Сейчас прибудет.— Он, опустив ноги с кровати, с раздражением пошевелил пальцами в носках.— Слухай, Морковин, шел бы ты погулять по коридорам. Надевай штаны — и дуй. Дай людям наконец поговорить. Ну, погуляй, погуляй, хлопче!

И поднялся с зазвеневших пружин.

— Не лезь! — со злой досадой огрызнулся Морковин.— Куда ты меня выгоняешь?

Он сел на чемодан, прижимая колени к груди.

— А! — Подгорный тоскливо взглянул на Морковина.— Бес его возьми, ведь через два часа уезжаем. Слышь, Сережка, через два часа...

— Значит, через два часа? — произнес Сергей, не вынимая руки из карманов, шагнул к кроватям и обратно.

— Уезжаем,— проговорил Подгорный и замолчал.

Молчал и Сергей, шагая по комнате мимо темных окон. Подгорный стоял, наблюдая за ним: под ногами Сергея шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей: шагая, он, казалось, пьяно, по-больному пошатывался, лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался возле окна, потом вынул одну руку из кармана, механически переставляя на подоконнике пустые пузырьки из-под туши, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ладно. Собирайтесь. Мешать не буду. Косова подожду, прощусь и поеду спать.

Голос Подгорного прозвучал за спиной его:

— Ты шо думаешь делать?

— Что делать? — повторил Сергей, не поворачиваясь.— Уеду на шахту. Буду работать. Это — все.

— Шо-о?

— Что тебя удивляет, Мишка?

— Значит, с институтом конец?

— Когда человека исключают из партии, его исключают и из института,— ответил Сергей, подбросил на ладони пузырек, поставил его на подоконник.— Тебе что — это не известно? Я подал заявление. Не стоит ждать, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка. И ты все понимаешь. Не надо удивляться!

В ту же минуту он повернулся от окна — раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась, Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а с топотом, отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа две авоськи, набитые банками консервов, свертками, бушлат был незастегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело:

— Братцы, на улицах штормяга! Шлепал по гастрономам каботажным рейсом на полный ход, вгрызался в очереди, что твоя врубовка.— Йес, сэр, овер ол! А ну, кинь кто-нибудь закурить! Сережка? И ты тут?

Он увидел Сергея возле окна, веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо, враскачку, как ходил по морской привычке своей, не желая с ней расставаться, ринулся к нему, стиснул кисть Сергея.

— Старик, я искал тебя два дня! Оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем...

— Я знаю, что ты звонил.

— Салага ты. Пакостная морда. Кустарь-одиночка. Вот кто ты! Исчез — и концы обрубил. За это шею бьют!

Косов обрадованно, не выпуская руки Сергея, рванул его к себе, как всегда играя силой, увесисто ударил другой рукой по плечу, заговорил, вглядываясь в лицо Сергея:

— Неужто, старик, на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрей через правое плечо? Этого не знал за тобой! Ты копилка за тремя замками. Копилка. Если обиделся — скажи в глаза, чего крутить?

— Какая обида! Пошел ты... знаешь? — Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь сел на кровать, достал пачку сигарет, протянул Косову.— За что мне на тебя обижаться? Ну, что смотришь? Бери сигарету.— Косов молча ногтями вытянул сигарету.— Черта в сумку! Я еще не умираю, Гришка.

— Идиотские дела, старик,— сказал Косов.— Все как-то через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.

— Тут на кровати Холмин спал,— вдруг невнятно пробормотал Морковин и задвигался на своем чемодане.— Вот тут он... Знаешь, Сергей?

— Здесь? — Сергей покосился из-за плеча на кровать.

— На этой,— мрачно ответил Косов.— Его переселили из третьей комнаты к нам, пожил пять дней — и амба! Тихий был парень, в очках, без конца читал Маркса и Гегеля. Причем на немецком языке. Читал и курил. Две пачки «Памира» выкуривал в день. Был с виду пацаненок.

— Его... здесь арестовали?

— Нет. Но сюда приходили ночью двое с комендантом и перерыли всю тумбочку и весь матрац.

— Между прочим, имел интерес... интерес имел Уваров к стихам его Холмина,— сказал Подгорный, со стуком высыпал на стол из одной авоськи банки консервов, стал разглядывать их, договорил как бы между делом: — Частенько приходил: ты, говорят, стихи отлично пишешь, дай почитать. А Холмин все любовную лирику Морковину читал. А контрреволюцию он тебе читал, ну?

Жмуря золотистые глаза, он взглянул на Морковина — тот поднял растерянное широкое лицо, проговорил шепотом:

— Какую контрреволюцию? Он про природу стихи писал. А никакой контрреволюции не было.

— Понимай шутки, Володька. Без шуток, браток, тяжело будет на свете жить,— серьезно сказал Подгорный, раскрыл свой чемодан, стал, как камни, кидать туда банки консервов.— Продукты у меня. Назначаю себя завскладом.— И. внезапно с такой силой захлопнул крышку потертого своего чемодана, что задребезжали пружины на кровати.

Подгорный разогнулся, длинное и смуглое лицо — хмуро, угольно-черные брови сошлись над тонкой переносицей.

— Ты чего маячишь? — спросил он Косова.

Косов ходил кругами по комнате, в расстегнутом бушлате, покачивая

плечами, ходил в раздумье, дым сигареты таял за спиной. Услышав слова Подгорного, спросил рассеянно:

— Что?

— Сережка уходит из института,— неудивленно произнес Подгорный.— Слышал? И — вообще...

— Тебе что — предложили? — спросил Косов, дернув ворот рубашки, словно было жарко ему.

— Не предложили, но предложат,— сказал Сергей.— Это ты знаешь.

У Косова дрогнуло что-то в лице.

— Знаю! Но ты думаешь, старик, что так все время будет? Знаешь, я ходил в войну на Балтике, такие ночные штормяги бывали — штаны трещат. Вспомни, чертов хрыч, сколько раз казалось на фронте — все, конец, целовались даже, как перед смертью. И все проходило. Да что я тебя агитирую за советскую власть! Я тебя лозунгами прошибать не буду! Знаешь, что главное сейчас — бороться, но не наворотить глупостей, не подставлять под удар задницу!

Твердый голос Косова отдавался в ушах Сергея, а Косов, все раскачиваясь, цепкой походочкой ходил странными спиралями вокруг стола, рубил маленьким кулаком воздух. Сергей чувствовал озноб на затылке, он зяб, руки в карманах плаща не согревались, и болью резал по глазам свет оголенной — без колпака — лампы, висящей на шнуре над столом. И черный бушлат Косова, черные окна с потеками дождя, голые кровати со свернутыми матрацами — все было неуютно, тускло, обдавало как будто сырым сквозняком, и не верилось, что Косову было жарко — грудь обнажена под бушлатом, не верилось, что в этой сырой комнате Морковин в трусах сидел на своем, казалось холодном, чемодане и молча снизу вверх глядел то на Косова, то на Сергея.

Сергей спросил:

— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Я этого делать не буду. Хватит! Хватит, Гришка. Я не пропаду. Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охоткой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?

— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и надвинулся на Сергея.— Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком... надо драться!

— Мне Свиридов сказал.— Сергей усмехнулся.— Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.

— Партия — это не Уваров и Свиридов, леший бы задрал совсем! — крикнул Косов.— Партия — это миллионы, сам знаешь! Таких, как ты и я!

— Но в райкоме верят Свиридову...

— Мы слишком много учитываем и мало действуем! — не дал договорить Косов.— А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!

— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.

— Это что — твердо? — спросил Косов.

— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?

Он чувствовал едкий запах известки из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках на полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, глядевшего на него со своего чемодана, как будто отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.

— Самое страшное, Гришка, не во мне. Самое страшное — поверить в клевету.

Взглядывая на Сергея, на Морковина, Косов молчал, в широкоскулом и обветренном лице — напряжение. Подгорный сел на кровать, опустив ноги, сбоку следя суженными глазами за Морковиным. И тот, обняв круглые колени, прижимая их к груди, обводил спрашивающим взглядом Сергея, Косова и Подгорного, и вдруг, густо покраснев, покорно поднялся и тихо потянул из-под матраца брюки, стал, не попадая ногой в штанину, надевать их.

— Тю! — произнес Подгорный.— Ты куда ж?

— На вокзал,— уже натягивая рубашку, путаясь в ней, ответил срывающимся голосом Морковин.— Я мешать не буду. Я ведь не партийный... В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я... как и вы... Сергея понимаю... понимаю... Может, вы думаете, что я... думаете, что я...

Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и когда Сергей увидел его наклоненное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, мгновенная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолюбливавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:

— Посиди, Володя. Никто из нас не думает...

Тогда Подгорный спрыгнул с кровати, сказав: «Ах, бес, с воображением» — и, подойдя, миролюбиво и с грубой ласковостью охватил Морковина за плечи, толкнул, посадил на чемодан.

— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слухать не хочу — ухи вьянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?

Морковин, сидя на чемодане, все скользил пальцами по пуговицам старенькой черной приготовленной в дорогу рубашки, не подымая лица. И Косов, молча наблюдая за ним с высоты своего маленького роста, внезапно отшвырнул носком ботинка кусок ватмана, валявшийся на полу, сказал:

— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?

И повернулся к Сергею и долго смотрел под ноги себе, согнув шею, потом проговорил:

— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь,— добавил он,— мне вчера один тут... знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.

— Гришка, знаю,— ответил Сергей.— Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли там?

Подгорный, молчавший до этого, опять лег на кровать, проговорил в раздумье:

— От главное.

Он, не подымаясь, протянул руку, ощупью нашел на тумбочке над головой своей спички, но не закурил, стал чиркать спичками по коробку.

— Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы,— произнес он задумчиво, следя за пламенем спички.

Косов, все шагая, как бы отталкивая ладонью железные спинки кровати, сказал:

— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И пугливых в партии не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым та-

кую чистоту в институте наведут — ни одного стоящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?

Подгорный бросил догоревшую спичку в бутылку и звучно сплюнул в нее.

— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот.— И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею невесело, не с фальшивой бодростью, а серьезно и грустно.

Сергей встал. Не вынимая руки из карманов, сделал несколько шагов по комнате, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзла от промокшего плаща спина, а голова была горячей — и почему-то появившаяся на миг мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.

— Я провожу вас до автобуса,— сказал Сергей вполголоса.— Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я подожду.

— А! — с отчаянной досадой произнес Косов, рубанув рукой по воздуху.— Деньки, как в бреду... беременной медузы! Собирай, братцы, монатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан или пропал. Или грудь в крестах, или...— Он поднял свой чемодан с пола и резким движением руки бросил на стол.

— Пан. Прошу пана — пан,— без улыбки отозвался Подгорный.

Они собрались быстро и молча — количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов одним нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, поднял его, пробуя на вес с нахмуренным выражением («Чемоданчик ничего себе — аж углы перекосились!»). Морковин затоптался возле Косова, не подымая своего круглого конопатого лица, пробормотал в растерянности:

— Разве уж тяжелый?

— Ладно! — обрезал Косов.— Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.

И когда выходили уже из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — демонстрировать свою силу: о нем говорили, что, если потребуется перенести все шкафы и столы из аудиторий во двор и обратно, Косов один сделает это с удовольствием.

И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и чувствовали все, как он, и оценивали многое так же, однако он все время ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.

Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара, под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.

— Старик, до осени,— хрипло сказал Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в эту минуту, и так стиснул маленькой ладонью руку Сергея — заболели пальцы.

— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь — мука буде.— Подгорный с дрожащей улыбкой сжал плечи Сергея и легонько обнял его.— Ось поверь, мука буде...

— Счастливо,— коротко произнес Сергей, скрывая в этот миг рвущуюся нежность к ним и почему-то веря, что они расстаются ненадолго.

И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное желанием помощи лицо, увидел его часто мигающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его пре-

рывающийся от волнения шепот и почувствовал вцепившиеся в его руку пальцы.

— Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе... Ты не замечал, а я уважал... И сейчас... Прощай покуда, Сергей.

— Ладно, Володя, ладно,— отрывисто сказал Сергей.— Счастливо вам.

Они сели в автобус с замутненными окнами, и не было видно лиц за стеклами, только смутно темнело там, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, и потом огни автобуса стали мешаться с огнями фонарей, исчезли; и тут, на мостовой, где только что стоял автобус, был пустой асфальт с прибитыми к нему дождем тополиными листьями.

Сергей повернулся и пошел, глубоко сунув руки в карманы промокшего плаща, шагал по темному тротуару, один по этой безлюдной, шуршащей дождем улице, озноб не проходил, его била дрожь.

«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой...», «Поверь мне, что я не виновен...» — вспомнил он, и рвущие бумагу буквы отца всплыли перед его глазами.

Глава восемнадцатая

В начале августа после трех суток езды сквозь сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей с одним чемоданом, в плаще сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтук-уголь» и под моросящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнущую углем, незнакомым южным запахом.

Город начинался за площадью — по-раннему редко светились окна. За силуэтами домов, за черными шелестящими карагачами показалось ему: в самом центре города проходила железная дорога — как от паровоза, мелькали над крышами багровые всполохи,— и там пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, грохот.

Нагружался, видимо, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различил в воздухе рассвета справа и слева за улицами неясные очертания копров.

Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, а Ася там, в Москве, под присмотром Мукомоловых и вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и отпускает его. Она все поняла.

На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала крутой поворот по площади, затормозила около Сергея. Опустилось стекло, высунулась голова молодого парня-казаха в кепочке с пуговкой.

— Салам, начальник! — крикнул он.— Куда везем?

— Я не начальник.— Сергей переложил, казалось, сразу отяжелевший чемодан в другую руку.— Нужно в райком.

— Садись, будь любезен, подвезем.— Шофер мастерски, сквозь щелку зубов сплюнул в дождь, весело и охотно открыл дверцу.— Давай! Откуда сюда?

— Из Москвы.

— Э-э, москвич?

— Был. Теперь — нет.

Он влез на сиденье рядом с шофером и едва успел достать мокрыми пальцами сигарету, как шофер резко затормозил машину, положил локоть на руль, подмигнул всем своим выпуклоскулым и подвижным лицом.

— Все, начальник!

— Что?

— Приехали. Райком.

— Уже? — удивился Сергей, не понимая сразу, и полез за деньгами.— Сколько с меня?

— Веселый парень, анекдоты рассказываешь! — замотал головой и озорно, молодо захохотал шофер.— Какие деньги — пятьсот метров ехали! Только сигарету дай, московскую. «Прима» у тебя? Вот райком! Только рано еще. Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай.

— Нет. Я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку сигарет. У меня есть.

Двухэтажное здание райкома было темным.

Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом сутки.

Только в десять часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно вступил в приемную, где пожилая, с непроспанным лицом машинистка безостановочно, с пулеметной быстротой стучала на машинке, задержал взгляд на Сергее, сидевшем на диване с чемоданом у ног, сказал громким голосом:

— Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне товарищ?

— К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт. Из Москвы.

— Из Москвы? Ну, так. Проходите, коли ко мне.

Он вошел в кабинет.

— Так, так,— говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая на него недоверчивыми глазами.— На шахту? Работать?

— Да.

— Понятно. А отец арестован, так? Осужден?

— Под следствием.

— А ты что же — обманул партбюро?

— Нет.

— Та-ак. Понятно. А Игорь Витальевич — твой декан?

— Да.

— Что это ты заладил: да, нет, нет, да. Как заведенный. Эдак мы с тобой и не договоримся. Будем мекать де бекать. Ты что, злой очень?

— Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики,— сказал Сергей.

Этот с одним окном на улицу кабинет Гнездилова, с простым письменным столом и закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, с деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, показался вдруг неуютным, и вся простота эта показалась неестественной, и простоватый разговор Гнездилова ненужно наигранным.

— Вон как ты крепко рубанул: «Не обрадовали характеристики»! Да, с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается.

Большое лицо Гнездилова с резкими чертами — мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок — было слегка опухшим после сна, хмуро, наклонено над бумагами — читал документы; голова наголо бритая, ладонь потирала крутую шею в раздумье.

— Эк, как ты: «Не обрадовали характеристики»,— проговорил Гнездилов.— Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял? Ну — как на духу говори!

— Нет, с исключением я не согласен.

— Упрямый ты, что ли? А это что? Зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, что ли, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если прямо скажу нет?

— Что ж, поеду в другое место.

— А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно!

— Поеду в третье.

— Значит?

Гнездилов, не отрываясь, всматривался в Сергея пытливо черными глазами, а крупная рука все гладила шею, наголо до синевы бритую голову.

— В грузчики пойду,— сказал Сергей.— Или — рыть землю.

— От отчаяния?

— Нет. Я в войну много покопал земли.

Было долгое молчание.

— Вот что! — И рука Гнездилова внезапно соскользнула на стол.— Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот что — пойдешь рабочим в комплексную бригаду на «Капитальной». Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова небось?

— Да.

— Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке — все сложно. Все вверх ногами. Сто потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать — такая работа! Не работа — ад! Ну?

«Рабочим комплексной бригады? — мысленно повторил Сергей.— Что он сказал — рабочим комплексной бригады? Он что, шутит?» И в эту минуту он хотел сказать, что он очень хотел бы этого, но проговорил вполголоса и сдержанно:

— Вы, кажется, забыли, что я...

— Я ничего не забыл!— не дал договорить Гнездилов и потянулся к телефону, воротник кителя врезался в шею.— Я все дела твои изучу, парень, и запомни: глаз с тебя спускать не буду. Я сто потов с тебя сгоню...

— Значит, вы серьезно?..— не веря, повторил Сергей.— Спасибо... Я ведь... я ведь готов был и в грузчики,— неожиданно доверительно и тихо добавил он.— Мне уже было все равно, Аким Никитич.

Телефонная трубка задержалась над столом, Гнездилов покосился строго из-под бровей.

— А не справишься с работой — в грузчики, в сторожа переведем! Это обещаю.— Набрал не спеша номер, заговорил своим крепким голосом: — Бурковский? Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоем месте сидел, у меня, брат, дыма не было! Врубовки? А ты проси и врубовки! Что я тебе буду ходатайства писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Экий у тебя дамский характер! Вот что. Закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно ко мне. Разговор есть. Ну! — Бросив трубку, он тяжело поднялся над столом, проговорил: — Давай, Вохминцев. А через месяц позову тебя сюда. И спрошу на всю ивановскую. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо, за углом. Рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра — под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват.

Он только возле самой гостиницы понял, что произошло. Он еще не верил в то, что он будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, Сергей стоял около подъезда новенькой, видимо недавно выстроенной четырехэтажной гос-

тиницы с вывесками. «Парикмахерская», «Ресторан» и не входил в нее — горячими рывками билось сердце, и он ощущал — дождь был тепел. А неширокая улица была затянута водяной сетью, мимо домов бежали мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глянцевито-зеленый автобус, тесно наполненный людьми в брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. С лязганьем буферов, медленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы, их тяжко подталкивала «кукушка». Пар от нее с шипеньем вонзался в туман.

Дождь не переставал, и небо было низким, мутным. А он все не входил в гостиницу — смотрел на железный копер шахты, на «кукушку», на платформы, на дома — и по лицу его скатывались теплые капли.

И в эту минуту он чувствовал себя непобежденным.

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

СЛОВО О СЛОВАХ

Когда серьезные причины
Для речи вызрели в груди,
Обычной жалобы зачина —
Мол, нету слов — не заводи.

Все есть слова — для каждой сути,
Все, что ведут на бой и труд,
Но, повторяемые всуе,
Теряют вес, как мухи мрут.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Вот почему, земля родная,
Хоть я избытком их томим,
Я, может, скупо применяю
Слова мои к делам твоим.

Сыновней призванный любовью
В слова облечь твои труды,
Я как кощунства — краснословья
Остерегаюсь, как беды.

Не белоручка и не лодырь,
Своим кичащийся пером,—
Стыжусь торчать с дежурной одой
Перед твоим календарем.

Мне горек твой упрек напрасный.
Но я в тревоге всякий раз:
Я знаю, как слова опасны,
Как могут быть вредны подчас;

Как перед миром, потрясенным
Величьем подвигов твоих,
Они, слова, дурным трезвоном
Смущают мертвых и живых;

Как, обольщая нас окраской,
Слова — труха, слова — утиль

В иных устах до пошлой сказки
Низводят сказочную быль.

И я, чей хлеб насущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов,

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал,
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал,

Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля,
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял,
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

Б. ЧИЧИБАБИН

★

ДОЖДИК

День за днем жара такая все —
задыхайся и казнись.
Я и ждать уже закаялся.
Вдруг откуда ни возьмись —

с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,
спохмела́ тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.

Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь — пей его с ладошек,
хочешь — голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры.
В теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок,
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.

Харьков.

И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

16

Мне трудно сейчас описать Испанию в ту далекую весну: я пробыл в ней всего две недели, а потом в течение двух лет видел ее окровавленной, истерзанной, видел те кошмары войны, которые не снились Гойе; в распри земли вмешалось небо; крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая «Гернику», уже предчувствовал ядерное безумье.

Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей: рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщинами, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками.

На подмостках — Рафаэль Альберти. Он никак не похож на Маяковского: у него облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читает романсеро современности; стихи проносятся по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, приподнятые, выбегают на улицу. У молодых социалистов кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачиваются священники, старухи в ужасе крестятся, буржуа пугливо озираются, фашисты стреляют из окон. Яркое солнце перемежается с тяжелыми, лиловыми тучами.

То была необычная для Испании весна: чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля Кастилии ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий! Помню, на рабочем митинге в астурийском поселке Мьерес старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал: «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы!..»

В Овиедо я видел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер: «Нет, это никогда не повторится!»

В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в Народный дом, там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови, имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал: «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги, они называли это «самолетом». Лили на голый живот кипяток, потом ледяную воду. Кололи... Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие».

Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо: «Овиедо, 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Овиедо поздрав-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

ляют с днем Первого мая товарищей в Советском Союзе! Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция!»

Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, расшалились; для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года я прочитал в фашистской газете: «В Овиедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров».

В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера, с Долорес Ибаррури, которую рабочие прозвали Пасионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной; были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных: пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам «вольно», вошла в тюрьму и, когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь, показала толпе большой ржавый ключ.

Дирекция «Сиудад линеаль», фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу «смутьянов», уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы «UHP» — «Унион эрманос пролетариос» («Союз братьев-пролетариев»), — с этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв, трамваи выглядели, как прежде,— старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8 — маршрут до квартала Куатро-каминос. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай — в депо или на поле боя.

Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице; ушли коридорные, лифтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал: «Мы отстоим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас — перейдите на самообслуживание».

Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне: «Я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила! Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодырей».

Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что Институт аграрной реформы быстро изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяна пор ля маньяна» — «завтра утром», или, говоря по-русски, после дождичка в четверг. Крестьяне начали распахивать огромные пустовавшие поместья различных графов и не графов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких документов. У графа Романонеса, депутата кортесов, в одном из многочисленных поместий было шесть тысяч га; крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и проставили в бумаге, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали: «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни словом». Крестьяне другой деревни, Полан, писали: «30 марта утром представители муниципального совета, совместно с представителями «Федерации тружеников земли», в присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли Вентилосья, а именно 1992 га земли».

В Эскалоне, в Мальпике, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших: «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые, невзрачные винтовки.

Гражданская гвардия (жандармерия) в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и она подозрительно поглядывала на министров Народного фронта. Фашисты кричали: «Долой Асанью!»; Асанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальеро и отводили душу на рабочих.

Газета монархистов «АВС» открыто требовала интервенции: «Гитлер сказал, что он этого не допустит... Европа не захочет жить в большевистских клещах...» В этой же газете собирали пожертвования; я тогда выписал: «Поклонник Гитлера — 1 песета. За бога и Испанию — 10. Проснись, Испания! — 5. Национал-синдикалист — 10. Сторонник фаланги — 5».

Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались: Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов; мне передали слова Санхурхо: «Испанию может спасти только хирургическая операция...» Священники и монахи призывали к борьбе за господа-бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом: «Испания, проснись!» Прежние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида; я как-то увидел Хиля Роблеса, он пил кофе с молоком на террасе кафе. Во время пребывания его у власти двести тысяч фашистов получили разрешение на ношение оружия; никто не пытался это оружие отобрать.

Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который сидел до победы Народного фронта в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать конституцию: нельзя ограничивать свободу.

Страшны были не плотный корректный кабальеро, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое: крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки. А сторонники фаланги постреливали. В церквях случайно находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Прието или пылкий Компанис.

Я должен был вернуться в Париж: на 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью: все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности. В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры; я говорил, что испанские фашисты обязательно выступят. А в душе я не очень-то в это верил — не хотелось верить. (Слишком часто не только рядовые участники событий вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности; видимо, это в человеческой природе.)

Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул: «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил: люди так же подымали кулаки, на станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму!», а в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно «обуздать бездельни-

ков». «Френте популар» и «Фрон попюлер» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примером Испании.

В воскресенье вечером с Савичем и с редактором «Лю» Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матэн». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с экрана: сейчас объявят первые результаты. «Морис Торез — избран». Аплодисменты, радостные крики. «Монмуссо... Даладье... Кот... Вайян-Кутюрье... Блюм...» Восторг. «Да здравствует Народный фронт!» Поют «Интернационал». Когда показывались имена избранных правых — Фландена, Скапини, Домманжа,— свистели. «Предателей к стенке!», «Долой фашизм!» Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт — это конец Франции».

Газеты сообщали, что ничего еще не решено: в следующее воскресенье предстоят перебаллотировки. Снова вечер на улице, и снова возбужденная, радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали: «Фашистов к стенке!»

Я радовался со всеми: после Испании — Франция! Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает — революция переходит в наступление! Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких и друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю как последнюю легкую весну моей жизни.

Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки; рабочие бросали работу, но не уходили из цехов; служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли: «Это захватчики!..»

Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над сине-сизыми домами. Отовсюду вылетали звуки «Интернационала», «Карманьолы». На бирже бумаги падали. Богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли — кто с надеждой, кто в ужасе: «Это революция!..»

Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин; красотка из гипса в модном платье держала в руке плакат: «Служащие и рабочие забастовали — мы не хотим больше жить впроголодь!»

Проходили девушки с простынями — прохожие кидали деньги для семей забастовщиков.

На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго — две-три недели. Заводы были оцеплены полицией — боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины.

Дениз работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Дениз повторяла монолог героини «Фуэнте овехуна». У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал — нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался; мне хотелось быть не корреспондентом «Известий», а одним из рабочих, которых я только что видел.

Забастовки повсюду кончались победой. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного изменения социального законодательства — коллективных договоров, признания юридического статута профсоюзов, платных отпусков.

Весну сменило жаркое лето. Опустели западные районы: люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию: говорили, что хотят отдохнуть от «разнуздавшейся черни». А на пляжах Нормандии или Бретани они могут оказаться рядом с рабочими: ведь теперь у «этих лодырей» платные отпуска!

Четырнадцатого июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, виноделы юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Бретани несли голубые сети. Сожгли чучела Гитлера и Муссолини. Даладье по-прежнему обнимал коммунистов. Председатель совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент XIX века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью: «Вот корона Франции!» Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького. Испанцам кричали: «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие-эмигранты — итальянцы, поляки, немцы; им аплодировали. (Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии.)

Конечно, демонстранты требовали роспуска фашистских организаций, кричали по-прежнему: «Де ля Рокка к стенке!» — но кричали весело, даже добродушно. В феврале на улицы вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом.

Вечером, как всякий год, начались танцы — на площади Бастилии, на сотнях улиц и уличек — с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада, с поцелуями влюбленных. Рабочие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам; толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на Луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово «революция» уступило место другому — «каникулы». Легкая победа придала людям спокойствие, благодушие.

Теперь Париж не походил на Мадрид: у него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и бряцавших оружием генералов; французская буржуазия была куда просвещенней и хитрей: она рассчитывала взять Народный фронт измором. А победители смеялись и не слишком задумывались над будущим.

Я дописывал книгу коротеньких рассказов «Вне перемирия». Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко; Люба и Ирина уехали в Бретань, я сказал им, что должен передать в газету отчет о демонстрации 14 июля и кончить книгу, потом приеду.

Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал; отложил рукопись и включил радио. Леон Блюм совещался с министром просвещения... В Мадриде толпа штурмует казармы Ля Монтанья... Барселона... Гостиница «Колумб»... Артиллерия... Генерал Аранда... Бои в районе Овиедо... Убитые, раненые...

Я вскочил. Нужно куда-то пойти!.. Поздно: двенадцать часов, никого не найду... Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате.

А диктор спокойно сообщал, что на выставке роз в Кур-ля-Рен первая премия досталась розе «Мадам Мейянд»...

Для одних жизнь раскололась надвое 22 июня 1941 года, для других — 3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверно, главы, далекие многим моим сверстникам: когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей: небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют десять недобрых лет: сообщения, опровержения, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, беглые встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминание о прошлом, беглый свет карманного фонарика...

17

Я протомился в Париже несколько недель: передавал в «Известия» каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа — могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно: «Согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился — не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила: «Вы разве не знаете?.. Он в Испании».

Пикассо писал «Гернику» весной 1937 года. А за полгода до этого, в августе—сентябре 1936 года, Испания напоминала полотна Делакруа: за Пиренеями тлела и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века.

Барселона — большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов, мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло многих.

По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа; их почтительно называли «броневиками». Гарцевали кавалеристы в красно-черных рубашках, с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи: «Мы едем в Уэску!» или «Возьмем Сарагоссу!» Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виднелись следы недавних боев: неразобранные баррикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам, уезжавшим на фронт, бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице «Колумб», которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки.

«Се-не-те-ФАИ» — эти слова можно было услышать повсюду: на Рамбле, на сотнях митингов, в реквизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы — от «Сторонников мировой анархии» до «Воинствующих эсперантистов». На стенах пестрели плакаты: «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета; он ответил: «Красный — борьба, а черный — потому что человеческая мысль темна...»

Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого; но все относились к этому спокойно; кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке.

Колонны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагоссу, назывались «Чапаев», «Панчо Вилья», «Негусы», «Эфиопы», «Смелые черти», «Безбожники», «Бакунин». На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира — Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо

послать десять наиболее благородных людей на крейсер «Уругвай», где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуну.

Главные казармы города были переименованы в «Казармы имени Бакунина». Взобравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!»

Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Миравильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. По небу текли зарницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась: перед нами была баррикада. Кто-то закричал: «Пароль?» Мы не знали пароля. Миравильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно: вот мы и угодили в западню!.. Я вгляделся в мглу и увидел на скале людей с винтовками, они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался: «Да ведь это наши!» Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь — им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили: «Где фронт?» Они развели руками: до Бухаралоса двенадцать километров, это точно, а кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду.

Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне,— в Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил утку — фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне.

На одном из участков переднего края я увидел надпись: «Дальше не ходить — там фашисты». Бойцы преспокойно купались в речушке; один сторожил одежду и винтовки. Я спросил: «А если фашисты начнут атаку?» Они рассмеялись: «Днем мы не воюем — слишком жарко. У них, у подлецов, пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут...»

Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» — спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». (Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание!)

Один знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться о расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго: крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска (у меня их было пять или шесть — от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ). Баррикады выглядели живописно: бочки, мебель, вынесенная из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография — три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью.

Повсюду я видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым делом поджигали церковь или монастырь. Один мне объяснил: «Знаешь, кто главный враг? Курас (священники) и монахи. Потом генералы, офицеры. Ну и, конечно,

богачи... Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай, сволочь, живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять. Ну, мы его отправили прямо в рай...»

Мой попутчик жаловался на анархистов: «Да разве с ними можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует: «Отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы!»

Увидав одну несожженную церковь, каталонец спросил крестьян: «Почему не сожгли?..» Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал: «Не понимаю — зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет. Можно устроить школу, клуб». Он рассердился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами!...»

В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в семидесяти — восьмидесяти километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полночи спорили: идти ли на Сарагоссу, чтобы соединиться с каталонцами, или отбить у фашистов порты Андалузии.

Меня повезли в имение убежавшего фашиста. «Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию». Одна энтузиастка долго доказывала, что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет семи-восьми рассказывал: «Папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик...» Энтузиастка упорствовала: «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитали гармонично...» Я невольно усмехнулся: вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофективных детей — все, кажется, другое, и вдруг видишь — все повторяется...

В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа; там была прекрасная библиотека — инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтолагире, Петере, Серрано Плаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Бергамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Сервантесе и о воздушной обороне, о коммунизме и о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Неруду — чилийского консула и поэта; он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то вполголоса говорил: «Они заняли Талаверу...»

В «Атенео» состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе: «Подтвердилось... Они убили в Гренаде Гарсия Лорку...»

Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь — я услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина прижимала к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, который фашисты бомбили, и увидел то, что мне потом приводилось слишком часто видеть: разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать.

Пабло Неруда писал: «И по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей...»

Я поехал в Мальпику; там я был до войны, в апреле, и крестьяне меня узнали. Испанцы с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и алькальде, подняв кулак, торжественно сказал: «Здравствуй, Гинденбург! Теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике нахо-

дилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов, статуи богоматери в расшитых золотом платьицах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил: «Это, наверно, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут...» На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстремадуры.

Два дня спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Терезой Леон — они везли на фронт газеты, листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции, дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Доминго Перес толпились взволнованные крестьяне: «Видишь — удирают!..» Старый крестьянин сказал: «Вот все, что у нас есть» — и показал три охотничьих ружья. Мы увидали четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереса побежала за ними вдогонку; она быстро бежала на очень высоких каблуках; в руке у нее был крохотный револьвер. Дезертиры ей отдали винтовки; они были пристыжены. Старый крестьянин говорил: «Дай мне! Молодым жить хочется, а я не убегу...» Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались; у них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талавере.

Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи: «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и, чтобы не стоять под огнем в очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок кувшины, банки или просто клали камешек; ни разу я не слышал пререканий. Фашисты время от времени открывали огонь по городу; а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд — в фашистов или мимо.

Во время одной из первых вылазок фашисты взяли «заложников» — женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите тридцать восемь фотографий: женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах... Фашисты знали, что делают: не раз приходил приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали: «Мы не фашисты...» Они наивно мечтали взять Алькасар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на сто метров, многие отказались: «Нельзя — они убегут»; четырнадцать бойцов погибли от осколков бомб.

В древней столице Испании, в городе, облюбованном туристами, шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Алькасара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился: «И вы ее не арестовали?..» Авторитет советских людей был велик, но испанцы не дрогнули: «Женщину? Мы не фашисты...»

Я ходил по Толедо с моим приятелем художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе «Дом». У него была жена, украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилетний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты — безумцы, что нужно единое командование, дисциплина, порядок. Он из-

девался над «войной в кружевах», и вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушие дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «здравствуйте» «привет и динамит» и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали: «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети...»

Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франко, и когда фашисты, засевшие в Алькасаре, попросили прислать к ним священника, было объявлено перемирие на несколько часов.

Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли близко, началась перебранка. Вот моя запись: «Бандиты! Мы за бога и за народ!» — «Бога можешь оставить себе, а за народ мы».— «Врешь! Мы за народ! Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака». (Дружинник молча вынимает пакет сигарет. Лейтенант закуривает.) «Выписали священника? Видно, вам крышка...»— «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем».— «Жди второго пришествия».— «Ждать уж недолго — ваши удирают, как зайцы».— «Враки! А ты почему бороду отпустил? В рай захотелось?» — «Чем прикажешь бриться? Саблей?» (Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает солдату.)

В начале октября части генерала Варелы подошли к Толедо. Гарнизон Алькасара (там было свыше тысячи гвардейцев и кадетов) вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться. Фашисты много писали о «героях Алькасара». Бесспорно, солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое: гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это поединок двух миров: народа разгневанного, но глубоко человечного, и военщины с ее безупречной дисциплиной и безупречной бесчеловечностью. Победило не великодушие...

В Гвадарраме я видел пленных; среди них были солдаты, перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры; были головорезы из иностранного легиона. Больше всего дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем.

На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макасеевым в авиачасти «Красные крылья», командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты — старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками, каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик (его звали «Красным чертом») был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу.

Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу; все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно — народ против них.

Только в Наварре, в этой испанской Вандее, крестьяне поддержали мятежников; там были сильны церковь и карлисты (сторонники одного из претендентов на испанский престол, потомка дона Карлоса). Но в Наварре было четыреста тысяч жителей, а в Испании без малого тридцать миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны — в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ламанче, Мурсии, Анда-

лузии, Арагоне,— подавляющее большинство населения ненавидело фашистов.

Но рабочие умели работать у станков, крестьяне — пахать землю, врачи — лечить, учителя — учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые, хорошо или плохо, умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников—иностранный легион, марокканцы.

Уже к середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками, а 1 октября был провозглашен «вождем», «генералиссимусом» и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения. А республику отстаивали люди самых различных убеждений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты — левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, «поумовцы», объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали «великодержавные навыки Мадрида», «поумовцы» требовали «углубления революции», правые социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства левого социалиста Кабальеро, республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство.

Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франко военную помощь. 30 июля — за сто дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида,— итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города.

Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ Ларго Кабальеро по Второму Интернационалу; но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства; его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать Комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В Комитет по невмешательству входил И. М. Майский; он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно — он ведь многое видел. А я пишу историю моей жизни. Как же мне промолчать про лицемерие? Давнее имело, имеет продолжение: сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе! После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же, Леон Блюм был куда приличнее покровителей Чомбе, но и он, насмерть перепугавшись, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое.

В Валенсии я встретил Мальро; он рассказал, что ему, видимо, удастся получить десяток военных самолетов: их приобрело испанское правительство, но французы наложили эмбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью — они будут бомбить фашистов,— познакомил меня с летчиками Гидесом и Понсом.

На земле шли бои. А в небе фашисты хозяйничали: «юнкерсы», «хейнкели», «савойи», «капрони», «фоккеры» — авиация двух сильных государств — Германии и Италии.

Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента «Известий». Да и трудно было их выполнять: телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, видимо, продолжала «согласовывать» и денег на телеграммы не переводила.

Пятого сентября, после двухнедельного перерыва, в «Известиях» было напечатано коротенькое сообщение: «Барбастро. 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле населения Монт-Флорид семью трехмоторными самолетами «юнкерс», предоставленными мятежникам Германией». Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета; крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут...» Конечно, в тот день происходили события более значительные: корреспондент «Известий» сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан (это было правдой), что республиканцы взяли Уэску (это было уткой); я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты на немецких самолетах убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивным, но я думал не о газете — об Испании.

Я брился в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать: «Им помогают Гитлер, Муссолини. А у нас нет оружия!..» Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял: «Самолеты! Танки!» Я про себя посмеялся: чего доброго, он меня зарежет... А в общем было не смешно.

Я помнил слова крестьян Монт-Флорида; да и повсюду люди повторяли: «Расскажи русским...» Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в «Известия» почтой — через Париж.

Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился: мои статьи были исковерканы. 26 сентября я писал в редакцию: «Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл». С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать — все мои статьи лакировались и розовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех — не в рабочем кабинете, а на фронтах; занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять.

Альварес дель Вайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов — для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты «Дэйли мейл» Гаррат и что он ругает фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев: «Их летчики, приехав на Майорку, кричали: «Да здравствует Испания!» — но я много лет здесь прожил, я сразу расслышал иностранный выговор — они были итальянцами. Аппараты «капрони» были переброшены с Сардинии...» Гаррат несколько раз повторил, возмущенный: «Они убили мою лошадь...» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами, корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франко, и он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденции.

Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее: они заняли Севилью, Кордову, потом Эстремадуру, Талаверу, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия: фашистов выгнали из Малаги, из Альбасете. Сопротивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции — французы, итальянцы, немцы, поляки.

В Барселоне меня позвали в казармы имени Карла Маркса; там формировалась «Колонна 19 июля». На большом дворе выстроили бойцов. Одна центурия, или, говоря проще, рота, была названа «Центурия Ильи

Эренбурга». Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства: умиление и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет; один сунул мне в руку пригоршню леденцов: «Ешь, русский! Мы их расколотим...»

Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии, в Арагоне было написано: «Мы идем за головой Кабанельяса!» (Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяс, Франко месяц спустя его убрал.)

Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы; когда им отвечали, что людей и так много, не хватает ружей, они повторяли: «Но он испанец, он не может сидеть дома...»

Приехала из Парижа жена Херасси, Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставаясь с сыном, Стефа не выдержала, заплакала. Мальчик сказал: «Мама, иди! Я отвернусь — вот так. А ты тоже не гляди. Хорошо?..» Стефа, улыбаясь, повторяла: «Он у меня испанец...»

Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие, дорогие мне люди — я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое, сегодняшнее. А ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее. Многое я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Неруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, «Испания в сердце»; я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название — лучше, кажется, не скажешь.

В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки... И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали.

Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали («командир Карлос») и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате Залка («генерал Лукач»), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан-Ришар Блок и Спендер, Андре Виоллис и Гильен, Сикейрос и Дос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узе и Бредель, Изабелла Блюм и абиссинский рас Имру... Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испанией.

На КП возле Гомеля я увидел командующего армией генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступлении. Вдруг кто-то крикнул: «Фриц!» — показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись: в Испании наши военные советники носили различные имена — Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Ксанти, Петрович,

Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать Двенадцатую бригаду, друзей, Арагон, смерть Лукача (Павел Иванович был тогда ранен в ногу).

Я сижу на сессии Всемирного Совета Мира; очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны; а я вижу милого итальянца Скоти и вспоминаю дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного Совета; это Боря Макасеев, с ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо — переводчика, бывшего в Испании (он потом занимался испанской литературой, но в годы «борьбы против космополитов» лишился работы и, как он говорит, «совершил вынужденную посадку» на аэродроме Вильнюса — переводит интуристам вопросы служащих таможни). Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет «Союза бывших добровольцев в Испании», и сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны, связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек...

18

В первые месяцы испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента «Известий». Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков, но писал я их быстро, говоря откровенно — мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя, хотелось чем-то помочь испанцам.

Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами, они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойцами и начал говорить по-испански, говорил плохо, но меня понимали.

В Мадрид приехал первый советский посол М. И. Розенберг. Я его знал по Парижу — он работал советником посольства. Это был человек маленького роста, с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Л. Я. Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович (Лоти). В Мадриде был и Кольцов, он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы — Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник».

Я часто бывал в Барселоне, на Арагонском фронте; там тогда не было ни одного советского человека (я говорю об августе — сентябре 1936 года). Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались: что тут поделаешь — анархисты!.. Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами, но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с ее полуторамиллионным населением.

А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой, но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно: различные колонны, не связанные одна с другой, время от времени пытались штурмовать Сарагоссу, Уэску или Теруэль; у них не было ни опытных командиров, ни вооружения, и вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одну из своих резервных частей.

Во главе автономного каталонского правительства (Женералите) стоял Компанис, человек по природе мягкий и вместе с тем горячий, интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за

пятьдесят; он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична: после поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления.

Компаниса поддерживала Эскерра (левая) — партия, за которой шла мелкая буржуазия, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство и ПСУК — Объединенная социалистическая партия Каталонии (главную роль в ней играли коммунисты). Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его «советами».

Еще в 1931 году я познакомился с одним из вождей ФАИ — Дуррути; знал и других анархистов — Гарсия Оливера, Лопеса, Васкеса, Эрреру. С Компанисом у меня установились добрые отношения. Нужно было что-то сделать, а что — в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК Коморера и другими; все отвечали, что с анархистами беда, что Каталония не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать, этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года.

Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с М. И. Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву.

Марселя Израилевича давно нет в живых: он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились, и недавно мне дали в архиве копии моих двух писем М. И. Розенбергу. Я приведу выдержки — они покажут не только мою тогдашнюю оценку событий, но и то, чем я занимался — по охоте, которая, как известно, пуще неволи.

Из письма от 17 сентября 1936: «В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы: новое правительство ничего не изменило, Каталонию третируют как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение Женералите, требуют солдат, а оружия не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство... Сказал, что советник по экономическим делам, которого они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни Кабальеро, ни Прието не удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет 100 тысяч безработных... Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии... Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией... Говорил с Гарсия Оливером. Он был в неистовом состоянии. Непримирим. В то время, как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападок на Советский Союз в газете «СНТ», Оливер заявил, что они «критикуют» и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дуррути на фронте многому научился, а Оливер — в Барселоне, и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонском фронте: единое командование понадобится, лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино, он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса о мобилизации и превращении милиции в армию.

Дуррути носится с планом мобилизации (непонятно зачем — добровольцы есть, нет ружей). Оливер сказал, что согласен с Дуррути, так как «в тылу укрываются коммунисты и социалисты, они выживают из городов и деревень ФАИ». Здесь он был определенно в бредовом состоянии, мог меня застрелить.

Говорил с политкомиссаром ПСУК Труэбой (коммунистом). Он жаловался на ФАИ: не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по тридцать шесть патронов на человека. У анархистов большие запасы — полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего по сто патронов... В СНТ жаловались, что один из руководителей ПСУК Франсоса на митинге в Сан-Бой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам.

За десять дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женералите с одной стороны, между коммунистами и анархистами с другой сильно обострились. Компанис колеблется: опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования Эскерры, или на ПСУК для борьбы против ФАИ. Его окружение разделено, есть сторонники первого и второго решений. Если дела на Талаверском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между ПСУК и СНТ и постараться сблизиться с Компанисом...

Сегодня — собрание каталонских писателей, встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и каталонцев. Завтра состоится митинг — десять тысяч человек, я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешлите и это...»

Из письма от 18 сентября: «Сегодня я снова долго разговаривал с Компанисом. Он был в более спокойном состоянии... Он предлагает создать автономное правительство так: половина Эскерры, половина СНТ и УХТ... Оливера назвал «фанатиком»... Он знал, что я иду от него в СНТ, и очень интересовался, как ФАИ будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался, что ФАИ настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он — наш друг. Пароход, хотя бы с сахаром, может смягчить сердца.

В СНТ я говорил с Эррерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет «советов» стоит на своем: мадридское правительство — партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и т. д. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты, и я ушел. Интересно, что, нападая на мадридское правительство, Эррера привел те же факты, что вчера Компанис,— задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонию оружием и пр.

«Сегодня в «Солидарида обрера» напечатано воззвание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный...

Миравильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об «отчаянной обороне Барселоны» и пр. Эррера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке — теперь фашисты начнут бомбить Барселону...

Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ... Сейчас происходит заседание совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии...

P. S. В дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливер был непримирим, я узнал, что вечером он сказал в «Солидарида обрера» прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в «С. о.» напечатаны две телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками».

Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня разыскал В. А. Антонов-Овсеенко. Он сразу мне сказал: «Вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами. Я назначен консулом в Барселону. В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние... Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно! Теперь можно говорить по-другому...»

Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил впроголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время мечтательным, в дырявых ботинках, в крылатке; помнил его и в «Ротонде», где он играл в шахматы, и в типографии над полосами «Нашего слова», и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году приходил к нему в Праге, где он был полпредом. А потом потерял из виду.

Он постарел, главное помрачнел; только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал: хорошо, что для Барселоны выбрали именно его! Такой сможет повлиять на Дуррути, у него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями Октября, не забыл дореволюционного подполья.

Я оказался прав: Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с Компанисом и с Дуррути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке. Находил время, чтобы посылать телеграммы в «Известия», подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм. Когда я приезжал в Барселону, и мы оставались вдвоем, я видел, что ему тяжело. Может быть, он предчувствовал, что его ждет, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез; исчезло и его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму.

Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым-Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми, но пришлось задержаться в Париже на неделю, было важное дело — я покупал грузовик.

Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика (не знаю почему, деньги отправили через эту организацию; добавлю шутя — может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов). С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Эжен Мерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный фильм: Микки-маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя — я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь.

Стефа согласилась со мною работать. Она говорила по-испански, как

будто родилась не во Львовщине, а в Старой Кастилии. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении Комиссариата по пропаганде Женералите — так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова: «Печатня и кино». В Барселоне мы подыскали шофера, механика и двух типографов, из которых один знал четыре языка.

В начале октября в Мадриде состоялось заседание секретариата Международной ассоциации писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали против иностранной интервенции и против комедии «невмешательства». Под обращением стояли подписи многих испанских писателей: Антонио Мачадо, Альберти, Бергамина, других, а из иностранных — Кольцова, Мальро, Луи Фишера, Андре Виоллис и моя.

На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче; смеясь, он говорил, что если «Леди Макбет» — «сумбур», то значит он любит именно «сумбур». Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в двести бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга.

В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро-каминос — рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодоженов в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь. Было нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека.

Рима Кармен ходил с аппаратом и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм; я написал текст. «Они ищут... находят...» На экране матери находили среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы — истребители...

В Барселоне по-прежнему шли споры; но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед — в конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ — с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кабальеро. В жизни мне привелось повидать много непредвиденного, порой парадоксального; но, прочитав, что Гарсия Оливер, который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой.

В Барселону пришел «Зырянин», привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравняться с той, которую оказывали Франко итальянцы и немцы: дело решала география.

Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его, как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной — ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым.

Коммунисты, да и Антонов-Овсеенко говорили: «Поезжайте обязательно на Арагонский фронт. Вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших — они всех выживают. А с вами они разговаривают. Вы можете их урезонить...»

Я сильно сомневался в своих возможностях; к тому же я знал испанских анархистов. Но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно, вслед за грузовиком поехали в Барбастро.

19

«У вас в России настоящее государство, а мы за свободу,— сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск,— мы хотим установить свободный коммунизм».

«Коммунизмо либертарио» — эти слова до сих пор стоят в моих ушах: столько раз я их слышал как вызов, как присягу.

Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики, завсегдатаи воровских притонов — партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев; а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатила сотня дружинников из анархистской «Железной колонны», стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело — сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверно, имелись их приятели.

Дело, однако, было не в уголовниках. Осенью 1936 года СНТ объединяла три четверти рабочих Каталонии. Руководители СНТ и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве — честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории.

Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью; приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным.

С Дуррути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. Описать его не решился бы ни один писатель — уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий-металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, швырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни — в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем; восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дуррути повел против них рабочих СНТ.

Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дуррути. Он тогда мечтал взять Сарагоссу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал моим попутчикам, что знаком с Дуррути, и они рассчитывали на радушный прием. А Дуррути вынул из кармана револьвер и сказал, что так как в статье об астурийском восстании я оклеветал анархистов, он меня сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. «Твоя воля,— ответил я,— но странно ты понимаешь законы гостеприимства...» Конечно, Дуррути был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился: «Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь. В Барселоне...»

Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов, и его не случайно выслали из Москвы.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал: «Все в порядке, он нас приглашает поужинать».

За столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большущими револьверами,

ели, пили вино, смеялись; никто не обращал внимания ни на нас, ни на Дуррути. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дуррути он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил: «Вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду». Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дуррути. Он вскочил, закричал: «Уберите! Дайте мне воды из колодца!» Он долго оправдывался: «Я их не просил. Они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой. Конечно, это безобразие, ты прав...» Мы молча ели, потом он неожиданно сказал: «Трудно все изменить сразу. Одно дело — принципы, другое — жизнь...»

Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум — проходила колонна грузовиков. «Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики?» — сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся: «Какая же это тайна, если это знают все — завтра утром мы перейдем Эбро, вот как!..» Несколько минут спустя он снова начал: «А ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку?» «Очевидно, так нужно,— сказал я,— тебе виднее, ты ведь командуешь колонной». Дуррути рассмеялся: «Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти, спрашивает: «Что же вы не наступаете? У нас в деревне все удивляются: неужели и Дуррути струсил?» Понимаешь, когда ребенок такое говорит — это весь народ спрашивает. Значит, нужно наступать. А стратегия приложится...» Я посмотрел на его веселое лицо и подумал: да ведь ты сам ребенок.

Потом я несколько раз бывал у Дуррути. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дуррути продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось что ни день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя; с горечью говорил: «Война — свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы». Своим дружинникам он в этом не признавался.

Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дуррути бушевал: «Вы понимаете, что вы позорите честь колонны? Давайте ваши билеты СНТ». Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты: это еще больше рассердило Дуррути. «Вы не анархисты, вы дерьмо! Я вас выгоню из колонны, отошлю домой». Вероятно, парни хотели именно этого и, вместо того чтобы запротестовать, ответили: «Ладно». «А вы знаете, что на вас народная одежда? Снимайте портки!..» Дружинники спокойно разделись, Дуррути приказал отвести их в Барселону в одних трусах: «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое что ни на есть дерьмо...»

Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах, высказался за соглашение с коммунистами, с Эскеррой, написал приветствие советским рабочим. Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке: «Мы покажем, что анархисты умеют воевать...»

Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу, говорил: «Видишь, мы с тобой друзья. Значит, можно объединиться. Нужно объединиться. Когда победим, посмотрим... У каждого народа свой характер, свои традиции. Испанцы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем... А пока что нужно уничтожать фашистов...» В конце разговора он неожиданно расчувствовался: «Скажи, ты пережил разлад в себе — думаешь одно, а делаешь другое не от трусости, а от необхо-

димости?..» Я ответил, что понимаю его; он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности.

Дуррути недолго пробыл на Мадридском фронте, его убили 19 ноября 1936 года. Его смерть была большим ударом по всем силам республиканцев.

Не один Дуррути понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм; многие руководители СНТ—ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер, говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег,— боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро — министром промышленности, и разумеется, им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени, выступая на митинге, доказывала, что не только правительство не может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ — ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты Дуррути. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился.

О военном положении расскажу коротко; вот что я писал В. А. Антонову-Овсеенко 17 ноября 1936 года (это письмо тоже сохранилось в архиве): «Воинские части на Арагонском фронте несколько подтянулись. Заметен больший порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь; почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом... Поскольку Дуррути теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже; в особенности в колоннах «Красно-черная» и «Ортиса». Дивизия «Карла Маркса» по сравнению с другими частями остается образцовой... Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио, всего два пулемета, оба, после того как пропускают две ленты, приходят в негодность, приходится их везти в тыл — 50 км. от позиций. Мало снарядов. Ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое...»

За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на совещание командиров анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос: как взять Уэску. На столе лежала большая карта; однако никто на нее не глядел. Добрый час все обсуждали важную новость: в Барселоне со здания суда снят красно-черный флаг. «Это вызов,— кричал один из командиров,— нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону! Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают!..» Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил, только когда один из анархистов вдруг

сказал: «Хорошо, а как быть с Уэской?..» Молчаливый военный, которого звали Хименесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте; другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить: «Может быть, пойти напролом?..» Его осадили: «Хименес лучше тебя понимает...»

Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился: «Полковник Глиноедский». Имя я помнил: еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский — русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, хороший артиллерист — хочет сражаться на стороне республиканцев.

Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник В. К. Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не знаю, правда ли это,— он со мною никогда не заговаривал о своем прошлом; знаю только, что он был в белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон «Чапаева», поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству, своими военными знаниями: его перевели в штаб колонны.

Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», но не расстреляли — привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно... Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда опомнятся...»

Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и отрицает это по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес — советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли «мексиканцами» или «гальегос» (жители Галисии); я помню, с какой гордостью анархисты говорили: «Наш гальего хоть и марксист, но молодчина...»

Член военного совета Арагонского фронта полковник Хименес как-то сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство. Я сказал ему: «Ну вот после войны сможете вернуться домой...» Он покачал головой: «Нет, стар я. Это, знаете, хуже всего — оказаться у себя дома чужим человеком...» Он помолчал и начал говорить о положении на фронте.

При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными, кажется, что их притягивает смерть. Член военного совета, командующий артиллерией фронта пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски, никто его не мог понять.

Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, представители правительства, армии, всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу».

Глиноедский был прав: разговаривая с анархистами, будь то их руководители — Дуррути, Васкес, Гарсия Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся и злился: дети, точнее не скажешь, хотя некоторые были с проседью, и все, разумеется, с оружием.

Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печатали однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах.

Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт мимо каталонских городов Игуалады, Тарреги, Лериды. В Тарреге было кафе с вывеской «Бар Кропоткина»; там завсегдатаи обсуждали политику Компаниса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония казалась изумрудной — с виноградниками, садами, огородами,— каждый клочок земли был любовно возделан. Деревни напоминали города: повсюду были кафе, клубы, по улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось: перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревни лепились на склонах голых гор; дома были того же цвета, что горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что казались брошенными.

В Каталонии анархисты были несколько стеснены — не законами Женералите, не сопротивлением Эскерры или ПСУК, а уровнем жизни населения: каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посягнуть на крепко налаженный быт. Нищий, отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ — ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагоссу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным, несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед. Нашлись горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл, городки и села Арагона, в рай «свободного коммунизма».

Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских «коммун». Анархисты обобществляли все вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их. Крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся: «Да мы до этого расколотим фашистов...»

В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль — прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков как тунеядцев. В селе Сеса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках; в аптеке не было лекарств; в комитете говорили, что «природа лечит лучше врача...»

Был я в городке Фрага; там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то песет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу; председатель комитета ему ответил: «Если ты докажешь, что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография. А с Барселоной у нас нет торговых отношений...» В городе Пина деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек; имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Мембрилья (Ламанча) анархисты,

отменив деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из четырех с половиной человек и, следовательно, для упрощения делопроизводства будет получать продовольствие на четыре с половиной души.

В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются и что дым паровозов отравляет воздух. Анархисты-фронтовики, узнав об этом решении, всполошились — они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие; пути не были разобраны.

Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном,— и в чудом уцелевшей церкви и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева, говорили: «Зачем же воевать, если лучшие погибают?..» Стефа переводила текст; иногда ее перебивали возгласы: «Да здравствует Чапаев!» Помню, раз какой-то анархист крикнул: «Долой комиссара!» — и все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу: в картине Чапаев — герой, а Фурманов — резонер.

Все же фильм иногда приносил практические результаты: в одной части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры.

Крестьяне смотрели «Чапаева» другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе — для них фильм был хроникой, они были убеждены, что и Чапаев и Фурманов еще живут в Москве.

Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех — зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. (Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя Союза писателей Ставского: «Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве пролетарии будут над этой картиной смеяться?»)

В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНТ — ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действие колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника, и так далее.

Тюрем анархисты не признавали, говорили, что нельзя лишать человека свободы; нужно его убедить; но они не были ни толстовцами, ни пацифистами и, видя, что человек не поддается убеждению, порой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талон для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил: «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш!..»

Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей — говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом: шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка вцепилась в одного из анархистов: «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь!..» Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить; наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно.

Описав В. А. Антонову-Овсеенко, как анархисты насаждают в Арагоне «свободный коммунизм», я добавлял: «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать; сплошь да рядом работники ПСУК говорят: «Лучше фашисты, чем анархисты».

Я, видимо, заразился от анархистов — поверил, что людей легко переубедить. А это совсем не просто — переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дуррути быстро шагал; другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями, да и с традициями; требовалось время, а его не было: каждый день Франко получал от своих покровителей людей и вооружение.

На войне люди легко сходятся, и я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто; но только раз в прифронтовой деревне один исступленный паренек начал грозить мне револьвером: «Раз тебя нельзя убедить...» Его вовремя уняли.

Многие из анархистов менялись на глазах; были и такие, что упорствовали; но даже их можно было от многого удержать дружеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились — и быстро отходили. Многое из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров, это были барселонские рабочие; на интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли и пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь,— все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки; но то, что меня в них привлекало,— это непосредственность и редкостная в наш век наивность.

Никогда в жизни меня не соблазняли теории анархистов: видимо, не хватало наивности; но после «Хулио Хуренито» некоторые критики окрестили меня «анархистом». Может быть, поэтому, а может быть, потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на конгресс, сказал: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста». Было это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес Ибаррури рассмеялась: «Бывают и такие: поскребешь — окажется фашист...»

Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили — показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница.

«Коммунизмо либертарио» — «свободный коммунизм», все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали, и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. (Правда, иезуиты господствовали свыше ста лет и достигли совершенства: отец Муратори расска-

зывает, что, когда провинившегося парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары.)

В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора (не помню, кого именно): «Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет».

20

Люди привыкают ко всему: к чуме, к террору, к войне; и мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты — в Каса-дель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густозаселенных кварталов, и что все это, видимо, надолго.

«Известия» тогда выходили в самое различное время: иногда в семь часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщение ТАССа, список награжденных или обвинительное заключение, в десять, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в шесть часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездам. Поездов давно не было, а привычка осталась.

Из семи шоссейных дорог, соединявших столицу со страной, шесть были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенсией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу-испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно, я ведь был «мексиканцем», а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец.

На двадцать первом километре от Мадрида, возле Мората-де-Тахунья, фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз; проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома, и я вспоминал знаменитый «дом паромщика», который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках.

А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андалузцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты; оставались товары, мало кому нужные в то время: хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину, они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга; вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой — он шел белить стены.

А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В некогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох — он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди, и не раз люди, ожидавшие двести граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай доходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Салилья. Пожарные выносили трупы; мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу, и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке.

Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты настаивали на «углублении революции». Прието хотел, чтобы навели порядок,

и обвинял своего товарища по партии Кабальеро в демагогии. Жизнь продолжалась...

Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки, она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы.

Театры были открыты, но спектакли начинались не в десять часов вечера, как прежде, а в шесть; играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина; Морис Шевалье в картине «Соблазнитель» пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолите Гранатос.

Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад; иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что, хотя во всем мире читают «Дон-Кихота», никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не может понять. Один серб принес мне толстую рукопись: он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно: услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле, подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах, во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь; его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона «Парижская коммуна» читал мне свои стихи: «Небо огнями реклам расцвечено — распродажа разодранных тел и Вечности...»

Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатушки; там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки. То и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатушек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек — генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал: «Да... да...» Вошел комбриг Горев с переводчицей Эммой Вольф, принес карту, долго говорил о положении в Университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту, и повторял: «Да... да...»

Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства — все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, осмелюсь сказать — поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили — верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать, у них были одаренные командиры — Модесто, Листер, да и другие менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместьях Мадрида.

Когда Франко начал операции на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы; немецкая авиация наносила массивные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было двадцать шесть советских военных во главе с Горевым, среди них раненые, больные и Эмма.

В эскадрилье, созданной Мальро, в первые месяцы войны сражался милый веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж. Узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его обстреляли фашистские истребители. Милый смелый Гидес погиб. А он только перед этим женился... Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались — спасся Горев! А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб.

В подвале, кроме Горева, жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лоти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лоти пробыл в Испании долго, подружился с испанцами; был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на камне перед разбитым домом, обливались по́том, и он вспоминал разрозненные строки стихов — Лермонтова, Блока, Маяковского; вдруг встал и сказал: «Красивое имя, высокая честь — Мадридская волость в Испании есть» — значит, мне надо идти на КП. А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло... Писатель, а не пишет...» Я встречал Лоти и в Двенадцатой бригаде у генерала Лукача и в «Гайлорде», потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил: «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится...» В 1946 году я встретил в Америке художника Фернандо Херасси, командира батальона Двенадцатой бригады, и его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили: «Что с Лоти?..» Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб»...

В Испании я думал об одном: о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, порой на душе становилось смутно.

Корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил. Он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным; героями были Кольцов, Кармен, Макасеев, Эренбург и он сам. Приходя в его номер, мы всегда смеялись. Один раз я увидал его грустным, он сидел над «Правдой». Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал: «А вы знаете, нам повезло... Собрание писателей, сидят и выявляют врагов... Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом. А о нашем разговоре забудьте...» Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал: действительно повезло — под бомбами куда легче, здесь по крайней мере знаешь, кто враг и кто свой...

Я часто встречался с М. Е. Кольцовым. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова. Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями. Однако именно он умел приободрить людей восторженных и легко впадавших в отчаяние. История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он

говорил мне насмешливо и печально: «Другие напишут роман. А что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти...» Он завидовал не только Хемингуэю, но даже Реглеру: «И он напишет роман в тридцать печатных листов...»

Он любил одесский анекдот о старом извозчике (балагуле), который ехидно спрашивает новичка, что тот будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется ни гвоздя, ни веревки. «Что же вы будете делать?»— спрашивает пристыженный ученик; и старик отвечает: «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал: «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, доказав ему, что победа обеспечена и что, следовательно, все хорошо. К людям он относился недоверчиво; это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что недоверчиво он относился и к себе — к своим чувствам, к своему таланту, к своему будущему. При всем этом он был не унылым, а веселым, и после беседы с ним всегда оставалось двойное чувство: горько, но занятно, стоит жить...

Как-то он сообщил мне: «Наградили большую группу. В газете этого не будет... Поздравляю вас с боевым орденом Красная Звезда». Я его тоже поздравил; поздравил сейчас же Кармена и Макасеева. Михаил Ефимович, помню, добавил: «Будете получать, кажется, десять рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже...»

Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою — я обрадовался.

Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сигуэнсы они сосредоточили несколько итальянских дивизий, танки, авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно: продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно: были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника; а после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, там их нещадно бомбили наши летчики.

Я много раз ездил на Гвадалахарский фронт — с Кольцовым, с Хемингуэем, с Савичем; побывал в Паласио Ибарра — в развалинах старого помещичьего дома, из которого «гарибальдийцы» выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэге. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов, видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладанки, письма. Я разговаривал с победителями — солдатами частей, которыми командовали Листер, Кампесино, с бойцами Двенадцатой бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая кастильская весна. Бойцы грелись на солнце. Небо порой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете.

Для нас, переживавших в течение полугода одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но и холод отступлений.

Среди пленных итальянцев было много горемык, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских крестьян, добрых и миролюбивых; они проклинали офицеров, дуче, войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит двадцатый год,— он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина.

Он был неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к «гарибальдийцам».

Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, как их немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Мне дали дневник одного итальянского офицера; незадолго до Гвадалахары он писал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, они знают одно — есть и пить за здравие Испании. Всерьез воюем только мы...»

В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью: «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов: «Львы», «Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс; подбрасывали людей, артиллерию, танки. Республиканцы нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини: «На борту «Пола», направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых уже видевших республиканцев под Сарагоссой. Меня тревожила не мнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в Комитете по невмешательству. В статье о битве под Гвадалахарой я писал: «Не следует преуменьшать опасность — Италия только вступает в войну».

Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг М. П. Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался: «Техники мало! Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли... Ну, ничего, в конце концов мы их расколотим». (Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал: «Помнишь Бриуэгу?..» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи, так он и не увидел разгрома фашистов.)

В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов, укрепившихся в Каса-дель-Кампо. Я пошел в пять часов утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы видели, как бойцы выбегали из окопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но пулеметы не умолкали, и почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из окопов.

Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить, и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статью озаглавив «День в Каса-дель-Кампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела: очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдения уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил, даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» — спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье запела канарейка только потому, что наступление не удалось.

Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили: «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до восьмидесяти тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских

военных было мало; цифр я не знаю, но я бывал и в Алкала, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах — очень, очень мало! В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители (их окрестили «курносыми»), несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали — им казалось, что теперь они ограждены от бомб.

Из командиров я встречал комдива Г. М. Штерна (его называли в Испании Григоровичем), Яна Берзина (Гришина), комкора авиации Я. В. Смушкевича (Дугласа), танкиста Павлова, Х. Д. Мамсурова (Хаджи), Г. Л. Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительносги, а она легко могла бы родиться: кадровые военные столкнулись с неразберихой, с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок.

Познакомился я с советскими летчиками, танкистами; с некоторыми подружился; лучше понял и войну и наших людей. Если четыре года спустя я смог писать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании.

В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атолльская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, я. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о «невмешательстве». Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но что она восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой: многие восхищались и оплакивали. А Гитлер и Муссолини делали свое дело.

Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петров и я загоняли старую женщину в убежище; она не хотела идти, говорила: «Пусть они, негодяи, видят, что мы их не боимся!..»

21

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, может быть, это вам поможет разобраться...» Я прочитал, раздобыл «Прощай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?» — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..» «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas» — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленые фразы»...» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горючее...»

Многие тогда удивлялись: а что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступал против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гранвиа в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все время била фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо...» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги. А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помолодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хорошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии, красные, похожие на крупную клубнику, усмехался: «Побросали все... Узнаю...»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя,— изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость»,— вздохнув, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал: — Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов...» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы... Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море...»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется,— говорил он,— никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан. Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский...»

Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, которые меня увлекают, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться над тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, средне или хорошо, очень хорошо, она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве, может быть, самое большее, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки Блока: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла...»? Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя: он прост и загадочен.

Л. Ю. Брик, когда к ней однажды пришли гости, тихонько поставила магнитофон; потом мы услышали наш разговор, и стало неприятно — мы говорили длинными «литературными» фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе: коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это не подслушанные фразы, не стенографическая запись — это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по-хемингуэевски говорят испанцы.

Но Хемингуэй не переводил диалога с одного языка на другой — он его переводил с языка действительности на язык искусства.

Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флориды» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый...

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает. В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов — точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и, как я, мечтал о лишнем рогалике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. А там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл... Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент... Мы говорили бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большего дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я родился,— нужно отогнать их от Мадрида. Это — как дважды два...» — И, помолчав, Хемингуэй добавил: — Видишь, как получается,— хотел распрощаться с оружием, а не вышло...»

Он тогда писал: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело...»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он.— Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо... Но гово-

рят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со мной» — и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

Когда в июне 1938 года я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым; я его не узнал, увидев десять лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой.

Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и с Б. М. Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перевода романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки, а мы все читали, читали. Роман был об Испании, о войне; и когда мы кончили, мы молча улыбнулись.

Это очень печальная книга, но в ней — вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги — утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой: он отослал своих товарищей. Он один. У него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет, умирая, убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу; вот короткий отрывок: «...Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд,— подумал он.— Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо бы иметь запасную ногу... Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо... Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дела. До тех пор, пока ты знаешь, что это ты должен делать дело. До тех пор, пока ты еще помнишь, что это, ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Ты думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо... Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание... Но если дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить...» Внутренний диалог кончается: «Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу...»

Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта XVII века Джона Донна и поставил эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть мате-

рика, часть суши; и если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному «гуманизмом».

После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете: критик уверял, что гражданская война в Испании была для писателя случайным эпизодом — между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того чтобы сидеть в штабах, отправился к французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия.

В августе 1942 года, в очень скверное время, я писал: «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом призвание нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце».

Роман «По ком звонит колокол» многие поносили. Одно дело старик и море, другое — молодость и война за человеческое достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному: одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что, увлекшись временным, он забыл про искусство, другим не нравились описания отдельных эпизодов войны, третьим — страницы, посвященные Андре Марти. (Стоит писателю сказать нечто за пятьдесят лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами.)

Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил длинное письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу. С нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся...

И вот короткая газетная телеграмма... Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэя — и в 1944 году и десять лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было... Что произошло — не знаю. Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством; об этом я узнал от общих друзей. Герой романа «По ком звонит колокол» в последнюю минуту думает: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Решил ли Хемингуэй вопрос иначе, нежели Роберт Джордан, или произошла одна из тех нелепостей, которые он часто описывал, но смерть как-то сразу вошла в его жизнь, и о нем можно сказать без натяжки: умер, как жил.

А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и куцых перспектив, но и попросту дышать, работать, выстоять — Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться...

22

Обязанности военного корреспондента, а может быть, и моя непоседливость заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у руля и просил: «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был; он скептически усмехался: «Удивительно! Я гляжу на тебя — не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате...»

Я просмотрел старую подшивку «Известий» за апрель 1937 года. 7-го я был возле Мората-де-Тахунья, где шли бои за «седьмую дорогу»; 9-го описывал атаку в Каса-дель-Кампо; 11-го писал про бомбежку Сагунто; 17-го сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике; 21-го передавал из-под Теруэля об очередном наступлении; 26-го бродил по городу Пособланко на Южном фронте.

Да и разные у меня были занятия, кроме газетной работы. В секретариате по пропаганде мне рассказали, что Франко мобилизовал молодых крестьян; нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов; а листовок солдаты не подбирают — боятся.

Испанцы не курят изготовленных на фабрике сигарет, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, но не было папиросной бумаги, которая выделывалась в Леванте; она поступала в продажу в виде маленьких книжиц. Я предложил на каждом десятом листочке напечатать то, что нужно, а книжки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным: пришлось самому ездить на фабрику, уговаривать выполнить заказ.

Потом я видал перебежчиков с «пропуском» — листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и, хотя фашистские офицеры уверяли, что бумага отравленная, «книжки» охотно подбирали.

Как-то в Валенсии, в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя — фамилии были прозвищами, придуманными для Испании (почему-то выбирали отчества — Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали, как сербские). Я тотчас передал список Г. М. Штерну.

Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай (в наших газетах писали «Хендай») с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе — измученные, изголодавшиеся, в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером, магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл «сочувствующим», объяснили ему, в чем дело; час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно, спокойно рассказывали о пережитом; только когда их провели в спальный вагон и они увидели постельные койки, сверкающие простыни, один не выдержал — я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а потом на Белорусском фронте (он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк «Нормандия — Неман»), недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы, он знает, где они находятся. Я обрадовался: случайно я затесался в их судьбу.

Я не соблюдаю хронологической последовательности: в памяти клубок городов и дат; да я и не пытаюсь дать историю испанской войны; мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года.

Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной, а Барселона оставалась Барселоной — большим городом, с буржуазией, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной Параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки, очереди; но душа города не изменилась.

В феврале я побывал в Париже и вернулся в Барселону с О. Г. Савичем. (Он хотел писать очерки для «Комсомольской правды», но вскоре начал работать в ТАССе и уехал со мною в Мадрид — Гельфанд заболел, его вызвали в Москву.) В первый же вечер мы сидели в ресторане и мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило, и я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский крейсер обстреливает город. На Параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря — хотел потопить вражеский корабль.

Я думал, что барселонцы насторожатся, одумаются. Но похоронили убитых, расчистили улицы — и жизнь потекла по-прежнему. Устроили Неделю войны: театры должны были ставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт!». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны: тридцать пятую неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили Неделей войны. Кончилась Неделя — и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды, снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме.

Однако куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии, на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшее только за провокацию так же наивно, как объяснять увлечение дореволюционных эсеров террором заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и хотя в правительство Кабальеро входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжала «углублять революцию». Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Компаниса, была напугана и анархистами и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ — ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись с Прието, «предали революцию».

Правда, кое-где на Арагонском фронте бывшие колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что прежде всего нужно разбить Франко. Помню собрание на заводе «Дженерал моторс»: решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков; один старый синдикалист кричал: «Мало десять, нужно шестнадцать!..» Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадке.

В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Кастеляр висело давно вылинявшее полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта!»

От Мадрида до фронта не было и пяти километров, но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадовцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятиям, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек да наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко.

Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком; апельсинов было слишком много, они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены; посетители гадали, где начнется наступление — под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах — политические бури не притихали. Кабальеро вышел в отставку и обличал Прието. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость: Кабальеро хотел выступить в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо, отказался признать правительство Негрина. Асанья огорчался и молчал. Компанис говорил, но тоже огорчался. Каждый день в Валенсию приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия.

В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида; какая-то дама повторяла: «Это такой ужас, такой ужас!..»

В гостинице «Виктория», где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку.

Иногда устраивали митинги на площади. Иногда обнаруживали шпиона в «Виктории». Жара стояла несносная; с окрестных рисовых полей шла горячая сырость.

Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Мальро: его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который всегда живет одной страстью; я знал его в период увлечения Востоком, потом Достоевским и Фолкнером, потом братством рабочих и революцией. В Валенсии он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций, а когда я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие, плохие самолеты, но пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Мальро, сильно им помогала. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого в Испании фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой; но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, но самолет обстреляли, механик был тяжело ранен. В Валенсии для Мальро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями: он воевал.

Советское посольство помещалось в гостинице «Метрополь»; там же жили некоторые военные. Во всех соседних домах жители держали на балконах кур. Майор Хаджи ложился поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался: «Черт знает что! Да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов...»

В конце мая я был снова в Париже, туда позвонил Савич, сказал, что из Мадрида его вызвали в Валенсию — он должен был на несколько дней заменить Мирову, которая неожиданно уехала в Москву. «Попроси Ирину узнать, где Мирова...» Я по телефону разговаривал с Ириной, спросил насчет Мировой; Ирина ответила, что в Москве чудесная погода, совсем весна. «А где Мирова?..» Ирина ничего не ответила.

Приехав в Валенсию, я пошел к Савичу в «Метрополь». Он сидел расстроенный среди дамских платьев, которые висели и лежали в номере. «Что с Мировой? Я ведь теперь один, ТАСС отвечает, что я должен остаться в Валенсии — здесь правительство...» Я знал, что Мирова — жена ответственного работника; это была крупная добродушная женщина. Да, Мирову я знал, а вот о том, что такое 1937-й, я не имел никакого представления. Москва была далеко...

Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами; достопримечательностей в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместья Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раной от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочок старой афиши «Сегодня бал в Капитолии».

Я встретил Андре Марти, человека властного, подозревавшего всех в измене, очень вспыльчивого. Мы проговорили с ним часа два, и после этого разговора у меня осталась горечь: он говорил (да и порой поступал), как душевнобольной.

Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и «Молодую гвардию», как в предместьях Парижа, и традиционное «Красное знамя» итальянцев, и печальную песенку Мадрида о Французском мосте и четырех генералах, и нашу про волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожие на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга.

Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда делегаты пели, подымали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию: их отцов или старших братьев я видел в Альбасете, многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме. Не верится даже, что в тридцатые годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не словами, а своей кровью. О каждом из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу. А книг не написали: пришла вторая мировая война, и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона.

В конце апреля я поехал в Андалузию, где шли бои за кусок земли, который называли «Эстремадурским клином». От Мотриля до Дон-Бенито — сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду.

В окрестностях Гренады верхушки гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам, как к грозе, пасли отары овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров — они прикатили в машине, не зная, где находится противник (а это было у Адамуса, возле Кордовы, то есть на самом оживленном секторе Южного фронта).

Фашисты старались прорваться к Альмадену: их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод, горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию «Голубые стрелы», и они подошли вплотную к Пособланко. Этот городок отчаянно бомбили; его крошила артиллерия. Силы были слишком неравными. Но республиканцы удержали Пособланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивый, с седой щетиной. Трудно разгадать

людей по виду; я глядел на него и думал: вот ехал бы я в поезде, а напротив сидел бы такой человек, да разве я понял бы, на что он способен?.. Перес Салес говорил мне: «Я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Ну что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета... У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвастовство. Я вам говорю: другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец, я люблю свободу...»

На выручку защитников Пособланко пришел батальон, который назывался «Батальоном имени Сталина»; он состоял из андалузцев, главным образом горняков Линареса, где добывают свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриель Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках; походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи.

В Андалузии было мало порядка, но еще много нерастраченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать.

А бомбили Хаэн сильно; там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы наглядились. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала по земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая...»

На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял глину.

В Пособланко бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы: изготовляли солдатские одеяла. Я постоял и подумал: все-таки они должны победить! Это против логики, против здравого смысла — армия Франко становится все сильнее, но нет, мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душевная щедрость.

Я возвращался из Пособланко в Валенсию; путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалузец, пел печальные фламенко. А я почему-то вспомнил село Бунболь в Леванте; там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев — из Мадрида, Малаги, Эстремадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. «Сколько вас?» — спросил я хозяйку. «Шестеро, а теперь еще трое — из Мадрида».— «Справляетесь?» Она улыбнулась: «Справляемся. А не хватит, потерпим, гостей не обидим...»

Вот об этом я тоже думал — о благородстве. Нигде я не сталкивался со скаредностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня, хорошо — я был русским. Кормили Аугусто — он из Мадрида. Но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили: «Время такое...»

Полковник Перес Салес сказал, что воюет за свободу; я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно о главной — достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир. Все будут трудиться. «Твой земляк Бакунин правильно рассуждал — к черту ангелов, министров, генералов, полицейских! Без них будет лучше...» Шофер был коммунистом; он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас; когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться; а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салес...

Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы наползали на дорогу, иногда раскрывалась даль: домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ламанчу. Вот, наверно, на этом постоялом дворе заночевал Рыцарь Печального Образа...

Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, Дон-Кихот переведен на все языки, он волнует людей за тысячи верст от Ламанчи; но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии; и напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон-Кихоту; их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти Дон-Кихот и Санчо.

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском... и напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает; он ведь сказал, что он испанец, Дон-Кихот из Пособланко, Дон-Кихот в 1937 году...

23

В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный; перед ним лежала карта и номер «Правды». Я сказал, что должен передавать в «Известия» о ходе боев за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. «Такой жары, кажется, еще не было...» Показал на карте деревню Чемильяс. «Задача — перерезать дорогу на Хаку. Ясно?» Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил: «Новости знаете? Тухачевский, Якир, Уборевич — к расстрелу. Враги народа...» Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко к карте, стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии; полчаса спустя, поглядев на меня, угрюмо сказал: «Так вы говорите, в «Известия»?.. А Кольцов где?.. Дорогу на Хаку, вот здесь домбровцы — командует Херасси, здесь гарибальдийцы — Паччарди... Лукач вам все расскажет. Он, кажется, еще в Каспе. Пейте — в машине будет хуже...»

День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы: ни дерева, ни травинки — рыжая каменная пустыня. Я по глупости высунул в оконце голую руку — машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспе Лукача не оказалось, сказали, что он далеко — в Игриесе. Рука распухла, и меня лихорадило. Игриес, с глиняными домиками на склоне голой горы, напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее, Мате Залку. Обидно, что я плохо запомнил ту встречу: мне было не по себе, может быть от ожога, может быть и от разговора в Сариньене. Залка был усталым, признался, что у него мигрень; ругал меня: «Руку вы должны беречь: как-никак писатель...» Только прощаясь, он вдруг улыбнулся: «Скажите, вам не хочется на дачу? Ну, на денек?..»

На следующий день я поехал из Барбастро в Игриес; там мне сказали, что КП Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла, несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем; вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул: «На нижней дороге... Снаряд... Генерала...» Я повернул назад; мы ехали долго. Каменный дом: здесь госпиталь.

Сначала меня не пускали; потом пришел врач. «Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вне опасности, но ранение тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом, ваш соотечественник отделался легко — рана в ногу; его только что увезли...»

Я передал в «Известия», что Залка убит, Реглер ранен. На следующий день разговаривая с редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о Реглере,— я знал, что его жена в Москве, и боялся, что до нее может дойти телеграмма, напечатанная в одной из мадридских газет, о смерти Реглера. Мне ответили, что в «Правде» напечатано, что Реглер убит. «Мы не можем опровергать «Правду»...» Я тотчас связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул: «Ну и дураки!.. Хорошо, сейчас передам. Кланяйтесь Реглеру... Мате жалко...»

На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день: Чемильяс, Сан-Рамон, «хейнкели», «фиаты», воздушные бои, атаки, контратаки...

Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спустя все кончилось.

Я сейчас думаю не об Уэске — о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь; а рассказ о Мате Залке я начал с его смерти: она меня потрясла.

Да и узнал я его незадолго до конца; все мои воспоминания относятся к марту — апрелю 1937 года: Бриуэга, различные КП, потом две деревни, где Двенадцатая бригада отдыхала (под бомбежками),— Фуэнтес и Меко, снова КП возле Мората-де-Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игриес.

В Советском Союзе я раза два или три видел Мате Залку; но мы поздоровались, и все, а общих друзей у нас не было. Мате Залку я не знал — встретил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя.

Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел Мате Залку; хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным; его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты.

Я перечитал его роман «Добердо»; видно, что у Залки был настоящий дар, но его жизнь сложилась так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и восемнадцати лет, когда он выпустил книжицу рассказов. А отец готовил его для другой карьеры: до срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену, послали его в лагерь, в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за советскую власть, воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева в 1920 году, участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залка продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы; сблизился и подружился с Фурмановым; ходил на собрания рапповцев. Только в тридцатые годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман «Добердо» кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залка родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть.

После победы у Гвадалахары и до операции у Мората-де-Тахунья

(ее называли «разведкой боем», и она стоила много жертв) в деревне Фуэнтес Мате Залка мне говорил: «Если меня не убьют, напишу лет через пять... «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать не к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика...»

Когда Залка погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал: «Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успехов. Мало достигнуто». Снисходительный к другим, он был строг к себе. А на его писательском пути то и дело оказывались «превратности жизни».

Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с Мате Залкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал.

Веселый, общительный, он любил тишину; чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, «держа ухо на земле», а умел услышать биение человеческого сердца; он громко жил, но говорил он тихо.

Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата? Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, но порой и общих идей; в частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты — коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместий Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, испанцы, ветераны первой мировой войны, зеленые подростки.

Я ездил в штаб Двенадцатой бригады и с Хемингуэем, и с Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный Фриц (я о нем упоминал). Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар — порывистый, неуемный Петров (Козовский) и начальник штаба тихий, скромный Белов (Луканов). Помню, в Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой лозе; вышел настоящий пир. Испанский художник мой давний друг Фернандо Херасси работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был я в Меко со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, когда он был мальчиком; в Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое «культ личности». Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих, и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. Комиссаром бригады был Реглер; он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся: «Смотри, он уж обязательно роман напишет, и толстый...» Среди командиров батальонов помню Янека, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Паччарди. Венгр Нибург всегда ходил, чуть опираясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб.

Раненый Реглер, придя в сознание, сказал: «Идите к Лукачу, нужно спасти Лукача...» (От него скрыли, что генерал убит.) А два дня спустя среди бойцов я встретил тщедушного еврея, сына галицийского хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненного под Мадридом; он всхлипывал: «Это был человек...»

В Мората-де-Тахунья Лукач был мрачен, говорил: «Это испанское Добердо». Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и назавтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску: понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет, и погиб он оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим.

Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фуэнтес, сказал мне: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!..»

Лукач был веселым, всех умел развеселить — бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер: на зубах он выщелкивал различные арии; пел, и каких только песен он не знал! Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал: «Не забыл. Все-таки венгерский гусар...»

Он любил Венгрию; как-то сказал мне: «Жалко, что вы не видели пусты. Я здесь часто вспоминаю... Венгрия очень, очень зеленая...»

Его называли Матвеем Михайловичем; он долго прожил в Советском Союзе; там оставил жену, дочку, называл их «моим тылом»; любил нашу страну, рассказывал, как хорошо летом в Полтавщине, любил русский характер и все же оставался венгром — сказывалось это и в певучем выговоре слов, и в поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть.

«Война — ужасная пакость»,— это он не раз говорил; не было в нем никакого удальства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене, дочери. Он писал прямо, как на духу: «Теперь ночь, темно и сыро. На душе слегка неуютно. Но на войне бывают неуютные минуты...» «Твое и Талино письмо получил сегодня. Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают: «Что с вами вдруг? Как будто вы навеселе?» «Ничего,— говорю я.— Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист...» «В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым...» Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости.

Я писал, что испанская эпопея была последней волной; какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в «Гайлорде». Я зашел на минуту по делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу: наши военные — Гришин (Я. Берзин, один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина), Григорович — Штерн, командир танковой части высокий, крепкий Павлов, Мате Залка, привлекательный умный югослав Чопич, Янек. Мы были веселы, смеялись, а почему, не помню. (Из этих людей только я остался в живых. Залку убил вражеский снаряд. А других ни за что ни про что загубили свои.)

В Меко, пока Фернандо разговаривал со Стефой, мы с Залкой сидели на земле. Было уже тепло, все кругом зеленело. Залка говорил: «Вот у Фернандо маленький сын Тито, а мою дочку зовут Талочка, кончает школу. В общем это глупо звучит, как в Художественном театре, но это же правда — небо все-таки будет в алмазах! Если в это не верить, трудно прожить день...» Мате Залка многого тогда не знал, как все мы. А теперь я думаю с печалью: он был прав, и «алмазы» — не глупая выдумка, алмазы будут, только все много дольше и много труднее...

По библейскому преданию грешные Содом и Гоморра могли бы спастись, если бы там нашелся десяток праведников. Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам. Одним из таких праведников был Мате Залка, генерал Лукач, милый Матвей Михайлович.

24

Я знал, что наступление, которое должно было начаться в районе Брунете,— военная тайна, и никому об этом не рассказал. За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне: «Что же ты едешь в Барселону? Прозеваешь представление. Свояк мне вчера сказал, что наши ударят на Брунете. Только смотри — это военная тайна...» Так бывало в Испании всегда: журналисты, телефонистки, интенданты, шоферы передавали «по секрету» приятелям о готовящейся операции. Вдруг кого-то судили за шпионаж. Болтать, однако, продолжали.

Казалось, я должен был радоваться: Ассоциация писателей, над созданием которой я потрудился, собирает конгресс в Мадриде, как было решено еще перед началом войны. Это приподымет испанцев. Да и на всех произведет впечатление — впервые писатели соберутся, чтобы договориться о защите культуры в трех километрах от фашистских окопов. А я, признаюсь, в душе злился: предстоящие военные операции увлекали меня куда больше, чем конгресс.

Несмотря на неудачу боев под Уэской, я снова предавался мечтаниям. Арагонский фронт далеко, там много нестойких частей. Что ни говори, колонны анархистов, даже если их называют теперь дивизиями, мало пригодны для современной войны. Так говорили военные, и я им верил. (Один автор еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний, что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача, которого будто бы погубили анархисты и «поумовцы». Я знал, что Мате Залка погиб не по вине анархистов, но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей.) Другое дело Мадрид: здесь порядок, 11-я дивизия Листера, интербригадовцы, наши танки...

(Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что первая половина 1937 года была решающей. После мартовской победы у Гвадалахары не только мы, в Испании, но и военные специалисты, писавшие в английских или французских газетах, считали, что армия Франко в опасности. Наше лобовое наступление в Каса-дель-Кампо не удалось. Италия и Германия продолжали подбрасывать людей и технику. Разыгралась междоусобная война в Каталонии. Кабальеро носился с планом наступления на Южном фронте. Бои за Пеньяррою вначале всех обнадежили; но вскоре фашистам удалось восстановить положение. Военные говорили, что напрасно было рассчитывать на Южный фронт,— там мало сил, плохие коммуникации. Сменилось правительство, был принят план наступления на Уэску. Месяц спустя командование решило прорвать вражеский фронт в районе Брунете. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам; но Франко быстро подтягивал резервы; немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось.)

Я ехал в Барселону, чтобы встретить делегацию советских писателей, и думал о предстоящих боях за Брунете. Кольцов мне сказал: «Вы должны теперь думать только о конгрессе, вы — в секретариате; в общем все это затеяли вы. А с меня хватит советской делегации...» Я ответил: «Хорошо» — и все-таки мало думал о конгрессе.

До Барселоны мне не пришлось доехать. Неподалеку от Валенсии, в курортном местечке на берегу моря я увидел в ресторане многих делегатов; они ели уху. В. П. Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался: «Жарища — умереть можно!.. А уха, знаете, у нас лучше...»

Судя по газетам того времени, конгресс удался. Конечно, крупных имен было меньше, чем на конгрессе 1935 года,— не всех соблазняли бомбы и снаряды. Многие писатели в ответ на приглашение ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — ребяче-

ство, никому не нужная романтика. Мешала и полиция разных стран: Франс Элленс, например, хотел приехать, но бельгийцы ему не дали паспорта. Все же в Испании были писатели с именем: Андерсен-Нексе, А. Толстой, Жюльен Бенда, Антонио Мачадо, Мальро, Людвиг Ренн, Шамсон, Анна Зегерс, Спендер, Николас Гильен, Фадеев, Бергамин, да и другие.

Кто-то шутя назвал конгресс «бродячим цирком». Мы начали в Валенсии 4 июля, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся — в Валенсии выступал Альварес дель Вайо (он был и на конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант); но, будучи министром, он не смог поехать с нами дальше. Людвиг Ренн появился только в Мадриде: он командовал частью и остался на фронте. В Париже выступали Генрих Манн, Арагон, Хьюз, Пабло Неруда. Кажется, имелся порядок дня, но никто о нем не думал. Характер выступлений менялся в зависимости от обстановки.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг, а пестрые его участники на улицах города, храбрившиеся, но необстрелянные, производили впечатление знатных гостей, делегации английских парламентариев или американских квакеров.

В Валенсии, где находилось правительство, все было торжественно; нас приветствовал писатель Мануэль Асанья, он же президент Испанской республики; устроили банкет с тостами; минутами казалось, что никакой войны нет, а собрался очередной съезд пэн-клубов.

В Барселоне на эстраде сидел Компанис, а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе.

В Париже сняли театр Сен-Мартен; народу пришло очень много, кричали: «Долой невмешательство!» Но того подъема, который мы видели на конгрессе в 1935 году, больше не было. Народный фронт трещал. Многие из левых интеллигентов, хотя они и кричали с другими: «Долой невмешательство!» — слушая рассказы о Мадриде, о Гернике, про себя думали: «Все-таки хорошо, что у нас мир!» До Мюнхена было уже недалеко...

Речей было много. Мне запомнилось выступление Хосе Бергамина, очень худого, носатого, с темными печальными глазами. Я теперь взял газету, где цитировал его речь. «Слово хрупко, испанский народ называет одуванчик, цветок, жизнь которого зависит от вздоха, «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна... Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности... Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Кровь кричит в нашем бессмертном Дон-Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему испанский народ, верный гуманитарным традициям, принял этот бой...» Теперь я понимаю, почему меня взволновали слова Бергамина: он выразил то, о чем я смутно думал, пересекая Ламанчу.

Было много и других хороших речей; если они мне не запомнились, то виноваты в этом не ораторы. В жизни я часто выступал против сентенции древних римлян: «Среди оружия музы молчат». Мне не нравилась и не нравится мораль этого изречения так, как ее обычно толкуют: когда на дворе буря, поэту лучше помолчать, выждать. Но сейчас я спрашиваю себя: не понимали ли древние римляне этих слов иначе? У них был богатый опыт, то и дело они воевали; может быть, они просто подметили, что голос поэта не покрывает шума войны, хотя в те времена не было не только атомных бомб, но и мушкетов?.. Летом 1937 года в Мадриде речи писателей как-то не звучали. Восхищались мы другим. Пришли бойцы, принесли трофеи — знамя фашистского полка, только что захваченное

в боях у Брунете. Пришел из госпиталя Реглер, опираясь на палку; он не мог говорить стоя, попросил разрешения сесть, и зал встал из уважения к ране солдата. Реглер говорил: «Нет других проблем композиции, кроме проблемы единства в борьбе против фашистов». Это чувствовали в ту минуту все — и писатели и бойцы, пришедшие нас приветствовать. Горячо встречали писателей, которые воевали: Людвига Ренна, Мальро, молоденького испанского поэта Апарисио и других.

Выступления многих советских писателей удивили и встревожили испанцев, которые мне говорили: «Мы думали, что у вас на двадцатом году революции генералы с народом. А оказывается, у вас то же самое, что у нас...» Я старался успокоить испанцев, хотя сам ничего не понимал. Кажется, только А. Л. Барто, говоря о советских детях, не вспомнила о Тухачевском и Якире; другие, повышая голос, повторяли, что одни «враги народа» уничтожены, другие будут уничтожены. Я попытался спросить наших делегатов, почему они говорят об этом на конгрессе писателей, да еще в Мадриде; никто мне не ответил; а Михаил Ефимович хмыкнул: «Так нужно. А вы лучше не спрашивайте...»

Фашисты по радио издевались над конгрессом. Ночью, однако, они проявили к нему некоторый интерес: начали палить из всех орудий по центру Мадрида. Почти все делегаты отнеслись к этому спокойно; нашлись и такие, приехавшие из спокойных стран, которые перепугались; о них потом рассказывали смешные истории, но в общем обстрел был сильным, а на войне порой бывает страшно, особенно с непривычки.

Грохот стоял отчаянный, заснуть было невозможно. Я долго беседовал с Жюльеном Бенда. Ему тогда было семьдесят лет, но держался он бодро, весь день ходил, осматривал город, позиции, а когда ночью начался обстрел, сказал мне, что он вообще спит мало, и не обращал никакого внимания на разрывы. Он говорил о конгрессе, считал, что мы правильно сделали, созвав его в Мадриде: «Сейчас главное — показать, что люди, которым дорога культура, на линии огня». Некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой: «Ваши друзья придают чересчур много значения Андре Жиду. Он никогда не скрывал своего презрения к рационализму, он последовательно непоследователен. Вы поверили в его общественную ценность, сделали из него апостола, а теперь предаете его анафеме. Это смешно, особенно здесь — в Мадриде. Андре Жид — птичка, которая свила гнездо на «ничьей земле»; стрелять нужно, как стреляют фашисты,— по батареям противника...»

Наступление на Брунете началось 6 июля утром. Вечером В. В. Вишневский отвел меня в сторону. «Давайте поедем в Брунете! Возьмем Ставского, он просится. Мы старые солдаты. А я для этого и приехал...»

Всеволод Витальевич был человеком чрезвычайно эмоциональным; чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста. Когда он начинал говорить, он сам не знал, куда его занесет и чем он кончит. Он был прекрасным оратором, говорил лучше, чем писал; многие ленинградцы мне рассказывали, что в годы блокады его выступления по радио помогали людям. Иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет: люди боялись не только сказать, но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного, а Вишневский, войдя в жар, не помнил об установках. Как-то у А. Я. Таирова, рассердившись на меня, он выхватил револьвер, точь-в-точь как Дуррути. Он ругал Запад, говорил, что он — матрос, простецкий, народный, и одновременно восхищался Джойсом, Пикассо. Фашистов он ненавидел страстно и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в «Знамени» первую половину романа «Падение Парижа».

Я пошел к испанцам; они мне рассказали, что первый день прошел хорошо, заняли Брунете, сейчас идут бои за Вильянуэва-де-Каньяда.

Положение, однако, неустойчивое, Брунете почти в мешке, фашисты могут перерезать дорогу; во всяком случае делегатов, приехавших на конгресс, везти туда не стоит, пускай лучше поедут на Хараму или посмотрят Карабанчель.

Вернувшись, я сказал Вишневскому: «Ничего не выйдет — не советуют». Он совершенно потерял голову, кричал: «А я думал, что вы смелый человек...» Я рассердился и ответил, что лично я поеду в Брунете, мне нужно передать в газету, что там происходит; у меня есть машина; испанцы меня просили не брать с собой писателей, приехавших на конгресс, но если он настаивает, то пожалуйста: завтра в пять утра поедем.

Жара в те дни стояла невыносимая. Я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном. Приходилось простаивать час, а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону («не слышно — по буквам»), какие ораторы выступили на заседании и какие деревушки заняты республиканской армией.

На солнце тела убитых быстро загорали, темнели, и Ставский принимал всех мертвых за противников — у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев.

Я взял с собой фляжку. Ставский и Вишневский сразу выпили воду. Я уже знал, что лучше до захода солнца не пить — замучает жажда. Они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды.

Когда мы шли в Брунете, я встретил знакомых командиров из батальона «Эдгар Андре»; они сказали, что дорогу сильно простреливают, лучше дальше не идти. Я ответил, что нам нужно обязательно в Брунете. «Только не задерживайтесь,— сказали они,— фашисты готовятся контратаковать».

Из Брунете фашистов выбили сразу, и в домах мы увидели накрытые столы, недоконченный обед. В помещении фаланги валялись листовки, плакаты, речи Геббельса, переведенные на испанский язык. Вишневский собирал «трофеи» — фашистские значки, флаги, раскиданные документы с печатями; просил меня переводить надписи на стенах; словом, мы замешкались. Когда мы шли в Вильянуэва, Ставский нашел фашистский шлем, надел на голову и обязательно захотел, чтобы я сфотографировал его и Вишневского.

Мы возвращались назад. Возле Вильянуэва-де-Каньяда дорогу сильно обстреливали. В. П. Ставский крикнул: «Ложитесь! Я говорю вам как старый солдат!..»

Вишневский полз и в восторге вскрикивал: «Ух! Ну, этот совсем близко! Черти, пристрелялись!..»

Когда мы вернулись в Мадрид, они стали рассказывать Фадееву, как мы замечательно съездили. А я пошел передавать отчет в газету.

За эту экскурсию мне влетело. Один из наших военных (кажется, это был Максимов) кричал: «Кто вам дал право подвергать наших писателей опасности? Безобразие!..» Я смущенно заметил, что я тоже писатель. Это его не обезоружило. «Вы другое дело. Вы, Кольцов ездите по службе. А у нас есть указания делегатов ограждать...» Он вдруг переменил тон: «Ну что вы скажете? Здорово? Заняли кладбище Кихорны. Я там до шести часов был, посплю часа три и снова поеду — мне здесь с Григоровичем нужно поговорить. Сволочи, сейчас звонили — бомбят...»

Я написал накануне речь для конгресса; решил не выступать и дал листок редактору «Мундо обреро»; в моей речи не было ничего ни об Андре Жиде, ни о том, как мы истребляем «врагов народа». Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» от 8 июля. В нем напечатана статья, которую я дал газете под заглавием «Непроизнесенная речь». Над нею сводка: «Поселок Кихорна окружен нашими войсками. Дух наших

бойцов превосходен. Некоторые перебежчики указывают, что противник подтягивает новые части, чтобы сдержать наше продвижение».

В моей речи есть одна мысль, которая мне кажется теперь правильной: «Мы вступили в эпоху действий. Кто знает, будут ли написаны задуманные многими из нас книги. На годы, если не на десятилетия, культура станет военнополевой. Она может прятаться в убежища, где рано или поздно ее настигнет смерть. Она может перейти в наступление».

«Годы» — мало, «десятилетия» — преувеличено: нам предстояло с того дня, как я написал эти строки, прожить на поле боя еще восемь лет.

А от «хрупких слов», как говорил Бергамин, писателю трудно отказаться: литература засасывает. Мальро уже весной кончил воевать: не было больше самолетов. Он начал писать роман об испанской войне — «Надежда». В Испании на фронтах стояло затишье. Людвига Ренна послали в Соединенные Штаты, в Канаду, на Кубу — он выступал с докладами об испанской войне. Реглер делал то же самое в Южной Америке. Мальро собирал в Америке деньги для испанцев. Кольцов осенью вернулся в Москву и взялся за книгу «Испанский дневник».

Когда конгресс кончился, я уехал на юг Франции в маленькую деревушку. Там было тихо, порой даже слишком тихо. Зеленели поля табака, и медленно сочилась река Лот. Я написал повесть об испанской войне; вернее назвать ее записями о событиях и людях.

Один из героев повести, немецкий эмигрант Вальтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. «Хорошо здесь,— думает он,— камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..» Повесть я назвал «Что человеку надо» — это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной.

Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог; есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали; мое поколение получило в подарок долгие полевые годы.

25

Бомба упала близко; из окон посыпались осколки, и я услышал отчаянный женский крик; кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, стряхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было пятьдесят восемь жертв. Женщина продолжала кричать: не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких,— она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, потом санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу; хотел было сообщить в газету, потом раздумал: редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет; да и отрадного тут мало... Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями», о бомбежках упомянул бегло; писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после выборов.

Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова-Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами испанских газет; к нему приходили испанские журналисты, наши советники; когда у него бывало кофе, его секретарша, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из кости Габриэлла, угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Л. Я. Гайкиса давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах С. Г. Марченко.

Я остановился все в той же гостинице «Мажестик»; там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марта Гюисманс, Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный: «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали все, что делают люди при таких обстоятельствах: зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила поязвить, поспорить, все равно о чем — о живописи, о стратегии или о ПСУК. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом, жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом, я его жадно проглатывал — еды было мало.

Мало было и работы: «Известия» отводили испанским делам все меньше и меньше места: разворачивались большие события в Китае; полосы были заняты конституцией, предстоящими выборами.

Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным: увижу старых друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили; будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве — два года, нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов, но это писали и раньше; наверное, как всегда, раздувают... «Мундо обреро» описывает праздник по случаю новой конституции, ее называют «Сталинской». Увижу Ирину, Лапина, Бабеля, Мейерхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлечься, и я позвонил Любе в Париж, что двадцатого заеду за ней — поедем в Москву на две недели.

Тут-то Марченко мне сказал: «Готовится серьезная операция под Теруэлем». (На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов оно застало врасплох.)

Что тут делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до восемнадцатого — увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо: правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью, только что впроголодь. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, цвели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов.

Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подул свирепый ветер с гор. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман, лицо хлестала поземка.

Под Теруэлем было холодно, нестерпимо холодно для испанцев; кажется, мороз доходил до двенадцати градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда, люди падали и ползли вверх на четвереньках.

Ровно год назад — в декабре 1936 года — я побывал у Теруэля; тогда тоже было холодно; пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами, ничего из этого не вышло. Было и второе наступление — в апреле, но тогда я был в Мадриде.

Я сразу увидел, что на этот раз куда больше порядка. Дивизии выглядели лучше; даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Виванкос, не было живописной бестолочи забытых всеми «центурий».

Накануне наступления сорок республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал, позиции фашистов, дорогу на Сарагоссу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно, в первый же день республиканцы продвинулись кое-где на восемь — десять километров.

Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня. Даже в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с башнями походил на средневековую крепость; а над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубо-

кими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием доисторической природы и современной военной техники. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал; у Брунете все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Сан-Блас. Подошли к шоссе; неприятель оказался окруженным: дорогу наши держали под пулеметным огнем.

Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль, говорил об успехах, но, помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал: «При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля... Однако сейчас вопрос идет не об овладении тем или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех». Мне хотелось верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей.

На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище. А мне завтра нужно двигаться. Вот обида, не увижу развязки!..

«Григорий Михайлович, как по-вашему — возьмут Теруэль?» Он сказал, что южная группа отстала, все же дела идут неплохо; город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако, установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. «Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку, а немцы с итальянцами — охапку... Какой народ хороший! — И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки.— Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный!.. Наверно, скоро уеду. А вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь, кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда? А здесь зайдешь в хату — он и грамоты не знает, но обязательно «честь», прямо рыцарь какой-то... Больно за них, очень больно!.. Вот вы напишете про все, не теперь, так через десять лет, вы и про наших скажите, вы ведь знаете — мы старались. Все наши Испанию полюбили, это многое объясняет...»

Он подошел к телефону, выругался; потом сказал мне: «Вот чего я не люблю... Связь, кажется, обеспечили. А вот артиллеристы не знали, что пехота за Конкудом, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное...»

Я сказал, что завтра уезжаю в Москву; вернусь через две недели; надеюсь его увидеть в городе. «Это хорошо, что едете. Увидите, как там, дома... До скорого!..»

Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. «Да мы скоро увидимся,— сказал я,— ты ведь в январе будешь здесь?..» Больше я его не увидел.

На столе у Марченко лежала «Правда», я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет: «Чечено-Ингушская АССР — Штерн Григорий Михайлович». Марченко говорил: «Завидую — Новый год встретите дома... Ну, возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается...» Я весело сказал: «До свиданья!» Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступали годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить «прощай».

Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других «мексиканцев» или «гальегос»...

Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне показался беспечным. Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии.

Где-то на вокзале я купил газету. «Республиканская армия взяла Теруэль». Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугусто с его присказкой «опять тебя куда-то несет», молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоны, смутная улыбка Григоровича — несвязные видения оставленного мира.

Вот и арка Негорелого. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся — с такими я дружил в Алкала-де-Энарес. Не вытерпел и сказал: «А Теруэль-то взяли...» Он тоже улыбнулся: «Вчера было в газете... Можете пройти в таможенный зал».

26

Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли».

«Микитенко? Но он ведь только что был в Испании, выступал на конгрессе...» «Ну и что,— ответила Ирина,— бывает, накануне выступает или его статья в «Правде»...»

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..» Борис Матвеевич пытался строить догадки: Пильняк был в Японии, Третьяков часто встречался с иностранными писателями, Павел Васильев пил и болтал, Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали, Артем Веселый был когда-то «перевальцем», жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе, Чаренца слишком любили в Армении, Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала: «Откуда я знаю? Никто этого не знает...» Борис Матвеевич, смущенно улыбаясь, посоветовал: «Не спрашивайте никого. А если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора...»

Ирина возмущалась: «Почему ты меня спрашивал по телефону про Мирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала, и ее тоже забрали...» Лапин добавил: «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом...»

(Вскоре я узнал, что из «испанцев» пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова-Овсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и других.)

Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Тициана, Борис Матвеевич изумился: «Вы и этого не знаете? Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья».

На следующее утро я пошел в «Известия». Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Больше всего меня огорчило исчезновение Павла Людвиговича Лапинского, которого я полюбил еще в годы молодости — в парижской гостинице «Ницца». Не было и Раевского. Вопреки совету Лапина я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загремел», кто просто махал рукой; были и такие, что поспешно отходили.

Я пошел в «Правду» к Кольцову. Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете. Увидав меня, он хмыкнул: «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум, с Любой. Кольцов почти вскрикнул: «И Люба тоже притащилась?..» Я рассказал ему про Теруэль; сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остен. Зачем-то он повел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал: «Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются. Один делится новостью: «Взяли Теруэль»,— другой спрашивает: «А жену?» Михаил Ефимович улыбнулся: «Смешно?» Я ответил: «Нет». Я ничего не понимал, был растерян, нет, не то слово — подавлен.

В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями «сталинского наркома» Ежова. Я увидел его фотографию — обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог.

На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла-и-Бельтран, которого я знал по Валенсии; его горячо встретили.

На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли, и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи, встают; но удивился — кто такой Берия? Я тихо спросил соседа, тот коротко ответил: «Большой человек».

Ночью Люба мне рассказала, что Нина — жена Табидзе — передала, чтобы мы ее не искали — не хочет нас подвести.

Я встретил много писателей, которых хорошо знал,— Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян, мне хотелось с ним поговорить, но не получилось, только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснесс, тогда я еще не читал его книг и не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении: я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых хозяев, а они старались развлечь или, точнее, отвлечь нас. Но не получалось: чокались, молча пили.

В Москву я ехал с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик (Джамбул его называл «молодым», но ему было лет шестьдесят) объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести, оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел; на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули: «Вот рельсы, они прямо летят в чужие края, так летит и моя песня». Кожа на его лице напоминала древний пергамент, а глаза были живыми — то лукавыми, то печальными. Ему тогда было девяносто два года.

Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в «Новом мире»; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались.

Мы вернулись в Москву. В редакции мне сказали, что собираются поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени—большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать.

Я прожил в Москве полгода; и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы развлечься и отдохнуть: есть в истории народа такие дни, которые нельзя понять даже по рассказам друзей, их нужно пережить.

Прежде всего расскажу, как я жил в те месяцы. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях: рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода, там есть статистика — я сказал, что выступал с докладами об Испании уже в пятидесяти местах.

Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа, и это меня ободряло. Передо мною были честные и смелые люди, преданные коммунизму; они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкала-де-Энарес.

Писать я не мог; за все это время я написал только две статьи об Испании для «Известий» — одну в марте после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о «сталинском наркоме», сравнить «пятую колонну» в Испании с теми, кого тогда называли «врагами народа». Я отвечал, что не могу,— пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки.

Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался; не анализировать эпоху, не помышлять о большом историческом полотне, но показать быт, да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом писателей, художников.

Наша жизнь в то время была диковинной; о ней можно написать книги, и вряд ли я смогу обрисовать ее на нескольких страницах. Все тут было: надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идее. В кругу моих знакомых никто не был уверен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам. Пришел как-то Бабель и с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек стула...» В «Известиях» на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было; курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: «Сегодня назначили, а завтра заберут...»

Жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать Клуб писателей и устраивать клубные дни. С. И. Кирсанов решил и в этом показать себя новатором; он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дейнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда М. М. Зощенки. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял: «Суп биск из омаров». В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за Красную Звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета.

Когда все встали из-за стола, один мало приятный мне литератор отвел меня в сторону и зашептал: «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого... Ужасные времена! Не знаешь, кому кадить и на кого капать...» Были и такие...

Однажды в клубе я встретил С. С. Прокофьева — он исполнял на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров, сказал мне: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение...»

Многие писатели продолжали писать; Тынянов закончил первую

часть «Пушкина», вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что «не пишется».

В. Г. Лидин нас развлекал, как всегда, смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы — Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснились друг другу в любви — это был С. В. Образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс — Э. Т. Кренкеля, молодого, скромного; он с юмором рассказывал про жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и отдохновенным.

Бывали мы и у Таировых, у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк (он незадолго до этого вернулся из Парижа), Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Кирсанов. У Лапина сидели его друзья — Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали — люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться; иногда я рассказывал об Испании — она мне казалась бесконечно далекой и близкой; а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать.

У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексами. Борис Матвеевич научил ее многим номерам: она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило — мы ведь и в то время любили посмеяться.

Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими; подозрительность, опаска подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв головы одеялом...» Меня, напротив, тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы ходили в гости.

Часто мы бывали у Мейерхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра как «чуждого». Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Всеволод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать: обдумывал постановку «Гамлета», хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейерхольдов я встречал П. П. Кончаловского — он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, пианиста Л. Н. Оборина, молодых энтузиастов, для которых Мейерхольд оставался учителем.

Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли В. П. Ставского в том, что он «недоглядел»: повсюду — в журналах, в Жургазе, в издательстве — сидят «враги народа». Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунете, и подумал: здесь пожарче...

И. К. Луппол позвал нас пообедать — он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет; она добавила: «Как-то не настроение, чтобы покупать...» (Луппол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих.)

В. В. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о рокадных дорогах, о прощупывании противника.

Я встречался, даже дружил с людьми мне далекими: у нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим.

Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успела, к счастью, пристрелять-ся. Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел. Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем.

В последней части этой книги я попытаюсь подвести итоги, поделиться мыслями о И. В. Сталине, о причинах наших заблуждений, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения. А сейчас я ограничусь тем, что расскажу о моем понимании (вернее, непонимании) происходившего в то время, которое описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивал и других и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали.

Я был на открытии сессии Верховного Совета — в редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат, восьмидесятилетний академик А. Н. Бах, в далеком прошлом народоволец, прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи — рабочие, служащие, и они неистовствовали.

Да что говорить о москвичах; в далекой Андалузии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Эсталин!» (так испанцы произносили имя Сталина). У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада.

Мы думали (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией.

Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают...»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..»

Да, не только я, очень многие думали, что зло исходит от маленького человека, которого звали «сталинским наркомом». Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

Кажется, умнее меня, да и многих других был Бабель. Исаак Эммануилович знал жену Ежова еще до того времени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, знал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Однажды, покачав головой, он сказал мне: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...» Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел Берия, при нем погибли и Бабель, и Мейерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди.

Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных.

Белов был членом военной коллегии Верховного Суда. «Они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали.)

Не забуду и другой день, когда по радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Прибежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал, сел на кровать и показал рукой на лоб: сошли с ума! К этим дням я еще вернусь в последней части книги.

В 1942 году я писал в одной из статей: «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь, искалечил судьбу многих...» Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с Запада.

В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Иден попробовал поднять голос против открытого вмешательства Италии в испанскую войну; ему пришлось уйти в отставку, пришел Чемберлен, сторонник сближения с Гитлером и Муссолини. Начались массивные бомбежки Барселоны; в течение нескольких мартовских дней были убиты четыре тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько месяцев, есть такие строки: «Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном — девятый этаж — огни большого города. Глухо доносится голос: «В районе Фраги мы отбили атаку...» Может быть, сейчас бомбят Барселону? Может быть, чернорубашечники снова атакуют «в районе Фраги»... Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждается, кто дружил с Бруно Ясенским, а там — в Испании.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину. Борис Матвеевич не решался меня отговаривать и все же сказал: «Стоит ли привлекать к себе внимание?..» Я написал, что был в Испании свыше года, мое место там, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — это ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я. Г. Селих; сказал несколько торжественно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла...»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском...

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину...» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума! Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно,

что поступаю глупо, что скорее всего после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?» Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверно, сказал бы, что пути господа-бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею.

Первого мая я был в комнате радиокомитета, выходившей на Красную площадь; поэты читали стихи и комментировали демонстрацию; я говорил об Испании. Я знал, что война будет шириться, охватит мир.

Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей; нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное «До свиданья!..»

В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали: мы не могли разговаривать даже друг с другом...

Мне было сорок семь лет, это возраст душевной зрелости. Я знал, что случилась беда, знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступятся от Октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое, изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас свернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мне не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу.

После XX съезда партии я встречал за границей знакомых, друзей; некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идее коммунизма. Чего-то они не понимают. Я — старый беспартийный писатель, знаю: идея оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма и его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить свой дом, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого.

А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго: в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым.

Нет, идее не был нанесен удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.

(Окончание следует)

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

ДОРОЖНЫЕ ЗАПИСИ

Тридцать первого мая исполняется семьдесят лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского — одного из замечательных мастеров русской прозы.

От души поздравляем дорогого Константина Георгиевича с его семидесятилетием, которое он встречает в расцвете своего таланта. Желаем ему здоровья, счастья, новых книг и новых успехов.

Мы очень рады тому, что публикация его «Дорожных записей» совпала с днем его юбилея.

К этому человек, должно быть, никогда не привыкнет — остановить такси в сырой березовой роще под Москвой, выйти, чтобы послушать в последний раз, как шумит по деревьям грибной дождь, а через полчаса сесть в реактивный самолет и, спустя пять часов, выйти на жарком аэродроме итальянского города Турина. Об этом городе ты ни разу в жизни не вспоминал и почти ничего о нем не знаешь, кроме того, что это бывшая столица Сардинского королевства. Так по крайней мере нас учили в гимназии.

Но до Турина была еще Прага, был черепичный Цюрих среди плавных альпийских предгорий, были Альпы — сплошное курчавое море облаков, лишь в одном месте разорванное снеговой пирамидой Монблана. Потом самолет качнуло над озером Комо, а Милан встретил знойным порывистым ветром.

От Милана до Турина мы летели над сочной и плоской Ломбардией на удивительно милом самолете. У нас это сооружение назвали бы, конечно, «самолетом районного значения».

В тесноватую кабину набилось много народу. То были преимущественно крестьяне со своей деревенской поклажей. Один старик вез в корзинке даже огненного петуха. Вид у петуха был наглый, а у его хозяина — испуганный. Старик, очевидно, боялся, что петух запоет.

Женщины тараторили с необыкновенной быстротой и что-то вязали. Через пять минут после отлета все мужчины закурили, достали бутылки с вином и начали перекидываться в кости.

В кабине пахло кофе и почему-то сеном. Мы пролетали над Новарой. Мне было приятно думать, что в самолет проникает запах новарских цветущих полей. На самом деле это было, конечно, не так. Стюардесса вопреки обыкновению не виляла модными бедрами по проходу между пассажирами, а продиралась, засучив рукава, с большими чашками кофе, нанизанными на пальцы. Это была не обычная стильная стюардесса с улыбчивыми глазами, а простая краснощекая девушка с реки По, с тучных полей, убегавших под крылья машины.

Самолет походил на старый дилижанс. Он даже дребезжал и раскачивался на воздушных ямах, как на ухабах.

В Турин мы прилетели на конгресс Европейского сообщества писателей. Конгресс был созван в связи с годовщиной объединения Италии.

Объединение произошло в Турине. Поэтому и конгресс происходил в этом городе.

На аэродроме в Турине нас встретил маленький сухощавый и стройный человек, весь серебряный от ровной седины. Седой человек оказался сотрудником Европейского сообщества писателей. Звали его Альдо Леви. Он был отставным адмиралом итальянского флота.

Редко я встречал людей таких внимательных, сердечных и исполнительных до последней мелочи, как этот адмирал-еврей. По этой последней причине он был вынужден при Муссолини семь лет скрываться в лесах Сицилии.

Адмирал свободно владел почти всеми европейскими языками, изъездил весь мир, и потому мы были тронуты тем, как охотно он тратил уйму сил и времени на то, чтобы исполнить каждое наше желание, даже если оно с точки зрения взрослого и положительного человека могло показаться наивным и легкомысленным.

Был такой случай. Перед поездкой я достал в Москве карту Италии и планы Рима, Милана и Турина. Как-то вечером моя дочь — молодая женщина, которой были свойственны веселые поступки,— взяла карандаш, закрыла глаза, опустила острие карандаша на план Турина и сказала:

— Вот это место ты сними обязательно. И вот это тоже. И это. И привези снимки.

Она поставила несколько таких точек на планах Турина и Милана. В Милане ей повезло — кончик карандаша попал на великолепный дворец Сфорца, а в Турине, наоборот,— на тюрьму и кавалерийские казармы.

На второй день после приезда в Турин в машине по пути на конгресс я, смеясь, рассказал об этом адмиралу Леви. Адмирал необыкновенно взволновался и обрадовался. Обрадовался и шофер. До них обоих «дошла» эта выдумка. Они оба сочли ее весьма интересной и даже поэтичной.

Пока я сидел в зале конгресса, адмирал изучал с шофером мой план города с отмеченными местами.

Тотчас после заседания мы сели в машину и помчались по городу, пестрому от обилия цветов и разноцветных тентов над кофейнями. Мы мчались к тюрьме и казармам. Адмирал беспокоился. Он считал мой план Турина устаревшим и боялся, что теперь на месте тюрьмы и казарм уже выстроены новые дома.

Но нам повезло. Все было цело. Я снял тюрьму с распятием на воротах и снял казарму, где у входа стояли строгие часовые. Адмирал потребовал, чтобы я снял отдельно этих красавцев часовых. Они были польщены этим и позировали так торжественно, будто стояли в почетном карауле у дворца самого президента.

Вся улица играла от ветра и солнца. И все мы, включая солдат, были очень довольны этим небольшим происшествием.

Во время пребывания в Турине мы жили не в городе — слишком жарком,— а в нескольких километрах к западу от него, в лесистых и прохладных предгориях Пьемонтских Альп, в местности по названию Эремо.

Там к старому монастырю католические его владельцы недавно пристроили гостиницу. Называлась она «Резиденция Романья».

Кажется, мы — писатели разных европейских стран — были первыми жильцами этой гостиницы — пустой, светлой, гулкой и очень тихой.

За окном моей комнаты по свежему зеленому склону тянулись персиковые сады. Крестьяне косили между деревьями сено, и запах его напоминал наши заливные луга.

С Пьемонтских Альп все время летел легкий ветер. Шумели вековые каштаны. На старой кампанилле у моего окна время от времени дребезжал колокол. Где-то поблизости вдохновенно рыдали ослы.

По утрам меня будило пение молодых монахинь. Они парами шли под моим окном в соседнюю церковь. Увидев меня, они опускали головы и начинали петь громче.

Невдалеке от «Резиденции Романья», около пустынного шоссе скрывался под тенью ореховых деревьев маленький «ристоранте». Я часто ходил туда пить кофе и долго просиживал за столиком под развесистым орехом, разглядывая прохожих и пыльные машины, студентов, проносившихся на скутерах вместе со своими подругами, и полицейских с белыми портупеями через плечо. В чужой стране это занятие было увлекательным.

Каждый раз ко мне подходил маленький ворсистый ослик с бубенчиком на шее. Он долго стоял, навалившись на меня, и дожидался сахара. Время от времени он хлопал меня по руке пыльным теплым ухом. То ли он напоминал мне этим о своем существовании, то ли отгонял мух. Во всяком случае он хлопал ушами очень часто и постукивал при этом копытцами.

Однажды ослик не рассчитал расстояния, ударил ухом по чашке кофе на столике, перевернул ее и облил скатерть и мои брюки. На ослика это не произвело никакого впечатления, но хозяйка «ристоранте» сокрушалась свыше всякой меры и призывала на кроткого ослика всяческие божьи кары.

Через некоторое время я узнал, что этот безмятежный «ристоранте» был местом тяжелой драмы. В нем застрелился прекрасный итальянский писатель Павэзэ — человек, измученный войной, благородный и непримиримый.

В последние годы жизни его мучила мысль, что ни один человек не может до конца понять другого и не может быть понят этим другим. То была драма человека сложного, тонкого, встревоженного жизнью и бессилием слов к выражению своего внутреннего мира. Все мы знаем в той или иной мере это бессилие, все проходили через это испытание, но Павэзэ не мог его вынести и так и ушел из жизни непонятым.

Турин — автомобильная столица Италии. В нем расположен грандиозный завод Фиат.

Это, конечно, не завод. Это самостоятельное государство со своей полицией, со многими учреждениями и свойствами суверенной страны.

Завод нельзя обойти. Его можно только объехать на машине, но и это займет много часов. Объехать на машине все огромные, теряющиеся в дымке цеха, где работу выдает только тихий гул автоматов. Да и весь завод с его инженерами и рабочими — сплошной исполинский автомат.

Недаром директор завода синьор Валетта похож на конкистадора времен покорения Америки. Это низенький молчаливый человек с железными глазами, рассчитавший, очевидно, свою жизнь по секундам. Он держит себя, как властелин. Он холодно и несколько принужденно вежлив.

Он подарил нам пластинки для патефона с записью песенки, сочиненной каким-то поэтом «для завода Фиат». Передавая нам эти пластинки, синьор Валетта пренебрежительно улыбался. Он как бы хотел сказать, что вот, мол, приходится ради рекламы мириться даже с поэзией и музыкой, хотя совершенно ясно, что это занятие для бездельников.

После закрытия конгресса в старинном ресторане-дворце среди тенистого парка был устроен для делегатов прощальный ужин. Ужин этот интересен тем, что на два часа перенес нас в обстановку восемнадцатого века.

Случилось это потому, что над Турином в тот вечер прошла грохочущая гроза. В городе погас свет. Вспышки небесного бенгальского огня вырывали из мрака то длинные массивные колоннады на Пиацца Кастелло, то конные статуи героев и королей, то перевернутые ветром столики кафе и летящие по ветру салфетки, битое стекло и листья каштанов.

Пышные залы дворца-ресторана погрузились во мрак. Ветер распахнул окна. Блеск молний носился по старинным картинам, золоченой мебели и встревоженным лицам гостей.

В парке за окнами трещали сучья деревьев и гремел ливень.

Я сидел у окна с чешской писательницей Майеровой — мужественной и бесконечно доброй женщиной. Несмотря на возраст и болезнь, она приехала в Турин из Праги на машине.

Мы говорили о молодых чешских и русских писателях, о том, что им надо дать возможность поездить хотя бы по Европе.

— Писательство,— сказала Майерова,— это знание. А знание дает человеку, в числе других качеств, способность к бесконечному разнообразию впечатлений. Даже гроза здесь, в Турине, ощущается не так, как в Карловых Варах или Новгороде, хотя бы потому, что мы знаем о существовании ореховых лесов, окружающих Турин. Поэтому мы особенно резко слышим острый запах ореховых листьев, промокших от дождя...

Электричество погасло надолго. Кельнеры начали зажигать свечи в старых позванивающих люстрах и канделябрах.

Трепет теней и дрожащие язычки огня сразу перенесли нас на два столетия назад. Даже лица людей стали какими-то старинными, более резкими, более таинственными и выразительными.

Из Турина я уехал на крайний северо-запад Италии, в бывшее герцогство Аосту. А сейчас губернатор Аосты — коммунист.

Десять дней, проведенных в свежей и нежной долине Аосты у подножья величайших альпийских вершин Монблана, Матергорна и Сен-Готарда, прочно оторвали меня от трескучей городской жизни.

Тишина стояла до самых вершин гор. Она сливалась с блеском неба, светом фирновых снегов и медленным сиянием солнца.

Только ветер, хлопавший створками жалюзи в гостинице, и сонный рокот речки Дора́ нарушали эту тишину. Да еще голоса детей.

В долине Аосты я жил в маленьком городке Сен-Висенте — типичном не итальянском, а французском провинциальном городке. Савойя была рядом.

К вечеру на главной улице собирались жители городка, чтобы попить кофе за крошечными столиками на узеньких тротуарах, посудачить и посмотреть на приезжих.

А посмотреть стоило. Через городок в сторону Альп проносились, приседая, машины — длинные, низкие, бесшумные, сверкающие ослепительными лаками всех возможных цветов.

В машинах сидели люди, одетые ярко и пестро, как попугаи, преимущественно во все красное или во все желтое. Это были альпинисты. Такие яркие костюмы они носили, чтобы их легче было найти в случае несчастья на горных снегах и на глетчерах. Красный и желтый цвета видны очень далеко. Даже лыжи у альпинистов были ярких цветов — зеленые, оранжевые, красные и черные.

По узкой улице проносились машины с альпинистами и бегали с озабоченными мордами одни и те же добродушные псы. Через три дня я уже знал всех их в лицо.

В Сен-Висенте я жил в гостинице «Биллия». В ней останавливались главным образом миланские купцы, миллионеры и крупные игроки.

Рядом с гостиницей было казино с рулеткой и другими азартными

играми. Рулетка эта была, кажется, единственной в Италии. Казино соединялось с гостиницей подземным ходом. На его мраморных стенах висели картины новейших художников. Были даже картины Модильяни.

Впервые в жизни я вплотную столкнулся с теми, кого мы называем капиталистами. Я наблюдал их в казино, ресторанах, в ночных кафе, в обширных холлах гостиницы и на улицах городка.

В большинстве это были скучные и надменные люди с дурными манерами. Любой носильщик, кельнер или чистильщик сапог вел себя с гораздо большим достоинством и непринужденностью.

Ничто не изменилось с тех пор, когда Бунин написал своего «Господина из Сан-Франциско».

Та же холодная пустота ума, убогость языка, слепая вера во всемогущество доллара и лиры, вынужденное стандартное веселье. Особенно резко бросались в глаза эти качества миллионеров и мультимиллионеров в ночном кафе, где их дочери и жены танцевали в красном дразнящем полумраке с наемными партнерами. То были смазливые и хищные юноши с ослепительными проборами и искусственно бледными лицами. Некоторые из них гримировались под «битников» — грязноватых, неуклюжих и развязных.

Миллионеры оживлялись только в казино за столами с рулеткой. Крупье в казино работали, как лучшие фокусники и жонглеры в мире. Все их движения были точны и беспощадны. Они должны были помнить все ставки и никогда не ошибаться. Они должны были чуть показывать зубы в деланной улыбке и не спускать глаз с рук игроков. Это была адская работа. Крупье сменялись каждые два часа.

Азартнее всех играли женщины, особенно старухи. Они часто комкали платки и плакали. Зрелище дряхлой плачущей женщины было невыносимым. Даже крупье отводили от них глаза.

А в трехстах метрах от дымного и бессонного казино совершенно пустынная дорога выводила меня сквозь заросли в долину, где пенилась река, озерами цвели анемоны, пели птицы, где стояли на перекрестках молоденькие каменные мадонны и кто-то клал к их ногам охапки свежей травы, где в дощатой таверне веселый мальчик наливал мне в толстый стакан густое сицилийское вино, а старая мохнатая собака приносила мне в зубах все одну и ту же старую измятую газету.

Вдоль реки, вернее не реки, а потока бешеной пышной пены, по едва заметной тропе среди скал я доходил до римского моста.

Вокруг не было ни души. Река кипела котлом под ветхим настилом.

Вблизи на скале стоял старый замок. Его двор зарос выгоревшей травой, а на стенах сохранились бледные фрески. На них рыцарь помогал подняться с земли молодой женщине с печальным и нежным лицом.

Что означала эта фреска, я не знал. Но она была прекрасна.

Леса вокруг источали бальзамический воздух. Старый пастух заходил во двор замка и, присев на ступеньку, ел хлеб с сыром и запивал свой завтрак вином из фляги.

Этого пастуха я встречал в замке три раза, и каждый раз он с такой радостью угощал меня вином, что я не мог отказаться.

Мы ни о чем не говорили, а только улыбались друг другу. Но и этого было довольно.

Пастух уходил, а я ложился на сухую траву. От каменных стен замка тянуло теплотой.

Я долго лежал, глядя в небо Италии с летучими облаками, которые так легко и точно умели писать художники Возрождения. Облака остались такими же, как и сотни лет назад. От них исходили на землю мирный свет и тишина.

Большую часть своего времени в Сен-Висенте я проводил у римского

моста и в замке и с неохотой возвращался в «Биллию», ощущая как оскорбление те поспешные и низкие поклоны, которые отпускали мне привратники, помощники портье и мальчики-лифтеры. Я ощущал эти поклоны как оскорбление именно потому, что все эти люди так кланялись миллионерам и игрокам и, может быть, принимали и меня за представителя этой пустой породы людей.

Но как только уборщица Романья — ясноглазая и смешливая уроженка Пармы — узнала, что я русский из Москвы, тотчас все изменилось. Со мной здоровались радостно и почтительно и начали протягивать мне по-дружески руку.

Альпы синели и дымились совсем недалеко. Но, чтобы подойти к ним, как говорится, «на вытянутую руку», надо было поехать в ближайший альпийский поселок Червинию.

Дорога туда живописна и вместе с тем однообразна, как и все красивые горные дороги.

В горных странах — у нас ли на Кавказе или в Карпатах, в Апеннинах или на Балканах — красоты часто повторяются. Крутые повороты, мосты, синеватый дым над долинами, сосны на скалах, исполинские зубцы, присыпанные снегом,— все это есть в любой горной стране. Не повторяются только люди и постройки. Здесь разворот огромный — от дагестанских аулов и деревянных ступенчатых изб в Татрах до швейцарских шале — уютных и пылающих со всех балконов традиционной геранью.

Автобус-пульман шел осторожно, покрикивая. Его крик повторяло со всех сторон печальное эхо.

С каждым поворотом становилось холоднее. Бешено мчались по обочинам дороги серо-зеленые ручьи, взбивая пену. Горы делались круче, зловещее, чернее.

Кое-где у дороги стояли «альберго» — маленькие гостиницы для туристов, все в рекламах вермута и джина.

Потом перед нами открылся отвесный, совершенно голый склон без единого деревца или кустика, и по нему десятками белых растрепанных ветром нитей падали с высоты тонкие водопады.

Они лились почти вплотную один около другого. Их отделяло друг от друга расстояние не больше, чем в три-четыре метра. Это делало склон горы похожим на те тяжелые занавеси из стеклянных нитей, какие часто встречаются в тавернах на окраинах Рима и Афин.

Червиния оказалась поселком довольно угрюмым. Стены гор скрадывали свет. Его явно не хватало для полного освещения Червинии.

Из холодного кафе я долго смотрел на падающие отвесно стены Матергорна в сером снегу. Около одного гребня была видна оранжевая черточка — это, очевидно, были альпинисты.

Червиния — город горных проводников. Они очень театральны в своих фетровых шляпах, со связками капроновых канатов на плечах и с блестящими ледорубами.

Рыжая девушка подала мне кофе, села рядом и начала читать какой-то роман в заманчивой обложке. Лились за окном водопады. Когда кто-нибудь входил в кафе, я прислушивался. Я ждал, что услышу шум этих десятков водопадов. Но они лились в полной тишине.

Мгла клубилась над Сен-Готардом. Может быть, там начиналась метель. Я видел через окно, как женщины на улице закутывали головы теплыми платками.

Я достал блокнот с изображением Миланского собора и начал писать письмо в Тарусу — именно в Тарусу, а не в Москву.

Я вспомнил, как стоят над Окой летние розовеющие облака, и исполинский Матергорн со всеми его мировыми глетчерами и лавинами по-

казался мне грозным и неуютным. Я подумал о том, что ни за что не стал бы лезть на его клыкастую вершину. Очевидно, я человек долин, лесов, мягких линий горизонта. Горы больше всего меня привлекают в виде громад и башен кучевых облаков.

Из Сен-Висента я ездил на один день в Милан — посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо.

Это случилось — именно случилось — в сумрачном и пустом зале монастырской трапезной при церкви Санта-Мария делле Грацие. Писать о «Тайной вечере» невозможно. Она производит впечатление чуда. Это впечатление остается на всю жизнь.

Ее можно или принять сразу и безвозвратно, как событие твоей собственной жизни, или остаться холодным и торопиться выйти из трапезной на жгучую и переполненную светом улицу. Так и было с несколькими посетителями.

Фреска покрыта, как все драгоценные и старинные вещи, легким тускловатым налетом, патиной. Она просвечивает через нее, как через слой теплой воды.

Я часто слышал слова: «Увидеть Рим — и умереть!» или «Увидеть «Тайную вечерю» Леонардо — и умереть!»

Эти слова, конечно,— выражение неудержимого пафоса, но по сути своей они неверны.

После встречи с «Тайной вечерей», как и со всяким великим произведением искусства, хочется не умереть, а жить,— жить, если бы это было возможно, без утомления, без ущерба, чтобы увидеть всю красоту мира во всех ее выражениях — от красной крымской земли до картин Ван-Гога и от шума Эгейского моря до белой зари над Олонцем.

Я не стесняюсь высказать эту простую мысль. Я чувствую наследие предков, их стремление к совершенству жизни. В Милане я прикоснулся к стенам театра Ла Скала с нежностью лишь потому, что эти стены видели прекраснейших людей. Прежде всего Байрона и Стендаля.

Но я не только дотронулся до стены театра Ла Скала. Возвратившись из Милана в Сен-Висент, я с благодарностью дотронулся до пыльного кузова пульмана, возившего меня в Милан, и пожал руку загорелому и спокойному водителю Нино.

Я знал, что больше никогда в жизни не увижу ни этого пульмана, остывавшего в тени акаций, ни водителя Нино, но, к своему удивлению, не испытал особого огорчения — впереди были новые дороги и встречи.

В тот же день я вылетел из Сен-Висента в Рим.

Воздушная глубина за окнами самолета казалась не синей, а черной. Тирренское море поблескивало внизу, в бездне, как чешуйчатый щит.

На щите вдруг нестерпимо сверкнула прилипшая к нему золотая песчинка.

Мой сосед — сухощавый итальянский профессор с профилем Данте — показал мне на эту песчинку и внятно сказал:

— Монте-Кристо! Дюма!

Внизу в безбрежном океане воздуха и воды острой точкой горел маленький остров Монте-Кристо. Владельца этого острова Монте-Кристо Дюма выбрал героем своей очередной полувыдумки, своего увлекательного романа. В нем было много наивных страстей и простодушия.

Старая Европа плыла под самолетом — частица нашей удивительной звезды, окруженной сиреневым сиянием. Старая Европа, где родилось, возмужало, страдало и радовалось сердце. Оно стремилось передать всем, кто слышал его биение, тревогу жизни и красоту земли.

Стюардесса в сером обтянутом платье — тонкая и длинная, как зем-

ляная оса,— принесла на подносе горку разноцветных конфет в таких ярких обертках, будто веселый художник пробовал на них новые краски. Появление конфет означало, что самолет начинает спускаться. Обычно у пассажиров от смены давления возникает шум в ушах. Глотание сладкого конфетного сока ослабляет этот шум, а иной раз и совсем его устраняет.

Слух вернулся ко мне вместе со вкусом патоки и барбариса. Я услышал, как стюардесса произнесла с непременной заученной улыбкой знакомое слово:

— Чивитавеккия!

Самолет шел уже довольно низко над морем вдоль итальянского берега, освещенного заходящим солнцем. Был ясно виден этот сухой желтоватый город с резкими тенями в глубине аркад, старый, разорванный прибоем на части каменный мол, спящие пароходы без единой струйки дыма из труб и красноватый воздух на площадях.

Да! Старая Европа вся целиком — до последних клочков материка, до последнего изгиба маленьких бухт — наполнена воспоминаниями, сжимающими сердце.

Вот Чивитавеккия — город, где полтораста лет назад неугомонный искатель счастья Стендаль служил французским консулом.

Лучше всего он сказал о себе сам: «Подлинное мое ремесло — писать романы где-нибудь на чердаке».

В Чивитавеккии он целые дни напролет читал и читал. Чтение было для него самой напряженной и милой работой. Он научился извлекать со страниц древних авторов мысли столь современные, что их можно было применить ко всему: и к новейшей политике и к скучному характеру своего помощника по консульству — старичка итальянца.

Старичок делал за Стендаля всю его консульскую работу. Стендаль же изредка, и то главным образом из любопытства, принимал капитанов кораблей, застрявших в этом скучном итальянском порту.

Стендаль часто ездил из Чивитавеккии в Рим и полюбил унылую дорогу через скудную равнину, ограниченную далекой стеной Апеннин.

Уединение в Чивитавеккии было плодотворно для Стендаля.

Может быть, уединение нужно время от времени всем людям, особенно писателям. Оно очищает сердце и придает счастливую длительность нашим мыслям и чувствам.

В Рим мы прилетели в сумерки.

Новый римский аэровокзал расположен на равнине вблизи моря. Он геометричен и прозрачен.

На аэровокзале было много патеров, монахов и монахинь. Они ждали самолеты на Брюссель, где происходил какой-то католический съезд.

Патеры охотно и весело болтали с красивыми стюардессами, а пожилые монахини достигли совершенства в искусстве поджимать губы. Почти у всех монахинь губы были сжаты так крепко, будто из них выдавили всю лишнюю кровь. Снаружи осталась только полоска синеватой кожи. Из-под ряс у монахинь виднелись крепкие, хорошо начищенные ботинки. Кирпичный румянец лежал на выпуклых щечках. По внешнему виду монахини были вполне добротными старыми девами — мастерицами по вышивке и приготовлению спагетти.

Молодые монахини казались застенчивыми и часто краснели. Даже короткий, но пристальный мужской взгляд бросал их в краску и вызывал преувеличенный блеск в глазах.

Что касается монахов, то они элегантно подпоясывали свои грубые власяницы капроновыми веревками, а иные подъезжали к аэровокзалу на скутерах.

Вообще у нас до сих пор существуют превратные представления о многих вещах на Западе. Мы удивляемся, когда видим ласковых и доброжелательных кондукторов автобусов, шутливых и заразительно хохочущих полицейских, детей, внимательных к взрослым, и шоферов такси, у которых, как это ни странно, всегда находится сдача.

От аэродрома до Рима тянулась туманная низина. По ней мчался нам навстречу рой белых и красных автомобильных огней. Они отражались и дробились в глубине маслянистой трассы.

С быстрым шумом пролетали по сторонам темные платаны. Казалось, что они прячут в своих вершинах ветер и выпускают его на свободу только в те мгновения, когда стремительно равняются с нашей машиной.

Рим разливался огнями все шире, казалось — до самых Сабинских гор.

Иногда вместо мерного пения асфальта под колесами гудели каменные плиты — остатки дорог времен цезарей.

Внезапно на плавном закруглении улицы мимо нас пронеслись пинии, подкрашенные алым огнем световых реклам. Мы начали огибать могучий овал Колизея — капища древнего Рима.

За Колизеем уже пылал Рим современный.

У некоторых городов, кроме звуков, общих для всех человеческих поселений, есть еще звуки, принадлежащие только им.

О таких городах говорят, что у них есть свой голос. Большей частью он звучит под сурдинку.

Каков же голос Рима? Мне кажется, что это шорох и плеск фонтанов. Я не буду говорить о пенистом фонтане Треви. Не было ни одного описания Рима за последние двести лет, где бы не упоминался этот фонтан.

В Риме я полюбил фонтан на Наонской площади и еще один — безвестный и скромный фонтан около холма Яникул.

Около этого фонтана всегда сидела молчаливая старуха — продавщица цветов. Цветы у нее были самые простые, каких множество и у нас в России,— пионы, гвоздики, львиный зев и даже ноготки.

На Яникуле часто дул теплый ветер. Малейший порыв его относил в сторону брызги фонтана. Дети с хохотом пробегали под этими брызгами.

Вода в фонтане была зеленоватого цвета, как в лагуне.

Старуха держала цветы в большом эмалированном ведре. Фонтан все время обрызгивал цветы. От этого они казались ярче и душистее. Сама же старуха сидела подальше от брызг под большим полотняным зонтиком и вязала красный грубый шарф.

Я сел невдалеке от нее и долго рассматривал каждого мальчишку и каждую девочку, игравших около фонтана, и всех людей, что сидели на скамейках в тени платанов.

Далеко над мглой мерцал купол святого Петра.

Старик в сером нейлоновом костюме лежал на соседней скамейке и спал, прикрыв лицо газетой. По газете пощелкивали брызги. Рыжий слепец в шляпе с петушиным пером сидел на складном стуле и торговал зубочистками.

Мальчик со светлыми легкими волосами попросил у старухи граненый стакан и принес в нем слепому воды из фонтана. Потом выполоскал стакан и принес воды мне, хотя я его об этом и не просил.

Я поблагодарил его по-русски. Он подпрыгнул на месте от восторга и что-то спросил меня. Я ответил наугад:

— Моска.

Тогда он протянул мне руку, потом умчался с пустым стаканом, зачерпнул из фонтана воды и принес ее старухе с цветами.

Она подарила ему за это маленькую красную гвоздику. Мальчик побежал со всех ног к дальней скамейке, где читала книгу молодая женщина в трауре. Он отдал ей гвоздику, она приколола ее к платью на груди и поцеловала мальчика.

Мальчик схватил женщину за руку и начал изо всех сил стаскивать ее со скамейки.

Она засмеялась и поднялась. Мальчик подвел ее ко мне и сказал с горящими глазами, что я из Москвы.

Фонтан шуршал и разбрасывал брызги.

Женщина откололa гвоздику, засунула ее в маленький нагрудный карман моего пиджака, взяла мальчика за руку и ушла. Фонтан как бы рванулся ей вслед, швырнув множество брызг. Тогда она и мальчик оглянулись и ласково помахали мне на прощанье.

Все плескалась зеленоватая вода в фонтане. Мимо прошли веселые студенты в таких узких брюках, что было непонятно, как они могли натянуть их на ноги.

В четыре певучих тона пропел автобус-пульман. И я подумал о том, что все-таки хорошо жить на свете бродягой, от случая к случаю.

Несколько лет назад я впервые увидел в Риме Наонскую площадь. Приближался вечер. Боковой солнечный свет придавал выпуклую живописность старым фасадам домов и светлой воде, широкими струями лившейся из фонтана в бассейн.

Наонская площадь показалась мне живым воплощением старой Италии с ее карнавальными тайнами, пышной скукой и страстями, возникавшими от мимолетного взгляда, но сплошь и рядом приводившими к катастрофе.

Невдалеке струился Тибр. Плакучие ивы полоскали в его мутноватой воде узкие и острые листья.

За Тибром возвышался круглый приземистый замок святого Ангела. Солнце покрывало багрянцем его ноздреватые стены. Я когда-то уже писал о виде Наонской площади, написанном масляными красками в конце восемнадцатого века неизвестным художником. Я увидел эту картину в 1930 году в самом неожиданном месте — в избе деревенской портнихи в селе Гришино на реке Пре, на границе Мещерских лесов.

Поэтому и в первый раз, когда я увидел Наонскую площадь, и сейчас, когда я ее увидел во второй раз, я вспомнил Гришино и запах багульника с окрестных мещерских болот.

Гришино было селом насквозь русским. На его песчаных улицах росла ромашка, клокотали черно-золотые петухи, и ласковые старухи все охали, все сокрушались о тяжелой людской доле.

Так Наонская площадь соединилась в моих мыслях с рязанской деревней и теплыми налетами смолистого ветра из сосновых лесов.

Сейчас, во второй раз, я попал на Наонскую площадь поздним вечером. Несколько знакомых итальянцев, в том числе превосходный переводчик русских книг Пиетро Цветеремич — вольный, веселый и беспечный человек, пригласили меня поужинать на Наонской площади.

Вся площадь была заставлена столиками и превращена в сплошной «ристоранте». Только по обочинам были оставлены на мостовой узкие проходы для пешеходов и экипажей (проезд машин по Наонской площади был по вечерам запрещен).

Экипажи медленно проезжали мимо столиков, покрытых пышными скатертями, уставленных оплетенными бутылками с вином и букетами деревенских цветов, уже немного увядших от духоты.

Мы сидели за таким столиком, освещенным только уличными фонарями и огромной спелой и желтой луной. Она висела над соседней церковью в мглистом и теплом небе.

Рядом с нами щелкали бичи ветурино и старательно цокали по мостовой подковы.

Мы пили вермут и всякие вина, пахнувшие чуть горьковато. То был подлинный сок итальянской земли — кремнистой, сухой,— сок земли, омытой праздничными морями.

Цветеремич говорил о дружбе, возникшей на расстоянии. С нами сидел библиотекарь книгохранилища по истории искусств во дворце Венеции Паоло Падовани. Это был скромный и ласковый человек, прекрасно знавший нашу литературу.

Книги роднят людей. Я убедился в этом в ту ночь на Наонской площади, когда три человека, далекие друг от друга по месту своей жизни, люди с разными биографиями, воспитанием, темпераментом, разными познаниями и разным языком, были близки друг другу, как люди одного общего дела. Может ли возникнуть дружба, когда видишь человека впервые? На этот вопрос мне ответил Цветеремич несколько позже в письме из Рима.

«Я думаю,— писал он,— что когда возникает обоюдная симпатия, основанная на проникновении в какую-то созвучную зону другого человека, то она вполне оправдывает звание друга, несмотря на краткость знакомства».

Луна зашла за церковную башню. Таинственная ночная тень перерезала наискось Наонскую площадь. Где-то далеко прозвонил колокол. Мы разошлись.

Потом у себя в смешном, очень узком номере гостиницы около Виа Венета я долго оттягивал сон, долго слушал ночной Рим. Сон мне казался по меньшей мере преступлением.

Все же к утру он одолел меня. Но я вскоре проснулся от шума воды из шлангов. Улицы поливали. Метались по стенам солнечные зайчики, отброшенные сильной и холодной струей. Зелень виллы Боргезе еще дышала ночной прохладой.

Днем я улетел в Москву.

Я много видел, но, как всегда, мне было мало этого. Сколько бы человек ни видел, ему всегда мало. Так и должно быть. Нам нужна вся земля со всеми ее смертельно заманчивыми уголками.

Мы хотим видеть весь мир.

Недавно я прочел историю об одном маленьком английском мальчике. Он собрал в копилку несколько шиллингов и мечтал купить на эти деньги океанский пароход «Куин Мэри». Он пошел со своими шиллингами к капитану «Куин Мэри» и после этого посещения долго и безутешно рыдал, как плачут иногда и взрослые, над своей разбитой мечтой.

Вот так же и мы, взрослые, мечтаем о целом мире, как мечтал этот мальчик об океанском пароходе.

Но у мальчика перед нами все же было одно преимущество: капитан «Куин Мэри» был так тронут горем мальчика, что подарил ему великолепную модель этого корабля.

А горести взрослых никого так сильно не трогают, и никто нам не подарит земной шар.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ

★

УХУРУ — ЗНАЧИТ СВОБОДА

...Древняя Африка
в хаосе века
Проснулась.
Люди, не будьте слабыми!
На перекрестках, под баобабами,
В тюрьмах,
в бараках рабочих окраин
Кричу я
каждому человеку,
Кричу я людям земли моей:
Ты — царь заводов! Ты — царь полей!
Ты — народ,
значит, ты — хозяин!

Бернар Дадье,
африканский поэт.

1

С давних пор слово «Африка» ассоциировалось с чем-то очень экзотическим и очень диким. С давних пор слово «негр» стало синонимом слова «раб». Если говорили: «Он работал, как негр»,— это надо было понимать, что человек трудился уже сверх человеческих возможностей, на грани гибели от физического перенапряжения. С историей Африки связаны самые позорные страницы истории человечества. Этот позор был рожден не Черным континентом.

История ужасов Африки и позора человечества началась с истории освоения Америки европейцами. Именно тогда потянулись к берегам Черного континента, потянулись и в одиночку и караванами суда предприимчивых дельцов. В широкополых шляпах аристократов и в головных повязках рыцарей с большой морской дороги, в позументах военных и в черных сюртуках негоциантов люди с волчьим сердцем делали одно дело. Они стреляли, жгли, покупали, обманывали, уговаривали. Кого? Хозяев этой земли — африканцев. Потом им надевали ошейник и везли на хлопковые и сахарные плантации Америки. Свободный, гордый человек становился рабом. Он не был уже человеком, его даже не приравнивали к животному, он был просто «черное дерево».

Со временем, сменив шляпы и повязки на пробковые шлемы, пришельцы обосновались в Африке, как в собственной усадьбе. Как это получилось? Я слышал любопытную историю, которая не столько анекдотична, сколько полна горькой правды. Суть ее такова.

Энергичный колонизатор, облюбовав себе добрый участок земли, снял с него урожай, принадлежащий местным жителям. Ему сказали: «Ты поступил не по закону — взял чужое». «Нет,— сказал колонизатор,— эту землю мне подарили, и я не виноват, если негры обработали ее. Земля моя — значит, и урожай мой».— «А у тебя есть документы, подтверждающие твое право на землю?» — «Но я же

снял урожай! Разве может мой урожай расти на чужой земле? Какие еще требуются подтверждения?»

С библией в одной руке и бичом из кожи гиппопотама в другой благодетели в пробковых шлемах насаждали «прогресс и цивилизацию». Насаждали не год, не десять лет. Целые столетия стонала Африка, нищала, вымирала. Африканцев уже не продавали за океан, они нужны были здесь. Их перестали называть «черным деревом», их стали звать «черномазыми». Ужасающий цинизм и звериный лик колонизатора очень образно показал африканский поэт Давид Диоп в маленьком стихотворении «Время страданья»:

Белый убил моего отца:
Был горд мой отец.
Белый опозорил мать мою:
Была красавицей мать.
Белый заставил брата
спину под солнцем гнуть:
Был сильным мой брат.
Белый протянул ко мне руки,
Красные от черной крови.
И крикнул надменно:
«Мальчик! Умыться! Воды!»

Зачем я говорю об этом? Последние годы показали, что Африка не покорилась рабской участи, что ее гордый, талантливый народ не согласен «создать песню, подобную стону, и духовно навеки почить». Мы слышим, как звенят разбиваемые оковы колониализма, как народ Африки поднимается во весь свой могучий рост. Яркий свет маяка стран, идущих по пути социализма и демократии, коснулся усталых век африканца. Зов свободы пробудил спящих. И последний суд над колониализмом идет, рвутся цепи, унылая мелодия там-тамов зарокотала боевым громом. Три четверти Африки уже сбросили с себя ярмо национальной зависимости, близок день, когда весь континент станет свободным и, огромный, похожий очертаниями на сердце, начнет пульсировать ритмом здоровой, свободной жизни.

Зачем же вспоминать о мрачном прошлом, если мы летим с дружеским визитом в молодые африканские республики Гвинею и Мали? Под крылом самолета краснеют черепичные крыши Амстердама; где-то в Хейзельском парке Брюсселя разместил свои гигантские залы-шары Атомиум, символизирующий человеческий прогресс середины XX века; словно железная рука, тянется из Парижа ввысь Эйфелева башня. Мой спутник писатель Юхан Смуул тихо напевает что-то по-эстонски. Беззаботно посапывает в полудреме наш переводчик Влад Чесноков. А я смотрю на далекий пестрый палас земли и думаю о том, что только в 1960 году добились независимости целых семнадцать африканских государств. Я вижу искаженное предсмертной мукой лицо национального героя Африки Патриса Лумумбы, слышу злой, торопливый треск выстрелов в Алжире, ощущаю зловещий чад напалма над землей Анголы...

Велика ты, свобода, и прекрасна, но путь к тебе труден и тернист. Он требует жертв, и лучшие из сыновей народных остаются на нем, чтобы народ дошел до великих истоков жизни и справедливости. Остаются ли? Нет, один из африканских поэтов сказал: «Мертвые не покидают нас». Он сказал правильно. Я не мог не думать о вековой трагической истории Африки. И о том, что наш кровный долг — помочь африканским народам скорее выбраться из бездны нищеты и бесправия.

2

Чтобы достичь Конакри — исходную точку нашего африканского путешествия,— мы должны были пересечь Сахару. Мне очень хотелось взглянуть на эту пустыню пустынь, сравнить ее с нашими Каракумами. Подумалось о строительстве Каракумского канала, и я представил себе, как оживают мертвые пески,

покрываются зеленью, расцветают от животворных вод Аму-Дарьи. В Африке тоже есть источник, который мог бы возродить жизнь в Сахаре. Это река Конго. Она значительно многоводнее Волги и несет в океан такую массу воды, что опресняет его на семьдесят километров от своего устья. К северу от Конго расположено озеро Чад. Когда-то давным-давно оно не уступало по площади нашему старику — Каспию, теперь же оно меньше его в тридцать раз. Если перегородить Конго плотиной, то его воды заполнили бы гигантскую впадину в среднем течении реки, а затем, перелившись через невысокий водораздел, достигли котловины озера Чад. Это дало бы возможность оживить около полутора миллионов гектаров земли, то есть территорию, равную по площади Англии, Франции, Германии и Италии, вместе взятых.

Мысли о плотине высказывались еще в середине прошлого столетия. Но как осталась неосуществленной давняя мечта о том, чтобы повернуть воды Аму-Дарьи в русло древнего Узбоя, так и плотина на Конго существует только в предположениях ученых. Африка — не Советский Туркменистан. И если у нас сейчас люди спокойно и буднично делают то, что когда-то казалось неразрешимой задачей,— это потому, что они живут в Советском Союзе. В условиях же колониализма, в условиях капиталистической системы хозяйства африканским народам оставалось только рассказывать сказки да петь песни о море Конго и море Чад.

Очень хотелось мне посмотреть на Сахару, в которой со временем свободные люди Черного континента обязательно создадут новые моря. Но мы летели ночью, и ее чернильную черноту лишь изредка разрывали удары молний. Они были жгучи и остры, но не молниям, а только могучему солнцу, вобравшему в себя миллионы молний, дано разогнать ночную тьму. Я не увидел Сахару...

Девять с половиной часов без посадки — это утомительно, даже если летишь в комфортабельном французском самолете. Нас слегка покачивало, когда мы вышли на дакарском аэродроме, но любопытство заставляло забыть об усталости: как-никак наши ноги впервые коснулись африканской земли.

Рассветало. Чернокожие люди в белых одеяниях, повернувшись лицом к востоку, совершали утреннюю молитву. Некоторые умывались у водопроводных кранов. Другие приступали к нехитрой трапезе. А нам предстоял еще путь...

Около десяти утра мы прибыли в Конакри. Столица Гвинейской республики расположилась на самом берегу Атлантического океана. Город красив и своеобразен. Долгое хозяйничанье французских колонизаторов не оставило ощутимых следов так называемой цивилизации. Заморские «хозяева» даже электричеством не смогли обеспечить город. Маленькая электростанция еле-еле удовлетворяет запросы учреждений и магазинов, да еще нескольких центральных кварталов. Основное же население пользуется керосиновыми лампами и свечами. Такое положение не только в Конакри, а во всей республике. Семьдесят лет, прикрываясь фарисейскими проповедями о культуре и экономической помощи, колонизаторы грабили Гвинею. Грабить было что: богатейшие запасы бокситов, железная руда, алмазы — деньги текли непрерывным потоком в бездонные карманы любителей наживы. А народ, добывающий эти богатства для своих заморских покровителей, прозябал в нищите и бесправии.

Термометр стоял очень высоко, но, видимо, близкое дыхание океана и обилие прекрасных манговых деревьев, придающих Конакри особый колорит, смягчали жестокость отвесных лучей экваториального солнца. Дышалось легко.

Исполнявший обязанности советского посла в Гвинее Иван Иванович Марчук принял нас с таким непосредственным радушием, что на душе сразу стало тепло и хорошо.

Иван Иванович объяснил свою радость тем, что, хотя советские люди приезжают сюда довольно часто, писателей он встречает впервые.

— Только вы как-то экспромтом заявились,— пошутил он.— Хотя бы телеграмму дали, что ли. Как вы теперь без денег будете? Ведь в смете посольства нет такой статьи — взаймы давать.

Я сказал:

— А нам не нужны деньги. Мы ваши гости, а по восточному обычаю хозяин обязан кормить гостей и вообще ублажать их всячески.

Марчук засмеялся:

— Придется, видимо, ублажать, коль обычай. Ну, а с передвижением как? Вы ведь в посольстве сидеть не будете, вам ездить надо, а транспорт? В ближние районы я вас как-нибудь подкину, но дальше — не обессудьте, не правомочен.

Однако, несмотря на то, что за шуткой скрывалось вполне серьезное опасение, милейший Иван Иванович нашел какой-то выход, и бухгалтер посольства снабдил нас гвинейскими франками. А вскоре пришла и телеграмма, извещающая о нашем прибытии.

Маленькая гостиница, в которой мы разместились, была, прямо скажем, далеко не перворазрядной. Но мы утешились, во-первых, тем, что нашими соседями оказались советские летчики гражданской авиации, прибывшие для оказания помощи гвинейцам в борьбе с вредителями ананасовых и банановых плантаций: продукция этих плантаций, а также кофе играют большую роль в экспорте республики. Во-вторых, нас совершенно очаровала любезность хозяев гостиницы — молодого француза, участника второй мировой войны, и его милой жены, болгарки. И блюда они готовили чудесные. Кстати, приятной неожиданностью была русская водка. Да не заподозрят меня в особых симпатиях к спиртному, но, право же, приятно было среди пестроты иностранных этикеток увидеть в баре африканской гостиницы знакомую надпись «Московская особая»...

Хочется сразу же отметить, что впечатления первых дней не были столь необычны, как мы ожидали от Африки. Ровное радушие гвинейцев, постоянные встречи с советскими специалистами, советские товары и машины — все это незаметно сокращало расстояния, и когда мы говорили: «Черная Африка», я понимал, что это — Африка, но сердцем этого не чувствовал: я чувствовал себя словно на родине. Это было и удивительно и радостно ощущать. Добрые, трудолюбивые, мирные гвинейцы оказались моими хорошими и старыми знакомыми. И я мог бы сказать словами одного из гвинейских поэтов: «Мне знакомы они — эти люди из тех же людей, что и мы».

На следующий день мы нанесли визит министру культуры Гвинейской республики Жану Фараге.

— Сердечно рад приветствовать,— сказал он,— представителей великой державы, которая с искренним сочувствием относится к гвинейскому народу и оказывает нашей стране большую помощь. Рад видеть вас, дорогие и желанные гости.

Слова министра не были просто комплиментом. С первых же дней существования молодой Гвинейской республики Советский Союз объявил готовность оказать ей бескорыстную помощь в развитии народного хозяйства. Гвинее был предоставлен долгосрочный кредит в сто сорок миллионов рублей. Бедная энергетическим сырьем Гвинейская республика может выйти из положения за счет гидроэлектростанций — советское правительство изъявило согласие на участие в строительстве комплекса сооружений на реке Конкуре. Советские специалисты помогают реконструировать железную дорогу, бороться с вредителями полей; гвинейские студенты — будущие кадры местных специалистов — учатся в вузах Москвы.

— Мы встречаем вас с открытыми объятьями,— сказал Жан Фараге,— постараемся как можно полнее познакомить со своей страной. Только... только пишите о нас правду. Объективную правду, хорошо? — Он улыбался, но глаза были серьезны.

— Позвольте, но разве у вас есть повод упрекнуть советских писателей в искажении действительности?

— Советских — нет. Извините меня, я понимаю вашу горячность и отчасти разделяю ее. Но, как говорят у нас, укушенный змеей веревки боится. Так и я. А по нашему адресу, представляете, сколько было всяческих измышлений?

Представить было нетрудно, если вспомнить оголтелую клеветническую кам-

панию, которую начала Франция, едва только народ Гвинеи по призыву Демократической партии отверг проект конституции генерала де Голля и провозгласил независимость страны. Но все же мы сочли своим долгом еще раз заверить министра, что объективность — непременное условие для советских писателей.

Министр еще раз извинился и предложил просмотреть программу нашего пребывания в Гвинее. Мы просмотрели, из-за недостатка времени попросили сократить ее и распрощались с Жаном Фараге, который уведомил нас, что пришлет специальную машину и сопровождающего.

3

Внешность гвинейцев обманчива. У них грустные, подчас даже сердитые лица, но веселость бурлит в них через край. Медлительные движения, но быстрая реакция и неисчерпаемая энергия. И, продолжая перечень, можно сказать: у них очень черная кожа и очень светлая душа.

Мужчины носят длинную «бубу» самого простого покроя. Берется кусок материи, складывается вдвое, на сгибе прорезают дыру для головы, края материи скрепляются — вот и все. Но надо сказать, что это на первый взгляд неуклюжее одеяние носят с удивительным изяществом.

Женщины стройны и в большинстве миловидны, несмотря на свои типично африканские, непривычные для нашего глаза черты. Нам оставалось только удивляться, глядя, как чернокожая красавица несет привязанного к спине бутуза, на голове — солидный кувшинище и в то же время ухитряется, кажется, без всяких усилий сохранять грациозность походки.

Религия преимущественно мусульманская, но, я бы сказал, в более терпимых, чем в Азии, формах. Женщины, например, не прячут лицо от мужчин, спиртные напитки запрещены, однако разрешается есть свинину и так далее. Большинство гвинейцев не знает содержания читаемых во время намазов молитв, не понимает смысла арабских письмен на амулетах. Это что-то похожее на ранний ислам у туркмен.

Одна из особенностей Конакри, да, пожалуй, и всей Африки — это звуки там-тамов: они сопровождают вас повсюду. Туркмены тоже очень любят свой дутар и могут слушать его много часов подряд. Но там-там — это что-то совершенно особенное. Своеобразные барабаны различных размеров и форм, они являются неотъемлемой принадлежностью жизни африканца. Как говорят, нет пустыни без песка, нет гвинейца без там-тама. Его голос бывает нежным и грозным, печальным и радостным, медленным и стремительным. Нам довелось слышать больше скачущие, бравурные мелодии, и мы понимали: это гимн молодой свободе, это радость раскованных рук и раскованного духа. У гвинейцев есть и другие музыкальные инструменты — гитара, кора, балафон (род ксилофона), однако повсеместно предпочтение отдается там-таму. Под его мерный рокот люди работают, под его мягкие напевы отдыхают, под задорный, залихватский грохот веселятся. Я прожил на свете немало, но никогда еще не видел и не слышал, чтобы музыкальный инструмент играл такую большую роль в жизни человека. А ведь еще до недавнего времени культуртрегеры колониализма пытались доказывать, что африканцы лишены элементарной культуры!

Вечером, когда солнце, скатившись с верхушек пальм в океан, возвещает конец рабочего дня, город становится подлинным царством там-тамов. Они звучат со всех сторон, смеются, упрашивают, приказывают, и кажется, что каждая частичка воздуха, резонируя, превратилась в маленький гулкий барабан. Ритм как будто монотонный, но прислушайся — и тебя ошеломит сверкающая палитра звуков, богатство нюансов. В свое время мне случилось слышать там-там в джаз-оркестре, но то, что я услышал на вечерних улицах Конакри, отличалось от джазового «тама», как живая роза от бумажного цветка. В джазе был глухой топот ритма, здесь — сложнейшие аккорды чувств: я слышал, как в листве манговых деревьев рокотал и звенел дутар; плач тюйдука доносился с океана, где плавилось и багряно растекалось по горизонту солнце; хрипловато дразнил кого-то и задирался

гиджак — и десятки других знакомых и незнакомых ощущений несли мне звуки вечерних конакрийских там-тамов. На их зов шли юноши и девушки, шли малые и старые. Сначала они просто слушали, а потом начиналась огневая африканская пляска — и поди попробуй различи, кто из танцоров юн, а кто «дедушка», как ласково называют здесь пожилых. Ойо, хе, ле, ле, о-йо! — всех объединил, все возрасты уравнял там-там...

Конакри похож на пшеницу, смешанную с кунжутом: вполне современный дом стоит в окружении держащихся на честном слове лачуг; вокруг европейского типа магазина, как замызганные утята вокруг павлина, ютятся лавчонки ливанских арабов. Очень много в городе манговых деревьев. «Познакомился» я с одним из них весьма своеобразно.

Мы стояли у обочины дороги неподалеку от резиденции Секу Туре. Здание было украшено флагами красно-желто-зеленого цвета. В такие же цвета были одеты солдаты, неподвижно стоявшие у ворот резиденции. Белые мотоциклисты-полицейские казались гипсовыми изваяниями. Нам объяснили, что вся эта торжественность — по случаю приема президентом Гвинейской республики верительных грамот у индонезийского посла.

Вдруг меня кто-то сильно ударил по плечу. На мой недоумевающий взгляд наш гид Саны Мамаду Ламин поднял с земли крупный оранжевый плод. Он переломился надвое от удара и истекал янтарным соком.

— Возьмите,— сказал Саны,— это манго захотело с вами познакомиться поближе.

— В принципе я не против знакомств,— ответил я,— только ему следовало быть несколько сдержанней в выражении чувств.

Я пробовал манго, когда был в Индии. Там оно очень напоминало теплое сливочное мороженое, чуть приправленное скипидаром. Здешнее манго походило вкусом на японскую хурму, и я не заметил, как съел его.

Берегом океана мы пошли к Институту научных исследований и документации. Океан был неспокоен. Он тяжело, со свистом и клекотом дышал, бил о берег сильными ударами и, отплевываясь пеной, побежденный, сползал назад, откатывался в свою недобрую даль. Пальмы на берегу потряхивали перистыми листьями, казалось, смеялись над слепой злобой прикатившихся неведомо откуда волн. Они упруго качались, исполненные собственного достоинства и силы. А перед ними в брызгах пены стоял монумент: старик африканец, опираясь на посох, спокойно смотрел в будущее, у его ног полуобнаженная женщина кормила грудью ребенка. Скульптурная группа была исполнена такого величия и незыблемости, что невольно думалось: ну куда вам бороться, чужие, заморские волны, что́ ваша злоба и коварство перед силой жизни!

У одного из зданий лежал скелет кита. Заместитель директора института Нене Кхали объяснил нам, что институт переживает организационный период и пока для некоторых экспонатов еще не подготовлено помещение.

Веселый, добродушный гигант с рокочущим басом, Нене Кхали являлся как бы олицетворением энергии и жизнерадостности своего народа. Тем большей неожиданностью была откровенная печаль в его голосе, когда он сказал:

— В Гвинее только трое ученых...

— Но это же не причина для огорчения,— возразил я.— Гвинейская республика существует всего два с половиной года. Когда Туркменской республике было столько же от роду, у нее не было ни одного ученого.

— А сейчас?

— Ну, сейчас у нас своя Академия, в которой работают сотни ученых, свои профессора, кандидаты и доктора наук. Но это мы не получили готовеньким, это плоды нашего труда, нашего строя, плоды помощи русского народа. Будет все это и у вас, вам охотно помогут все демократические страны, и в первую очередь Советский Союз.

Институт располагает интересными фондами. В некоторых залах на свежеокрашенных полках мы видели рукописи столетней давности. Было много новей-

шей литературы, попадались книги советских ученых. Все это было заботливо, любовно расставлено.

В ответ на наши одобрительные замечания Нене Кхали вздохнул:

— Тут далеко не все, что мы могли бы иметь. Самые ценные и редкие рукописи колонизаторы перед уходом переправили в Институт Черной Африки в Дакаре. А вы, вероятно, сами знаете, что отношения между Гвинеей и Сенегалом сейчас не ахти какие хорошие: они все еще никак не разучатся ходить на поводу у колонизаторов. Но мы все-таки поддерживаем с ними научные связи и надеемся, что со временем связи эти окрепнут и упрочатся.

В Гвинее пока нет высших учебных заведений. Чтобы, к примеру, получить диплом инженера, молодой гвинеец должен на пять-шесть лет покинуть родину. Положение изменится в 1963 году, когда перед гвинейской молодежью распахнет двери политехнический институт — первое высшее учебное заведение в стране. Этот огромный учебный комбинат, рассчитанный на тысячу пятьсот студентов, сооружается с помощью Советского Союза.

Среднее образование молодежь получает в лицеях. Мы побывали в них. Директором обоих конакрийских лицеев была француженка. Студенты встретили нас тепло, в некоторых аудиториях в нашу честь были даже исполнены хоровые песни.

Посмотрели мы и футбольные состязания. В Гвинее тоже у каждой команды есть свои болельщики, но «болеют» они, я сказал бы, куда более экспансивно, чем мы.

4

Ночной дождь принес утру приятную свежесть. Хотелось немножко понежиться в постели, но нетерпеливый Смуул уже поднялся и, напевая, топал по комнате. Потом начал тормошить Чеснокова. Большой любитель поспать, наш переводчик отличался очень уравновешенным характером. Пока он умывался, брился, приводил в порядок свой костюм, проходило не меньше часа, а Юхан ходил вокруг, сердито косился на него, посвистывал, но деликатно молчал. В этот день вместе с членами политбюро Демократической партии мы собирались посетить один из островов Лос. Члены политбюро делали свое будничное дело — они ехали на очередную встречу с народом.

Мне очень понравились отношения правительства Гвинейской республики с народом страны. Гвинейские руководители, сами вышедшие из народа, завоевали доверие масс.

Кроме того, руководители Гвинеи считают, что наиболее правильным будет поднять людей до уровня современной цивилизации путем терпеливого воспитания и убеждения. Обычным явлением считается широкая разъяснительная кампания. Она проводится в каждом случае, когда возникает необходимость принять закон, связанный с определенной ломкой старых представлений и традиций. Члены правительства выезжают в отдельные районы и, встречаясь с большими и малыми группами населения, объясняют им сущность и необходимость нововведения. Иногда бывают любопытные и смешные случаи, так как агитаторы пользуются современной терминологией, а их оппоненты больше апеллируют к божьему гневу да к заветам предков. Однако, как правило, встречи заканчиваются к обоюдному удовлетворению.

Помимо разъяснительных поездок, связанных с изменением законов, руководители страны вообще практикуют регулярные встречи с населением. В одной из таких встреч нам удалось участвовать. Среди наших спутников были две женщины-гвинейки. Это тоже производит приятное впечатление — в Гвинее очень много женщин на государственной и особенно на партийной работе. Когда сталкиваешься с такими яркими фактами высокой сознательности, невольно — опять! — вспоминаешь «культурных» европейцев, представляющих африканцев дикарями. Нет, африканский народ обладает очень высокой сознательностью и моральной чистотой. Дикари — другие.

Наш катер являл собой весьма веселое, оживленное собрание. Несмотря на то, что мы со Смуулом не знали ни французского, ни языка фульбе, на котором говорит большинство местного населения, беседа текла непринужденно.

День был жаркий, но наши спутники щеголяли в пиджаках и галстуках. Мы же надели только легкие рубашки, это нас несколько смущало, и мы поделились сомнениями с министром информации. Он успокоил:

— И очень правильно сделали. Мы дома тоже оденемся полегче, а сейчас, сами понимаете, нужно...

На маленькой пристани острова собралось очень много народа. Люди стояли сплошной массой и на тротуарах, вдоль дороги к площади. Пионеры здесь носят галстуки цветов национального флага республики — желтые и красные. Глядя на веселые ребячьи рожицы, я подумал, что вот им, жизнерадостным, полным энергии и света, еще три года назад был уготован бич заморского хозяина и нищенское существование. А сейчас они сами завтрашние владыки своей земли. Просто, но выразительно сказал президент Секу Туре на национальной конференции партии 14 сентября 1958 года. Он сказал: «До сих пор мы всегда говорили: «Да, хозяин! Да, хозяин!» Но на этот раз мы скажем: «Нет, хозяин!» Вот поэтому сегодня так легко дышат и так радуются жизни гвинейские ребятишки.

Они спели гимн, еще какую-то песню. Потом стали танцевать. К ним присоединилась молодежь. Веселились от души. Это был стихийный праздник, праздник народа, сердечно приветствующего свое правительство.

Нас, советских писателей, приветствовал секретарь Лосского комитета партии. Это был совсем молодой парень, и он очень энергично закончил выступление:

— Смерть колониализму! Смерть капитализму и империализму!

Его проводили с трибуны громом аплодисментов. Вообще собравшиеся выражали свои чувства бурно и очень искренне. Закончив информацию о внутреннем и внешнем положении страны, один из ораторов провозгласил:

— Да здравствует Советский Союз!

— Ура! — И рукоплескания.

— Да здравствует наша партия!

— Ура! — И рукоплескания.

— Да сгинет империализм!

— Ура! — Грозное, как вздох единой груди. И рукоплескания.

Что ж, колониализму в самом деле пришла пора сгинуть. Он не понял это сам, его проводили взашей. И назад ему дорога заказана накрепко.

Министр информации подошел к столу, на котором лежало несколько тетрадей, полистал одну и вызвал членов партийной организации, принесшей эту тетрадь. Около стола остановились пятеро пожилых мужчин, двое парней и три женщины. Остальные придвинулись поближе.

Министр спросил секретаря организации о хозяйственных работах на селе, о деятельности организации и задал вопрос:

— Сколько партий у нас в республике?

Человек в длинном красном хитоне потеребил редкую бородку, подумал и не очень уверенно сказал:

— Пять.

Вокруг засмеялись. Второй поправил:

— Не пять, а три.

— Почему три?

— Потому, что наш флаг трехцветный.

Слушатели зааплодировали, но молодая, нарядно одетая женщина возразила:

— В нашей республике только одна партия.

— Правильно. Какая это партия?

— Мусульманская.

Снова грохнул смех. Женщина сердито посмотрела на смеющихся, потом перевела взгляд на членов политбюро.

— Чего смеются? Разве вы не мусульмане?

Вопросы политического характера были заданы членам и других организаций. Собравшиеся настолько увлеклись, что совершенно не замечали солнца, которое поднялось высоко и припекало довольно чувствительно. Одна из приехавших с нами женщин — член политбюро Демократической партии Гвинеи — попыталась отвести мамаш с маленькими детишками в тень. Но те шли явно неохотно, им было куда интересней около стола.

Заинтересованность людей была настолько велика, что вопросы приняли более общий характер и обращались уже ко всем присутствующим.

— Что значит слово «демократия»?

Поднимаются десятки рук. Ответы следуют один за другим, словно орехи, падающие под ветром с верхушек пальм. Один парень протискивается к столу, ударяет себя в грудь.

— Демократия — это я!

— А что значит слово «демократия»?

— Я человек свободный. Что хочу, то и делаю.

— А если это другим не понравится?

— Они тоже пусть делают, что хотят.

— Ну, дорогой, это будет уже не демократия, а самая настоящая анархия.

Кругом смех, аплодисменты, иронические возгласы. Смущенный парень, шутливо огрызаясь, пробирается на свое место, а министр информации спрашивает:

— Кто ответит, какой возраст необходим для вступления в брак?

Сотни поднятых рук, выкрики:

— Пятнадцать лет!

— Семнадцать!

— Кто когда захочет.

Смех — и резонный, неторопливый голос:

— Девушке — семнадцать лет, а парню — двадцать два. Так записано в нашем законе.

— А если мне в двадцать надо жениться, иначе моя невеста за другого выйдет? — не сдается кто-то.

— Такой случай в законе не предусмотрен. Станешь президентом — предложишь народу.

— До тех пор я по закону успею два раза жениться.

— Ну, тем лучше, меньше вопросов задавать будешь.

После собрания гостей пригласили к праздничному столу. Он был сплошь уставлен разными кушаниями и напитками. Наши спутники усердно подливали нам вина, однако сами предпочитали ананасный сок.

Я спросил министра информации, часто ли бывают такие встречи. Он сказал:

— Хотелось бы чаще, но у нас в республике четыре с лишним тысячи партийных организаций. В течение года мы встречаемся со всеми, а на большее пока сил не хватает.

Я заметил, что и это больше чем хорошо. Он возразил:

— Встречи — это своеобразная форма политической учебы. Причем наиболее эффективная форма. А нам нужно как можно скорее поднять общественный уровень и культуру народа, мы не можем растягивать это на неопределенное время. Конечно, наши люди умны, сознательны, сообразительны, но они должны быть и политически грамотными. Только от этого, я думаю, зависит — преодолеем мы экономическую отсталость одним могучим рывком или будем плестись на манер черепахи. Да кроме того, и популярность партии в массах растет, а это тоже очень важно.

5

Спидометр показывал сто двадцать километров в час, и я с опаской поглядывал на дорогу. Если произойдет авария и будут человеческие жертвы, гвинейского шофера ждет очень строгое наказание, а может быть, даже смертная казнь. Не-

смотря на это, шоферы водят машины на предельной скорости. К чести их следует заметить, что управляют они машиной мастерски, с исключительной быстротой и четкостью реакции, и автомобильные аварии, несмотря на неблагоустроенность большинства гвинейских дорог, крайне редки.

Мы ехали в город Киндиа.

По краям дороги стремительно проносились мимо деревья. Некоторые стволы были цвета темного пурпура, другие — глубокой эбеновой черноты. На зеленом ковре травы четкими силуэтами рисовались красавицы пальмы с развесистыми кронами. А травы было много, очень много. От нее и от деревьев склоны горного хребта, который пересекала дорога, казались выкрашенными малахитовой зеленью.

Изредка между деревьями мелькали хижины. Попадались и большие селения. Круглые домишки наполовину сложены из камня. Куполообразный верх — деревянный, покрытый камышом. Труб нет, так как африканцы вообще не знают печей. Окон тоже не видно. Вероятно, ослепительное гвинейское солнце достаточно освещает хижину и через дверное отверстие.

Люди, живущие в этих селениях, одеты очень легко.

Это понятно: жарко.

Встречались и обнаженные до пояса женщины и девушки. Колонизаторы весьма поощряли этот обычай, как пример «экзотичности» нравов, но сейчас Демократическая партия Гвинеи ведет разъяснительную работу среди населения.

Разговор перешел на бытовые вопросы, и я спросил Мамаду Ламина, как у них обставлен обряд бракосочетания.

— У нас есть выкуп,— ответил он.

— Повсеместное явление?

— Нет, но встречается довольно часто.

— А каким целям он служит? Для помощи родителям невесты, если они бедны?

— Нет, для прочности брака.

— Как это понимать?

— Если жена по каким-либо причинам захочет развестись с мужем, ее отец должен вернуть калым.

— И помогает это против разводов?

— Да как сказать... Сейчас, пожалуй, это не имеет совершенно никакого значения, так как суд очень редко считает серьезными мотивы развода. А без разрешения суда ни одна жена не уйдет от мужа.

— А муж может уйти от жены?

— Тоже не может, они — на совершенно равном положении.

— Сколько жен может иметь мужчина?

— До четырех.

— Где же это равноправие, о котором вы говорите?

— Ну, почему же! Женщины у нас пользуются всеми правами, могут избирать и быть избранными даже в верховные органы власти. А что касается семьи, так мы же мусульмане, ислам исповедуем.

Я снова спросил:

— У вас тоже четыре жены?

— Одна.

— Почему? Разве вы не следуете исламу?

— Ислам разрешает иметь четырех жен. но он не предписывает иметь обязательно столько. С меня вполне достаточно одной. По-моему, это не очень хорошо — четыре жены...

Так, как думал Ламин, думают сейчас очень многие в Гвинее. Подавляющее большинство интеллигенции осуждает многоженство.

Надо думать, что в самое ближайшее время этот вопрос займет свое место в очередной повестке дня.

За разговорами незаметно пролетели сто пятьдесят километров, отделявшие нас от Киндиа. Представившись районному начальнику, мы вышли в город. Очень хотелось зайти в местный лицей, где, как нам говорили, преподает русская женщина, но ограниченное время весьма нас лимитировало, и, вздохнув, мы направились за город, в научные институты.

Нас встретил невероятный гам и визг. Казалось, что здесь не научное учреждение, а обезьяний город. Впрочем, такое заключение было недалеко от истины: директор института объяснил, что обезьян они рассылают отсюда чуть ли не по всем странам мира.

Пока мы ходили по территории института, одну семью шимпанзе, живущую в заповеднике, стали кормить, и нам довелось наблюдать, как распределяются материальные блага в обезьяньей общине. Служители начали бросать обезьянам бананы. Фруктами немедленно завладел глава семейства. Он так грозно урчал и свирепо оглядывался по сторонам, что малыши, сунувшиеся было к бананам, с визгом бросились к мамаше и прижались к ее лохматому животу. Когда насытился хозяин, настала очередь матери, затем ели старшие, а уж остатки — малышам.

— Смотри-ка! — сказал Юхан.— Феодалы бесхвостые. Почти вся Африка по новым законам живет, а им — что с гуся вода, все по старинке норовят.

Директор познакомил нас и с другой половиной населения института. Ею оказались змеи. Большие и маленькие, быстрые и ленивые, черные, розовые, красноватые, серые, полосатые — их было здесь великое множество.

— Двести видов ядовитых змей живет в Африке,— сказал директор. Мое удивленное восклицание его как будто обидело, и он повторил: — Да, двести видов! И много таких, укус которых смертелен.— Он указал на толстую зеленоватую двухметровую змею.— Вот она ползает со скоростью пятнадцать километров в час, и, если укусит, времени для принятия противоядия у вас не останется, даже если вакцина лежит в вашей сумке. А вот эта плюется ядом. На четыре метра может плюнуть. На тело попадет — язва образуется, а если, не приведи аллах, в глаз — сразу ослепнет человек.

Директор приподнял одно из двойных стекол, и небольшая красногубая змея действительно брызнула ядом. По стеклу поплыли прозрачные желтоватые капли.

— Где вы их берете? — спросил я.

— Люди сами ловят, нам приносят.

— Скажите, вам, наверно, неприятно возиться с этими смертоносными злобными тварями?

— Нет, почему же.— сказал директор,— во-первых, нам нужен яд для изготовления противозмеиной сыворотки. И потом не все змеи злобны и ядовиты.

Он сделал знак служителю, и тот спокойно вошел в вольер огромной серой змеи. Змея, повернув маленькую по сравнению с туловищем головку, спокойно смотрела на человека, и мне даже показалось, что в ее глубоких зеленоватых глазах светится мудрость. Служитель взял ее за середину туловища, положил себе на плечи, обернул вокруг шеи. Змея не сопротивлялась и даже как будто помогала человеку в его усилиях.

— Это питон,— сказал директор,— он не ядовит, но его достоинства не в этом. Как видите, он очень добродушен, быстро свыкается с человеком и по-своему любит хозяина. Мы знаем такие случаи, когда ручной питон издыхал, если хозяин долго был в отлучке: питон не брал пищу из чужих рук. Он очень привязывается к детям. Многие держат питонов дома и совершенно не страдают от тараканов, крыс и ядовитых змей. Да, да, змея не может находиться рядом с питоном — у нас говорят, что она гибнет от одного его дыхания.

Питон и в самом деле не любит ядовитых змей, но, конечно, убивает их не дыханием, а просто-напросто душит в смертельных кольцах своего могучего тела.

Мы поблагодарили директора, и я сказал, что отныне буду смотреть даже на

туркменских змей совсем другими глазами, памятуя, что среди их далеких африканских родичей есть друзья человека.

Следующим нашим этапом был институт, занимающийся изучением плодово-ягодных растений. Директор института, француз по национальности, оказался настоящим энтузиастом и большим знатоком своего дела. Предупреждая наши вопросы, он рассказывал историю создания института, показывал десятки книг и журналов по агрономии, предлагал попробовать различные фрукты. Мне очень понравились бананы. Похвалил я и ананас — этот непривлекательный с виду плод, словно покрытая колючками дыня.

— Очень вкусно,— сказал я,— только опасно. Если такая штука свалится с дерева на голову, то и есть ее не захочешь. Высокие эти деревья?

Наш провожатый хитро прищурился, усмехнулся и сказал:

— А вот придем на плантацию — сами увидите.

Однако первой нам попалась банановая плантация. Растения были точно такие, какие я видел у нас в Сочи, но сочинские, к сожалению, не плодоносят. Директор подошел к огромному травянистому стеблю с широкими лентовидными листьями и стал объяснять:

— Видите этот толстый стебель? С него мы снимем плоды, а стебель срежем. Рядом растет стебелек потоньше, мы называем его сыновним. Когда он принесет плоды, мы срежем и его. Потом настанет очередь вот этого, внучатого стебля и, наконец, последнего, правнучатого.

— А потом?

— А потом на этом месте посадим новый банан, потому что больше ни стеблей, ни плодов старый не даст.

— Короткая жизнь у банана.

— Зато добрая. Он долгое время был основной пищей местного населения, да и теперь остался ею во многих деревнях.

На ананасовых плантациях я понял, почему улыбался наш проводник. Деревьев здесь не было вообще. Торчали пучки плоских острых листьев, покрытых колючками, а из каждого пучка высовывался один-единственный плод.

— У вас такие не растут,— сказал директор.— И бананы и ананасы посылаем вам мы. И вам и в другие страны.

«Зато,— подумал я,—здесь яблони не растут, и урюка нет, и винограда...» Но это я только подумал, а вслух не сказал: не хотелось огорчать нашего любезного гида.

Полные «змеиных» и «ананасных» впечатлений, мы возвратились в город и сразу же попали на собрание членов районного комитета Демократической партии, которое собрал секретарь по случаю нашего приезда. Завязалась дружеская беседа. Они расспрашивали нас, мы — их, но больше, конечно, приходилось отвечать нам. Особенно интересовало их колхозное строительство. Мы старались отвечать понятно и по возможности полнее.

Специфика гвинейского села весьма располагает к коллективному хозяйству. В некоторых деревнях уже созданы кооперативы. Основное затруднение представляет отсутствие сельскохозяйственных машин. Но если они и есть, все равно использовать их не так-то просто. В отдельных местах даже трактор не может провести глубокую вспашку — настолько тверда и камениста земля. И приходится только удивляться невероятному трудолюбию гвинейцев, которые рыхлят землю вручную и выращивают неплохие урожаи, особенно после того, как партийные активисты разъяснили населению вред подсечно-огневой системы земледелия и преимущество современных методов агрономии.

Мы поинтересовались работой комитета. Нам рассказали, что каждый член комитета руководит определенным участком работы. Один, например, ведает торговлей, другой — капитальными вложениями, третий отвечает за сельское хозяйство, четвертый — за строительство и т. д. Для решения общественных вопросов, судебных дел, вопросов бракосочетания избираются специальные советы: в городе — на два года, в сельской местности — на один год.

У африканцев с давних пор существуют традиции коллективного труда. Например, во время сбора урожая вся молодежь выходит помогать крестьянам. Причем помощь эта совершенно бескорыстна, крестьянин только кормит добровольных помощников, ну и, может быть, сделает им мелкие подарки. Члены партии укрепляют эти славные традиции солидарности и направляют их на решение первоочередных задач.

Есть у сегодняшней Гвинеи и еще одна очень характерная черта — это трудовые вклады. Еще в 1958 году президент Секу Туре сказал: «Мы не в состоянии решить все стоящие перед нами экономические проблемы и достигнуть целей, к которым мы стремимся, только за счет финансовой помощи со стороны государства». И люди пришли на помощь государству: появилась система добровольных трудовых вкладов и приняла такое массовое распространение, что сейчас ее одобряют во всей Западной Африке, от Сенегала до Того.

Как они осуществляются, эти вклады? Вот, скажем, две первоочередные задачи — школы и дороги. Администрация округа выделяет инструмент, иногда бульдозер, при необходимости посылается специалист. На этом ее роль заканчивается. Остальное — строительные материалы и работа — дело самого населения. Казалось бы, это довольно тяжелое бремя, но великие чудеса делает свобода — энтузиазм людей настолько велик, что его впору сдерживать, а не поощрять. Особенно в строительстве школ. Наш спутник Ламин говорил, что до девяти десятых население Гвинеи неграмотно. Зато сейчас школы строят в каждой деревушке, даже в такой, где совсем мало детей и нет педагогов,— настолько велико стремление гвинейцев ликвидировать отсталость.

Такой же трудовой подъем царит на строительстве и реконструкции дорог. Дороги гвинейцам очень нужны, они совершенно необходимы для поднятия экономики страны. За два с половиной года существования независимой Гвинеи благодаря трудовым вкладам благоустроено и построено свыше восьми тысяч километров дорог. Однако во время своих поездок по стране мы собственными боками убедились, как много еще нужно строить и ремонтировать. И гвинейцы строят! Когда-то, спасаясь от алчности колонизаторов, население уходило от дорог в непроходимые, глухие дебри. Сейчас наблюдается обратное явление: люди возвращаются к дорогам, селятся возле них, благоустраивают их. Примечательное явление — народ выходит на широкие магистрали жизни!

6

Город Лабе расположен на изумительно живописном плоскогорье Фута-Джаллон, в центральной области Гвинеи. Начальник района, на первый взгляд, показался нам человеком суровым и неприветливым, но это впечатление рассеялось после первых же минут беседы.

Он был членом политбюро и генералом гвинейской армии во время конголезских событий. В Лабе есть улицы и площади, носящие имя Патриса Лумумбы, многие мужчины и женщины ходят в одежде из материи, на которой запечатлено лицо национального героя африканского народа.

Беседа с членами комитета партии прошла интересно. Они рассказывали об успехах в выполнении трехлетнего плана, о подъеме экономики и культуры. Нам показали много новых домов и молодых посадок деревьев. В районе создано восемь сельскохозяйственных кооперативов, которые хорошо зарекомендовали себя с первых же шагов своей деятельности.

После обеда Смуул и Чесноков прилегли отдохнуть. Хотел сделать то же и я, да раздумал: они люди молодые, вне всяких подозрений, мне же могут сказать: «Разнежился старик, разлегся, словно отдыхать в Африку приехал». А я ни в коем случае не считаю себя стариком, даром что мне уже под семьдесят! Поэтому я только вздохнул и пошел в ресторан гостиницы пить содовую воду.

За соседним столиком сидел в одиночестве светлолицый русый человек. Заметив его пристальный взгляд, я почувствовал, что у меня дрогнуло внутри.

Честное слово, если вы находитесь за границей, вы почти безошибочно с первого взгляда угадаете земляка! Он мог оказаться французом, бельгийцем, кем угодно, но я сказал по-русски:

— Здравствуйте!

Он словно ждал этого.

— Здравствуйте! Титенков, Леонид Сергеевич.

Потом моментально перебрался за мой столик, и мы разговорились. Леонид Сергеевич, оказалось, сразу после окончания института вызвался поехать в Гвинею. Здесь он работает преподавателем в лицее Лабе. Вместе с ним работают еще два русских товарища. Зарплату они получают не от гвинейского правительства, а в советском посольстве. Вообще здесь много советских учителей. В соседнюю с Гвинеей республику Мали только в этом году направлено из Советского Союза семьдесят пять преподавателей. Большинство — девушки.

— Невыгодно, правда? Выйдут замуж за африканцев и, чего доброго, останутся тут навсегда.

— Ничего, будут в гости к нам приезжать,— сказал я и снова подумал о замечательном, талантливом африканском народе.

Я не мог не вспомнить о маленьком негритенке, которого Петру I привезли в Россию. Этот негритенок стал генералом, он был прадедом талантливейшего из русских поэтов — Александра Пушкина. А известный французский писатель Александр Дюма? Негритянка была его родной бабкой...

Между тем Титенков продолжал рассказывать о своей работе. Он посетовал на то, что гвинейские ребята теряют много времени на изучение арабской письменности, хотя вполне можно было обойтись без этого. Потом — коран. Зачем заучивать какие-то бесполезные словосочетания, вместо того чтобы учиться писать, считать, правильно излагать мысли?

— Не забывайте, что гвинейцы — мусульмане.

— Да я не забываю,— махнул рукой Леонид Сергеевич,— жалко только, что способные, любознательные ребятишки занимаются схоластикой, а не ускоренным изучением дисциплин, жизненно необходимых для их страны... А как там у нас на родине? Как Москва? Вы перед отлетом Никиту Сергеевича не видели? Целый год я не был дома. Представляете, целый год! Хоть здесь и хорошо, люди простые, приветливые, а все не то. Мне вот на время каникул два месяца отпуска дали — представляете мое состояние?

Я сказал, что представляю.

Вечером около нашего столика собралась большая компания. Здесь были американская девушка, парень из Франции, швед, муж и жена из Швейцарии. Все это коллеги Леонида Сергеевича, преподаватели. Француз был несколько грустен и все поглядывал на девушку из Соединенных Штатов, швед много смеялся и шутил, флегматичный невысокий швейцарец говорил мало, но его реплики свидетельствовали о нем как о человеке весьма прогрессивном, с широким кругозором. Мне он очень понравился, как и его скромная миловидная жена.

Люди разных наций, с различными характерами и убеждениями, но всех их объединяло желание помочь свободному гвинейскому народу ликвидировать вековую отсталость— проклятое наследие колониализма. И нет, они вовсе не считали Африку страной бескультурья и невежества, страной дикости и экзотики. Они говорили о славном прошлом континента, о самобытной доисторической культуре африканцев, которая все больше подтверждается последними археологическими находками. Вспоминали о таких могучих культурных центрах, как древний Тимбукту, о фресках, бронзовой и деревянной скульптуре древней Африки. Из всего этого явствовало, что африканцы имеют большую историю, что они изобрели и сделали многое, но были отброшены назад веками работорговли и колониализма. Мои собеседники говорили о больших потенциальных возможностях народов Африки, их трудолюбии и человечности. И это было приятно слышать.

— Скажите, а можно простому человеку посетить Советский Союз?

Я посмотрел в чистые, светлые глаза американки и ответил, что именно для простых людей наши двери всегда широко открыты.

— А меня пустят?

— Пожалуйста, милости просим!

— Наверное, расходы большие...

— Это уже от вас будет зависеть. Можете на два рубля в день прожить, а можете и десятью не управиться, смотря по аппетиту.

— Ну, аппетит у меня скромный. А в Среднюю Азию тоже можно поехать?

— Всегда рады. У нас в Ашхабаде уже гостило несколько групп американских туристов.

— Обязательно поеду!

Утром мы отправились через район Пита в Далаба. И, как обычно, стали центром многолюдного собрания. В большом зале клуба было столько людей, что, казалось, соломинку просунуть невозможно. Собравшиеся встретили нас рукоплесканиями, стоя, и неожиданно освободили довольно широкий проход.

Начальник района произнес небольшую речь. Он сказал, что гвинейцы всем сердцем хотят дружбы с Советским Союзом и любят советских людей. Впрочем, это мы видели собственными глазами.

— Мы счастливы и горды,— сказал начальник,— да, горды тем, что нашу страну посетили два советских писателя. Вы познакомитесь с нашей жизнью, увидите наших людей и расскажете о нас своим читателям.

Начальник говорил, а два писателя в это время сидели и шепотом переругивались.

— Выступай ты,— шипел Юхан и толкал меня в бок локтем.— Выступай ты, слышишь?

Проблема выступлений являлась причиной наших постоянных стычек со Смуулом. Выступать приходилось много, в каждом районе, да порой и не по одному разу. Ораторским талантом я не блистаю и надеялся, что им в достаточной мере обладает человек, написавший прославленную «Ледовую книгу». Я считал, что мое путешествие будет спокойным: буду смотреть, слушать да изредка помогать Юхану составлять тезисы его речей. На деле же получилось наоборот. Смуул, очень разговорчивый, неистощимый на шутки в узкой компании, прямотаки панически боялся выступлений: не умею, мол, выступать, и все тут. А я, говорю, умею, что ли? Давай уж как-нибудь вместе. Но все равно он правдами и неправдами всегда старался предоставить роль оратора мне.

Передав собравшимся привет от советского народа, я рассказал о цели нашей поездки в Африку, ответил на вопросы, касающиеся культуры и быта советского человека, колхозного строительства, и собирался уже поблагодарить собравшихся за внимание и дружеские чувства. В это время мне задали вопрос:

— В Советском Союзе есть мусульмане?

Я улыбнулся, вытащил из кармана четки и шутливо сказал:

— Алхамдурилла, прежде всего я сам мусульманин.

В зале раздались дружные аплодисменты, но худой человек с редкой бородкой и колючими глазами, сидевший в первом ряду, не принял шутки.

— В Советском Союзе, говорят, мусульман ловят и убивают.

Зал притих. Это уже была не шутка. Реплика требовала серьезного ответа. Я сказал, что Конституцией Советского Союза каждому гражданину гарантирована свобода совести. Верь во что хочешь — хоть на мечеть молись, хоть метле кланяйся.

— А мечети у вас есть?

Я ответил, что в Советском Союзе живут миллионы мусульман. Есть и мечети. Но, конечно, не все, живущие, скажем, в Туркмении, Узбекистане или Азербайджане, исповедуют ислам. Я, например, раньше читал коран, а сейчас предпочитаю читать сочинения Ленина или Маркса, потому что я коммунист. А брат мой до сих пор в бога верит, молитвы читает, соблюдает посты и всякие религиозные обряды.

— А имам у вас есть?

Хотелось рассердиться на настырного допросчика, но, сдержавшись, я сказал:

— Есть имам. И казы есть. В Ташкенте живет шейх-уль-ислам и муфтий Средней Азии и Казахстана. Приезжайте, убедитесь сами, потом перестанете верить басням, которые рассказывают о Советском Союзе разные не очень честные люди.

Кажется, мое выступление понравилось — были сверкающие в широких улыбках зубы, веселые глаза и шумные рукоплескания.

— Ну вот,— подытожил Юхан,— видал, каким ты успехом пользуешься? Мне небось ни разу так не хлопали. Отныне я нем как рыба. Выступать будешь только ты, это практикой подтверждено: с мусульманами должен говорить человек, знающий ислам.

7

Начальнику района Далаба, депутату парламента Ткаоке Самга Ламину двадцать девять лет.

Однако, несмотря на молодость, он человек развитой, начитанный. В его личной библиотеке книги Ленина и Маркса, сочинения Толстого, Горького, Достоевского, произведения современных советских писателей, зарубежная классика. Он знает всех писателей Африки и чуть ли не все их произведения. Мне, как писателю, был особенно приятен такой собеседник.

Мы поговорили об общественной роли литератора и о проблемах африканской литературы — Ткаоке не обосабливал от нее литературу своей страны. Большинство современных писателей Африки следует призыву Секу Туре, который сказал: «Недостаточно создать революционную песнь, чтобы участвовать в африканской революции, нужно делать эту революцию вместе с народом, и тогда песни придут сами собой». Нельзя отрицать большой жизненной правды этого высказывания, и африканские писатели правильно поняли и приняли слова президента Гвинейской республики.

— Жаль только, что не все руководители африканских государств поняли необходимость народной борьбы,— сказал Ткаоке.— Кое-где за слово правды сажают в тюрьму таких писателей, как Маджмут Диоп.

Я знал: «кое-где» — это Сенегал. Знал лично и Диопа, писателя-коммуниста, честного, принципиального борца за справедливость, прекрасного человека. Мы познакомились с ним на Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки. Потом я встречал его в Москве, где он был проездом из Китая и выступал в клубе Союза писателей. Вспоминая его тонкое, красивое лицо с небольшой бородкой, живые, полные огня глаза, я понял, почему при первом знакомстве с Ткаоке мне показалось, что я уже где-то видел этого человека: уроженец Мали, он очень походил на Диопа.

Одной из важнейших своих задач африканские писатели считают формирование и утверждение национального самосознания. Утверждая его, призывая к подлинной независимости, они утверждают тем самым единство Африки, а это в настоящий момент является едва ли не самым животрепещущим вопросом. Колонизаторы прекрасно понимают силу объединенных народов. Недаром, цепляясь за свою насквозь прогнившую систему, они идут на любые провокации, чтобы хоть приостановить, если нельзя задержать, великое движение к единству. Пример: развал Федерации Мали, происшедший не без помощи оголтелых поборников лозунга «Разделяй и властвуй!». Африканские писатели с каждым днем все настойчивей и громче призывают к созданию больших государственных объединений, к сближению народов.

Сложной проблемой является и вопрос о языке. Африканская литература последних лет развивалась преимущественно на французском, английском и португальском языках, чуждых простому народу. В создании национальной литературы писателям приходится опираться главным образом на фольклор, использовать формы устной литературы, так как большинство населения пока

неграмотно. Им помогают народные сказители и певцы. Например, в фольклоре Гвинеи есть чудесные современные песни, прославляющие революцию и ее руководителей.

Ткаоке показал несколько снимков парламентской делегации Советского Союза. На одном из них я обнаружил своего туркменского земляка Какабая Атаева. В Киндиа мне рассказывали, как он на вопросы какого-то ревностного почитателя ислама упрямо повторял: «Я не мусульманин. Я коммунист». Эти слова потом повторяли десятки людей, они стали своеобразной поговоркой.

Вернувшись в Пита, мы, конечно же, попали на собрание членов местной организации Демократической партии. Но на сей раз, то ли под давлением хорошей беседы с Ткаоке, то ли от дождя, напомнившего родную Прибалтику, Смуул раздобрился, взял выступление на себя и начал рассказывать об эстонских колхозах. Особенно упирал он на необходимость механизации сельскохозяйственных работ. Наши слушатели соглашались, говорили, что кое-где уже работают советские машины. В этом году их район должен тоже получить двадцать тракторов. Земля у них очень хорошая для механизированной обработки, беда только, что нет трактористов, придется попросить помочь тех, кто тракторы дает. Взаимообразно. А потом, когда выучатся местные кадры, они тоже могут помочь, если потребуется. Только потребуется ли?

— Потребуется,— успокоил их Юхан,— только давайте, у нас без работы никто не останется.

— А у вас в республике врачей хватает? — спросил меня один из присутствующих.

Я сказал, что только Ашхабадский мединститут ежегодно выпускает сотни специалистов-медиков. Кроме того, в наши аулы приезжают работать выпускники вузов из Российской Федерации и других союзных республик. Поспевай только больницы новые строить.

— Вы не очень ему объясняйте,— сказал мне сосед.— Он сам врач, был в Советском Союзе и прекрасно знает, как у вас обстоит с медицинским обслуживанием. Просто хочет, чтоб другие послушали.

Посмеявшись, мы распрощались с питскими активистами и обратным маршрутом прибыли в Лабе. Вместе с нами прилетел и чехословацкий врач Станислав Корецкий. Сразу же после обеда, не слушая никаких возражений, он потащил нас к своему чехословацкому коллеге. Мы пошли ради приличия, а попали словно в родной дом. Хозяин с хозяйкой встретили нас как долгожданных гостей, на столе появились фрукты, шампанское. Вечер прошел в очень теплой и непринужденной обстановке.

В Гвинее много специалистов из Чехословакии. Они работают в больницах и школах, пилотируют самолеты, водят тракторы. Прекрасную репутацию завоевали себе в Гвинее чешские товары. В Конакри, например, носят чешские ботинки, ездят в чешских автомобилях, очень любят прославленное чешское пиво.

В Конакри мы побывали и в театре. Пьесу ставили не профессиональные артисты, а учащиеся. Да и театр был, собственно, не театром, а большим залом, в котором обычно проходят разные общественные собрания.

До начала спектакля сыграли гимн, молодежь спела песню, было исполнено несколько народных танцев. Потом началось представление. Содержание пьесы таково. По ежегодному обычаю одну девушку надо принести в жертву богу. Жертву выбирает местное духовенство. Это самая красивая девушка селения. Родители в горе, но не противятся: такова воля бога. Однако с этой волей не хотят согласиться ни девушка, ни ее любимый. Они хотят жить, хотят быть счастливыми. В конце концов они решают презреть жестокую традицию и убегают в другое село. Никакой бог их не покарал, а духовенство остается с носом.

Нам очень понравилась темпераментная игра самодеятельных артистов, и мы полюбопытствовали, нельзя ли посмотреть на профессионалов. К сожалению, оказалось, что нельзя. Артистический коллектив был занят подготовкой к гастролям в Советском Союзе и Европе. Учитывая мастерскую игру самодеятельного театра,

мы нисколько не сомневались, что профессиональные актеры пожнут вполне заслуженные лавры.

Мы познакомились со знаменитым гвинейским поэтом Кейта Фодеба. Он создатель известного в Европе «Африканского балета», одной из первых постановок африканского театра была его пьеса. Фодеба посетовал, что мало времени остается для творчества — он член правительства, все время занят,— и пригласил нас к себе в гости, побеседовать не торопясь за чашкой кофе. Однако на следующий день экстренно вылетел по делам из Конакри. Встреча не состоялась.

8

Поездка по Гвинее доставила мне много радостных минут. Я радовался, видя, что эта прекрасная страна уверенно идет по пути свободы и независимости; было очень приятно видеть советских специалистов и советскую технику на гвинейской земле; радовало дружеское отношение, любовь гвинейцев к Советскому Союзу. Но были радости и другого рода.

Однажды мы выехали в окрестности Конакри. С одной стороны высился неправдоподобно зеленый хребет Какирима, украшенный алмазными подвесками водопадов, с другой бежала узкоколейка. Мелькали деревья, поблескивали рисовые поля.

С нами ехал московский корреспондент, имени его я не хочу называть, чтобы лишний раз не конфузить товарища. Точнее, я ехал по его приглашению в его личной новенькой французской автомашине. Кроме нас двоих, в машине находился один из сотрудников посольства. Вел машину сам корреспондент. Он разговаривал со своим соседом, задавал вопросы мне, поскольку целью его поездки было интервью со мной и Смуулом.

Привыкнув во время поездок по республике к совершенно безупречной работе гвинейских шоферов, я поначалу не обращал внимания на своего нынешнего шофера. А когда обратил, было уже поздно. Машина резко вильнула вправо, потом еще резче — влево. Растерявшийся водитель вместо тормоза нажал на педаль акселератора. Можно представить, что произошло дальше, если учесть, что мы мчались со скоростью не меньше восьмидесяти километров в час. В течение нескольких бесконечно долгих секунд мы бешено скакали по веткам, кустарникам, камням. «Уж лучше бы мне манго на голову свалилось»,— успел подумать я. Потом — удар, и мы остановились. Спасителем нашим оказался большой валун. Не будь его, мы через каких-нибудь десять метров свалились бы под откос. Вот тут-то я и порадовался великой радостью. И спутники мои тоже, хотя, пожалуй, радость корреспондента омрачали погнутый диск переднего колеса и вмятина на радиаторе.

Деликатно помалкивая, мы с сотрудником посольства выбрались на дорогу и принялись «голосовать». Шоферы охотно останавливались, но ни у кого не было буксирного троса. Наконец, собравшись числом побольше, мы общими усилиями выкатили машину на дорогу, с помощью шоферов сменили колесо. К нашему удивлению, мотор заработал как ни в чем не бывало, но сесть в машину мы с сотрудником посольства уже не решились. Да и ехать на ней было нельзя из-за разбитого радиатора. Мы дождались машины со Смуулом и Чесноковым и продолжали путешествие, чуть было не ставшее для нас последним. Конечной точкой нашей поездки был алюминиевый завод международной компании «Фриа» — одно из крупнейших предприятий во всей Африке. История его любопытна.

Французская геологическая разведка обнаружила в районе деревни Фриа богатейшие залежи бокситов. Организовать добычу бокситов и первичную их переработку на месте французам оказалось не под силу — возникла компания, в которую вошло несколько западных монополий. За счет средств компании был построен завод для переработки бокситов. В дальнейшем предполагалось строительство на реке Конкуре плотины и гидроэлектростанции, чтобы вырабатывать алюминий на месте. Но когда Гвинея провозгласила независимость, заправилы

компании отказались от этого проекта. Они, конечно, и завод бы ликвидировали, да в него уже были вложены значительные средства, поэтому волей-неволей строительство довели до конца.

А гидроэлектростанция на Конкуре все равно будет — ее построят советские инженеры и техники.

Мы ехали по тряской дороге, красной от латерита — горной породы, очень богатой окисью алюминия. Но вот вдали замелькали постройки, показался завод.

Нашим проводником вызвался быть государственный комиссар. Он сам сел за руль машины и повез нас по всем объектам этого гигантского предприятия, показал карьер разработки бокситов, тянущийся около двадцати километров. Побывали мы и в цехах. Надо отдать справедливость: завод построен по последнему слову техники. Но удивляться не стоит — его хозяева старались-то для себя, не для гвинейцев.

Рабочие в основном из местного населения, технический персонал — французы, но их немного, так как производственные процессы механизированы, а управление ими централизовано. По предварительным расчетам завод должен был давать в год до пятисот тысяч тонн глинозема. Сейчас мощность его составляет свыше двухсот пятидесяти тысяч, но может быть доведена до 1,2 миллиона тонн.

Обратно возвращались поздним вечером, и обезьяны, как черные призраки, перебегали дорогу у самых колес машины.

Перед тем как покинуть Гвинею, мы провели встречу с группой гвинейской интеллигенции. Было задано много вопросов, еще больше сказано теплых слов. Все наши ответы слушатели записывали в тетради, а говорили мы с Юханом на этот раз довольно много.

Мы увозили самые хорошие и сердечные впечатления. Молодой гвинейский поэт Нене Кхали сказал:

— Дай мне руку, мой брат.
— Подари мне свой голос, сестра.

Призываю к труду созидания нацию вольных и гордых,
чтобы приступом взять твердыню прошедших веков.

Это мы видели в жизни. В братской солидарности, в завидном единодушии народ Гвинеи идет по пути строительства свободной, радостной жизни. Мне вспоминаются слова начальника района Форекариах: «Колонизаторы внушали нам, что на свете нет людей, кроме французов... Мы прогнали колонизаторов — и почувствовали, что мир обширен, что воздухом свободы можем дышать и мы».

Светлых дней тебе, Гвинея, на большом и славном пути!

9

Когда в Туркменистане гостила делегация малийских женщин и наши общественницы Биби Пальванова и Ася Атанепесова показывали им достопримечательности Ашхабада, я ни сном ни духом не ведал, что через очень короткое время мне доведется побывать в Мали — одной из самых молодых республик африканского континента.

Но вот я в Бамако и с интересом смотрю на этот город, где причудливо сочетаются века: прошлый горбится крышами примитивных хижин, нынешний надменно смотрит широкими окнами роскошных особняков. На южной окраине города несет свои воды Нигер. Он берет начало в горах Фута-Джаллона и, как животворная артерия, соединяет две соседние африканские республики — Гвинею и Мали. Разноголосо перекликаясь, по реке идут пароходы. Я смотрю на них, и на мгновение кажется, что я стою на берегу Аму-Дарьи и слушаю знакомый говорок ее волн. Но только на мгновение. Аму своенравна, шафранно-желта и непостоянна, как истая восточная красавица; Нигер величественно спокоен, его прозрачная голубизна словно впитала в себя яркие краски неба. Я говорю: «Здравствуй, брат

Нигер, прими салам от своей туркменской сестры Аму. Как и она, ты споришь с колючими песками, как и она, несешь людям радость и жизнь. В твоих прибрежных зарослях ворочаются гиппопотамы, и львы приходят напиться твоей прохладной воды, а твоя сестра Аму в плавнях своих дает приют диким кабанам, и царственный тигр отдыхает в ее камышах... Здравствуй, Нигер!»

— Здесь и крокодилы есть,— сказал шофер Дияро.

— Опасные твари.

— Ничуть. Наш крокодил очень мирный крокодил. Никогда человека не трогает.

Мы побеседовали со статс-секретарем по вопросам информации Голого, очень умным, прогрессивно мыслящим человеком. Его подпись стоит на документе, утверждающем независимость Мали, рядом с подписью французского представителя.

Времени у министра было в обрез — он собирался в длительную командировку.

— Мы с вами можем еще встретиться в Москве,— сказал он, улыбаясь.— Я буду участвовать во Всемирном форуме молодежи.

Заместитель министра просвещения познакомил нас с первыми результатами деятельности органов народного образования. Он отметил, что в настоящее время в республике учатся уже десять процентов всех детей. По нашим представлениям цифра эта мизерно мала. Но если вспомнить, что республике, когда мы были там, едва-едва исполнилось десять месяцев, а число учащихся увеличилось почти вдвое, то эти десять процентов звучат совсем иначе.

Система обучения в Мали делится на несколько ступеней. Первые два года считаются подготовительными. Затем следует пять лет учебы в начальных классах. Среднее образование дают четыре года лицея или колледжа. Как и в Гвинее, здесь пока еще нет вузов. По окончании лицея большинство юношей и девушек идет работать в государственные учреждения, и лишь немногие изъявляют желание поехать в другую страну, чтобы получить высшее образование. Это объясняется очень просто: малийская молодежь понимает, что республике крайне нужны местные кадры интеллигенции. Хотя бы со средним образованием. А уже потом можно будет думать и о высшем.

Основная религия в Мали мусульманская, причем с более строгими традициями, чем в Гвинее. Я спросил одного из руководящих работников Мали, не бывает ли столкновений новых законов с религиозными канонами. Он ответил:

— Мы очень строго придерживаемся ислама, это верно. Но наши служители религии понимают необходимость нововведений. Чаще всего они поддерживают начинания правительства и уж во всяком случае никогда не противодействуют. Так что у нас новое пока довольно мирно уживается со старым.

Французские колонизаторы оставили о себе недобрую память. Но мой собеседник не склонен обвинять всю нацию огулом. Особенно тепло он отзывался о французских коммунистах, которые, по его словам, помогали малийскому народу повышать культуру и особенно заметную помощь оказали стране в период ее борьбы за независимость.

В гостинице мы познакомились с одним из тех французов, к которым малийцы не предъявляют претензий.

— Я уже шесть лет работаю в Африке,— сказал он.— В основном в Мали, то есть в бывшем Судане. Сам я инженер-топограф и по роду работы все время нахожусь в пути. И вы знаете, я так сжился с местным населением, что, приезжая время от времени в Париж, чувствую себя явно не в своей тарелке. Здесь, в Африке, я привык к честности людей, правдивости, радушию. Там это встречаешь редко. Законы капитализма, законы частного предпринимательства, они, знаете, не способствуют развитию доверчивости и благожелательства к ближнему. Нет, здешний народ совсем другой, здесь даже дышится легче. Ведь сколько раз в пути я заходил в совершенно незнакомые хижины, их обитатели никогда и не видели белого человека, а меня принимали как родного!

Он, конечно, слишком скептически относился к своей родине, но об африканцах судил верно: гостеприимство, честность, простодушие, доверчивость к людям являются характерными чертами местных жителей. Может быть, эта доверчивость была одним из основных помощников колонизаторов.

Член Всемирного Совета Мира и Комитета солидарности стран Азии и Африки Соу не был склонен к реабилитации бывших хозяев Мали.

— Ну как, скажите, я могу простить им, что народы Африки на десятилетия отстали от эпохи? Нет, не могу. Вы никогда не видели, как в паутине гигантского паука запутывается маленькая птичка? Мы были в течение долгих лет такой птичкой, из нас высасывали жизненные соки, но в один прекрасный момент мы поняли, что у нас сила орла,— и разорвали паутину. Что ж, вы думаете, паук успокоился? Как бы не так! Живой пример вам — Федерация Мали. Где она? Распалась. А почему? Да потому, что паук снова пытается плести сеть и обрывками ее опутывает некоторых недальновидных политиков. Но нас уже не опутает. Мы знаем, что нам надо, знаем, куда идем и с кого нам нужно брать пример. Если вы один раз выпустите льва из клетки, он больше никогда не попадет в ловушку, вторично попадается только гиена, потому что она глупая и жадная.

Несмотря на свои передовые взгляды, Соу был исправным мусульманином. Он живо интересовался состоянием религии в южных республиках Советского Союза, записал адреса некоторых наших руководителей духовенства и под конец беседы упрекнул меня, что я не пишу историю ислама. Я ответил, что, хотя волосы у меня седые, я все же считаю себя человеком нынешнего, а не прошлого времени. Меня интересует действительность, и будет много полезнее, если я напишу не о копытах осла пророка Мохаммеда, а о том, как африканец Соу борется за мир и счастье народов. Соу засмеялся и сказал, что оно, пожалуй, и верно, надо больше уделять внимания проблемам нынешнего дня, а пророк подождет, не обидится. Тем более что дел хватает — есть еще в Африке, да и не только в Африке, такие люди, что из темного угла на свет вылезли, а глаза раскрыть боятся, привыкли ходить зажмурившись. Надо помочь им раскрыть глаза.

Я вспомнил об этом разговоре, гуляя в парке близ Бамако. Со мной поздоровались трое юношей. Я их знал — они жили в той же гостинице, что и я, частенько сидели на садовой скамеечке, разговаривали или читали. У одного из них я заметил книгу Ленина.

Эти юноши были родом с Берега Слоновой Кости. Получив среднее образование, они поехали учиться в Париж. Один поступил на химический факультет, двое — на медицинский. Но проучились они недолго: им заявили, что у них слишком беспокойные мысли и они их слишком громко высказывают, чтобы учиться в Париже. Юношам ничего другого не оставалось, как вернуться домой, не доучившись. Однако и здесь их ждал сюрприз: власти Берега Слоновой Кости не разрешили им въезд в страну, и они нашли пристанище в Мали.

Я посочувствовал ребятам. Официально Берег Слоновой Кости провозгласил независимость, но, как видно, хозяйская дудка там пока еще слышнее набатного призыва там-тамов.

Между прочим, примеры того, что африканцы учатся в европейских учебных заведениях, и в частности во Франции, как будто свидетельствуют о стремлении монополистов поднять культуру африканских народов. На самом же деле это ловкий фарисейский трюк, к которому любят прибегать колонизаторы, рядясь в овечью шкуру благодетелей африканского народа. Один из крупнейших знатоков Черного континента, современный английский писатель Бэзил Дэвидсон писал: «...Некоторым африканцам дали ключи к высшему образованию. Но делалось это отнюдь не из желания развивать научную мысль, а наоборот, чтобы добиться «европеизации» и ассимиляции африканцев». Если же допущенные к истокам наук не оправдывают надежд монополистов, их вышвыривают вон без всяких церемоний, как это произошло с юношами Берега Слоновой Кости.

10

По распоряжению министра внутренних дел и информации Мали, члена политбюро партии Суданский союз Майдеры Кейта в наше распоряжение дали вездеход. «Можно взять самолет, но сверху вы ничего не разглядите,— сказал министр.— По реке — слишком долго, да и катер не в любом месте может пристать к берегу. Лучше всего эта машина. Это наиболее утомительный вариант, зато увидите все, что захотите». Мы согласились и попросили только, чтобы оставили шофера Дияро, к которому мы успели привыкнуть.

По случайному совпадению нашего сопровождающего, как и гвинейского, звали Ламин. Но сходство исчерпывалось только именами. Гвинеец был невысокий молчаливый парень, он не всегда мог удовлетворить наше любопытство, но, к чести его, откровенно признавался, что то или иное не знает. Малиец же — человек пожилой, высокого роста и говорил непрерывно, словно взял язык напрокат. Может быть, многословие являлось профессиональной чертой Ламина — он был журналистом. А может быть, причина состояла в том, что в Мали сейчас по сути дела совсем нет литераторов, и тем, кто умеет писать, приходится и работать и говорить за десятерых. Однако Ламин не утомлял: словно ходячая энциклопедия, он знал буквально все о своей стране, и слушать его было очень интересно.

Ландшафт Мали, по сравнению с холмистой местностью Гвинеи, был довольно ровен. Невысокая трава саванны уже в нескольких километрах от Нигера пожухла и отливала странной краснотой, только деревья упорно противились зною.

— Вот это дерево называется баубадда,— объяснял Ламин.— Мы из него готовим кушанье вроде каши. Вкусное кушанье, вам надо обязательно попробовать. А вот это,— он показал дерево, похожее на коренастую взлохмаченную акацию,— это мы называем балансан. Очень сильное дерево, даже огонь его не берет, не то что солнце. У нас по Нигеру есть места, где растет только один балансан. То есть там были и другие породы, но французские пароходы пожгли их все в топках, а вот балансан устоял, не захотел работать на чужеземцев. Видали, какие у нас деревья? Они тоже понимают политику, как и люди.

Я глядел на сидящего впереди словоохотливого спутника и удивлялся, что его черные волосы стали вдруг сильно отливать красной медью — даже седина исчезла. Я поделился своими наблюдениями со Смуулом. Тот засмеялся:

— А ты на себя посмотри. Ты сам вроде индейца из пампасов, только орлиных перьев да тамагавка не хватает.

Я посмотрел и ахнул. Тонкая, почти невидимая красная пыль носилась в воздухе. Мои руки и рубашка были багрово-красными, словно их вымазали кровью.

— Не трясите,— сказал Ламин,— это очень въедливая пыль. Рубашку вы стирать надо, хорошо выстирать, иначе не отмоется. Местные жители специально красные бубу носят, на них не так заметно.

Мы мчались со скоростью ста десяти километров. Поэтому через два часа с небольшим уже подъезжали к Сегу. Ровно сто шестьдесят пять лет назад, в июле 1796 года, после длинного, тяжелого и опасного пути в районе этого города вышел к Нигеру один из отважнейших исследователей Африки Мунго Парк. Не страсть к наживе, не погоня за славой вели сюда шотландского врача. Он задыхался от жгучих песчаных ветров Сахары, дрожал от тропической лихорадки в болотистых поймах рек, ему грозила смерть от клыков леопарда и ножа фанатичных мавров, взявших его в плен. Но сила любознательности исследователя победила силу страха человека — и Мунго Парк прошел от устья Гамбии до города Сегу, а затем дальше по течению Нигера протянулся его двухтысячекилометровый путь, до места трагической гибели в прозрачных водах великой африканской реки. Парк встречал школы в глухих селениях и исключительно четкое и справедливое судопроизводство, видел глубокую самобытную культуру и этику у тех, кого в Европе презрительно именовали «дикарями». Он отмечал человеколюбие африканцев, их верность, благородное бескорыстие, уважение к старости. Пришедшие потом колонизаторы ничего этого «не увидели».

Засвидетельствовав свое почтение губернатору округа Тольбукты Гулибаби, мы, по настоянию Ламина, пошли поприветствовать городского муфтия. Муфтий сидел на ковре, обложенный старинными арабскими книгами, и тяжело отдувался. Я передал ему привет от туркменского духовенства. Он молчал, ссутулившись, не поднимая глаз, и мне показалось, что этот человек попросту не понимает меня. Невольно вспомнилась старая история. Когда муфтию Бухары сообщили, что началась русско-японская война, он подумал, пощипал бородку и безапелляционно изрек: «Это досужие вымыслы. Кто такие японцы, кто о них слышал? Такого племени на земле не существует». Может быть, и муфтий Сегу полагал, что на земле не существует «племени» туркмен? Принимая во внимание косность многих религиозных начетчиков и «просветительскую» деятельность колонизаторов, можно было не удивляться, если бы старичок муфтий не подозревал даже о существовании Советского Союза, не только Туркмении.

Несколько смущенный таким приемом, Ламин повел нас на опытную цитрусовую станцию и стал многословно рассказывать о проводящихся здесь опытах по скрещиванию различных культур.

В Сегу много красивых домов, построены они французской компанией. Ею же сооружена плотина на Нигере неподалеку от города. Вода шла на полив цитрусовой плантации и рисовых полей, которые давали компании до пятидесяти тысяч тонн риса в год. Недавно здесь стали сеять хлопчатник.

Возле канала Маркала, в селении с таким же названием расположена громадная мастерская металлических изделий. Поскольку собственных сырьевых ресурсов в Мали пока не обнаружено (может быть, они и есть, но все геологоразведочные карты колонизаторы увезли с собой), то железо привозят из Франции. Мастерская принадлежит той же компании, что и плотина, однако в десятках ее цехов работает местное население, а ремесленная школа при мастерской выпускает ежегодно до пятидесяти человек специалистов. Здесь создаются кадры будущего рабочего класса республики. Ремесленная школа, кстати, есть и в Бамако.

Вечером нас пригласил к себе губернатор Тольбукты Гулибаби. Наш Ламин внезапно зажегся местным патриотизмом и непрерывно повторял:

— Историю Мали невозможно представить без Сегу. Сегу играет основную роль в истории Мали!

11

Сделав еще двести километров, мы приехали в город Сан. Здешним окружным губернатором был младший брат нашего Ламина, и проводник, кажется, очень гордился этим.

В городе имелся маленький хлопкоочистительный заводик, сырье которому поставляла местная хлопковая плантация. Мы побывали на ней, познакомились с директором и главным инженером предприятия. Первый — малиец, второй — швейцарец. Плантация невелика, и посевы были далеко не блестящими. Я спросил у главного инженера:

— Какой сорт хлопчатника сеете?

Он ответил:

— Американский.

— Длинноволокнистый?

— Нет, другой. Мы его называем полушерстяным хлопком.

Название, конечно, довольно условное, по внешнему виду: волокна у этого хлопка неровные и несколько напоминают свалявшуюся шерсть. Только и всего, качество не из лучших.

— А сколько урожая снимаете с гектара?

— От одного килограмма до одной тонны.

— Как это понимать?

— А так. Все зависит от погоды. Есть дождь — есть урожай. Нет дождя — и все труды наши идут насмарку.

— А почему не поливаете?

— А где вода? Нигер далеко. Чтобы канал рыть, у правительства средств не хватает. Вон в Маркале до двух тонн с гектара берут. Но там орошение, а у нас раз на раз не приходится, урожай снимаем как бог на душу положит.

В самом деле, несмотря на сезон относительно обильных осадков, малийская земля страдает от засухи. Желтая, каменистая, она требует влаги еще и еще. Ее вековую жажду могут утолить лишь воды Нигера, но начать строительство широкой ирригационной сети правительство Мали пока еще не в состоянии. Нам рассказывали о строительстве канала Накри — Сосе. О нем знают по всей республике. Ведется оно с помощью добровольных трудовых вкладов населения. Под палящими лучами экваториального солнца люди долбят кирками сухой суглинок. Вода нужна — в республике на четыре миллиона человек орошается всего несколько тысяч гектаров,— поэтому люди не считаются ни с чем. Длина первой очереди канала около четырех километров, второй — столько же. Я невольно сравнил с ними тысячекилометровую громаду Каракумского канала, добрая половина которого уже построена, подумал о темпах строительства, о первоклассной советской технике, помогающей туркменам одолевать Каракумы. Я подумал о том, что Туркмения в два с лишним раза меньше по площади, чем Мали, и больше шестидесяти процентов ее территории занимает безжизненная пустыня, но в Туркмении десятки тысяч гектаров получают искусственное орошение, Каракумский канал превращает эти десятки в сотни тысяч. Когда-то Туркмению называли краем безводных песков и древних караванных троп, нынче это цветущая страна с высокой культурой, передовым сельским хозяйством, развитой индустрией. Хотелось сказать: «Смотрите, какие дивные дива творит свободный труд на свободной земле!» Но малийцы и сами уже хлебнули глоток свободы и знают ей цену. Соу сказал: «Мы знаем, куда мы идем»; и малийцы действительно знают — за короткий срок существования своей упорной борьбой против колониализма республика завоевала авторитет не только в Африке, но и во всем мире. Она принята как равноправный член в Организацию Объединенных Наций, установила дипломатические отношения со всеми крупнейшими странами мира. Отрясая от ног своих последний прах колониализма, республика Мали уверенно идет в светлое завтра. У правительства не хватает средств — люди предлагают добровольный труд; не хватает возможности следить за порядком в стране — молодежь партии Суданский союз создает добровольные отряды бдительности. В республике нет своих писателей, но в магазин демократической книги в Бамако приезжают люди из Абиджана и Ниамея, из Уагадугу и Порто-Ново, чтобы приобрести произведения Ленина, книги о странах социалистического лагеря.

Мы походили по городу, побывали на стадионе, где маршировала санская молодежь, готовясь к встрече гостей из Берега Слоновой Кости. Вечером любовались танцами. Юноши и девушки в национальных костюмах окружали руководителя танца, он показывал движения, они повторяли. Смеху, шуму, шуток было много, но импровизированный танец тем не менее отличался удивительной согласованностью танцоров, пластикой и живостью. Неугомонный Ламин попутно рассказывал нам историю африканского танца и совсем замучил нашего переводчика.

Двести километров пути привели нас в город Мопти, стоящий на берегу реки. Город очень своеобразен. Основная часть его — старое селение: тесно сгрудились глинобитные хижины, соединенные глинобитными же стенами. Люди пробирались по улочкам, более узким, чем даже переулки старых среднеазиатских городов. В центре города белая многобашенная мечеть, теперь около нее — площадь имени Патриса Лумумбы.

На берегу теснились, как овцы в отаре, сотни лодок. Лодки тоже своеобразны — узкие, длинные, с крестообразными распорками, они создавали впечатление стремительности и силы и вовсе не походили на мирные рыбачьи суда. Тем не менее лодки были именно рыбачьи. Множество людей толпилось на берегу. Одни несли рыбу сдавать на склады, другие, расположившись неподалеку от лодок, зазывали покупателей.

Встреча у губернатора и у министра иностранных дел прошла оживленно, в разговорах о нынешнем положении Африки и о ее будущем. Только Ламин скучал и был непривычно молчалив. Однако позже, в ресторане, изрядно отведав пива, смеялся, шутил за троих и задевал красивую официантку, которая жаловалась нам, что муж уехал на родину, в Ливан, и долгое время не подает о себе вестей.

На моторной лодке мы совершили прогулку по Нигеру и реке Бани, которая впадает в Нигер у самого города. Иногда приставали к берегу, смотрели, как рыбаки развешивают для просушки нейлоновые и капроновые сети или вялят рыбу.

Неожиданно из реки выскочила небольшая серебристая рыбка и шлепнулась в воду, которая плескалась на дне нашей лодки. Любопытный Юхан приготовился было ловить случайную гостью, но Ламин испуганно закричал:

— Убери! Руки убери! Откусит!

Юхан не поверил, что такая пигалица может представлять серьезную опасность, и все-таки рыбу поймал, правда с помощью Ламина, который таращился, кричал и испуганно отдергивал руки. Рыбка оказалась головастой, очень несимпатичной и с такими внушительными зубами, что мы сразу поняли осторожность нашего гида. Рыбу называют собачьей. Если она вцепится в руку, говорил Ламин, то челюсти ее разжать невозможно, разве что оторвать голову целиком, да и в таком случае они не раскроются. В доказательство он показал на одного из наших спутников. Мы принимали шрам на его щеке за след какой-то баталии, оказалось, что это след зубов собачьей рыбы.

Юхан еще раз взглянул на сердитую рыбку и бросил ее за борт — пусть кусает недобрых людей, если они появятся в здешних местах.

Конец нашего пребывания в Мали был отмечен жертвами. Мы переехали козу, сломали ногу ослику и задавили неосторожную обезьяну. Все это натворил наш милый шофер Дияро: он торопился за полдня проехать семьсот километров и поэтому гнал машину на предельной скорости.

12

Маленькая гостиница «Фарид» не блещет ни чистотой, ни бытовыми удобствами. Хозяин ее, ливанский армянин, знает это и старается компенсировать недостатки своего заведения обедами. У него всегда можно получить отлично приготовленный шашлык, чудесный люля-кебаб, плов и вообще все, что пожелаете. Цена между тем очень умеренная, и поэтому ресторан гостиницы не пустует. Здесь мы и встретили старого доктора с печальными глазами и армянской фамилией Саркисян. Узнав, что мы из Советского Союза, он уговорил нас выпить с ним чашку кофе и подробно расспрашивал о жизни в России и особенно в Армении. Я рассказал об успехах Армянской ССР, похвалил красавец Ереван. Саркисян застонал, как от зубной боли:

— Ради бога, перестаньте! Не говорите мне об Эривани, иначе я с ума сойду. У меня сердце кровью обливается, когда я услышу одно название Эривань! — И на глазах у него показались слезы.

Воистину говорят туркмены, что разлученный с любимой плачет семь лет, разлученный с родиной — всю жизнь. Саркисян покинул Армению еще мальчиком, но родина остается родиной независимо от того, в каком возрасте ты ее потерял. Я сказал, что многие вольные и невольные эмигранты сейчас возвращаются в Советский Союз, что мог бы и он... Он слабо махнул рукой: куда уж переселяться старику с француженкой-женой и шестью детьми.

У нас нет дипломатических отношений с Сенегалом. Поэтому, когда мы, будучи в Москве, пытались угадать, пустит нас в страну правительство Сенегала или нет, некоторые товарищи уверенно говорили:

— И не думайте! Ничего не выйдет из вашей затеи.

Однако мы решили, что попытка не пытка, а спрос не беда: попробуем, а там видно будет. Через наше посольство в Гвинее мы обратились к сенегальскому пра-

вительству, и нам неожиданно пошли навстречу, выдав трехдневные визы в Дакар.

В связи с неудачным (для нас) расписанием самолетов мы прибыли в Дакар в субботу. Но стоило ли в конце концов жалеть, что официальных визитов будет несколько меньше! Мы бродили по городу, любуясь экзотической красотой этой самой западной точки Африки, дышали свежестью Атлантики, слушали шелест пальм и щебет птиц. Наше идиллическое состояние нарушали только бесчисленные мелкие продавцы. Они то и дело предлагали нам что-то купить. Во время поездки в Индию я сталкивался с бродячими торговцами; если мы отказывались поддержать их «коммерцию», они бросали нам в машину бесплатно нехитрые предметы своей торговли. Поэтому я с некоторой опаской поглядывал на дакарских «купцов». Опасения были напрасны: даром нам никто ничего не давал.

Одолевали нас и чистильщики обуви. Стоило остановиться, как у ваших ног уже орудовал щетками словно из-под земли выскочивший чистильщик. Как мы узнали позже, в Дакаре много безработных, отсюда и обилие чистильщиков.

Так как нас никто в Дакаре не встречал и мы были предоставлены самим себе, то пришлось обратиться за содействием в бюро справок. Нам дали телефон писателя Йосепа Жубела. Он искренне обрадовался нашему звонку, попросил располагать его домом и встретил нас на улице. Родом Жубел был с Мартиники и десять лет преподавал в Париже. Вольнолюбивые взгляды и общественная деятельность навлекли на него преследование полиции, и он должен был уехать из Парижа. По его словам, французская полиция до сих пор точит на него зубы, но правительство Сенегала в обиду пока не дает.

Мы долго беседовали о литературе. Сенегал богат интересными писателями, поговорить было о чем. Называли имена Бираго Диопа и Поля Нигера, вспомнили одного из наиболее прогрессивных, передовых поэтов Сенегала Давида Диопа, трагически погибшего при авиационной катастрофе в 1960 году. Это был очень патриотический и интернациональный поэт. Я спросил, как поживает участник Ташкентской конференции писателей Сембен Усман, роман которого печатался в Советском Союзе. Жубел ответил, что Усман живет в Дакаре, но живет плохо: он сейчас без работы, в стесненном материальном положении. Его несколько поддержала публикация романа в Париже, сейчас он ждет известий от американского издателя.

Очень трудно в Сенегале писателям, сказал Жубел. Книги выпускаются маленькими тиражами, цены на них высокие, гонорар низок. Даже студенты здесь не читают и не покупают книг, а большинство из них принадлежит к обеспеченным семействам. Так что дело, может быть, и не столько в высокой стоимости книги, сколько в непростительном равнодушии к литературе. Писатель должен обязательно состоять где-то на государственной службе, подчеркнул Жубел, или вообще иметь какой-то побочный доход, иначе от истощения он не сможет вообще перо в руке держать.

С президентом республики Леопольдом Седаром Сенгором мы сумели встретиться только во вторник. Человек со сложной политической биографией, сторонник развития страны в рамках Французского Сообщества, доктор филологических наук, знаток шести языков, Сенгор является одним из ведущих поэтов Сенегала. Его перу принадлежит несколько сборников стихов и поэм, много теоретических работ. В годы войны он был в плену, принимал участие в движении Сопротивления. Президентом стал в августе 1961 года, после выхода Сенегала из Федерации Мали.

Невысокий, в очках, за которыми прячутся умные, проницательные глаза, Леопольд Сенгор принял нас очень любезно. Так как визит наш был неофициальным, то и беседовали мы неофициально, шутили. Сенгор сказал, что знает и меня и Смуула, не лично, конечно, а как писателей. Я спросил, что он думает о второй конференции писателей стран Азии и Африки.

— В Каире? Мы, конечно, примем участие в ее работе. Думаю, что польза конференции в деле укрепления солидарности литераторов несомненна.

Сенгор отнесся весьма одобрительно к нашему предложению послать одного-двух писателей в Советский Союз для ознакомления с жизнью советского народа. Он сказал:

— Если Союз писателей СССР пришлет на мое имя официальное письмо, то обязательно пошлю.

— Нам хотелось бы, чтобы вы лично приехали к нам в гости. Не как глава государства, просто как собрат по перу. Приезжайте в Туркмению, посмотрите на наше житье-бытье...

Усмехнувшись краешком губ, он посмотрел на наши депутатские значки.

— Оказывается, в Советском Союзе писатели могут быть членами парламента.

— Так же, как в Сенегале поэт может стать президентом.

Сенгор засмеялся и сказал:

— Хорошо, когда в мире тихо. Можно дружески беседовать с человеком, который живет за десять тысяч километров от тебя. Можно строить социализм.— Он иронически прищурился и добавил: — Только чей социализм — Маркса или мой? — Снова засмеялся и перевел разговор на вопросы религии.

Он произвел на нас двойственное впечатление, этот президент и поэт Леопольд Седар Сенгор. С одной стороны, мы не могли одобрить проводимую им политику зависимого развития республики, политику песен с чужого голоса. С другой стороны, он свободно высказывал много по-настоящему демократических мыслей. И в стихах его много прогрессивного. Например, в поэме «Чака», воспевая национальные традиции, воплотившиеся в образе знаменитого вождя зулусов, он говорит:

Любить свой народ — не значит ненавидеть других.
Нет, не может быть мира, когда наготове оружье,
и не может быть мира под гнетом,
И не может быть братства без равенства.
Я ж хотел, чтобы все были братья.

Хотелось бы, чтобы эти слова поэта Сенгора нашли отражение и в политике, проводимой президентом республики Сенегал.

13

Сбросив с себя цепи рабства, восстав от векового сна, превратившись из Африки грез в Африку действительности, Черный континент поднимается на ноги. Трудно рушить старое, вдвое труднее создавать новое. Жизнь — как дом: фундамент ее надо закладывать глубоко и прочно. Нет еще каменщиков, молоды и неопытны строители, и руки их обессилены долгим сном. Неизбежны ошибки, неизбежны промахи. Одним из них мне, как писателю, кажется тенденция некоторых африканских литераторов к национальной обособленности, к противопоставлению африканцев европейцам, тенденция, даже породившая особый термин «негритюд», что значит «негритянская сущность». Но почти все дети болеют в определенном возрасте корью... С каждым днем все громче раздается голос передовых людей Африки, все слышнее и звонче голос там-тамов, призывающих к единению, к борьбе за мир и демократию, к солидарности с прогрессивными силами мира. Патрис Лумумба оставил африканцам слово «ухуру». Как вольный ветер, летит оно из края в край континента. Летит над Великой пустыней и зелеными саваннами, над голубыми лентами рек и массивом тропических лесов. Оно врывается в города и села, будоражит мысли, зажигает огнем сердца, наливает силою мышцы.

Ухуру — значит свобода.

Перевел с туркменского
В. Курдицкий.

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

ЩУЧИНСКИЕ ЗАМЕТКИ

Недавно, после годичного отсутствия, вновь приехал в наши края очень хорошо всем здесь знакомый бывший первый секретарь Щучинского райкома партии С. И. Сурниченко. По его словам, он прибыл сюда, чтобы написать «на местном материале» диссертацию о рентабельности совхозов. Естественно было бы ожидать, что бывший секретарь поедет прежде всего в хорошо знакомые ему хозяйства Щучинского района, где проработал не год и не два. Какой хороший архитектор не полюбуется построенными по его проектам сооружениями! Какой сеятель не посмотрит на всходы семян, заложенных собственными руками!

Однако Сурниченко старательно обошел и очень типичный целинный Щорсовский и остальные совхозы, возникшие на базе колхозов. Будущий ученый решил изучать успехи и опыт рентабельности совхозов у соседей.

Правильно ли он поступил, обойдя свой родной район? Если в его задачу входит опереться в исследовании на положительный опыт, а это, очевидно, так, то он принял верное решение. Ну чему, например, можно поучиться у одного из его воспитанников и выдвиженцев — директора Урумкайского совхоза И. В. Привалова, который за один только истекший год ухитрился «нахозяйствовать» пятьсот тысяч рублей убытков? Как текли тут государственные денежки! При анализе годовой отчетности оказалось, например, что каждая курица на птицеводческой ферме этого совхоза выпивала за месяц по сто ведер воды! Вот ведь в какое чудище могут обратить курицу мастера приписок!

Может быть, здесь особенно плохие климатические условия? Нет, рачительный хозяин П. Н. Кабаков за тот же год превратил смежный Веденовский совхоз в безубыточный.

Разумеется, выбирать примеры для диссертации — неотъемлемое право автора. Но у вопроса есть и другая плоскость — морально-этическая.

Считается почему-то не совсем удобным и целесообразным критиковать вчерашних руководителей. Это, дескать, только лишний козырь для сегодняшних. Тем более что любителей ссылаться на плохое наследство и прикрываться этим у нас еще немало. Но сегодняшнее имеет связь и с прошлым и с будущим. Руководитель ушел, а «дух его еще витает». Был хороший партийный руководитель в районе — правильно воспитаны кадры, крепка экономика. Сидел на этом месте плохой организатор — чему он людей научил? Надо говорить об этом прямо. Хотя бы для того, чтобы избежать преемственности пороков, для того, в данном случае, чтобы работники межрайонного управления совхозов (начальник А. И. Киселев), созданного после мартовского Пленума ЦК КПСС, поглядели на этот район свежим взглядом и сразу же отбросили прочь негодный, бюрократический стиль руководства, который здесь процветал.

Если мы берем от новых земель меньше, чем они могли бы давать, то виновата не целина, а уровень руководства, подчеркивает Н. С. Хрущев. Уже в течение пяти лет подряд руководители Щучинского района, отчитываясь о производстве зерна, скромно сходят с трибуны при неодобрительном молчании зала, без аплодисментов. Не аплоди-

ровали и нынешнему председателю райисполкома тов. Рыжкову в канун нового, 1962 года, когда он выступал на пленуме обкома партии. Рыжков клялся и заверял, что в районе все налаживается, но, когда у него спросили в упор: «Будет ли выполнен годовой план мясозаготовок?» — ответил: «Нет, не будет!» Район в большом долгу перед государством.

Поскольку зашла речь о должниках, то упомяну и о разговорах, которые сейчас идут в районе по поводу «выдвижения в науку» бывшего секретаря райкома партии. «Почему он выбыл из Щучинска с гордо поднятой головой? Ведь он не только не показал дорогу к новому, но отодвинул на несколько лет назад хозяйство района. Почему же одного из главных виновников неблагополучия, блиставшего дутыми достижениями, послали в Академию общественных наук?» — удивляются в районе.

Припоминают, что в Щучинск он прибыл после того, как окончил Высшую партийную школу и некоторое время поработал в Алма-Ате. Вел себя так, словно бы одним фактом своего пребывания на целине осчастливил «глухую низовку». Попал он, кстати говоря, в район уже в конце посевной, в год, когда щучинцы собрали богатый урожай и дали родине около восьми миллионов пудов зерна. Последовали награждения. Получил орден и Сурниченко. Но с тех пор в течение четырех с лишним лет под его руководством хозяйство района падало и падало. Ни разу не выполнили государственного плана, в иные годы заготавливали по два-три миллиона пудов, а в 1960 году — в год его ухода с работы — совсем мизерное количество.

Так почему же, в самом деле, провалившегося человека, который высокомерием и администрированием оттолкнул от себя местные кадры, направили в академию? Уж не для того ли, чтобы из работника уже имевшего высшее образование, но с задатками вельможи, подготовить вельможу с ученой степенью?

Не наш это принцип — оценивать руководителей по числу «прослуженных» лет да по количеству просиженных стульев. Судить надо по результатам труда, по «припеку». «Если и дальше либеральничать с негодными работниками, то это равноценно тому, что расписаться в бессилии, в неспособности выполнить Программу, намеченную партией»,— говорил Н. С. Хрущев в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства Нечерноземной полосы.

Некоторые пороки щучинского руководства в той или иной степени характерны и для ряда других отстающих участков Целинного края. Вот почему стоит подробней поговорить о них.

1. Шестая часть области

Щедрая природа еще в давние времена приманивала сюда земледельцев. И город Щучинск (в прошлом казачий форпост — станица Щучинская) и близлежащая станица Котуркульская — старейшие оседлые поселения Северного Казахстана. Район славится не только тенистыми рощами курорта Боровое, пышными летними пастбищами — жайляу да изобилующими рыбой озерами, но и богатейшими, почти метровыми черноземами. Не случайно в одном этом районе сосредоточилось свыше шестой части населения всей Кокчетавской области. Только сельских жителей в районе двадцать семь тысяч. Это значительно больше, нежели население некоторых новых крупных целинных районов. Предприятия и учебные заведения города в большей своей части предназначены для непосредственного обслуживания сельского хозяйства. Таковы ремонтный завод сельскохозяйственных машин, автомобильные базы, старейшая в Казахстане школа механизации сельского хозяйства, лесной техникум с плодоовощным отделением, ветеринарно-зоотехнический техникум и т. д.

А теперь несколько контрастных сопоставлений. За последние шесть лет целинный Ленинградский район той же Кокчетавской области давал государству ежегодно в среднем по десять—одиннадцать миллионов пудов зерна От Щучинского района государство получало за эти годы в среднем лишь по два с четвертью миллиона пудов.

А население? В Ленинградском районе всех жителей, включая сюда и районный центр, и автобазы, и разработки каменных карьеров, и станции новой железной дороги,

и прочее, в три с половиной раза меньше, нежели в Щучинском районе (если брать только сельское население, то его в полтора раза меньше).

Но, может быть, большая разница в качестве земель? Да, разница есть. Щучинские земли в основной своей части богаче. Вдобавок к этому здесь почти не бывает засух: местность пересеченная, лесистая и озерная. При правильном ведении хозяйства и соответствующем подборе культур и сортов этому району уже давно бы иметь гарантированную высокую урожайность. И не по двадцать центнеров с гектара, как поставлена теперь задача перед всем Целинным краем, а по крайней мере по двадцать пять! Посевных площадей в Ленинградском районе сейчас больше, чем в Щучинском, примерно на одну треть, но они нарастали за счет ежегодных распашек. Правда, у щучинцев больше старопахотных земель...

Рядом со Щучинским расположен тоже «старопахотный», чисто степной, засушливый, с эрозийными землями Красноармейский район. Давайте сравним их успехи. За последние три года шучинцы на каждые сто гектаров пашни производили всего лишь по четыреста тридцать центнеров зерна, а хозяйства Красноармейского района — по семьсот семьдесят центнеров (хотя и это крайне мало). Заметим еще, что до нынешнего года в территорию Щучинского района входили огромные отгоны (триста тысяч гектаров), земли которых мало распахивались и почти не использовались.

По количеству скота старый Щучинский район несколько впереди молодого Ленинградского. Но возможности развития животноводства используются здесь плохо. Достаточно сказать, что свинины во всем районе в прошлом году было произведено столько, сколько произвела одна ферма знаменитого омского совхоза «Победитель».

А где бы и быть большому животноводству, как не в Щучинском районе! Тут и горные пастбища, и бесчисленные пресноводные озера с роскошными поймами, и чудесные земли для кукурузы, сахарной свеклы и бобовых культур. У щучинцев же с кормовым балансом систематический дефицит. И как тут опять не вспомнить об авторе будущей диссертации! Бывало, с середины зимы начинается бескормица, а он рапортует о достижениях! Всей области памятен такой вопиющий случай. В июле 1959 года председатель райисполкома Захаров вместе с Сурниченко отрапортовали: «Полугодовой план мясозаготовок выполнен на 194,1 процента». Гордились в области этим рапортом, занесли щучинцев на Доску почета. И не сразу доглядели, что здесь не заготавливали мясо, а «сбрасывали» поголовье из-за бескормицы. Овцы и другой скот гибли зимой тысячами. На убойные же пункты шел, как выражаются заготовители, «сплошной тощак»; не столько мясо привозили, сколько кожу да кости...

Очковтирательские замашки, к сожалению, наблюдаются в районе и до сих пор. Зимой этого года в Златопольском совхозе, которым руководит бывший председатель колхоза «Дружба» О. М. Ксюсев, вдруг резко подскочили вверх удои молока. Надо бы, конечно, радоваться, но до районного статистического управления дошел сигнал о жульничестве. Часть отелившихся коров, полученных для пополнения стада из другой республики, в совхозе продолжали считать нетелями, а удои делили на прежнее поголовье. Сотрудник, командированный на фермы, пересчитал коров, но лишних против отчетности не нашел. Где же они?

Оказывается, семьдесят животных на время проверки угнали из помещений в далекую степь. Больше суток надрывали глотки очутившиеся на холоду в метельные дни, без воды и кормов, неизвестно за что пострадавшие коровы. А как переживали это недостойное дело доярки!

Итак, в районе, где сосредоточена шестая часть населения крупной целинной области, где имеются кузницы подготовки квалифицированных сельскохозяйственных кадров, где земли благодатные, производится очень мало хлеба и мяса. Добавим еще, что ежегодно на уборку урожая (да и на посевную) сюда приглашались механизаторы Украины, Ставрополья и даже (подумать только!) в качестве подсобной рабочей силы студенты Риги и Ленинграда. Например, прошлой осенью на жатве трудилось 1360 «привозных людей». А ведь в районе и своих предостаточно, только обучи, организуй, расставь правильно, материально заинтересуй.

Не раз доводилось мне бывать в зеленом и красивом городке Щучинске. И всегда беспокоила одна мысль: как получилось, что район, который по природно-экономиче-

ским и иным условиям имеет явные преимущества перед многими, уже в течение пяти лет плетется в хвосте? Посмотришь на работу различных районных организаций — и видишь: люди вроде при деле, иные трудятся чуть ли не до изнеможения, осуществляя различные «мероприятия» — а воз и ныне там.

Разумеется, помогали «резать» район и неправильное планирование со ставкой на монокультуру и другие недостатки руководства Казахстана, вскрытые в докладе Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС и в выступлении на зональном совещании в Целиограде. Но, как мы уже видели, и при этих условиях соседние районы все-таки продвигались вперед, лучше использовали местные возможности.

Например, совхоз «Степной» Кзылтуского района (директор А. И. Шкаруба), имеющий только пятьсот трудоспособных, все работы проводит своими силами, а хлеба сдает государству куда больше щучинских хозяйств. То же можно сказать о совхозе «Раздольном» Кокчетавского района и многих других.

Верно, что пшеница у щучинцев в 1960 году сильно пострадала от ранних осенних заморозков. Но разве такие заморозки новость в горносопочных районах? Спрашивается, однако, в каких же облаках витали руководители, если они палец о палец не ударили для пересмотра структуры посевных площадей, для правильного подбора культур и сортов? Здесь не задумывались об этом, хозяйство шло по инерции, не направлялось и не управлялось.

Из пшениц в районе господствовала и господствует до сих пор позднеспелая «акмолинка-1». Благодатные, скороспелые бобовые культуры — горох и нут, которые словно бы специально созданы природой для таких районов, как Щучинский, и которые когда-то успешно произрастали в колхозах,— были начисто выжиты.

Новый главный агроном Котуркульского совхоза В. А. Кулик сообщил мне, что нынче «наконец-то» достали для развода семена скороспелой алтайской пшеницы «скала». Но почему-то под эту хоть и не самую лучшую, но очень ценную для совхоза семенную пшеницу отвели наихудшие земли (это сделали до его прибытия в совхоз). Можно понять огорчение агронома. Ведь это как раз то перспективное дело, за которое следовало по-настоящему взяться. Над выведением ранне- и среднеспелых сильных пшениц наши селекционеры работают и будут работать. Но ряд великолепных сортов имеется и теперь. Передо мной протокол анализа образца краснозерной русской пшеницы «саратовская-29», произведенного лабораторией Д. У. Кент-Джонс и А. И. Амос в Лондоне. Вот как восторженно отзывается о качестве этой пшеницы одна из самых авторитетных мукомольно-хлебопекарных лабораторий капиталистического мира:

«...Полученная мука дала исключительно хорошее и сильное тесто. Это одна из самых сильных пшениц, которые мы подвергали анализу за последнее время... Она заметно сильнее, чем большинство лучших пшениц Манитобы, которые мы получали, и она может улучшить большое количество мягкой слабой пшеницы. Если бы имелись в наличии регулярные и надежные коммерческие образцы этой пшеницы, то мы уверены, что она потребовала бы очень хорошей надбавки к цене». Общее резюме протокола таково: «Превосходный, сильный образец, совершенно выдающийся!»

Но среднеспелая «саратовская-29» занимает первые места и по урожайности. Не случайно она победно шествует сейчас по многим районам Целинного края. Есть хозяйства и целые районы (например, Красноармейский), где удельный вес этого сорта уже весьма значительный. Но в Щучинском районе, которому особенно необходимы такие сорта, «саратовской-29» нет ни одного грамма!

Именно продуманной, учитывающей местные особенности, страстной, коммунистической устремленности не было у щучинских руководителей. Дело вели бездумно, без науки, по принципу «куда кривая вывезет». Колесики вертелись, а ход-то оказался холостым.

Можно много рассуждать о делах и грехах общерайонных, но не будет ли полезней разобраться с положением дел на месте? В Щучинске мне меньше всего советовали ехать в Котуркульский совхоз, центральная усадьба которого расположена в бывшей линейной казачьей станице.

— Да вы знаете, что такое Котуркуль?! — говорил мне местный работник, поломавший, как он выразился, свой хребет на этом тогда еще колхозном хозяйстве.— Это

же самый упорный закоулок старого быта. Там люди на новое, общественное неподатливые. Без дисциплины. Вольница казачья. Там бородачи еще и теперь щеголяют в своих форменных синих фуражках с красными околышами да в брюках с лампасами... А молодежь, будто, бежит оттуда

Если деды донашивают старую форменную одежду, то что же тут страшного или зазорного? Но неужели верно, что, пройдя за сорок с лишним лет через всю кипень революционной ломки и перестройки, остались нетронутыми нравы староказачьего быта? Это надо посмотреть...

От Щучинска до Котуркуля всего восемнадцать километров. Для вместительных красно-желтых автобусов ЗИЛ, которые курсируют теперь на всех основных трассах Целинного края, это меньше получаса езды. Свое путешествие по холмистой лесостепной местности, напоминающей по рельефу и пейзажу Валдайскую возвышенность (те же сосняки да березовые рощи, только березки здесь не такие стройные), мы совершаем со старожилом, местным литератором В. М. Боговицким. Комсомолец с двадцатого года, летчик-штурмовик во время Отечественной войны, комиссар эскадрильи, начальник политотдела авиационной дивизии, секретарь райкома партии в соседнем районе, председатель райисполкома — он теперь в отставке и по возрасту и по инвалидности. Но его называют «полковником без отставки» — разве такого рода пенсионер заляжет на печку или увлечется рыбалкой? Куда там! Небольшого роста, слегка курносый, скуластый, влюбленный в любое дело, за которое берется, он носится с собрания на собрание — этот самый популярный лектор в районе. А за всем тем успел написать и выпустить две книги о героях-летчиках, усиленно трудится над «Буднями председателя райисполкома» и историей местного комсомола.

Пути-дороги сошлись, он едет по вопросам историческим: уточнить с дедами отдельные даты, подробности былого, я — по современным: на примерах неблагополучного Котуркульского совхоза уяснить детальней причины отставания щучинцев, подумать о путях подъема хозяйства.

2. Загадки Котуркуля

Въезжаем в центральную усадьбу совхоза. Широкая, протянувшаяся километра на три главная улица проложена, как и все сибирские линейные казачьи станицы, с запада на восток. Навстречу то и дело громыхают автомашины, стрекочут мотоциклы (как я потом узнал, исключительно личные). Преобладают дома старой стройки — деревянные, со ставнями, просторные (пятистенные или крестовые), встречаются и двухэтажные полукаменники; кровли тесовые, шиферные или железные. Заметно новое строительство, немало уже законченных зданий современной стройки.

Среди пешеходов различаю и таких, которые словно бы вчера экипировались в московском ГУМе или в ЦУМе; основная же масса одета по-будничному: не так, чтобы очень модно, но по сезону — мороз все-таки! И, что самое главное, люди бодры, хорошо настроены, оживлены. Как мне потом рассказывали, никто из станицы не уезжал: пушкой, говорят, из Котуркуля никого не выбьешь. Наоборот, прибывают и прибывают сюда переселенцы (преимущественно из Белоруссии).

Но почему же с котуркульских тучных черноземов в минувшем году пшеницы собрали — обидно сказать — всего по тридцать пудов, когда эти земли нередко давали — и, скажем уверенно, будут давать! — по сто пятьдесят и по двести пудов с гектара? Почему уже пять лет подряд хозяйство хромает?

Произошло здесь то, что в значительной мере характерно для многих хозяйств Целинного края, только в Котуркуле пороки агротехники, как и недостатки организаторской работы, нашли свое наиболее концентрированное выражение. В чем это проявилось?

— Если бы наше хозяйство было около большого города, скажем под Москвой,— говорил мне старый местный хлебороб, а ныне председатель сельпо А. Н. Каморный,— то, право же, выгодней было бы торговать цветочками, нежели выбирать из бурьянов тощенькие колосики...

— Сразу видать работника торговли,— пошутил я в ответ, но шутка была горькой.

Судя по рассказам старожилов, осенью поля совхоза выглядели, как хороший луг: они горели золотом желтых цветов молочая и сурепки. А в виде второго яруса расстилалась белая пелена главного разбойника — овсюга. Местами появилась опаснейшая гречишка. А ведь известно, где этот паразит укоренится, там культурным растениям ходу нет.

Встречались цветочки и на полях Ленинградского района, где прошлой осенью мне приходилось бывать, но они не белели от овсюга: главный вредитель был здесь выжит. Это и помогло району дать государству около двенадцати миллионов пудов зерна. Щучинцы же и в прошлом году заготовили лишь три миллиона.

В Котуркуле засоренность полей превзошла самые худшие предположения. Агроном Кулик, о котором я уже упоминал, ошеломил меня следующим рассказом. Он вскопал один квадратный метр земли на глубину в двадцать сантиметров, взял эту землю, промыл и подсчитал количество сорняков. Одних только зерен крупносемянных — овсюга, березки, сурепки, дикой конопли и других — оказалось 5682 штуки. А сколько еще мелких семян да червеподобных белых корешков молочая, осота и других корнеотпрысковых! Вот как испортили пашни!

Бракодельство наказуемо. Но с самыми опасными бракоделами, с людьми, которые заведомо портят землю — источник всех наших богатств,— мы либеральничаем. Ущемляют права законодателя полей — агронома? Продолжают командовать им руководители хозяйств и безответственные уполномоченные? Да, бывает еще и так. Но вот председателем бывшего Котуркульского колхоза в течение восьми лет был Т. С. Боцман — сам агроном по образованию. Во время реорганизации хозяйства руководство совхозом ему не доверили (и правильно сделали), но оставили главным агрономом (а он еще и обиделся: «Почему не директором?»).

Вырос бы хлеб и в 1961 году, если бы пахали зябь, а весной перед севом хорошо боролись с сорняками. В Ленинградском районе, например, всемерно сохраняя влагу, усиленно провоцировали и истребляли всходы овсюга и только после этого пустили в ход сеялки. Боцман же сеял (на этот раз уже вместе с вновь назначенным директором И. И. Вдовыдченко) в обычной манере, то есть для сводки: он давно махнул рукой и на севообороты, и на историю полей, и на почвенные карты.

Земля жестоко отомстила нерадивым хозяевам. Взять, например, горох. Передовики сельского хозяйства указывали правильные способы сева и механизированной уборки этой высокоурожайной и перспективнейшей для Целинного края культуры. А здесь? Посеяли двести тридцать восемь, а убирать пришлось девяносто гектаров. К севу подошли формально: разбросали зерно на засоренных участках, да еще при пониженной норме высева — вот сорняки и забили все. В то же время во второй бригаде (бригадир Данилов), где посеяли правильно, собрали по шестнадцать центнеров с гектара.

Кстати, о Боцмане. Считая себя непризнанным героем, бывший руководитель колхоза решил уехать из района. Его охотно отпустили, даже «с незапятнанным формуляром». И вот человек, испортивший народное достояние — землю, благополучно, «по собственному желанию» отбыл на Кубань...

Работники совхозов восстают против общего, недифференцированного руководства (и они правы, так как и земли разные и климатические условия не всегда одинаковые). Но и при самом внимательном учете особенностей отдельных районов есть на целине такие вопросы ведения хозяйства, в отношении которых требуются общие, обязательные агротехнические законы. И надо применять строжайшие меры к тем, кто их нарушает, кто неправильным отношением к делу плодит сорняки и сельскохозяйственных вредителей.

В чем же все-таки агротехническая «сердцевина» неудач, почему вместо наращивания урожаев наращивали сорняки?

В земледелии все взаимосвязано: правильная структура посевных площадей, подбор наиболее эффективных культур и сортов, сроки сева, подготовки семян, севообороты и т. д. Но котуркульские старожилы, объясняя причины неудач, на первый план выдвигают ошибки в способе обработки земли.

«Озоровали над землей!» — вот главный тезис всех разговоров.

В давние времена, еще до массовой распашки новых земель, председателем местного колхоза был Полиенко, ныне пенсионер. При нем землю пахали и, как все признают, нередко «захлебывались урожаями». А в последние годы, не считаясь с историей полей, широко практиковали поверхностную обработку почвы — «лущевку-ленивку». При этом не прочь были прикрываться авторитетом Терентия Мальцева: работаем, дескать, по-мальцевски. Скажем сразу, никакого даже и намека на мальцевскую систему здесь не было.

Не новый вопрос, но к нему стоит возвратиться. Доказано, что сибирские земли не требуют обязательной ежегодной отвальной пахоты. Наоборот, более уплотненные почвы при соответствующем агрокомплексе даже щедрее на урожай. Сколько раз мне самому приходилось наблюдать, казалось бы, парадоксальное явление: едешь осенью по грейдеру и с удивлением видишь, что обочины буйно поросли пшеницей. Водители машин теряют зерно при перевозках, а весной оно всходит и на славу вырастает на совершенно твердой почве. Больше того, однажды мне довелось ехать по «золотой аллее». Кромки грейдера от Кзылту до Ленинградска заросли подсолнухом. Это уже пешеходы — любители пощелкать семечки — произвели неплановый посев. А к осени и направо и налево поднялись стройные ряды подсолнечника.

Возможность получить хорошие хлеба без ежегодной отвальной пахоты в известной мере является преимуществом. Но при отрыве поверхностной обработки почвы от всего научного агрокомплекса, при шаблонном, механическом использовании этого преимущества оно превращается во зло, в вопиющее бракодельство: все увеличиваются запасы семян сорняков в почве, катастрофически падает урожайность. Так и получилось в Котуркуле.

Ранне- и среднеспелые сорта пшеницы, горох, ячмень и другие раннеспелые культуры здесь не применяли. С уборкой запаздывали, и поэтому зябь с осени не поднимали или пахали ее крайне мало, поздно и неправильно. А весной, когда сроки сева подпирали, бросались сеять по принципу: «лишь бы поскорей, да попроще». Поцарапают землю лущильниками.— и пошли в ход сеялки по засоренным полям. В итоге — чертополох, а не хлеб! Случалось, правда, что на отдельных сравнительно чистых участках получали хорошие результаты и по лущевке. Но в сельском хозяйстве, кроме результатов, видимых сегодня, есть и скрытые, которые скажутся завтра.

После зонального совещания в Целинограде, после XXII съезда КПСС во всем Целинном крае происходила переоценка возможностей. Мартовский Пленум ЦК КПСС внес полную ясность в вопрос о том, какой должна быть система земледелия и структура посевных площадей. Пути к изобилию указаны ясные, четкие. К сожалению, Всесоюзный (Шортандинский) научно-исследовательский институт зернового хозяйства еще не пустил глубоких корней в землю Целинного края, не разработал действительно научных рекомендаций для местных условий, которые бы заставили землю лучше работать на человека. Зато общеизвестен ценнейший опыт соседей с востока — Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Применение разработанной им пропашной системы земледелия с занятыми парами, кукурузой, сахарной свеклой, горохом и кормовыми бобами, несомненно, позволит уже в ближайшие годы резко поднять плодородие полей. Очень поучителен также их опыт борьбы с сорняками. В последние три года яровая пшеница, посеянная там по кукурузе, имела меньше сорняков, чем посеянная по чистому пару.

Большую ценность представляет и творческое использование опыта соседей с юго-запада — оренбуржцев. Земли крупнейшей в Целинном крае Кустанайской области на западе непосредственно граничат с оренбургскими. Посмотрим, сколько же в последние годы давали государству хлеба и те и другие. Оренбуржцы: в 1958 году — сто семь миллионов пудов вместо сто одного по плану, а в 1959 году — сто двадцать миллионов пудов вместо ста пяти, в 1960 году — сто семьдесят два миллиона пудов вместо ста двадцати! Даже в прошлом году, когда во многих районах этой области не выпало ни одной капли дождя, соседи заготовили свыше ста миллионов пудов хлеба! А более обширная Кустанайская область при сходных (особенно на западе) почвенно-климатических условиях, собрав в 1956 году двести семьдесят восемь миллионов пудов и пере-

выполнив свои обязательства, в последующее пятилетие из года в год снижает свои урожаи. В истекшем году кустанайцы особенно крепко подвели весь Целинный край — они дали только семьдесят миллионов пудов.

В большом комплексе причин, обусловивших такой контраст, одно из важных мест, несомненно, занимают различные способы обработки земли. Оренбуржцы успешно применяют раннюю (сразу вслед за уборкой), глубокую, выровненную зябь, позволяющую перейти на уплотненных почвах к применению поточного метода весеннего сева (рыхление с одновременным посевом и прикатыванием). У кустанайцев же зяби мало, и она поздняя, глыбисто-гребнистая, быстро пересыхающая, не способствующая своевременному прорастанию и истреблению сорняков. А весной — иссушающая землю весновспашка или, и того хуже, «лущевка-ленивка», без учета истории и состояния полей.

Ранняя, глубокая, выровненная зябь способствует прорастанию сорняков не только осенью, но и весной. Это облегчает их уничтожение, обеспечивает чистоту полей. Но, чтобы пахать зябь рано, надо иметь и скороспелые сорта, созревающие до осенних заморозков. Вновь и вновь возвращаемся к этой взаимозависимости: упор на ранние и среднеспелые сорта и культуры — узловой вопрос.

Хвалить еще рано, да и не за что, но все же знакомство с новым главным агрономом Котуркульского совхоза оставило у меня хорошее впечатление. Полный энергии тридцатилетний человек, он прежде трудился в Алтайском крае и Павлодарской области и, видимо, накопил уже значительный опыт работы на целине. Осенью облазил, исследовал каждую клетку, завел историю полей, добился завоза «некоторой толики» гербицидов, которые помогут побороть осот, молочай и другие незлаковые сорняки.

— Земли,— говорит он,— изумительные. Паши их отвально хоть на полметра — и все чернозем... Наверняка выправим положение...

Больше всего уверенность агронома основывается на том, что с осени удалось вспахать почти все земли. Причем с выровниванием, по-оренбургски.

И он и директор утверждают, что пахали не мельче, чем на двадцать пять сантиметров. Пришлось, говорят, как бы заново поднимать целину. Не обошлось и без ссор с некоторыми бригадами и трактористами. Не привыкли глубоко пахать, избалованы погоней за гектарами «мягкой пахоты».

«Заново поднимали целину!» — это характерно не только для Котуркуля. Из-за лущевки да мелкой пахоты на многих и старых и новых землях «плужная подошва» очень неглубока.

Котуркульцы надеются, что, подняв наверх нижние, чистые слои земли, они во многом уже спасутся от сорняков. По крайней мере на нынешний год. Так ли это — покажет время. Семена паразитов живучи. Много будет зависеть от борьбы с сорняками в весенний период, от правильного выбора сроков сева, от перехода к научной системе земледелия. Но при всех условиях глубоко вспаханная зябь — шаг вперед. Пора, пора и котуркульцам вставать в шеренгу настоящих борцов за изобилие.

3. Людей мало? Неверно!

Когда пытаешься разобраться, как в Котуркульском совхозе обстоят дела с кадрами, то на первых порах многое представляется даже неправдоподобным. Посудите сами: совхоз объединяет девять населенных пунктов с общим числом жителей около семи тысяч человек. Размеры хозяйства для здешних мест самые обычные: всех угодий — включая сюда выпаса, естественные сенокосы, озера, различную «неудобь» вроде сопок — сорок восемь тысяч гектаров. Распаханы из них двадцать четыре тысячи гектаров. Хлеба в прошлом году сдали государству лишь триста тысяч пудов вместо одного миллиона по плану. И все-таки для жатвы «понадобилась» помощь привозных людей: работали свыше двухсот механизаторов юга.

Еще большее изумление вызывает тот факт, что в хозяйстве, имеющем тысячу триста коров, даже зимой, то есть в сезон менее напряженный, не хватало доярок (полученные совхозом два доильных аппарата пока не используются).

— Людей маловато,— идут разговоры в совхозе.

Что за чертовщина! Размеры производственной деятельности хозяйства не столь уж велики, а значительная часть фонда заработной платы уходит на приглашение механизаторов со стороны: удовольствие это для совхоза сомнительное — каждому нужно уплатить командировочных по восемьдесят — сто рублей да сколько явных и скрытых убытков от обезлички машин. Чем же тогда занято местное семитысячное население? Из чего складываются семейные бюджеты, как обеспечивается «прокорм»?

Имеется немало причин текучести кадров на целине, и не на последнем месте — необеспеченность жильем. Но Котуркульский совхоз принадлежит к той группе совхозов (а их в крае не одна сотня), которые возникли на базе колхозов. В отличие от «новых» целинных, организованных в 1954—1955 годах, такие совхозы в обиходе Северного Казахстана называют «новейшими» или «колхозными совхозами». Эти хозяйства не менее остро, чем «чисто целинные», нуждаются в строительстве производственных зданий, но сравнительно лучше обеспечены жильем. Здесь кадры устойчивее.

На работу в Котуркульском совхозе оформились пока лишь тысяча двести человек. Но и тысяча двести рабочих даже при сегодняшнем, еще не механизированном животноводстве — это уже огромная армия.

Эффективность хозяйства определяется производством продуктов на сто гектаров пашни и других угодий, получением продукции на единицу вложенного труда и ее себестоимостью. Это основные критерии. Но в период формирования коммунистических общественных отношений, воспитания нового человека очень важно взять под неослабное внимание и такие показатели: как вовлечено население в общественное производство, насколько активно в нем участвует, как растет благосостояние каждой семьи и за счет каких источников. Это вопросы и хозяйственные и идеологические. Вряд ли нужно доказывать, что коммунистическая идеология формируется на базе самоотверженного труда в общественном производстве, а не на личном раздутом подсобном хозяйстве. Лицо человека в значительной мере определяется тем, откуда он получает средства к существованию.

Котуркуль как раз и заставляет поглубже разобраться в этом вопросе. Из обстоятельных бесед с бухгалтерами и многими старожилами выяснилось, что в среднем у работников совхоза доходы от участия в общественном труде (вместе с государственными пенсиями) составляют лишь тридцать — тридцать пять процентов семейного бюджета. Во многих и многих семьях главным источником доходов остаются приусадебный участок и «отходный промысел».

Может быть, плохим хозяйствованием оттолкнули людей от общественного хозяйства и загнали на личные огороды? Не без этого.

В Котуркуле есть своя специфика. В разной степени, но она характерна также для многих других казахстанских хозяйств. И в неурожайные годы трудодень в Котуркуле не был пустым: если даже план и не выполнен, то пятнадцать процентов к вывезенному государству хлебу все равно поступает в распределение на трудодни. До сих пор в некоторых семьях имеются запасы пшеницы еще от высокоурожайного 1956 года. Даже и нынче весной при переходе из колхоза в совхоз было роздано шестьсот центнеров зерна — старая задолженность. Так почему же и теперь — при государственной оплате труда — часть населения не проявляет особой заинтересованности в совхозной работе?

Тут, на мой взгляд, две главные причины. Первая — низкая техническая квалификация кадров. В совхозе «Степной» Кзылтуского района каждый второй — трудоспособный механизатор. Вот почему, имея всего пятьсот работников, здесь и в периоды «пик» сами справляются со всеми делами. А в Котуркуле? Вместе с директором и другими руководителями мы долго считали да пересчитывали механизаторов. Кое-кто готов был и прицепщиков и штурвальных зачислить в полноценные механизаторы. В конце концов пришли к неутешительному заключению: пока что в совхозе из каждых семи человек только один — механизатор!

Другая причина в том, что в нарушение советских законов здесь было создано раздолье для личного, индивидуального, в ущерб общественному.

Начну с характерной и важной детали. Мы уже привыкли считать, что личная лошаденка (вместе с сохой и деревянной бороной) давно и навсегда канула в вечность. Но ведь это Казахстан с его национально-бытовыми особенностями. Колхознику

здесь по действующему Уставу сельскохозяйственной артели, учитывающему национально-бытовые особенности, разрешается иметь в личном пользовании или корову или кумысницу-кобылицу. Однако многие держат и корову и лошадь. Причем, когда в Котуркуле зашла речь о том, что это незаконно, некоторые заявили: «Лучше корову продам, а лошадь вы мне оставьте». Это, несомненно, уловка: «Перебьюсь пока без коровы, а шум пройдет — опять буду и с лошадью и с коровой». Выявилась и такая зоотехническая новинка: подавляющее большинство собственных «кумысниц» при проверке оказались... меринами. В каждом дворе, где содержится такая «кумысница», имеется и бричка, и сани, и полный комплект сбруи. Больше того — и личный одноконный плужок! Одним словом, все для промысла.

Есть семьи, в которых общее поголовье скота вместе с овцами и козами достигает двадцати—тридцати голов! Такое стадо надо ведь прокормить! А приусадебные участки, которые в ряде случаев достигли восьмидесяти соток, а то и полного гектара? А какие в районе озера! Сами названия их прямо-таки просятся в уху: Щучинское, Карасье, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Май-Балык (Жирная Рыба)... Площадь озер занимает почти десятую часть района. Никто не возражает, конечно, против ловли рыбы удочкой для собственного удовольствия и потребления: уженье рыбы — это великолепный вид отдыха и спорта. Но в данном случае речь идет о хищническом промысле, о браконьерстве. В совхозах же нет ни одной ловецкой бригады или звена. Почему?

Помножим все сказанное на специфику курортного района, где и санатории, и областной пионерский лагерь, и сотни неорганизованных отдыхающих, и тысячи учащихся различных техникумов... Где-где, а уж здесь-то особенно велик спрос на свежие овощи, диетическое мясо, молоко, кумыс, рыбу, грибы, ягоды и на всякую прочую деревенскую витаминную снедь.

Не будем сгущать краски. За последний год кое-что уже изменилось. Доводятся до законных норм количество скота, размеры приусадебных участков, и — что особенно важно — в районе создан специальный овощной совхоз. Но это только начало. Разве непосильно тому же Котуркульскому совхозу выращивать для сотрудников картофель, овощи, развить птицеводство, взять в свои руки рыбный промысел? Ведь речь идет о самых простых вещах, и пример есть. Вот как поступают соседи. В передовом колхозе Чкаловского района «Звезда коммуны» создано общественное овощеводство. И что же? Колхозники, которых хозяйство полностью снабдило дешевыми овощами, сами пришли в правление и попросили кто уменьшить, а кто и совсем забрать от них приусадебные участки. Опять-таки припоминается прошлогодняя осень в молодом Ленинградском районе. Заглянешь, бывало, на кухню полевого стана: там и редиска, и огурчики, и обилие овощей для борща, и компот из совхозных яблок. Совхоз имени Менжинского продавал населению нежинские огурцы в неограниченном количестве по десять копеек за килограмм. Дешевой свежей капустой совхозы района заполнили не только местный, но и городской кокчетавский рынок...

В повестке дня — все более полный охват государственным или общественным колхозным производством всех отраслей сельского хозяйства, удовлетворение личных потребностей из продукции экономически выгодного общественного производства.

Это относится и к снабжению населения кониной и кумысом. Конина — вкусное, питательное и дешевое мясо. Кумыс — целебный напиток, излюбленный у казаха. Вообще развитие дешевого табунного коневодства — жизненно важная проблема для Казахстана. Н. С. Хрущев указывал в своей речи в Целинограде: «Считаю, что конского мяса надо производить столько, сколько может выдержать ваша степь».

Почему бы каждому совхозу, в том числе и Котуркульскому, где есть и казахское население, не завести по крупной коневодческой ферме с культурным, гигиеническим производством кумыса?

4. Помнить о кадрах

Ветеринарно-зоотехнический техникум создан в Котуркуле еще в 1948 году. Четыреста его студентов да двести учащихся краткосрочных курсов хотят получить толковую производственную практику. Такая армия молодежи горы своротит! Но будущие

специалисты самого крупного и механизированного животноводства, которое мы создаем, не получают практических навыков. Можно, оказывается, и на селе иметь сельскохозяйственное учебное заведение, оторванное от земли. Не случайно здесь называют техникум «начетническим». И не без оснований. Приведу лишь один пример. В край все больше и больше поступает доильных агрегатов. Придет время — и ручная дойка навсегда отойдет в прошлое. А будущие специалисты среднего звена, которых готовит учебное заведение, проходят практику, но не видят в натуре даже доильного аппарата типа «елочки». Досконально они знакомы только с подойником.

Сказав «а», надо говорить и «б». Четырнадцать лет существует это учебное заведение, но нет у него ни учебно-материальной базы, ни фермы, ни приспособленных классных помещений. Кто виноват? Очевидно, хозяева. Теперь техникум в ведении Краевого управления производства и заготовок сельхозпродуктов, оно и должно позаботиться о нем.

Возникает, однако, вопрос: не целесообразно ли такого рода учебные заведения придать хозяйствам, на территории которых они расположены? Пусть будут совхозы-техникумы. В Котуркуле, например, и следовало бы прежде всего создать образцовую механизированную ферму, обслуживание которой под наблюдением преподавателей поручить будущим специалистам. Мне представляется, что от этого выиграют и техникум и совхозное дело.

— Лучшими учениками,— рассказывает директор техникума В. К. Ким,— являются у нас ребята и девушки, пришедшие с ферм: Лера Чиж из Красноармейского района, Маруся Колбик из Арык-Балыкского, лучшая доярка Чистопольского совхоза Зина Чернышева... Это понятливые, любящие животноводство люди. Всех бы таких!..

Таких и набирать. Как же иначе! Но не для всех «иногородних» посильны частные квартиры. Именно поэтому непропорционально много учащихся-котуркульцев. В том числе и таких, кто уезжать из станицы не собирается. Котуркуль оказался станицей с... зоотехническим образованием. Чего бы плохого! Но здесь ветеринары — буфетчицы, зоотехники — продавцы в магазинах. Много домохозяек с зоотехническим образованием. Начальник почтового отделения Толмачев — зоотехник, секретарь-машинистка у директора совхоза Нина Рунковская — тоже, оказывается, зоотехник...

Приезжие учащиеся размещаются по частным квартирам, причем до последнего времени техникум доплачивал домохозяевам за каждого квартиранта по три рубля в месяц. Порядочная сумма доплат набралась за четырнадцать лет: хватило бы построить не одно общежитие (пока же нет ни одного).

Разумеется, платят за квартиру и сами учащиеся. В одной семье, где я побывал, квартируют четыре девушки. Они платят по семи рублей в месяц. К тому же и «полы вымоют и дровишек попилят»,— пояснила хозяйка. У нее свои выгоды. Девушки же очень недовольны: «Живем скученно, у хозяина частые вечеринки-пьянки, трудно учить уроки...»

В Целинном крае идет борьба за то, чтобы каждый труженик приобрел профессию механизатора широкого профиля. Развернулось прекрасное движение женщин под лозунгом: «Муж — комбайнер, жена — шофер». Это для того, чтобы на время жатвы обходиться без привозных механизаторов. В Рузаевском районе уже около семисот домохозяек учится на курсах шоферов. А в Котуркуле старожилы говорят: «С тех пор, как появился техникум, многие женщины перестали интересоваться работой на производстве. Зарабатывают за счет квартирантов».

Одна из главных причин отставания района — отрыв идеологической работы от насущных задач подъема хозяйства. Как, например, проходили здесь теоретические конференции? Картина примерно была такой. Докладчику, в качестве которого часто выступал первый секретарь райкома, красноречия не занимать. С видом напыщенным, ни разу не улыбнувшись — каждое слово не дешевле червонца,— повторяет он всеми уже не раз прочитанное, приводит длинные цитаты. Содокладчики, которыми обычно бывали руководители колхозов и совхозов, как это говорится, «обильно привлекали местный материал». Формально все было соблюдено: за полчаса до содоклада счетовод наскоро «подбивал» «цифровые данные», и они включались в стандартнейшие выступления: «Недостатки есть, но заверяем...»

А нет, чтобы кто-нибудь рассказал, как он нынче откажется от «привозных», как высокопроизводительно, круглогодично использует местные кадры, перестроит структуру посевных площадей, обеспечит более полный охват общественным производством различных отраслей сельского хозяйства и т. д. Да, главное — страстно и убедительно показать саму методику дела, лучший опыт. А если бы еще на выборку обсудить и личные бюджеты отдельных семей — не в порядке, конечно, дознания, а в стиле самой задушевной беседы о животрепещущих проблемах работы и быта? Ничего похожего. И в теоретических конференциях, как и во всем стиле руководства, не было именно большевистского горения и целенаправленности.

Вот один из результатов отсутствия вдохновенной и кропотливой воспитательной работы в массах, забвения настоящей научно-атеистической пропаганды. Пока проводились такие вот начетнические конференции да читались для неверующих лекции на антирелигиозные темы, церковники отмахали новую церковь.

Многие недоумевали, а случалось, и возражали по поводу начетнической, оторванной от жизни пропаганды:

— Где же действенность, почему отдачи не видно?

Но замечания наталкивались на высокомерно-презрительную отповедь:

— Вульгаризаторы! Упрощенцы! Эмпирики! Результаты с годами сказываются.

Прошли, однако, и год, и два, и пять лет, а неотложные, назревшие и перезревшие вопросы, определяющие отставание района, так и не решались. Одной из причин этого был отрыв пропаганды от жизни.

5. О чудесном юбилее чудесного человека

Знаю, некоторые щучинцы могут обидеться: слишком, дескать, много в заметках теневых сторон.

А можно ли двигаться дальше, не добравшись до корней ошибок, не устранив их? После XXII съезда КПСС нельзя работать по-прежнему, нельзя терпеть отставания ни одного участка!

Но, разумеется, и в запушенном Щучинском районе есть замечательные люди, указывающие дорогу в светлое завтра. Обо всех не расскажу — их много. Но о комбайнере Василии Петровиче Ярошенко, о человеке, воплотившем в себе лучшие черты человека будущего, рассказать нужно непременно. Тем более что он справил недавно очень примечательный юбилей — двадцать лет работы на одной и той же машине. И он не просто проработал на этом комбайне, а дал на нем наивысшую производительность, доселе невиданную в Казахстане.

— Если бы все работали с такой производительностью, как Ярошенко, то мы скорее пришли бы к коммунизму! — сказал мне молодой щучинский инженер Е. З. Айтхожин.

Не переборщил ли инженер в оценке?

Судите сами. Получив в 1941 году — в грозный год нашествия фашистских полчищ на нашу родину — комбайн С-1, Василий Петрович убрал на нем за два десятилетия 22 429 гектаров, намолотил миллион триста тысяч пудов зерна! Он убирал в среднем за сезон больше тысячи гектаров, выполняя ежегодно по три сезонных нормы. Если бы каждый комбайнер давал на жатве хотя бы половину того, что Ярошенко, то разве потребовалась бы щучинцам помощь привозных людей? Куда там! Сами бы помогали соседям.

Сопоставим трудовой подвиг этого комбайнера с преступно-небрежным отношением к технике во многих хозяйствах Целинного края. Чтобы выполнить тот объем работ, для которого Василию Ярошенко хватило одного комбайна, в других хозяйствах края за последние годы в среднем «израсходовали» по пять-шесть более современных машин — не меньше! Желающий удостовериться пусть заглянет на задворки усадеб многих совхозов и колхозов — там целые кладбища преждевременно выведенных из строя машин. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за

преступно-небрежное использование или хранение сельскохозяйственной техники», несомненно, имеет самое прямое отношение к Целинному краю.

Высказывались сомнения: «А может быть, на комбайне у Ярошенко за эти годы не один раз сменили все узлы и детали, может быть, одна только рама и осталась». Нет! Василий Ярошенко сам ремонтировал свою машину, и не только ремонтировал, но и совершенствовал, что делает ему честь. На своем «старике» он собственными руками и по своей догадке ввел такие новшества, которые затем появлялись на машинах более поздних выпусков. И когда прослуживший двадцать лет комбайн прошлой зимой устанавливался — как памятник трудовой славы и наглядный пример для других — на пьедестал во дворе Щучинского училища механизации сельского хозяйства, то при проверке оказалось, что все основные узлы, включая моторную часть и радиатор, проработали два десятилетия без замены!

После установки машины на помосте завели мотор, но даже опытное ухо специалистов не уловило каких-либо шероховатостей в его работе. Глянули на заводскую табличку — удивились: мотор выпуска 1940 года! Общее заключение было единодушным: «Машина могла бы «трудиться» еще сезон, если не два...» Такова износоустойчивость советской машины в руках мастера при правильном, любовном обращении с ней!

Мне не раз приходилось встречаться с Василием Петровичем на работе. Но в поле с ним не поговоришь. Спустится с площадки на конце загонки перепачканный, с прилипшей к лицу полóвой сухощавый человек, скажет два-три слова, я сам нетерпеливо оглядываюсь на машину. Механизатор в трудовом азарте, разве можно отвлекать его!

А тут мне повезло: наконец-то уговорили Ярошенко выступить с лекцией о своем опыте в Щучинской школе механизации сельского хозяйства, и я с удовольствием прослушал незатейливый, но очень умный рассказ. А после собрания оказался в гостях у новичка-лектора.

— Ну как? — озабоченно спрашивает хозяйка дома Матрена Акимовна — пожилая кареглазая женщина в платочке.— Как? — ставя на стол поджаренное свиное сало, переспрашивает она, выдавая свое волнение.

Догадываюсь, что беспокойное «как» относится к лекции.

— Хорошо,— просто отвечает Ярошенко.— Сам не ожидал...

Дочь Лена недоверчиво улыбнулась: так ли? И ей и матери трудно представить, как он вышел на трибуну, как говорил. Они знают, что Василий Петрович отмахивался от этого мудреного дела. «Что вы, что вы, я ж малограмотный, старый! — говорил он и, перемешивая, как многие жители казачьих станиц, русскую речь с украинской, добавлял: — Бо скажут, что Ярошенко хвастается...»

А теперь возвратился из училища довольный. Ни разу не сбился, хотя составленную накануне при помощи Лены записку бросил в самом начале доклада. Без нее получилось проще, доходчивей, убедительней.

Механизаторами вступают в трудовую жизнь и дети Василия Петровича: старший, Сергей, выученик отца, работал комбайнером и, как рассказывают, иногда даже обгонял своего родителя, о чем в стенгазете поместили заметку под заголовком: «Батька, не отставай!»

— Что правда, то правда: иногда сынок меня обкашивал...— подтверждает Василий Петрович

Возвратившись после войны домой, Сергей окончил технические курсы и «пошел по тракторному делу». Сейчас работает механиком в соседнем хозяйстве.

Лена, оказывается, тоже без пяти минут механизатор. Заканчивает школу и одновременно учится на курсах автомобилистов. С нетерпением ждет, когда выдадут права. Каждую уборочную проводит она за штурвалом комбайна, помогая отцу.

— Страшновато было поначалу, руки как деревянные,— рассказывает Лена. — Надо поднять хедер, а ты его опустишь — земли прихватишь. Надо опустить, а ты его поднимешь — колосья пропускает. Обошлось! Мой папка кого не научит...

Со времени первого знакомства прошло три года. Уже не смущается, как в первый раз, Василий Петрович, когда его просят рассказать о своем опыте. Он теперь заслуженный механизатор Казахской ССР, депутат Верховного Совета республики. Но все такой же — простой, скромный. Всю свою жизнь провел Ярошенко в деревне, но скорее

похож на какого-нибудь ветерана с «Красного путиловца» или «Красного Сормова» — человека с огромным рабочим стажем.

Что меня привело в этот раз в чистенький саманный домик Василия Петровича, расположенный на углу двух улиц, против высокой ограды Щучинского ремонтного завода? Главным образом — желание поговорить о щучинских делах. Почему бы не поразмышлять вместе с лучшим механизатором Целинного края о правильном использовании техники на целине, о великих задачах, поставленных XXII съездом партии? Беседуя с ним, я невольно подумал: «Почему ему не присвоено звание Героя Социалистического Труда?.» Почему в 1956 году, когда происходило представление к высокому званию, некоторые лучшие по итогам года получили Золотую Звезду, а Ярошенко не был представлен? Не будем умалять заслуги представленных к награждению механизаторов: как правило, это очень достойные люди. Но ни один из них не работал на одной и той же машине свыше трех-пяти лет. Вот и получается, что архиважный для целины фактор — сохранность, продление жизни машин — мы нередко недооцениваем.

В этой связи возникает вопрос: а не следует ли вообще изменить порядок выдвижения кандидатов на правительственные награды? Конечно, сезонная выработка — показатель важный. Но, когда речь идет о наградах и званиях пожизненных, можно ли во главу угла ставить заслугу эпизодическую и, может быть, случайную, вызванную подчас не столько усилиями работника, сколько стечением благоприятных обстоятельств? Мне представляется, что правильней было бы выдвигать людей к высоким моральным поощрениям не по итогам одного сезона, а с учетом всего комплекса произведенных работ и тех творческих усилий, которые вкладывает каждый в наше общее дело.

Что касается представления механизаторов и других работников сельского хозяйства к присвоению высокого звания Героя Социалистического Труда, то, по-моему, лучше это делать после предварительного публичного обсуждения на собраниях и в печати. Помимо всего прочего, это будет прекрасным способом пропаганды передового опыта.

При всех условиях поощрять за сезонную и другую эпизодическую выработку без проверки состояния машины и без учета того, какой срок ее эксплуатирует механизатор, по-моему, никак нельзя.

В целом у нас прекрасные кадры механизаторов, но мы их часто сами развращаем такими «порядками», при которых не сразу узнаешь, кто на этой машине работал последним. Бесконечные, бесконтрольные и в большинстве случаев ничем не оправданные переброски людей с машины на машину плодят безответственность и рвачество. Помнится, в бывшей Комсактинской МТС мне рассказывали: «Двери от иных механизаторов в конторе не закрываются: каждый сезон ходят и ходят, выпрашивая себе новую машину. И обязательно, чтобы самой последней марки... А получив, пускают на износ...»

— В чем все-таки главная причина того, что ваша машина хорошо и долго работала? — спрашиваю Ярошенко.

— В том,— отвечает,— что я решил: это моя машина. Мне на ней не один год работать... В ней моя честь.

Хорошо сказано: честь. Да, пора покончить с обезличкой в использовании машин, надо установить материальную ответственность механизаторов за состояние закрепленной за ними техники. Нужны специальные поощрения за долголетнюю высокопроизводительную работу на одном и том же тракторе или комбайне, за усовершенствование и продление его жизни.

6. Самое главное

Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в течение десяти лет не менее чем в два с половиной раза, а за двадцать лет — в пять-шесть раз,— записано в Программе партии. «Основой повышения производительности сельскохозяйственного труда,— говорится в ней,— послужат дальнейшая механизация сельского хозяйства, применение комплексной механизации и использование средств автоматики,

внедрение систем машин с высокими технико-экономическими показателями, отвечающих условиям каждой зоны». В этом одно из непременных условий достижения рубежей коммунизма.

Что касается земель Целинного края, то не позднее чем через пять лет они будут обрабатываться, как правило, стопятидесяти- и двухсотсильными тракторами. Недалеко то время, когда исчезнут многие теперешние сельскохозяйственные профессии. Замечательную перспективу открывает изобретение павлодарского механизатора Ивана Логинова. Его автомат позволяет управлять тракторами на расстоянии. Пахота становится подлинно инженерным делом, а пахарь — инженером. Отойдет в прошлое и самая распространенная профессия — тракториста: обработка земли будет автоматизирована.

Но все это наступит тем быстрее, чем эффективней будем сегодня использовать действующие машины, чем лучше будем овладевать новой техникой и совершенствовать старую. Настойчивую наступательную борьбу за технический прогресс нам нужно помножить на исключительную бережливость и правильное использование всех действующих машин. В великой хартии коммунизма — в новой Программе партии — особо подчеркнуто, что «большое значение имеет бережное отношение к сельскохозяйственным машинам, их высокопроизводительное использование».

Возьмем и частный вопрос о моторе. На XXII съезде КПСС первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгин говорил: «Мы должны поставить как одну из важнейших народнохозяйственных задач — повысить срок службы моторов и дизелей... Это даст огромную экономию в народном хозяйстве». Он предъявил требование к промышленности работать так, «чтобы каждая новая серия выпускаемых дизелей и моторов отличалась более длительным сроком службы».

Усилия работников промышленности должны сочетаться с усилиями тех, кому машины доверены. Если каждый механизатор будет по-ярошенковски любовно беречь машину, как далеко мы шагнем!

— А знаете,— горестно сказал Василий Петрович во время нашей недавней беседы,— мой-то мотор уже разморозили...

— Как так?!

— Да так. Я машину сдал... Покрасили. Поставили на помост. Для наглядности завели. Перед этим, конечно, воду налили... И с тех пор никто не догадался спустить ее. Наступили заморозки и... капут...

Вот как у нас иногда получается! Да еще где? В училище механизации сельского хозяйства!

Что это? Обезличка? Безответственность? И то и другое. И кроме того — низкая техническая культура. Есть еще у нас люди, которые со сложной машиной обращаются, как с ветхозаветной арбой...

Поучительны рассказы советских людей, побывавших в Америке. Наши основные сельхозмашины, говорят они, не хуже американских. Общеизвестно, что средняя выработка на трактор у нас выше, чем у них. Этому помогают и сами масштабы социалистических хозяйств. Но те же люди резко подчеркивают, что к технике американские фермеры и плантаторы относятся куда бережливее, чем у нас, механизация у них более комплексная и производительность труда выше.

Сочетать техническое перевооружение сельского хозяйства с наиболее прогрессивными формами и методами организации труда и производства, со всемерным повышением культурно-технического уровня работников — в этом теперь задача. Если в Щучинском районе среди рабочих совхоза пока только пятый-шестой рабочий — механизатор, да и то главным образом узкой квалификации, то разве не в этом одна из основных причин отставания! Хозяйства базируются на тракторе, комбайне, электромоторе, автомобиле, а подавляющая часть трудоспособного населения этого района, в том числе и часть молодежи, хорошо умеет обращаться только с лопатой, граблями да вилами. Куда же это годится! Раньше в деревне высмеивали парня, не умевшего запрячь лошадь. А теперь — какой же это работник совхоза или колхоза, если не научился обращаться с машиной?

Целине особенно необходимо всеобщее техническое обучение и образование.

Это относится и к некоторым руководителям. Выезжает, скажем, директор совхоза или главный инженер на поля и не сам ведет машину, а пользуется услугами шофера. Посмотришь и задумаешься: поражаем весь мир прогрессом науки и техники, полетами в космос, а иной главный инженер крупнейшей механизированной советской плантации не умеет управлять автомашиной! Это от «белоручества», от важничанья, от привычки «руководить» с портфелем под мышкой. Пора отказаться от этого.

Вернемся, однако, к беседе со знатным механизатором Ярошенко.

— Земель лучше наших, щучинских, по всей области нет,— говорит Василий Петрович,— а район все в отсталых... Но нынешний год, ожидаю, лучше будет — хорошо с осени вспахали. Впрочем, я не про все знаю. Что не могу, то не скажу, что знаю, то скажу. Я лучше про машины да людей. Машин у нас богато. Пожалуй, даже лишку. Но, смотрю, иные работники больно избаловались: не смазывают, ничего не делают. Из приезжих встречаются и такие: «Я сам,— говорит,— смазывать не буду, давайте мне помощника!» Какие господа завелись!..

Многие щучинские механизаторы, как и Ярошенко, получили новые комбайны.

— И вот,— продолжает он,— некоторые поставили машины зачем-то у своих домов. Может быть, чтобы сподручней ухаживать за ними? Но за многие месяцы нерадивые хозяева так к машинам ни разу и не подошли. А выехали в поле — чертыхаются. Смотрю: у того какая-нибудь вилюшка, у другого перекос... Да разве так можно!

Свой новенький комбайн СК-3 Ярошенко хвалит:

— Очень приглянулась самоходка. Но поначалу у всех машин хедера были невыровненные: левая сторона бороздит по земле, правая идет поверху. Укоротил я сантиметра на четыре подвеску с левой стороны. Вслед за мной и другие так же сделали. Пошло ровно. Подобрал шестьсот пятьдесят гектаров валков. И другую машину не хочу, а мне уже говорят: «На будущий год дадим еще более современную — СК-4». Конечно, интересно было бы поработать на такой — у ней десять метров захват. А кому моя пойдет? И правильно ли это?

«Правильно ли?» В этом вопросе есть свой смысл. Дело ведь не только в том, что на целине все еще много «привозных» механизаторов, «людей на сезон», но и в том, что установилось, на первый взгляд, хорошее правило — новую машину доверять только старым, опытным работникам. Подкрепление же новой техникой получаем каждый год. Вот и идет карусель: «Год проработал, давай новичку, получай новую». А новичок оскорблен недоверием, он уже заранее «зуб» против своей машины имеет: «Дали, дескать, мне поношенную, так и спрашивайте, как за старую». Видимо, правильно будет доверять новые машины не только «старикам», а и наиболее подготовленным, старательным молодым работникам. Но сдавать по акту: «Получил — считай как навечно, отвечай головой..» При этом надо лучше организовать шефство опытных механизаторов над новичками, постоянно учить молодых, тогда не придется каждый сезон менять хозяев машины!

В Щучинске и окрестных совхозах свыше пятидесяти человек — прямые выученики Василия Петровича. Еще больше у него последователей. Борцов за производительное и долголетнее использование техники так и называют теперь в Целинном крае «ярошенковцы».

Василий Петрович уверяет, что плохих помощников ему не попадалось:

— Все были хорошие и понятливые.

А бывшие и теперешние ученики его в свою очередь не нахвалятся учителем.

— Я к нему как привязанный,— говорит бригадир комсомольско-молодежной бригады К. Н. Капитонов.— Душа у этого человека совершенно бескорыстная. Последним поделится. Товарищу в беде всегда поможет... Был у меня случай: не заладилось дело с барабаном — и понять ничего не могу. Побежал к дяде Васе: «Выручи». Повозился Василий Петрович вместе со мной часа два и, пока дело не наладил, не ушел. Помощником у него в ту пору был еще совсем зеленый парень — второй день работал. Пока возился со мной — его машина стояла...

Возникает вопрос: правильно ли поступил Ярошенко? Лично он, конечно, проиграл, но общее дело выиграло: вместо одного комбайна стали работать два.

Материальная заинтересованность была и будет, конечно, важнейшим рычагом в нашем строительстве. Но личный интерес у нас все больше и больше совпадает с государственным. Коммунистическое уже есть и в сегодняшнем. И с каждым днем его будет все больше и больше. Для Ярошенко общественный труд уже сейчас — жизненная потребность, творчество, наслаждение. Что касается заработка, то он у него высокий; Василий Петрович в нем уверен и не беспокоится. Был даже такой случай: бухгалтерия по ошибке начислила ему вдвое меньше, чем следовало. Речь шла о солидной сумме — что-то около пятисот рублей новыми деньгами. Ярошенко получил и ничего не сказал. Через полгода ошибку нашли, вызвали дополучить.

Передовых людей в районе немало. Чем больше заботы будут проявлять руководители района о подтягивании всех тружеников полей и ферм к уровню лучших, тем скорей перестанет он быть отстающим.

В тридцатых годах Щучинский район считался первым по урожайности во всем Казахстане. Район чудесной природы, жемчужина Казахстана, будет и сейчас первым и по хозяйственным успехам. Переломным должен стать уже нынешний год.

Мартовский Пленум Центрального Комитета партии наметил поистине революционные меры для крутого подъема всех отраслей сельского хозяйства. Новые сельскохозяйственные органы, которые создаются по решению Пленума, помогут повысить уровень руководства сельским хозяйством. Создано и Щучинское совхозное управление, объединяющее хозяйства двух районов — Щучинского и Энбекшильдерского. Наведение порядка в совхозном производстве началось. Сошлемся хотя бы на то, что сев нынешнего года проводится исключительно местными кадрами, без привлечения людей на сезон из других республик. За зиму было подготовлено тысяча восемьсот своих механизаторов. Наконец-то! Да если еще все механизаторы воспримут опыт В. П. Ярошенко — вот будет взлет производительности труда!

Но и отжившего, тормозящего движение вперед еще немало в Щучинском районе. Коммунистическое наступление должно быть всесторонним.

Путь к подъему и изобилию указан: это программа интенсивного развития сельского хозяйства, изложенная в докладе Н. С. Хрущева и в постановлении мартовского Пленума ЦК КПСС.

Кокчетав.

К 50-ЛЕТИЮ «ПРАВДЫ»

Горячий привет ленинской «Правде» в славный день ее пятидесятилетия!

Полвека «Правды» — это полвека истории победоносного коммунистического движения, подготовки и победы Великого Октября, созидания социализма, строительства коммунизма. Центральный орган Коммунистической партии Советского Союза, созданный Владимиром Ильичем Лениным,— газета «Правда» была с самых первых дней своего существования активным участником борьбы партии и ее исторических побед. Со страниц «Правды» партия говорит с народом и вдохновляет его на бессмертные подвиги.

Заботливое руководство партии, осуществляемое в выступлениях «Правды», обращенных к писателям, открывало перед советской литературой на всех этапах ее развития новые горизонты. Вся наша печать воспитана «Правдой», ее славным примером.

Редакция и читатели «Нового мира», сердечно приветствуя родную «Правду» с полувековым юбилеем, желают ей новых успехов в общей борьбе за победу коммунизма.

А. ТУЧИНА, Б. ЯКОВЛЕВ

★

ЛЕНИН ЧИТАЕТ «ПРАВДУ»...

(1917—1923)

Итак, «Правде» — полвека. На пять лет старше она нашего государства. Ее почти шестнадцать тысяч номеров — это ежедневная летопись истории советского народа.

«Правде» уже посвящена обширная научная литература. Она освещает преимущественно деятельность газеты в 1912—1914 и 1917 годах, когда ее главным редактором был Ленин. Однако самой тесной оставалась постоянная связь Владимира Ильича с центральным органом партии и в послеоктябрьский период. Ленин не мог уже тогда уделять столько сил «Правде», как прежде. Но его внимание к «Правде», забота о ней оставались неизменными.

С 26 октября 1917 года, когда «Правда» опубликовала ленинское обращение «К гражданам России!», и до 30 мая 1923 года, когда на страницах газеты в последний раз появилась прижизненная ленинская статья «О нашей революции», Владимир Ильич написал для нее около ста тридцати работ. И среди них статьи: «О революционной фразе», «Странное и чудовищное», «Очередные задачи Советской власти», «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности», «Пророческие слова», «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата», «О работе Наркомпроса», «Об едином хозяйственном плане», «О кооперации», «Лучше меньше, да лучше»...

Все послеоктябрьские статьи Ленина вошли в четыре издания его Сочинений, множество раз воспроизводились в тематических сборниках его трудов. Менее известны, однако, другие ленинские документы, связанные с «Правдой»: письма редакции и сотрудникам, отклики на выступления газеты, отзывы о них — и одобрительные и критические, заметки на полях отдельных номеров. Не вошедшие, как правило, в Сочинения Владимира Ильича, документы эти разбросаны по Ленинским сборникам и многим другим аналогичным изданиям, не получившим широкого распространения. Еще менее известны современному читателю материалы самой «Правды» тех лет. В отличие от 1912—1914 и 1917 годов номера послеоктябрьской «Правды» не переиздавались и даже не все еще собраны в наших книгохранилищах. Богатейшее из

них — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина — до сих пор не располагает полным комплектом «Правды» 1917—1918 годов. Сохранившиеся же номера в значительной степени повреждены, оборваны и через несколько лет могут выйти из строя.

Давно пора скомплектовать, сфотографировать и микрофильмировать эти бесценные исторические документы! Ведь за сбитым, «слепым», порой неразличимым без лупы шрифтом тогдашней «Правды», оттиснутым тусклой, а местами совсем уже выцветшей краской, на пожелтевшей, а то и просто-напросто оберточной бумаге, вечно клокочет бессмертное сердце революции.

Страницы послеоктябрьской «Правды» от 7 ноября 1917 года до наших дней — боевой походный дневник народа — строителя коммунизма. Перечитаем же лишь немногие, первые страницы этого дневника. Их в те годы не раз перелистывал Ленин.

Рабочий день Владимира Ильича неизменно начинался тогда чтением «Правды». Сохранившиеся документы показывают, что его интересовали самые разнообразные материалы газеты — от передовой или публицистической статьи до хроникерской заметки, от очерка или фельетона до телеграфной информации или статистической сводки.

Знаменитый фотоснимок, запечатлевший Ленина, читающего «Правду», размножен в миллионах репродукций. П. А. Оцуп, рассказывая об истории этой фотографии, вспоминает, что в ответ на просьбу разрешить ему сделать несколько снимков Владимир Ильич заявил:

— Снимки исторических событий для будущих поколений нужнее и интереснее, чем портреты...

Но фотограф настаивал, и Ленин, наконец, согласился, попросив только «проделать все поскорее». Полагая, что Оцупу необходимо время на подготовку к съемке тогдашним громоздким и неуклюжим аппаратом, Владимир Ильич углубился в только что доставленную сегодняшнюю «Правду». Но аппарат уже был заряжен! И Оцуп незаметно, без предупреждения, трижды сфотографировал Владимира Ильича за чтением «Правды». Лишь несколько минут спустя, оторвавшись от газеты, Ленин решил, что съемка только еще начинается.

Когда Оцуп принес в Кремль готовые фотографии и речь зашла о снимках с «Правдой», Владимир Ильич удивленно спросил:

— Когда же я снимался с газетой?

Оцуп рассказал, как было дело.

— Опасный же вы народ, фотографы! — пошутил Владимир Ильич.— Ну, сюрприз сюрпризом!..

Такова история этого снимка. Если всмотреться в него, можно определить, что Ленин читает первую страницу номера за 16 октября 1918 года.

Этот номер открывало объявление «Коммунистического клуба имени Ленина», устраивающего «целый ряд коммунистических вечеров», посвященных зарубежным борцам против империализма. Передовица, озаглавленная «От национальной к социалистической революции», повествовала об освободительной борьбе трудящихся Австро-Венгрии. На той же странице напечатана публицистическая статья Н. Осинского «Лавировать, маневрировать, отступать, выигрывать время». Автор еще одной статьи, помещенной на первой странице, Н. Батурин подчеркивал: «Советская власть стоит тверже, чем какая бы то ни было из буржуазных властей Европы». Под рубрикой «Вести с фронта» была напечатана корреспонденция Л. П.— о действиях 5-й армии, сражавшейся тогда под Казанью...

«ИХ ПЛАН»

Страницы послеоктябрьской «Правды» концентрируют наиболее значительные события современности. «Правда» для Ленина подобна политической карте мира. Он мысленно прокладывает по ней «линии» стратегии и тактики рабочего класса.

«Их план» — озаглавлена 24 декабря 1917 года передовая статья «Правды». Вслед за подзаголовком «Союзники предают Польшу, Литву, Курляндию и Румынию» в ней говорится: «Ллойд-Джордж высказался в том смысле, что пусть-де предварительно Россия определит свою будущую границу с Германией и Австро-Венгрией, а потом уже придет черед переговоров об общем мире. Официальные публицисты стран Согласия высказываются с большей или меньшей откровенностью в том смысле, что без России союзникам будет выгоднее вести мирные переговоры»...

«Правда» отмечает далее, что союзники «считают более выгодным предоставить Германии предварительно ликвидировать свои счеты с Россией» или — что поточнее! — «вознаградить себя за счет России». На следующий день, намечая «темы для разработки» в своем «Дневнике публициста», Ленин дополнительно приписывает к одной из наиболее актуальных международно-политических тем: «22 bis: «Правда» от 24:XII: «Их план». Исторические слова Ллойд-Джорджа. «На счет России»...

«Правда» не раз давала Ленину материал для выступлений и публицистических обобщений.

ЛЕТОПИСЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

Послеоктябрьская «Правда» — летописец важнейших политических событий, особенно бурных в ту революционную пору. 29 марта 1918 года «Правда» публикует заявление М. П. Богаевского — бывшего «премьера» Донского «объединенного войскового правительства», адресованное «партизанам, действующим в Сальском округе». Бывший «товарищ наказного атамана» объявляет борьбу с большевизмом политической ошибкой «по той причине, что симпатии широких народных масс бесповоротно склонились к этому учению, отвечающему их чаяниям».

— За последние два месяца,— признается Богаевский,— я много передумал и жестоко в душе выстрадал все происходящее на Руси, на Дону, и вижу, что вам пришлось расплачиваться за политические ошибки других, и это ужасно...

Четвертого июня Ленин ссылается на это заявление в заключительном слове по докладу о борьбе с голодом на объединенном заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Московского Совета и профессиональных союзов. Как говорит тогда Владимир Ильич, «после ряда поражений буржуазии и ее сторонников, нам приходится слышать такие признания, как, например, Богаевского, имевшего на Дону лучшую в России почву для контрреволюции, который также признал, что большинство народа против них,— а потому никакие подкопы буржуазии без иностранных штыков им не помогут».

Двадцать первого и двадцать пятого июня того же 1918 года «Правда» публикует «Заявление о солидарности с большевиками во второй Вюртембергской палате». Здесь 12 мая выступает депутат ландтага спартаковец тов. Хошка — рабочий-текстильщик. Вопреки обструкции правых депутатов оратор-пролетарий заявляет: «Мы гордимся нашими заграничными друзьями, большевиками, и радуемся им... Мы восторгаемся их решительностью и высказываем благодарность им, этим передовым революционным борцам, за их борьбу, из которой вышла победительницей первая пролетарская революция...»

По оценке тов. Хошки, революционной деятельностью, осуществляемой под руководством Ленина в России, мог бы гордиться любой известный истории реформатор. Политический прогресс, порожденный Октябрьской революцией, по мнению оратора, «бесконечно больше того, который получается за целое столетие мирного развития».

— Чем сильнее забрасывает ныне грязью буржуазная и социал-патриотическая пресса Ленина и Либкнехта,— говорит далее спартаковец,— тем горячее будет их любить рабочий класс...

Двадцать восьмого июня в заключительном слове по докладу о текущем моменте на IV конференции профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы Ленин сообщает, что «недавно в Вюртембергском ландтаге один социал-демократ Хошка определенно заявил, что он только в большевиках видит пример последовательности и правильно ведущейся революционной политики».

В этой же речи Ленин ссылается и на опубликованную «Правдой» в тот день статью «Французские миллионы», перепечатанную из вышедшего накануне очередного номера газеты Чехословацкой коммунистической партии «Прукопник свободы».

«Французское правительство дало на контрреволюционное выступление чехословацкой белой гвардии более 11 миллионов, английское правительство 3 600000 рублей,— заявляет газета.— Чехословацкая армия продана французско-английским империалистам...» В статье приводятся неопровержимые документы, обличающие механизм этого подкупа. Имея в виду контрреволюционный мятеж реакционного чехословацкого офицерства, подкупленного агентурой Антанты, Ленин говорит делегатам конференции: «А теперь разве вы не знаете,— прочтите сегодня в газетах,— что чехословацкая авантюра питается денежками англо-французских капиталистов, которые подкупают войска на то, чтобы втянуть нас снова в войну...»

Двадцать девятого июня 1918 года «Правда» публикует воззвание Комитета восстановления международных сношений, созданного группой французских социалистов. Воззвание разоблачает новые планы империалистов Антанты, натравливающих на русскую революцию японских захватчиков. Как утверждают авторы воззвания, агрессорам помогают «русские социал-патриоты, капиталистическая буржуазия и все контрреволюционные силы России, готовые, подобно кобленцским эмигрантам, принять помощь чужеземных армий для восстановления своей власти». Воззвание призывает рабочий класс всего мира с величайшей энергией поддерживать русскую революцию.

Несколько дней спустя, выступая 5 июля на V съезде Советов, Ленин так комментирует этот опубликованный «Правдой» политический документ: «Понимание революции растет. Во Франции те товарищи и рабочие, которые на конференции в Циммервальде с величайшим недоверием относились к большевикам, теперь выпустили на днях воззвание от имени Комитета интернациональных связей, в котором горячо высказываются за поддержку большевистского правительства и против авантюр каких-либо партий».

«ЦЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПИТИРИМА СОРОКИНА»

Послеоктябрьская «Правда» публикует не только официальные материалы различных политических партий, но и многочисленные письма и заявления отдельных лиц, характерные для представляемых ими общественных групп и классов.

Двадцатого ноября 1918 года редакция перепечатывает из «Известий Северо-Двинского исполнительного комитета» письмо Питирима Сорокина — видного правого эсера и члена Учредительного собрания, приват-доцента Петроградского университета. Автор письма доводит до сведения своих избирателей из Вологодской и Северо-Двинской губерний, а также членов партии эсеров, что он выходит из этой партии и отказывается от звания члена Учредительного собрания. Определяя мотивы своего решения, Сорокин признается, что ввиду чрезвычайной сложности современного внутреннего государственного положения он затрудняется «не только другим, но и самому себе указывать спасительные политические рецепты и брать на себя ответственность руководства и представительство народных масс». Кроме того, утверждает он, «в эпоху коренного переустройства государственной и общественной жизни» у него возникает «горячее желание вернуться к работе по культурному просвещению народа».

По ленинской оценке, опубликованное «Правдой» письмо Питирима Сорокина представляет собой не только чрезвычайно интересный «человеческий документ», но «имеет и огромное политическое значение».

«...Наступает время, когда обнажается вся правильность большевистской позиции и разоблачаются все промахи и ошибки ее непримиримых врагов». Вот какой вывод делает Ленин из этого письма, выступая 20 ноября на вечере, посвященном первой годовщине Октябрьской революции. На следующий день «Правда» публикует его статью «Ценные признания Питирима Сорокина» — один из шедевров большевистской публицистики.

Обращает на себя внимание прежде всего оперативность этой статьи. 20 ноября «Правда» перепечатывает письмо Сорокина. В тот же день Владимир Ильич закан-

чивает статью, начинающуюся так: «Правда» поместила сегодня замечательно интересное письмо Питирима Сорокина, на которое надо обратить особое внимание всех коммунистов».

И Ленин раскрывает политическое значение письма Питирима Сорокина. Он напоминает, что патриотизм — «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Как партийный публицист — историк современности, он анализирует пережитый в то время советскими людьми «величайший перелом всей мировой истории». В повороте Питирима Сорокина он усматривает отнюдь не случайность, а проявление неизбежного поворота, как подчеркивает Владимир Ильич, целого класса, всей мелкобуржуазной демократии.

Ленин ни на йоту не преуменьшает опасности мелкобуржуазных предубеждений и предрассудков. Но он твердо знает и блистательно доказывает, что всемирная история в нашу эпоху несется «с такой бешеной быстротой и разрушает все привычное, все старое молотом такой необъятной мощности, кризисами такой невиданной силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают»...

Такие далеко идущие публицистические, то есть прежде всего научно-политические, выводы извлекает Ленин из документов, публикуемых послеоктябрьской «Правдой».

«ИЗ ОДНОЙ КОМНАТЫ В ДРУГУЮ...»

Наступает 1919 год.

«Правда» информирует читателей о различных оттенках мирового общественного мнения. Сообщения эти крайне важны для главы Советского государства, руководителя его внутренней и внешней политики. 3 апреля 1919 года в газете появляется заметка «Неразрешимые вопросы». Она воспроизводит радиограмму Американского бюро печати, сообщающего об очередном заседании «Совета четырех» — глав правительств Англии, Франции, Италии и США.

Между представителями империалистических государств возникают непримиримые разногласия. «Союзники» ожесточенно спорят о каждом клочке военной добычи. Заседание начинается утром в резиденции президента США Вильсона, а продолжается днем в военном министерстве Франции. По выражению одного французского журналиста, как говорится в сообщении, переговоры четырех «делают скачок из одной комнаты в другую, в тщетных попытках разрешить два-три неразрешимых вопроса».

В тот же день Владимир Ильич выступает с докладом о внешнем и внутреннем положении Советской республики на чрезвычайном заседании пленума Московского Совета. Характеризуя внутренние противоречия в стане империалистов, он заявляет, что политические лидеры Антанты, «по выражению одного французского журналиста... делают скачки из одной комнаты в другую, в тщетных попытках разрешить вопрос. Они решают, кому больше дать, и пять месяцев дерутся между собою; они дошли до того, что не владеют собой, и додерутся эти звери до того, что останутся только одни хвосты»...

Материалы «Правды» постоянно пополняют ленинский публицистический и ораторский арсенал.

«ВЕЛИКИЙ ПОЧИН»

Брошюра «Великий почин» — самый наглядный и поучительный пример публицистического обобщения Лениным материалов «Правды».

«Печать сообщает много примеров героизма красноармейцев»,— пишет он 28 июня 1919 года, высоко оценивая те поистине чудеса храбрости и выносливости, которые проявляют, отстаивая завоевания социалистической революции, рабочие и крестьяне нашей страны в их борьбе с колчаковцами, деникинцами и другими войсками помещиков и капиталистов. И здесь Владимир Ильич опирается на выступления «Правды». Ведь в тех самых номерах газеты за май и июнь 1919 года, на которые он ссылается в первой части брошюры «Великий почин», множество сообщений о геройских подвигах защитников социалистического отечества.

Восьмого мая и восьмого июня «Правда» помещает некрологи памяти политических комиссаров 27-й и 8-й дивизий Татаринцева и В. В. Петрова. 11 мая в статье «Как мы оставили Уфу» описывает подвиги рабочих-уфимцев. Несмотря на шквальный пулеметный огонь, они атакуют белогвардейцев ночью с пением «Интернационала».

Семнадцатого мая, по данным сибирской печати, газета восстанавливает эпизоды борьбы за Енисейск, превращенный местными рабочими в крепость, опоясанную окопами с брустверами из кирпича. 23 мая — пишет о партизанах Дальнего Востока. Телеграмма из Шенкурска сообщает, что все ученики Ровдинской школы второй ступени требуют отправить их на фронт. На следующий день излагается беседа члена Революционного Военного Совета Российского флота Баранова с корреспондентом РОСТА о неравном бое с четырьмя английскими миноносцами в Финском заливе. «Матросы нашего миноносца, сторожевых судов и тральщиков держались во время боя как истинные герои»,— заявляет Баранов.

В одном из номеров, к которым Владимир Ильич обращается в «Великом почине», напечатано, что из Костромы выехала на фронт рота коммунистов, из Курска — коммунистический батальон, из Калуги — пятый эшелон коммунистов, из Владимира — более трети городской партийной организации. В номере за 8 июня телеграмма с фронта отмечает высокую степень доблести и мужества бригады, состоящей из рабочих Саратова.

Не меньшего внимания, отмечает В. И. Ленин, заслуживает героизм рабочих в тылу. Во вступительной части брошюры воспроизводятся — одни полностью, другие с сокращениями и в переложении — шесть выступлений газеты, опубликованных весной и летом 1919 года. Среди них: статьи А. Ж. «Работа по-революционному (Коммунистическая суббота)» и Н. Р.— «Пример, достойный подражания»; корреспонденция «Первый коммунистический «субботник» на Александровской жел. дор.»; «главная часть», как характеризует ее Ленин, «Заметок субботника» А. Дьяченко; корреспонденции и телеграммы, озаглавленные «Коммунистический субботник» и «Коммунистические субботники». Ссылаясь на все эти материалы, Ленин и дает второй подзаголовок к брошюре: «По поводу «коммунистических субботников».

Это Владимир Ильич подчеркивает и во вступлениях ко всем разделам брошюры. Он сообщает, что «привел с наибольшей подробностью и полнотой сведения о коммунистических субботниках, ибо здесь, несомненно, мы наблюдаем одну из важнейших сторон коммунистического строительства, на которую наша печать обращает недостаточно внимания и которую мы все недостаточно еще оценили».

В другом разделе Владимир Ильич разъясняет, что «коммунистические субботники» именно потому имеют громадное историческое значение, что они показывают сознательный и добровольный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни. В третьем — призывает «хорошенько продумать значение «коммунистических субботников», извлечь из этого великого почина практические уроки громадной важности.

Корреспонденты «Правды» подмечают новые явления советской действительности. Ленин публицистически обобщает собранный ими фактический и документальный материал, извлекает необходимые политические и научно-теоретические выводы, характеризуя субботники как первые ростки коммунизма.

«СТАТЬЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ОСОБЕННОГО ВНИМАНИЯ...»

«...Мы не белоручки, а газетчики»,— пишет Ленин Луначарскому летом 1905 года. Какие это скромные и в то же время гордые слова! Ленин считает своей специальностью профессию партийного публициста. Лучшие публицистические силы партии привлекает он после Октября к активному сотрудничеству в «Правде». Владимир Ильич отмечает лучшие из статей, пишет об этом в редакцию и авторам, говорит в своих речах и докладах.

Двадцатого ноября 1919 года в «Правде» публикуется статья Н. Ростопчина «Беспартийные крестьянские конференции». Сжато обобщает она опыт ярославских коммуни-

стов. Они первыми среди других губернских организаций провели тогда такие конференции по всем уездам. Автор статьи предостерегает от загромождения конференции обилием вопросов. Он предупреждает, что так можно захлебнуться в частностях, а доклады превратить «в нудные многоречивые отчеты отделов, под которые спит публика на наших советских съездах».

«Деревня живет и дышит,— пишет «Правда»,— конкретным и частным. Ей не хватает общих связующих принципов советской политики; понятие о них мы и должны ей дать».

Характеризуя среднего крестьянина, составляющего ядро таких конференций, автор говорит: «Он темен, никогда не бывал ни на каких собраниях; он слушает напряженно, как в церкви. Заросший весь волосом, темный, как глыба земли, он, потрясенный до слез, часто жмет руки и благодарит «за разъяснения»... Задача наша — больше ему дать, всколыхнуть в нем его непосредственные, глубоко самоотверженные порой порывы, дремлющие в нем рядом с хитроватым грубо собственническим практицизмом».

Второго декабря, выступая с политическим отчетом ЦК на VIII Всероссийской партийной конференции, Ленин разъясняет огромное значение рабочих и крестьянских беспартийных конференций как средства укрепления связей партии с народными массами.

«Недавно в «Правде» была напечатана статья о беспартийных конференциях,— напоминает Владимир Ильич делегатам.— Эта статья, статья тов. Ростопчина, заслуживает особенного внимания. Я не знаю иного средства, которое решало бы эту задачу глубочайшей исторической важности»...

«...НАГЛЯДНО, ПОПУЛЯРНО, ДЛЯ МАССЫ...»

Обратимся к материалам «Правды» 1920 года. Некоторые из них Ленин читает в рукописях. 23 января он пишет Г. М. Кржижановскому о предназначенной для газеты статье «Задачи электрификации промышленности».

Статью Г. М. Кржижановского Владимир Ильич считает великолепной. Но столь высокая оценка отнюдь не мешает ему высказать автору ряд критических указаний и ценнейших пожеланий. Обильные примечания явно перегружают и загромождают текст статьи. Ленин советует их «п о к а убрать или сократить», ибо их «слишком много для газеты». Он предлагает написать статью еще более «наглядно, популярно, для массы».

Тридцатого января «Правда» публикует краткий конспект статьи Кржижановского, отмечая, что вследствие ее размера «по техническим условиям она не могла быть помещена в полном изложении». Конспект этот напечатан на первой странице газеты. Здесь же опубликована и статья Н. Мещерякова «Не слова, а дела». Она обобщает «невиданные, небывалые чудеса героизма и энтузиазма» трудовой армии советских людей, решивших победить разруху. Советские люди трудятся на коммунистических субботниках и воскресниках в шахтах Урала, в лесах Поволжья, на железнодорожных станциях Московского узла. И в это же время они сражаются под Нарвой и Режицей, Мозырем и Перекопом, на берегах Маныча и Днепра. Накануне — 29 января — Красная Армия занимает станицу Манычскую под Новочеркасском и станцию Камышевскую северо-западнее Нижнеудинска.

На советской земле полыхает гражданская война. И рядом с военными сводками «Правда» публикует прочитанную и отредактированную Лениным статью Кржижановского об электрификации. Век пара объявляется в ней веком буржуазии. На смену ему идет век электричества, кующего материальный базис для господства пролетариата. В дни гражданской войны и порожденной ею хозяйственной разрухи «Правда» пишет о турбинах будущих советских электростанций, об электрических приводах, которым суждено вытеснить механические трансмиссии, об электромоторах как господствующих двигателях современности...

В 1920 году — за десятилетия до современных триумфов электротехники — «Правда» рассказывает, по ленинскому наказу, о перспективах электрификации советского транспорта, особенно на горных участках, о будущих метрополитенах и пригородных электричках, о грядущей советской электрохимии и электрометаллургии...

Давно сбылось опирающееся на ленинские предначертания научное предвидение, которым завершается написанная по указанию Владимира Ильича статья «Правды». Еще в 1920 году она предсказывает, что электрическая энергия «явится могучим орудием в борьбе пролетариата на экономическом фронте, и природные условия России, а также весь ход мировой экономической жизни гарантируют здесь верный и полный успех».

На следующий день газета продолжает публиковать одобренную Лениным статью. Ее заключительная часть озаглавлена «Тезисы к вопросу об электрификации земледелия». Основные положения «тезисов» близки известным ленинским высказываниям об электрификации деревни как материальной основе ее просвещения, о воспитательной роли кинематографа, этого важнейшего для партии вида искусства. Можно предположить, что они вдохновлены беседами автора с Владимиром Ильичем на эти темы. Как разъясняется в статье, сельскохозяйственная электрификация призвана удовлетворить культурные нужды деревни.

Г. М. Кржижановский пишет:

«Деревенская улица, деревенская школа, деревенский народный клуб и театр, каждая изба — вот задания, которые подставит осветительным струям электрической энергии рабоче-крестьянская власть. Многосвечная экономическая лампа на улицу, сильный источник электрического света на школьный экран, живой свет научно-показательного и политически осведомленного органа нашего времени — кинематографа, превращаемого усилиями Советской власти из средства развращения народа в превосходное орудие его научного и политического воспитания!»

Еще значительнее производственные и социальные последствия электрификации. Кржижановский пишет, что трудно даже предсказать, какой сдвиг сельскохозяйственных отношений породит электрификация, которая постепенно введет во всех сферах сельского хозяйства «все большее и большее количество электромоторов». И автор рисует казавшиеся в 1920 году, накануне боев под Варшавой и Перекопом, бесконечно далекими, но уже ясные Ленину картины новой электрифицированной деревни с общественными молотилками, веялками, сортировками, крупорушками, наконец с электрическими плугами. Еще в 1920 году «Правда» открывает перспективы социалистического переустройства сельского хозяйства. Она конкретизирует ленинские идеи электрификации нашей страны.

«КОПИЮ В ТИПОГРАФИЮ «ПРАВДЫ»

Заботится Ленин и о полиграфической технике «Правды». В годы экономической блокады особенно губительно сказывается отсталость полиграфической промышленности, унаследованной от царской России. В стране нет доброкачественной типографской краски. Не хватает газетной, особенно ротационной, бумаги. До крайности изношены печатные машины. Сбиты шрифты. Полиграфисты трудятся в промерзших, не топленных неделями цехах типографий, порой без электричества, при тусклом свете «коптилок».

Старые, опытные мастера то и дело выходят из строя. Их молодые ученики отправляются на фронт. Подчас даже типография «Правды» выпускает явный полиграфический брак.

Так происходит, например, 16 октября 1920 года. Выщедший в тот день № 231 «Правды» немыслимо прочесть и через лупу. Матрицы, видимо, сделаны с грязного шрифта, с плохо закрепленными, «закачнувшимися» строками. Во многих заметках (особенно телеграфных сообщениях из-за границы) нельзя разобрать ни одного слова.

В тот же день Ленин пишет в полиграфический отдел Высшего Совета Народного Хозяйства. Он требует сообщить, «чем объясняются столь плохие оттиски «Правды», как прилагаемый № 231 от 16 октября...» «Ввиду того, что вопрос этот будет мною поднят в Совнаркоме,— пишет далее Владимир Ильич,— предлагаю в срочном порядке дать мне сведения о мерах, принимаемых Вами, и о том, какие существуют гарантии к улучшению настоящего положения».

На оригинале письма, подписанного Лениным, сохранилась его пометка: «Копию в типографию «Правды». В данном случае, как и во многих других, Ленин обращается непосредственно к полиграфистам.

Вышедший на другой день номер «Правды» напечатан на такой же скверной бумаге, такой же краской, на тех же машинах, но полиграфический облик газеты неузнаваем! Шрифт тщательно вымыт и отлично приправлен. Матрицы и отлитые по ним стереотипы безупречны. Рабочие-полиграфисты «Правды» напрягают все свои усилия, чтобы ответить на ленинское письмо делом.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ И КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ

В начале декабря 1920 года в «Правде» появляются статьи И. И. Скворцова-Степанова о концессионной политике Советской власти. Напечатанные с небольшими перерывами в семи номерах газеты, статьи эти дают ответ на такие сформулированные в их заголовках вопросы: «Для чего им нужны концессии?», «Для чего нам нужны концессии?», «Кому не следует выдавать концессии?», «Кому можно выдавать концессии?», «Не упрочивают ли концессии капиталистического строя?»

В третьей по счету статье автор возражает против предоставления концессий английской буржуазии, наиболее активно поддерживающей белогвардейских мятежников и террористов.

«Опять начнутся махинации разных Локкартов,— предостерегает публицист «Правды»,— снова пойдут заговоры левых и правых эсеров, национальных центров и т. д. Если вначале концессии будут взяты с преобладающе коммерческими целями, то под натиском Локкартов и Савинковых решительный перевес быстро получат стратегические и провокационные задачи. Сфера концессий превратится в гнездо самых грязных шпионов и провокаторов, оплачиваемых и бесплатных агентов Антанты».

Шестого декабря Владимир Ильич говорит в речи на собрании актива коммунистов Москвы: «В статьях тов. Степанова, которые он рассчитал педагогически (сначала все доводы против концессий приведу, а потом скажу, что надо их принимать, но некоторые читатели, пока дойдут до хорошей части, как бы не бросили читать, убедившись, что концессии не нужны), есть верные мысли, но, когда он говорит, что не нужно концессий давать Англии, потому что приедет Локкарт, я не согласен».

Локкарт — бывший английский генеральный консул в Москве, вдохновитель белогвардейских шпионов, диверсантов и террористов. Автор статей о концессиях опасается нового нашествия шпионов под видом концессионеров. Ленин, однако, считает эти опасения преувеличенными. Назвав Локкарта, он напоминает: «Мы сладили с ним тогда, когда ЧК была учреждением возникающим, не имеющим солидности, которую она имеет теперь. И, если после трех лет войны мы не сумеем поймать шпиков, тогда надо сказать, что таким людям нечего браться управлять государством»...

Владимир Ильич, разумеется, не исключает опасности проникновения в нашу страну разведчиков империалистских государств. Призывая развивать контакты советских людей с представителями капиталистического мира, в том числе и его предпринимателями, Ленин отвергает какой бы то ни было изоляционизм. Он полон веры в преданность социалистическому отечеству и революционную бдительность советских патриотов, которые сумеют различить людей дела от провокаторов и безошибочно разгадают происки империалистической агентуры.

НАДО ЗНАТЬ, ЧТО ПИШЕТ «ПРАВДА»

Завершается гражданская война. Новые задачи ставит перед страной 1921 год.

В пору чрезвычайных продовольственных трудностей, 28 февраля 1921 года Ленин приезжает на объединенный пленум Московского и районных Советов, правлений профессиональных союзов и представителей фабрично-заводских комитетов.

Здесь по докладу народного комиссара продовольствия Н. П. Брюханова выступают с провокационными демагогическими речами меньшевики. Уже высказанные

на страницах «Правды», широко аргументированные предложения большевистских публицистов о замене продовольственной разверстки продовольственным налогом меньшевистские ораторы пытаются выдать за свои программные требования.

Отвечая меньшевику, Ленин говорит: «...напрасно он забыл добавить, что в газете «Правда», которая является Центральным Органом Российской коммунистической партии, и раньше, чем с трибуны этой сказали, на страницах «Правды», за подписью не только случайных сотрудников, но и ответственных, предложения налогов были».

В данном случае Ленин имеет в виду опубликованные в «Правде» 17 и 26 февраля 1921 года статьи П. Сорокина и М. Рогова «Разверстка или налог».

Авторы этих отмеченных Лениным статей первыми в партийной печати призвали «найти такие формы, при которых наша продовольственная работа в деревне не убивала бы в производителе желания увеличить и развить свое производство, создала бы условия, при которых старательные хозяйства чувствовали бы выгоды от своего производства, с одной стороны, и, с другой — обеспечили бы наши потребности для снабжения продовольствием, сырьем и фуражем наших промышленных центров...»

Со страниц «Правды», таким образом, незадолго до X съезда провозглашается — «в целях укрепления крестьянского хозяйства и увеличения интенсивности производительности его» — замена разверстки как метода государственных заготовок натуральным налогом.

На эти статьи «Правды» Ленин ссылается и в заключительном слове по отчету ЦК на состоявшемся вскоре X съезде партии. Один из делегатов съезда, игнорируя статьи «Правды», объявляет замену разверстки налогом внезапной, обрушившейся «как снег на голову». Ленин резко возражает оратору: «Это неправильно. Я удивляюсь только как перед партийным съездом ответственными товарищами делаются такие заявления. Дискуссия о налоге была открыта несколько недель тому назад в «Правде». Если в ней не пожелали принять участия товарищи, которые любят играть в оппозицию и бросать упреки в том, что мы не даем возможности широкой дискуссии,— в этом их вина».

И Ленин рассказывает делегатам съезда о механизме партийного руководства «Правдой», идейно-политически направляемой Центральным Комитетом.

«С редакцией «Правды» мы связаны,— говорит Владимир Ильич,—...тем, что важнейшие темы и важнейшие линии политики всегда обсуждаются ЦК,— без этого не может быть политической работы. Вопрос о налоге был поставлен ЦК на дискуссию. Статьи в «Правде» были. На них никто не отвечал. Этим не отвечавшие показали, что они не хотели работать над этим вопросом. А когда уже после этих статей на собрании Московского Совета выступил член собрания — не помню, беспартийный или меньшевик — и стал говорить о налоге, я сказал: вы не знаете того, что пишет «Правда». Сделать беспартийному этот упрек было более естественно, чем члену партии. Поставлена была в «Правде» дискуссия не случайно, и на съезде нам придется этим вопросом заняться»...

ПРЕИМУЩЕСТВА КУКУРУЗЫ ДОКАЗАНЫ

Четырнадцатого октября 1921 года «Правда» публикует статью «Голод и кукуруза». Прочитав ее, Ленин пишет в Госплан и Народный комиссариат земледелия. В связи с этой статьей он подчеркивает, что преимущества кукурузы «в целом ряде отношений, видимо, д о к а з а н ы», и предлагает принять меры более быстрые и более энергичные. Владимир Ильич предписывает, в частности, «выработать ряд очень точных и очень обстоятельно обдуманных мер для пропаганды кукурузы и **обучения** крестьян культуре кукурузы...»

Ленин обязывает работников своего секретариата пустить письмо о кукурузе вкруговую среди членов Совета Труда и Обороны, «чтобы все прочли и расписались в прочтении».

Двадцать восьмого октября Совет Труда и Обороны принимает важные решения о посевах кукурузы и поручает Народному комиссариату земледелия «разработать меры поощрения к большему посеву кукурузы». Доклад «в целом о ходе выполнения этого задания» назначается на первое же пленарное заседание Совета Труда и Обо-

роны в 1922 году[1]. Исходная точка этих государственных решений — прочитанная Лениным статья «Правды». Письмо Владимира Ильича, не вошедшее ни в одно из изданий его Сочинений, впервые опубликовано 15 апреля 1930 года в «Правде» на странице, посвященной всемерному распространению кукурузы и сои на полях нашей страны.

В наши дни на страницах «Правды» о ленинских указаниях, относящихся к расширению посевов кукурузы, напоминает Н. С. Хрущев.

— Владимир Ильич Ленин, основатель нашего Советского государства,— говорит он на мартовском Пленуме ЦК КПСС,— высоко оценил достоинства кукурузы. Еще в 1921 году он настойчиво рекомендовал всемерно расширить посевы кукурузы, выработать точные и обдуманные меры по пропаганде кукурузы и обучению крестьян культуре кукурузы. Ленин обращал внимание партии, Советов, плановых органов на то, что надо повседневно заниматься возделыванием этой ценной культуры. В первые годы Советской власти было положено хорошее начало и в этом деле.

ВСЯКОЕ НАПАДЕНИЕ СТАНЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ

Двадцать шестого ноября 1921 года «Правда» помещает корреспонденцию из Харькова. Как сообщает газета, местный инженер-электрик совершил открытие в области магнитной радиации. С помощью сконструированных им специальных «радиаторов» можно, как предполагал изобретатель, взрывать на расстоянии и без проводов — мины, артиллерийские снаряды и т. п.

Уже на следующий день Ленин поручает управляющему делами Совета Народных Комиссаров «выписать изобретателя сюда; показать Лазареву, свозить в Нижний». (П. П. Лазарев был в то время одним из самых выдающихся руководителей советских физиков. В Нижнем Новгороде находилась радиолаборатория М. А. Бонч-Бруевича.) Еще через несколько дней Владимир Ильич требует «точный формальный письменный отзыв по всем пунктам, указанным в газете «Правда», причем отзыв этот должен быть 1) от Лазарева или другого крупного ученого в Москве или Питере, 2) от Бонч-Бруевича и других спецов Нижегородской радиолаборатории».

Изобретение оказывается при проверке несостоятельным, а предположения о его оборонном значении необоснованными.

Председатель Радиосовета А. М. Николаев, которому Ленин поручил наблюдение за опытами изобретателя, вспоминает: «В этой истории поражает терпение и настойчивость Владимира Ильича... идея, выдвинутая изобретателем, была очень ценной, и нельзя сказать, что она вообще неосуществима. Для нас в то время (1920 г.) очень важно было иметь такое открытие, и Владимир Ильич вел дело так, чтобы исчерпать все возможности...»

Видимо, именно в связи с приведенным выше сообщением «Правды» и беседами с изобретателем Владимир Ильич делится с Надеждой Константиновной своей мечтой о том времени, когда «новые изобретения в области науки и техники сделают оборону нашей страны такой мощной, что всякое нападение на нее станет невозможным».

«БИТЬ В БОЛЬШИЕ КОЛОКОЛА»

1922 год... Последний год непосредственной государственной деятельности Ленина. Он учит правдистов правильно политически оценивать самые разнообразные явления и процессы советской действительности, непримиримо выступать против носителей пережитков буржуазных нравов. В статье «О характере наших газет», напечатанной в «Правде» 20 сентября 1918 года и сегодня определяющей основные принципы работы партийной печати, Владимир Ильич объявляет войну против «хранителей традиций капитализма», в том числе хулиганства и тунеядства.

---

[1] Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Фонд 19, опись 3, единица хранения 261.

«Мы не умеем вести классовой борьбы в газетах так, как ее вела буржуазия,— говорит тогда Ленин.— Припомните, как великолепно т р а в и л а она в прессе е е классовых врагов, как издевалась над ними, как позорила их, как сживала их со света».

Ленин призывает пригвождать на страницах советской печати к позорному столбу тех, кто упорно держится моральных традиций капитализма.

Третьего января 1922 года на последней странице «Правды», в «Хронике», рядом с сообщениями о репертуаре московских театров появляется набранная мельчайшим шрифтом заметка «К самоубийству инженера Ольденборгера».

Речь в ней идет об итогах расследования причин самоубийства главного инженера московского водопровода В. В. Ольденборгера. Как устанавливает комиссия Московского Совета, этого высококвалифицированного работника, в высшей степени преданного своему делу, довели до самоубийства грубые придирки и бюрократизм двух старших инспекторов Наркомата рабоче-крестьянской инспекции инженера Семенова и бывшего конторщика водопровода Макарова-Землянского. Они буквально затравили Ольденборгера. Комиссия признает недопустимым пребывание Семенова и Макарова-Землянского в рабоче-крестьянской инспекции, а последнего из них и вообще на советской службе как лица, примазавшегося к Советской власти.

Два ответственных представителя народного комиссариата изобличены в тягчайших должностных преступлениях. Однако это не было отмечено в хроникерской заметке. Уже на следующий день Ленин предлагает Политбюро ввиду «полной недостаточности (или недоговоренности?) заметки в «Правде» от 3.1.1922» предать всех виновных в трагической судьбе Ольденборгера суду и «распубликовать об этом во в с е й советской прессе».

Ленин считает необходимым не только обязать Народный комиссариат юстиции «особо заботливо и умело и внушительно провести это дело». но и, как он пишет далее, «поручить Оргбюру создать особый партсуд». Этому партийному суду, по его мнению, надлежит подвергнуть всех коммунистов московского водопровода и в зависимости от меры вины часть исключить из партии навсегда или на срок, а менее виновным объявить строгий выговор.

«Суд провести внушительно, гласно»,— требует Владимир Ильич и формулирует директиву «Правде», предлагающую редакции «осветить это возмутительное дело в ряде энергичных статей». Вскоре такие статьи были опубликованы.

Ленинское письмо завершается таким постскриптумом: «Дело возмутительное: надо бить в большие колокола».

«Большие колокола» партийной печати — это ее основные публицистические средства: передовые и редакционные статьи. Ленин учит правдистов правильно нацеливать столь грозное оружие, не стрелять из пушек по воробьям, как говорят в народе, видеть за частным фактом его социально-политические причины и следствия. Он учит не регистрировать, а обобщать, не безразлично информировать читателей о тех или иных тревожных фактах, а смело и активно вторгаться в жизнь, не обходя и не замалчивая ее трудностей.

«ПОМЕСТИТЬ РЯД СТАТЕЙ В «ПРАВДЕ»...»

Ленин подсказывает редакции «Правды» темы пропагандистских и других публицистических статей, разъясняющих и обобщающих ее краткие сообщения.

Третьего февраля 1922 года газета публикует телеграмму, перехваченную из передач Ганноверской радиостанции. Как сообщается в телеграмме, собравшаяся в Вене конференция Центрального Комитета Международного союза металлистов, входившего в Амстердамский Интернационал профессиональных союзов, предложила «объявить всеобщую забастовку организованных рабочих масс в случае войны».

Социал-оппортунистские лидеры этого «Международного союза» так называемой «рабочей аристократии» повторяют роковую ошибку II Интернационала. Еще в 1912 году на конгрессе в Базеле он принял аналогичное решение, оказавшееся совершенно бесплодным в дни первой мировой войны. Для борьбы против ее зачинщиков потребовались иные, более действенные средства.

Ленин немедленно реагирует на краткое телеграфное сообщение «Правды». Уже на другой день он пишет в редакцию:

«По поводу вчерашнего известия из Гаштовера о том, что Международный союз металлистов ставит в порядок дня вопрос о борьбе с войной и принял резолюцию об ответе на войну забастовкой, предлагаю следующее:

1. Поместить ряд статей в «Правде»... с напоминанием судьбы Базельского манифеста и с подробным разъяснением всей ребяческой глупости или всего социал-предательства, повторяемых металлистами».

Правдисты тотчас же следуют ленинскому совету.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРИКАТУРЫ

В 1922 году почти в каждом номере «Правды» помещаются рисунки первоклассного карикатуриста Дени. Примечателен отклик на одну из его карикатур в ленинском докладе на XI съезде партии 27 марта 1922 года. В нем Ленин упоминает «пример нескольких гострестов». «Если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев»,— иронически замечает он в скобках. В том же докладе резко и непримиримо осуждается «коммунистическое чванство». «Комчванство, выражаясь тем же великим русским языком»,— добавляет Владимир Ильич.

Так говорит он 27 марта, а накануне, всего лишь за день до открытия съезда, «Правда» помещает карикатуру Дени, озаглавленную «Иллюстрация к классикам». На ней изображен Тургенев. С ужасом взирает он с облаков на забор, сплошь заклеенный объявлениями тех самых советских «гострестов», уродливые названия которых и высмеивает Ленин.

Здесь и «МОСХИМОСНОВА», и «МОСКУСТПРОМ», и «МОСДРЕВ», и «МОСМЕТ», и «МОСКОЖ», и «МОССЕЛЬПРОМ», и преблагополучно дожившие до наших дней отнюдь не более благозвучные ГУМ и МОГЭС. Не уступает им и «ПЕТРОРАСПРЕДХЛАДБАЗА», и «ГЛАВСНАБПРОДАРМ», и «СЕЛЬПРОМТОРГ», и «ВСЕКОЛЕС», и «ГОМЗЫ», и «ЦУСТОП», и даже совсем уж загадочный «ГЕХОЛУЦ»...

Карикатурист воспроизводит уродливые слова-обрубки типографскими шрифтами подлинных газетных объявлений того времени, сопровождая рисунок такой недвусмысленно иронической подписью: «Тургенев: ...О великий, могучий и свободный русский язык!..»

Ленин выступает перед аудиторией, состоящей из читателей «Правды». Лишь накануне познакомились они с новой работой ее карикатуриста. Не упоминая карикатуру, отлично известную всем без исключения его слушателям, Ленин опирается именно на нее в иронических замечаниях по поводу «гострестов» и «комчванства».

«НА ТО ОНИ И ПОЭТЫ»

В том же докладе на XI съезде Ленин анализирует характерные для первых лет новой экономической политики «частичные отрезы, отпадения от дисциплины, от правильного отступления». Да, революция знает не только победы, но и поражения, неудачи, отступления, компромиссы. Он напоминает коммунистам, что при отступлении «такого настроения, которое бывает, когда все идут вперед, быть не может».

«Тут уже,— говорит Владимир Ильич,— на каждом шагу вы встретите настроение, до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, «тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция». У нас есть целый ряд таких поэтических произведений»...

И далее Ленин заявляет: «Перестаньте умничать, рассуждать о нэпе, стихи пускай себе поэты пишут, на то они и поэты».

Где же появляется отмеченный Лениным «целый ряд таких поэтических произведений»? Кому они принадлежат? Кого имеет в виду Ленин, выступая на съезде?

Обратимся к номерам «Правды», предшествующим съезду.

Второго февраля 1922 года Демьян Бедный сопровождает стихотворной подписью карикатуру Дени. Она изображает монументальные зады нэпмана и двух его спутниц, рассматривающих афиши о вечерах «новых вальсов», «смеха и веселья», «радостных настроений» и других специфически нэповских развлечениях тогдашней Москвы.

На второй странице того же номера поэт выступает с фельетоном «Заставь богу молиться...». Фельетонист воспроизводит беседу с неким «буржуем из Питера», ликующим по поводу закрытия «Красной газеты», основанной Володарским. Прибывший в Москву питерский буржуй рассказывает Демьяну, как он стал «этаким Мининым» перед глиняным «статуем» Володарского и произнес такую речь:

«Ну-т-ка, что?», говорю: «как дела... на том свете?
Помнишь, как ты свирепствовал в «Красной Газете»?
Так теперь на газету, на эту твою, я — плюю!!
Баста!.. Ей не скакать уже прежнею прытью:
Подлежит она, слышно, закрытью!!»

И по словам поэта оказывается, что в ответ на буржуйские речи у «статуя» (так нэпач именует памятник) лишь, «значит, слеза покатилася!..»

Итак, по стихотворному фельетону выходило, что всемогущие нэпманы торжествуют, а «беззащитная» революция плачет. Такая расстановка классовых сил была, конечно, далека от действительности.

Вскоре в противоположность поэту Ленин пишет, что нэпман «не показывает никаких признаков» желания «быть политической силой» или, добавляет Владимир Ильич, «показывает их так, чтобы скрыть свои пожелания».

Поэт рисует образ обнаглевшего врага революции. Мыслитель предостерегает единомышленников от коварства этого врага. Вопреки утверждениям стихотворца нэпман в реальной жизни не произносит громких антисоветских речей перед памятниками вождям революции. Напротив, он всячески, как пишет Ленин, стремится «к сокрытию своих пожеланий, ибо иначе он рискует встретить серьезную оппозицию со стороны нашей государственной власти, а иногда и хуже, чем оппозицию, т. е. прямую враждебность».

«Нэпман»,— продолжает Ленин,— если уже употреблять это выражение, гораздо более относящееся к шутливому газетному языку, чем к области серьезных терминов политической экономии, обнаруживает гораздо больше шуму, чем это соответствует его экономической силе. Поэтому я опасаюсь, что человек, который применил бы к нашему «нэпману» то упрощенное положение исторического материализма, что за экономической силой должна следовать политическая, рискует ошибиться очень глубоко и даже стать жертвой целого ряда смешных недоразумений».

Фельетон Демьяна Бедного «Заставь богу молиться...», в котором впервые появляется словечко «нэпман», написан тем самым «шутливым газетным языком», о котором отзывается Владимир Ильич. К сожалению, поэт становится «жертвой целого ряда смешных недоразумений», слишком перепугавшись мнимой политической активности необуржуазии.

Два дня спустя после этого фельетона «Заставь богу молиться...» «Правда» публикует стихотворение Демьяна Бедного «Эп!..», озаглавленное так по четырежды повторенному рефрену:

— «Эп! Сторонися, прохожий!.. Эп!.. Эп!!.»
Крик бесшабашный, на что-то похожий:
— «Нэп! Сторонися, прохожий!.. Нэп!!.»

В этом стихотворении поэт отражает растерянность многих, не отличающихся идейной устойчивостью представителей партийной интеллигенции тех лет. Лаконично передает он четыре точки зрения на последствия новой экономической политики:

Кто говорит: передышка.
Кто говорит: карачун.
Кто говорит: старой жизни отрыжка.
Кто говорит: новой жизни канун.

Как известно, историческая правда на стороне лишь тех, кто разделяет первую — ленинскую — точку зрения на нэп как насущно необходимую передышку для страны, истерзанной уже почти восьмилетними беспрерывными войнами.

Поэт снова ведет читателя на Тверскую — центральную артерию Москвы:

Тройка летит по Тверской,
Кучер-то, кучер какой краснорожий!
Весело окрик звучит кучерской:
— «Эп! Сторонися, прохожий!..»

Нэп олицетворяет на этот раз краснорожий лихач. Он несется по Тверской, покрикивая на прохожих, а кругом, как утверждает поэт,

Батюшки-светы!
Шику-то сколько, беда!
Барыни, эвона, как разодеты!
Подняли головы вновь господа.
Ярко блестит магазея.
Выставка в каждом окне.
Публика топчется, жадно глазея:
Все расхватает... По всякой цене!..
Соболь... Фальшивые блестки...
Слой из румян и белил...
Роскошь и бедность... Девицы... Подростки...
Густо «панельный товар» повалил.
Всем — по одежке дорожка:
Этим — в шикарный «Ампир».
Этим туда, где не шелк, а рогожка,
В темный, вонючий, сивушный трактир...

Перед нами та самая явно преувеличенная картина «процветающей» в тогдашней — нэповской — Москве торговли и спекуляции, о которой и говорит Владимир Ильич. Рисует поэт и другой полюс нэповщины, охарактеризованный ленинскими словами: «Вот, мол, и голод и холод в Москве».

Здесь и «темный, вонючий, сивушный трактир», и нищие-побирушки, которые, как негодуют нэпачи, «клянчат, мерзавцы, у каждых дверей», и сам «панельный товар», выброшенный на улицу нуждой и безработицей. Поэт не знает, что перед ним:

Отзвук ли это минувшего быта?
Иль первоцвет наступающих дней?

И Демьян Бедный не одинок. Еще через два дня — 6 февраля — «Правда» печатает стихи В. Александровского. Они называются «В Москве». В них поэт-правдист опять-таки рисует тогдашнюю Тверскую. Здесь, по его определению,

...бесится ужас
В пьяном хрипе ночных голосов.
Это — сифилис вышел наружу
Из «подвалов», кафе, кабаков.
С каждым днем здесь все меньше и меньше
В сгнивших душах борьбы и огня —
Лишь стемнеет — накрашенных женщин
Каблуки по асфальту звенят...

И поэт не скрывает своего ужаса перед «оргией пьяной». В уродствах нэпа он видит пир «во время чумы». Заключающие стихотворение клятвы в верности Октябрю звучат лишь чисто риторическим аккордом.

Одиннадцатого февраля Демьян Бедный столь же панически живописует ликование «спекуляндии» нэповской Москвы по поводу преобразования ВЧК в ГПУ. Назавтра в очередном фельетоне поэт утверждает на страницах «Правды», что опять-таки

В Москве нынче каждый забор —
Это кричащий позор!
Тысячи объявлений — и каждое объявление —
Явное, наглое, хамское глумление...

Демьян Бедный в таком же ужасе, как и Александровский. Перед его взором в кафе-ресторанах и «театральных шантанах» всюду «чавкает, чавкает бесстыжая пасть», готовая пожрать завоевания революции.

Нечего и говорить, что нарисованная поэтом картина нэпа воссоздает лишь поверхностный слой явлений действительности тех лет, ее, если воспользоваться его собственным выражением, фальшивые блестки, а не внутреннюю сущность.

Итак, ленинская критика адресована прежде всего поэтам тогдашней «Правды». Именно на ее страницах и появился ряд таких поэтических произведений, критически отмеченных Лениным.

Ленин выступает на съезде 27 марта, а уже 31-го Демьян Бедный отвечает ему в пространном стихотворении «Как надо читать поэтов». Он призывает не ставить поэтам «каждое лыко в строку», понимать их иносказательно, но решительно заявляет при этом:

Я, как солдат, беру руку под козырек:
Партия говорит,— я ни слова поперек.
Это не страх и больше, чем дисциплина,
В наш партийный ствол я не вобью и малюсенького клина...

А на съезде я проглотил дегтю ложку:
Я-де, нападая на нэп, сделал оплошку.
Но мне прощается провинность эта:
Что с меня взять, с поэта,
Которому написано на роду
Поглупеть в 1922 году?

Бережная, глубоко товарищеская критика (Владимир Ильич даже не называет по имени поэтов-правдистов!) действенно помогает «Правде». На ее страницах вскоре появляются подлинно революционные стихи Демьяна Бедного. Именно в «Правде» напечатана его «Коммунистическая ода» «В малом великое». Она противопоставляет «чванным и гнилым интеллигентским душам, презреньем кастовым отравленным насквозь», простые и скромные подвиги людей рабочего класса. Здесь же поэт обращается с «героическим приветом» к юной гвардии от старой. В «Правде» публикует он и свою лучшую поэму «Главная улица». Перед нами снова возникает Тверская, но на этот раз уже не загаженная нэповскими лихачами, а улица пролетарских боев, по которой

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут, идут, идут
На последний всемирный редут!..

«Я ПРОЧЕЛ В СЕГОДНЯШНЕЙ «ПРАВДЕ»...»

«Правда» — один из источников ленинского публицистического вдохновения. Немало литературных замыслов зарождается у Владимира Ильича, когда он ежедневно читает газету, размышляет над ее материалами. 9 апреля 1922 года «Правда» публикует сообщение о закончившейся после бурного десятичасового заседания конференции исполнительных комитетов трех Интернационалов: 3 коммунистического. 2 социалистического и так называемого 2½, состоящего из центристских социалистических партий ряда стран Европы и США, примкнувших вскоре ко II Интернационалу. Один из пунктов принятой конференцией совместной декларации гласит: «Конференция принимает к сведению заявление представителей коммунистического Интернационала о том, что в предстоящем процессе по делу 47 социал-революционеров будут допущены все желательные им защитники, что, как уже сообщалось в советской печати до конференции, по отношению к обвиняемым в этом процессе не будет применена смертная казнь».

В тот же день Владимир Ильич диктует по телефону статью «Мы заплатили слишком дорого». Она начинается таким сатирическим сравнением, характерным для ленин-

ского публицистического мастерства: «Представьте себе, что представителю коммунистов надо проникнуть в помещение, в котором уполномоченные буржуазии ведут свою пропаганду перед довольно многочисленным собранием рабочих. Представьте себе, далее, что за вход в это помещение буржуазия требует от нас высокой платы. Если плата не была условлена раньше, мы должны, разумеется, торговаться, чтобы не обременить бюджет своей партии. Если мы заплатили за вход в это помещение слишком дорого, то, несомненно, мы сделали ошибку. Но лучше заплатить дорого,— по крайней мере, пока мы не научимся как следует торговаться,— чем отказаться от возможности выступить со своим словом перед рабочими, которые до сих пор были в исключительном, так сказать, «обладании» реформистов, т. е. вернейших друзей буржуазии».

«Это сравнение,— пишет далее Владимир Ильич,— пришло мне в голову, когда я прочел в сегодняшней «Правде» сообщение по телеграфу из Берлина о том, на каких условиях достигнуто соглашение между представителями трех Интернационалов».

Осуждая несомненную политическую ошибку делегатов Коминтерна, обязавшихся от имени Советского правительства не применять смертной казни к уличенным в тягчайших преступлениях эсерам-террористам, Ленин на протяжении всей статьи развивает сравнение, подсказанное ему сообщением «Правды».

«Если уполномоченные коммунистов,— заявляет он,— заплатили слишком дорого за вход в помещение, в котором они имеют некоторую, хотя и небольшую, возможность обратиться к рабочим, доныне находящимся в исключительном «обладании» реформистов, то надо стараться исправить эту ошибку в следующий раз. Но несравненно большей ошибкой был бы отказ от всяких условий и от всякой платы для того, чтобы проникнуть в это, довольно крепко охраняемое, запертое помещение»...

ДЕТАЛИ, МЕЛОЧИ, ПРАКТИКА, ДЕЛОВОЙ ОПЫТ...

Двенадцатого апреля 1922 года Ленин читает в «Правде» обширную статью Н. Осинского «Новые данные из местного опыта». Вот как характеризует ее содержание предваряющая текст редакционная аннотация:

«Поступающие с мест отчетные письма земработников делаются все более интересными. Новая экономическая политика и «крепкие мужички». Отношение к единоличным формам землепользования: в ряде губерний тяга к ним слаба, предпочитают расселение на поселки. Перелом «хуторской лихорадки» в Смоленской губернии. Вопросы лугового землепользования. Тяжелое положение агроперсонала. Остроумные мероприятия нижегородских земработников. Претензии иваново-вознесенских агрономов. Характеристика положения в голодной Симбирской губернии, предложения по вопросу о борьбе с уничтожением скотоводства».

Статья Н. Осинского по своему публицистическому жанру представляет собой обзор писем Народному комиссариату земледелия из Владимирской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Симбирской, Смоленской и других губерний. Письма правдиво рассказывают о состоянии сельского хозяйства в условиях новой экономической политики. Особенно интересен опыт нижегородцев. Они организуют показательные хозяйства, предоставляя агрономам жилые и производственные постройки, скот и семена.

«Думаем, что предшествующий обзор,— заканчивает автор,— еще раз воочию подтверждает местным работникам, какую большую пользу может принести правильная и живая связь их с центром».

В тот же день Ленин пишет Н. Осинскому: «Очень приветствую Вашу статью в сегодняшней «Правде»... Нам больше всего недостает именно таких статей...» И Владимир Ильич снова развивает свои заветные мысли о коммунистической печати, всему боевому, творческому духу которой глубоко чужды общие рассуждения и трескотня, подменяющие всестороннее и сугубо конкретное изучение местного опыта.

Владимир Ильич неспроста подчеркивает слово «изучение». По его мнению, советские газеты, и особенно «Правда», призваны именно изучать местный опыт, анализируя его и обобщая. «И на местах и вверху,— пишет он,— могучие тенденции борются против его правдивого оглашения и правдивой оценки. Боятся выносить сор из избы,

боятся голой правды, отмахиваются от нее «взглядом и нечто», попросту верхоглядством...»

Он требует от советской печати — этой трибуны нашего общественного мнения — «еще более конкретности в изучении местного опыта, деталей, мелочей, практики, делового опыта, углубления в настоящую жизнь, и уездную, и волостную, и сельскую...»

В письме Осинскому, так живо напоминающем известное ленинское письмо Горькому, направленное писателю летом 1919 года, перед нашей прессой выдвинута программа, нисколько не устаревшая и сегодня. Она предусматривает прежде всего «разбор того, где, кому и почему (какими приемами) удается... достигать действительного, хотя и небольшого улучшения...» Ленин учит правдистов «не бояться вскрывать ошибки и неуменье» и в то же время «популяризировать и рекламировать изо всех сил всякого сколько-нибудь выдающегося местного работника, ставить его в образец». Во всем этом он видит важнейший залог всемерного улучшения нашей прессы.

Приветствуя почин Осинского, Ленин желает правдистам «продолжать дальше, шире и глубже в том же направлении».

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Двадцать седьмого сентября 1922 года два «подвала» на третьей и четвертой страницах «Правды» занимает обширная статья лидера Пролеткульта, председателя его ЦК В. Плетнева. Статья называется «На идеологическом фронте». Это своеобразное теоретическое кредо пролеткультовщины. Буквально испещрив статью замечаниями, пометками, отчеркиваниями и подчеркиваниями (их в общей сложности на тексте статьи более ста!), Владимир Ильич пишет редакции: «Посылаю Вам сегодняшнюю «Правду». Ну, зачем печатать глупости под видом важничающего всеми учеными и модными словами фельетона Плетнева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться. Неужели редакция «Правды» не разъяснит автору его ошибки? Ведь это же фальсификация исторического материализма! Игра в исторический материализм!»

Пометки Ленина воспроизведены в известном сборнике «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Чтобы привести их полностью, пришлось бы перепечатать весь текст статьи. Ограничимся поэтому лишь несколькими примерами.

Владимир Ильич особо отметил «2 глупости» автора. Однако, судя по ленинским отметкам на полях, глупостей в статье значительно больше. Чего стоит, к примеру, отмеченный на полях ленинским «Ха-ха!» тезис о том, что «основная цель» Пролеткульта — это «творчество новой пролетарской классовой культуры» и даже «сосредоточение творческих сил пролетариата в области науки». «Вот каша-то!» — восклицает Ленин в связи с призывом Плетнева искусственно «создавать» ни много ни мало классовые идеологические «надстройки». «Вздор»,— лаконично характеризуется тезис, провозглашающий электрификацию опять-таки делом чуть ли не исключительно одного пролетариата...

«Ряд знаков вопроса», обильно расставленных Лениным на полях этого номера «Правды», помогает редакции разобраться в ошибочных положениях злополучной статьи. «А крестьяне?» — спрашивает Владимир Ильич, когда речь идет о том, что якобы лишь «единицы» могут воспринять классовую точку зрения пролетариата». «А религия рабочих и крестьян?» — замечает он в связи с утверждением Плетнева о чуть ли не поголовной ясности и математической точности мышления пролетариата.

Плетнев пишет: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды». Подчеркнув слова «только» и «его», Ленин пишет на полях: «Архификция».

Ленинские заметки на полях статьи Плетнева — образец марксистской критики ошибочных воззрений, проникающих иногда и на страницы партийной печати. Последовав ленинским советам, «Правда» вскоре исправляет допущенную ошибку. Уже 8 октября Н. К. Крупская выступает со статьей «Пролетарская идеология и Пролет-

культ». По оценке Надежды Константиновны, статья Плетнева «написана очень интересно и талантливо, но правильные мысли в ней смешаны с ошибочными». Н. К. Крупская обстоятельно анализирует ошибки пролеткультовского идеолога и разъясняет, что в эпоху диктатуры пролетариата противопоставлять себя государству и строить свои сектантские культорганы — не пролетарская позиция.

Двадцать четвертого и двадцать пятого октября со статьями «О «пролетарской культуре» и Пролеткульте» выступил Я. Яковлев, заведовавший тогда отделом печати Центрального Комитета партии. Статьи эти, просмотренные Владимиром Ильичем в рукописи, написаны на основании его замечаний. Автор пишет, что у Плетнева пролетарская культура «нечто вроде химического реактива, который можно получить в реторте Пролеткульта при помощи групп особо подобранных людей. Элементы новой пролетарской культуры у него выходят из пролеткультовских студий примерно так, как некогда античная богиня вышла готовой из пены морской».

Отвергает автор и беспардонную лесть «Его Величеству Пролетариату», а особенно — отмеченные Лениным утверждения о том, что в голове рабочего все «ясно и математически точно», как «удар кайла в шахте».

Раскрывая политический смысл позиции пролеткультовцев по отношению к специалистам культуры, автор уподобляет ее ошибкам, допускавшимся в 1918—1919 годах по отношению к военным специалистам, а в 1920—1921-ом — к специалистам промышленности. Столь же резко отзывается он, опять-таки следуя ленинским пометкам, и о «пролеткультовской «социализации науки», вскрывая «всю внутреннюю никчемность и бессодержательность пролеткультовских формул», полных «безнадежной и вредной путаницы».

Антимарксистским концепциям пролеткультовцев «Правда» противопоставляет ленинскую программу культурной революции в нашей стране.

Приведенные примеры — только небольшая доля материалов, связанных с темой обзора. Ведь рассказать сколько-нибудь полно о Ленине — читателе послеоктябрьской «Правды» означает рассказать обо всей истории первого послереволюционного шестилетия. «Правда» — летописец строительства коммунизма и одновременно его деятельный участник.

П. КРАСНОВ, В. ШЕВЕЛЕВ

★

ФЕЛЬЕТОНИСТ «ПРАВДЫ»

Тверская, 48. Бывший сытинский дом, помнивший «Русское слово». На двери белый кусок картона: «Редакция «Правды». Третий этаж». И рядом: «Швейцаров нет. Закрывайте двери». Здесь всегда шумно. Сюда забегают агитаторы с митингов, приходят ходоки из «глубинки», здесь подолгу засиживаются рабочие-корреспонденты — «железный фундамент «Правды», как называла их «хозяйка редакции» М. И. Ульянова. Шумела правдинская молодежь (стариков в редакции почти не было), полная идей, замыслов, выдумки...

Еще не отбит у белогвардейцев и интервентов Дальний Восток, сквозь шели лезут бандиты и заговорщики... Газетный лист ощерен штыками. А рядом с картой военных действий в Приморье — сводки с бескровного трудового фронта. Борьба с разрухой, расхлябанностью, бескультурьем...

Он приехал в Москву летом. Его вызвали из Чернигова, где он работал секретарем газеты «Красное знамя». Он приехал из провинции, как М. Кольцов, как Н. Погодин,— «Правда» вбирала в себя самое смелое, самое талантливое со всех уголков страны. В длинном редакционном коридоре хлопали двери, бегали веселые, хорошо друг с другом знакомые люди.

— Здравствуйте, товарищ, мы вас ждем — как пирога из печки.

Он в кабинете Марии Ильиничны.

— Очень рада — будем работать вместе. Мне нравится, что вы пишете.

В «Правде» Зорич работал шесть лет. Его имя появлялось на полосе каждую неделю, иногда чаще. Мы листаем толстые подшивки газеты — со страниц (за тридцать лет они обветшали и пожелтели) нам навстречу рвется чистый, ломкий, тревожащий голос. Чем внимательнее мы вслушиваемся в этот голос, тем больше нам хочется представить его — живого... Рассказы людей, которые с ним работали и дружили, помогли накопить крупицу за крупицей.

— Носил сапоги и гимнастерку.

— С детства болел остеомиэлитом и почти всегда ходил на костылях.

— Всегда был рад любой возможности вырваться «на свободу», в поездку. Одним из первых, когда автомобиль только завоевывал права гражданства, отправился он в автопутешествие Москва—Севастополь. Над кузовом грузовика соорудили брезентовый навес. Настоящая цыганская кибитка. А какую чудную книгу написал он об этой поездке — «Машина идет в Севастополь»! Он там и экономист: «Что лучше — дизель или обычный мотор?», и бытописатель, и лирик: «Если бы тот воздух можно было бы накачать в бидоны и забрать с собой в Москву...» Он путешествовал по Дагестану, ездил в Туркестан.

— Когда его друга репрессировали, он каждый месяц помогал его семье и ни от кого не скрывал это.

— Опытный редактор сказал: «Его очень трудно сокращать».

— Его фраза рождена желанием увидеть все до мельчайших подробностей; поэтому она так часто перегружена образами и эпитетами. Но она напоминает тропинку в лесу — петляешь, петляешь, но потом непременно выйдешь на пронизанную светом поляну...

— Мария Ильинична Ульянова однажды даже такое сказала: «Он бичует, как Салтыков-Щедрин, и возбуждает любовь к людям, как Диккенс...»

В революцию вели разные пути. Василий Тимофеевич Локоть (А. Зорич был его псевдоним) пришел в революцию через книги Бебеля и стихи Некрасова, через подпольные кружки. В Чернигове были низкие палисадники, огромные гроздья тугой сирени и собрания, на которых пели: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...»

Потом пели «Вихри враждебные» — надвигался восемнадцатый год. Зорич стал работать в местной газете. В шутку его называли «главный писатель». Он писал все: передовицы и театральные рецензии, судебный репортаж и бытовые очерки. Там он и жил, прямо в редакции, в доме с красным флагом и со стенами, оклеенными лозунгами. Его начал перепечатывать харьковский «Коммунист», иногда — «Правда»...

Вспомним его ранний рассказ «Обида».

В разношерстной толпе девятнадцатого года, атакующей поезд, затесался человек с высоким герценовским лбом. Знаменитый микробиолог возвращается в Москву с эпидемии. В саквояже — пробирки с новооткрытой противочумной вакциной.

Он чужой среди людей, которые его окружают. Когда в вагон врываются бандиты и снимают с профессора пальто и штаны, отнимают микроскоп, ему никто не сочувствует, больше — над ним смеются.

И старый, больной человек, с растрепанной бородой, в одних носках и жилетке с оборванным хлястиком, поднимается и говорит о свете разума, о новой жизни, которая открывает народу двери в науку, о том, что безразличие к содержимому пробирок его саквояжа ужасно, о прекрасном будущем, которое впереди. И его начинают слушать. Да как!

Чьи-то руки накинули на плечи профессора шинель, кто-то обул его в валенки. «Потом огромный бородатый солдат... засопел вдруг и мягко и тепло сказал:

— Не серчай, доктор... Мы умом пока не дошли, а душой нам разве к свету не

хочется? Не мучься, мы с дороги не собьемся! Пока ум наживем, нам сердце дорогу скажет...»

Другой рассказ «Эпизод».

В нищее село близ Мелитополя попадает большевик. У него тиф, он почти без сознания. Но село еще помнит деникинские плети, унижение и страх. Больного, качающегося человека гонят изо всех домов. В одну избу его, сжалившись, пустили, но потом узнали, кто он такой, и вынесли за руки и за ноги на улицу.

И вот человек в полубреду произносит речь о справедливой и прекрасной жизни, за которую не страшно умереть. По одному, сначала очень осторожно собираются мужики вокруг агитатора. И слова о правде проникают в их сердца. Эти же мужики отражают натиск подъехавших казаков, укрывают большевика в безопасное место.

Зорич дает читателю до конца почувствовать темноту толпы, ее запуганность, невежественное равнодушие ко всему, что ей непонятно. Тем яснее становится величие революционной, большевистской правды, способной поднять и повести эту толпу вперед.

Революция переделывает людей, ломает привычный уклад, рушит то, что, казалось, еще простоит века.

На всю жизнь сохранил Зорич к революции благоговейное отношение. Он пришел в «Правду» в 1922 году. С конца года рядом с фельетоном М. Кольцова, басней Д. Бедного, статьей Ем. Ярославского на страницах «Правды» начинает появляться рассказ или зарисовка с подписью: А. Зорич. Стало ясно — в газету пришел человек со своим словом.

Новое неудержимо рвется со всех сторон. «Правда» — в центре событий, она вся — напряженное внимание, вся — слух. Пущена новая фабрика, открыт детский сад — хорошо! Но, пожалуй, самым важным остается вопрос: победила ли революция в главном — в сердцах и душах людей.

Газетный рассказ Зорича — это донесение с поля боя, который ведет революция за человека, донесение точное и проверенное. Первый его рассказ, напечатанный в «Правде», назывался «Дети с улицы» (7 и 27 декабря 1922 года).

Автор — в детских домах и приемниках Девичьего поля и Домниковки. Он разговаривает с ребятами, вглядывается в их лица. Это дети с улицы, вчерашние беспризорники, у которых совсем недавно не было ни дома, ни семьи, даже фамилии — одно прозвище. Всего несколько штрихов, несколько беглых бесед, но как много они рассказали тогда о победоносном движении нового.

Автор спрашивает:

— Что сделать с человеком, который не хочет помочь?

И слышит в ответ:

— Посадить в тюрьму.

— Отрезать руку.

— Простить.

Вот простая бабка из рассказа «Страдательница» («Правда», 26 августа 1923 года), которая поднимает завод на первый субботник. И когда директор, сухой и равнодушный человек, говорит, что рабочим будут выданы деньги за пуск стана, она ему отвечает: «Нет уж, желаем так. Пустили — стало быть, и оплачено. Стало быть, и оплата в этом. Стан-то чей?»

Еще в силе нэп, еще бушует Сухаревка, на черном рынке дельцы ворочают краденым. На правдинской полосе — серьезный экономический анализ, цифры, выкладки. А рядом — зарисовка Зорича «На черной бирже» («Правда», 27 марта 1923 года). Звериные настороженные лица... Сахар, мануфактура, лекарства. «Меняю, продаю...». И вдруг короткий штрих:

«— Дяди-и-нька... на хлеб...

— Мальчик, уйди».

Он печатает в «Правде» корреспонденции из зала суда. «Правда» — инициатор этого процесса («Селькоров и рабкоров в обиду не дадим!»). Зорич выступает на этом процессе общественным обвинителем.

Суд заседает в Минском Дворце культуры. Три года Овсянников и Ловецкий, председатель Совета и начальник милиции, творили в волости самосуд и расправу, пышно расцвели при них кулацкие хозяйства...

Когда процесс подходит к концу, корреспондент замечает, как что-то резко переменилось в окружающей атмосфере. Он старается понять эту перемену. По-прежнему сидят строгие судьи под красным плакатом «Мы — не рабы», по-прежнему одуряюще бьет в нос запахом кислой овчины и махорки, по-прежнему суетятся защитники.

Но в зале словно больше стало народу: безликие ряды крестьян, испуганно молчавших вначале, стали живыми, горячо реагирующими на происходящее, разными людьми.

И это оказывается, на взгляд корреспондента, самым важным в процессе. И хотя Ловецкий еще по привычке грозно смотрит в зал, а Овсянников продолжает умно и расчетливо путать свидетелей, их судьба решена.

Тоненький светлоглазый юноша селькор Гриша Лапицкий оказался сильнее их. Он не побоялся угроз, оскорблений, обысков и арестов. За ним была правда. И он пронес ее через эти страшных три года и принес сюда, в зал, где судят овсянниковскую проклятую кривду...

Старушка свидетельница сначала плакала, потом долго говорила, что у Овсянникова всюду своя рука, что, как он есть ученый партиец, мы его боялись, потом помолчала минуту и, глядя прямо Овсянникову в лицо, громко и ясно сказала: «А правда вот она где всплыла. Не потопить вам ее — не можете, стало быть».

Все время, пока шел процесс, Зорич внимательно приглядывался к человеку, который сидел рядом с Овсянниковым, человеку с гладким невыразительным лицом. Это он, Маршаков, написал донос на Лапицкого. Донос, после которого был подписан ордер на арест. И самое примечательное — Маршаков тоже был селькор. Но не такой, как Лапицкий, не настоящий, а, как говорили на суде, казенный. За пуд муки, за поросенка с барского стола Овсянникова он писал в местные газеты победные реляции о том, что волость со всем трудящимся человечеством, о том, что дорогой наш товарищ Овсянников не жалеет сил, а Гришка Лапицкий баламутит народ и против власти...

Сейчас он мнется, привычные легкие слова становятся поперек горла: «Мы, этого, мы хотели как лучше... этого, на плюс упирать. Поскольку он силу берет и, этого, распространение...» И Маршаков искательно смотрит в ту сторону, где сидят корреспонденты «Правды».

Зорич очень измотался за эти несколько дней. Но этот процесс дал ему самому очень много. Он укрепил его в чем-то очень важном. Как в хлебе, как в дожде засушливым летом, нуждается деревня в правде.

Рассказы Зорича о деревне — сигнал тревоги. Сюда немедленно — огонь всей партийной, хозяйственной, культурной работы.

Вот рассказ «Христос на земле».

Зимой 1924 года рано ударили морозы, а снег все не шел. Погибнут озимые — и наступит голод. Но повалил наконец снег, густой, пушистый, хлебный, и укутал землю. И вот тогда в деревне появился «Христос». Он протянул руки к людям и сказал: «Славьте бога, который послал снег вам».

И начинаются чудеса. «Христос» произносит проповеди о том, что наступает судный час, что надо думать о спасении — его можно приобрести за порядочную сумму. Над головой «Христа» иногда вспыхивает чудесное сияние. Какой-то пьяница под его целительными руками перестал пить, кто-то богохульствовавший умер у ног «Христовых». И со всей округи повалил народ. Мужики бросились распродавать последнюю скотину и скарб, чтобы купить близкое спасение.

Председателя Совета, который с несколькими демобилизованными красноармейцами пытался арестовать «Христа», толпа оттерла в сторону, их связали и заперли в амбар.

Мужикам ставят на груди печаткой букву «Р» (рай), больных окатывают на морозе ледяной водой, молодых женщин и девушек «Христос» исцеляет сам, и из запертой комнаты несутся их страшные вопли...

Только спустя много дней «Христос» и сопутствующий ему «Ипатий» были задержаны. У них нашли аппарат, производивший вспышки магния, нашли кокаин, которым они «исцеляли» алкоголиков...

Нищая, разоренная деревня, измученная войной, издревле зависящая от дождя и града, как нуждается она в чистоте и свете, как исступленно жаждет поверить в завтрашний день! И как ужасно, когда вместо этого она получает липу, фальшивку — веру в несуществующее, которую пытаются всучить ей мелкие жулики и проходимцы.

За рассказом и фельетоном Зорича — всегда или почти всегда — факт. Но этот факт, помноженный на отчетливое понимание задач современности, на художественный вкус автора, усиливает его воздействие.

Жену демобилизованного красноармейца — гречанку (рассказ «Американка»), которую тот привез из Крыма,— считают виновной в падеже скота. Ее решают окрестить и на лютом морозе окатывают ледяной водой из проруби. Женщина погибает. А ее обезумевшего мужа, который поджигает деревню, убивают.

А вот и конец рассказа: «На суде мужики говорили твердо, что вины своей они не знают и не понимают, что законов таких нету, чтобы скотину губить и деревни жечь, что они, мужики, поступили по статье, а если что не так — «известно, серость наша, жизнь наша темная».

Рассказы о деревне Зорича внешне могут напомнить деревенские картины Бунина, Чехова. Но только внешне. То тут, то там мрак перечеркивают пламенные черты советской нови. И в каждом, даже самом мрачном, рассказе всегда чувствуется, что автор ясно представляет, как можно, как нужно жить иначе. Притом он уверен, что и читатель это тоже знает.

В рассказе «Хохлик» мужики убивают больного человека и поджигают его дом: опухоль, которая раздула его живот, им представляется нечистой силой. Из деревни, где это произошло, возвращаются двое — молоденький доктор и товарищ из упарткома. Юноша всю дорогу ахает. Товарищ из упарткома говорит только одну фразу: «Надо будет этот район укомплектовать работниками...»

Зорич не любил обработанной почты. Не любил, чтобы ему приносили письмо уже раскрытым и аккуратно приколотым канцелярской скрепкой к типовой карточке: кто, откуда, о чем. Ему нравилось самому рассмотреть штемпель, вдохнуть запах хлебного мякиша, которым заклеен конверт, самому его раскрыть и неторопливо вчитываться в криво сбегающие строчки.

Тогда начинало казаться, что он видит этого человека, который пишет в Москву, положив листок бумаги на старенькую, насухо вытертую клеенку. Можно было попытаться угадать, что это за человек: добрый или злой, карьерист или неугомонный искатель правды...

Когда в редакции «Правды» было создано Бюро расследований, А. Зорич стал во главе этого нового отдела.

У отдела была четкая задача — действенно, активно бороться против того, что мешает стремительному и трудному движению республики.

Радостные рапорты о первых плавках, об успехах строительства и героических подвигах ложились на другие столы. Сюда, в зоричевский отдел, шли человеческие боль и обида, результаты расследований прокуратуры и ГПУ.

Меняется и характер того, что пишет он в газету. В двадцать пятом—двадцать шестом годах рассказ, зарисовка для Зорича становятся редкостью. Главным его оружием делается фельетон. Неизменных два зоричевских столбца прочно занимают нижний правый угол первой полосы, чередуясь или соседствуя с фельетоном М. Кольцова или Л. Сосновского.

Необычный был фельетон у Зорича. Его и фельетоном, собственно, трудно назвать. Незамысловатая история, часто невеселая. Никаких тебе привычных фельетонных штучек, обрамлений, отступлений веселой игры со словом. Построение предельно просто (чего, кстати, не скажешь о языке — он весьма сложен). Реальный факт, который лежит в основе рассказа, автор насыщает такими подробностями и деталями, так убе-

дительно населяет живыми, осязаемыми людьми, что читатель начинает чувствовать себя свидетелем, больше — участником происходящего, и равнодушным остаться просто не может.

Фельетонами Зорича «Правда» — голос партии — говорила громкое и веское «нет» черствости, равнодушию, жестокости, бюрократизму и разгильдяйству.

Зорича все больше беспокоит, что еще много у нас людей, для которых главное — буква закона, параграф инструкции; так много чиновников, которые не любят людей.

Со страниц «Правды» обрушивает на них Зорич боль и гнев чистого и честного человека. Он показывает, что бюрократическое равнодушие — преступление. Бюрократ — всегда враг человеку, а значит, и всему нашему обществу.

Зорич выбирает убедительные, бьющие без промаха примеры. Он убежден: с народом нужно говорить сердечно и понятно. Бездушная, казенная речь — тоже проявление бюрократизма. И он пишет свой известный фельетон «Конная дура» («Правда», 25 февраля 1925 года). В фельетоне просто сопоставлена стенограмма доклада одного ответственного товарища с той записью, какую сделал с большим усердием простой рабочий Матвей Куйдых. Вот что получилось! В стенограмме мы читаем: «Товарищи! Конъюнктура рынка в настоящий момент аналогична конъюнктуре прошлого года». А в записи Матвея: «Товарищи! Конная дура рынка в настоящий момент однолична конной дуре прошлого года».

В большом, унылом на вид доме, что стоит в Брюсовском переулке, до революции размещалось Управление военных перевозок. В семнадцатом году управление исчезло, и дом начали заселять правдисты. Сразу стало весело, все ходили друг к другу в гости, а потом внизу, в подвале, был оборудован настоящий клуб. «Дворец прессы», «Цитадель печатного слова», «Оплот правды» — у клуба было много шутливых названий.

Здесь пили жидкий чай с сахарином, играли в буриме, спорили, пели, устраивали концерты...

Поднимаясь по лестнице, Зорич слышал раскаты хохота. Иногда ему очень хотелось спуститься вниз, спеть вместе со всеми «Паровоз» или «Крамбамбули», разыграть кого-нибудь. Но он всегда стеснялся: на костылях, больной, угрюмый человек,— кому он нужен? И вместе с тем с душевной теплотой относился Зорич к своим товарищам по редакции и много думал о том, как незаметно выросло поколение молодых советских журналистов — дельных, способных, отлично понимающих, что нужно газете. Как-то правдисты вспомнили старую историю. Однажды пришел в редакцию «Русского слова» человек и стал говорить о недостатках русской печи. Что и дров в нее идет уйма, а тепла нет, что растопить ее мука и дыму полна изба. И что якобы Дорошевич — редактор газеты — только руками развел:

— Ну дорого, ну неудобно, но мы-то здесь при чем? Здесь «Русское слово», а не вестник печного производства...

Прошло каких-нибудь десять лет, а уже этот разговор выглядит устарелым анекдотом.

Для этих ребят нет задачи важнее, чем помочь людям и в малом и большом. Ему говорили недавно, что одна крестьянская газета получила сотни благодарностей за добрый и простой совет — как откручивать на морозе заржавевшие гайки: полить керосином и поджечь...

Каким должен быть человек, работающий в газете? Снова и снова Зорич возвращается к этому вопросу.

В «Неоконченном рассказе» перед нами писатель Звягин. Он не лишен дарования, у него — вес. Редакции без конца требуют от него рассказов о новых стройках и новых людях. И он пишет, скользя по верхам, не волнуясь, не зная того, о чем пишет.

Звягин — честный человек, и в какой-то момент ему становится ясно, что нельзя «равнодушно и безразлично строчить о вещах, о которых можно писать только кровью сердца».

Зорич уверен: если писатель плохой человек, он лгун, лицемер, и это всегда скажется в том, что он пишет.

В рассказе «О человеке» Зорич знакомит нас с писателем, в творчестве которого есть и душевное тепло и страстная проповедь новых общественных отношений... Его рассказами увлекаются, он кумир молодежи. В купе поезда он очень красиво и круто говорит о любви к человеку, о товарищеском участии. А потом спокойненько вместе с объедками и окурками выкидывает в окно только что переданное ему письмо, кричащее о человеческой беде.

Может быть, потому, что облик писателя, журналиста сегодняшнего дня так занимал Зорича, он часто возвращается к газете первых лет революции.

Зорич не часто бывал в Доме печати на Никитском бульваре. Хотя в двадцатые годы там было интересно. Здесь впервые читал своего «Диктатора» седой сутулый Валерий Брюсов. («Наш морж»,— звали его студенты Литературно-художественного института.) Здесь Анатолий Васильевич Луначарский делал блестящие доклады о театре, драматургии, новейших течениях в искусстве. Молоденький Михаил Кольцов говорил о советском фельетоне. Читал стихи Сергей Есенин. На диспутах скрещивали шпаги новаторы слова, театра, кино. И Владимир Маяковский швырял в разбушевавшуюся аудиторию гранаты-реплики...

Зорич всегда был сдержан и сосредоточен, немного теряясь в обстановке словесных баталий. Зато он любил подняться по крутой лестнице вверх, на третий этаж, и посидеть, отвести душу в тихой, малолюдной редакции «Журналиста». Здесь его и подбили написать серию рассказов о редакторах, о газетчиках времен гражданской войны.

Он писал о нетопленых, промерзших комнатушках редакций, о газетах, напечатанных на оберточной бумаге, о тяжелом колесе печатной машины, которое приходилось крутить по ночам, о кислой осьмушке хлеба со щепоткой камсы.

С нежностью вспоминает Зорич о работе в редакциях первых советских газет: «Когда мы спим, когда едим, умываемся? Где? Черт его разберет! Перехватишь на ходу, присев на бульварную тумбу, кусок хлеба с огурцом; обессилев у колеса, скрючишься на жестком ящике, с пучком бумаги под головой. Кажется, только сомкнулись усталые веки, а уже тянут за руку: утро. И — опять сначала...»

Но это «сначала» не тяготит. В этот полный хлопот, заседаний, руготни, опечаток и телефонных звонков день газетчики кидались опрометью.

На городишко наступают деникинцы, с другой стороны уже подходят поляки, за рекой трещат пулеметы, и рвется над мостами шрапнель — а газета выходит.

Отогнали деникинцев, газету закидали приказами и постановлениями комхоза, продкома, губкома и еще десятка «комов», и все срочно, важно, безочередно — а газета выходит!

Меняются редакторы, мобилизуются сотрудники, конфискуется для нужд фронта набор — а газета выходит!

Она выходит потому, что ее делают люди, отдающие ей свою молодость, здоровье и душу. Только бы она выходила — на оберточной, на синей сахарной, на обойной бумаге, но пусть она выходит с неизменной надписью «Пролетарии всех стран...» в левом верхнем углу.

Вереница интереснейших людей, делавших эти газеты первых лет революции, проходит перед нами. Алексей Ильич Жилин — мягкий, отзывчивый. «Он погиб в типографии, наш Алексей Ильич, у верстального стола, с корректурными гранками в руках: ведь газета должна была выходить до последней минуты». Его зарубили белые. Иван Иванович Чайка — огромный, косая сажень в плечах, волей революции брошенный в газету, с трудом осваивавший грамоту, человек с живым, быстрым умом, поразительной чуткостью, твердый и непримиримый.

Какие люди! И как важно помнить о них. Помнить не для них — для нас. Чтобы чистота и огонь тех лет не стали только историей, только согревающим сердце воспоминанием.

Зорич много успел за свою недолгую жизнь. Кроме рассказов и фельетонов, он написал очерки о Карелии и Дагестане, книгу о резиновой промышленности, сценарии

кинофильмов «Дон Диего и Пелагея», «Девушка спешит на свидание»... Хотя работа в газете (после «Правды» он работал в «Известиях») всегда была для него главным.

Он мог бы успеть больше. Сборник «Самое главное», который вышел в прошлом году в «Советском писателе» — через двадцать пять лет после трагической гибели несправедливо репрессированного писателя,— конечно, мог бы представить его творчество полнее.

В дни большого праздника нашей «Правды» мы вспоминаем мужество и чистоту людей, отдавших свой талант и жизнь газете. Среди них мы помним и одного из лучших фельетонистов «Правды» — Василия Тимофеевича Зорича.

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛЕМИКЕ И ЗАБЫТОЙ СТАТЬЕ Н. К. КРУПСКОЙ

Первые годы Октября... Время, когда на развалинах старого мира рождалась новая жизнь, новые отношения и понятия. Незабываемая пора жестоких классовых боев, субботников, митингов и диспутов.

Особенно острая полемика развернулась вокруг вопроса о культурном наследстве. Она велась и на страницах «Правды».

Многие руководители Пролеткульта, да и не только они, заявляли, что пролетариат должен решительно и безоговорочно порвать со всей культурой прошлого как «насквозь буржуазной».

Известно, как решительно воевал В. И. Ленин с нигилистическим отрицанием наследства. Любопытно, что вокруг первых же изданий классиков завязались споры.

Двадцать седьмого декабря 1918 года в «Правде» была напечатана статья Л. Сосновского «О книгах и издателях». В ней говорилось:

«19 декабря в «Правде» была помещена рецензия с припиской редакции о книге стихов поэта Орешина. Я не очень высокого мнения о творчестве Орешина и думаю, что издательство ЦИК могло бы не тратить бумаги на эти стихи. Но стихи Орешина, вероятно, печатались в небольшом количестве экземпляров. Бывают с издателями и не такие казусы.

Вот Народный Комиссариат Просвещения издает классиков для народа в большом количестве. По крайней мере в актовом зале Комиссариата висит диаграмма, наглядно изображающая рост издательского дела в Комиссариате. Там написано, что если все книги, изданные Комиссариатом, сложить в ряд на библиотечной полке, то полка протянется от Москвы до Рязани. Тут же сбоку изображена для наглядности географическая карта, с линией «Москва — Рязань». Очень почтенное расстояние!..

На изданиях Комиссариата красуется, кажется, поэтическая надежда Некрасова о том блаженном времечке, когда мужик понесет с базара не «Милорда глупого», а Белинского и Гоголя.

Представим себе, что мужик понес с базара полное собрание сочинений Жуковского, в издании Комиссариата. Вышел том I. Цена 4 р. 75 к. Издание преследует, как сказано в книжке, преимущественно популярные задачи.

Придя с базара, современный мужик развернет книжку и остановит внимание, допустим, на отделе «Народные песни». Там ему попадется очень «популярная» народная песня: «Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу нам» и т. д.

...Может быть, я человек темный, отсталый. Может быть, Жуковский ужасно великий поэт и сочинения его безотлагательно необходимо издать именно сейчас в разгар гражданской войны. Может быть, возвратившись с базара с книгой Жуковского под мышкой, мужик моментально станет республиканцем и коммунистом — все это виднее Комиссариату Просвещения.

Лично я этого не думаю, да простит мне мое заблуждение товарищ Луначарский. По-моему, можно бы обойтись и без Жуковского, особенно сейчас. А бумага и типографские средства пригодились бы для других, более нужных вещей.

Кстати о книгах. Военный отдел издательства ЦИК выпускает хрестоматию для красноармейцев. В одной такой книжке собраны в начале якобы народные поговорки. Среди них такая, очень коммунистически звучащая: «солдат без винтовки — хуже бабы...»

Это выступление Л. Сосновского было поддержано видным работником ВЧК Я. Петерсом, который выступил в газете «Известия» 29 декабря 1918 года со своей статьей «Еще о литературе».

Я. Петерс писал:

«В своей статье о книгах и издательстве в «Правде» № 283 тов. Сосновский уже доказал, что Комиссариат Просвещения дошел до издания царских и княжеских гимнов, издавая классика Жуковского. Но, товарищ Сосновский, не только о Жуковском мы должны говорить. Кроме Жуковского, издаются в миллионах экземпляров другие классики. Мы должны идти дальше и сказать прямо, что все это в данный момент лишне и даже недопустимо. Мы должны спросить, кто же имеет время теперь читать подобные издания Комиссариата Просвещения. Кто угодно, но только не преданная Советской власти интеллигенция или интеллигентные рабочие, которые каждую минуту, каждый момент своей жизни заняты работой по укреплению Советской власти. Или это издается для широких народных масс? Но разве классики дадут ответ на те жгучие вопросы, на которые крестьяне так долго ждут ответа от города? Разве, читая эти толстые, ценные произведения, мужик не почешет за ухом и не скажет по-щедрински: «Умен-то ты умен, батюшка, но ум твой дурацкий»?»

Сосновскому и Петерсу ответила Н. К. Крупская. 6 февраля 1919 года в газете «Правда» была опубликована ее статья «Неосновательные опасения». Это выступление Н. К. Крупской не вошло ни в одно из ее собраний сочинений и даже не указано в библиографическом указателе ее произведений, а между тем оно очень важно. В статье писалось:

«Народный Комиссариат Просвещения издал полное собрание сочинений Жуковского. Это подало повод целому ряду товарищей обрушиться на Комиссариат Просвещения. На нем давно уже все, кому не лень, вешают собак, благо Комиссариат так завален работой, что ему некогда отгрызаться.

Комиссариат обвиняют чуть ли не в распространении царизма. Видите ли, в полном собрании сочинений Жуковского имеется гимн «Боже, царя храни». Что будет, если сочинения Жуковского попадут в руки рабочего?! Прочитает он «Боже, царя храни» и моментально обратится во врага Советской власти. Так, что ли? Бояться, что рабочему попадется в руки гимн «Боже, царя храни», значит считать его за какого-то дурака. Рабочий видит жизнь, наблюдает события, приходит к заключению, что самая правильная точка зрения — это коммунистическая, и вдруг — трах! Прочитал гимн, который учил в школе, слышал тысячу раз — и вдруг превратился в монархиста! Подумаешь, что он ребенок, которого надо опекать: читай только агитационную литературу: о попе и кулаке, как жить коммуной и пр. Тов. Петерс как раз это и предлагает.

Предлагают это и другие товарищи. Энциклопедический словарь... не иначе как агитационный, все агитационное. Полное собрание сочинений Пушкина — вещь, по мнению увлекающихся агитацией товарищей, очевидно, недопустимая. У него ведь есть, например, такое стихотворение: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу великую[1] слагаю». И вообще классики вещь подозрительная. Если встать на точку зрения тов. Петерса, то нужно не биться над тем, чтобы организовать такую библиотечную сеть, чтобы в каждой глухой деревушке можно было получить любую книгу, а вообще уничтожить все библиотеки, ибо в каждую из них наверняка попадет Пушкин.

Долой буржуазную культуру! Вместо всех классиков лучше раздать связку брошюр с «походной энциклопедией», с рядом популярных брошюр. По крайней мере, спокойно будет, что никакой микроб буржуазной идеологии не попадет в голову рабочего.

[1] Описка. У Пушкина: «Хвалу свободную слагаю».

Конечно, о сожжении всех книг, вышедших до Октябрьской Революции, всерьез никто не говорит, но это логический вывод из всех пожеланий, чтобы до рабочего доходила только агитационная литература...

Зачем печатаете Жуковского,— говорят нам,— а не печатаете той хрестоматии, которая была-де представлена в Н. К. Пр.? Была, правда, представлена одна хрестоматия, но с общественной точки зрения безграмотная. Не все то золото, что блестит. Можно книге дать название пролетарской, социалистической, советской и т. п., но это не изменит ее бессодержательной сути.

Лучше напечатать талантливую книжку какого-нибудь классика, чем псевдо-«пролетарский» сборник с изречениями: «Солдат без ружья хуже бабы» и т. п.

Комиссариат, в числе прочих классиков, напечатал и Жуковского. Оценивая это издание, можно было сказать, что печатать Жуковского не следовало, так как произведения этого писателя не художественны, очень устарели и т. д. Это имело бы смысл. Но бояться политического влияния Жуковского смешно. Никогда он этого политического влияния не имел, а уж теперь, сто лет спустя, и подавно иметь не может. Обвинять же Жуковского, что он был монархист в век, когда все были монархистами, никто не станет, и рабочих охранять от влияния Жуковского совершенно излишне».

Опубликование в «Правде» статьи Н. К. Крупской внесло ясность в вопрос о литературном наследии.

Известно, что издание Наркомпросом в дешевых выпусках классиков русской литературы началось по личному указанию Владимира Ильича.

Н. К. Крупская в «Воспоминаниях о Ленине» пишет по этому вопросу следующее: «Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков».

К. **ДЕМИН.**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. ЛЮБИМОВ

★

ПЕРЕВОД — ИСКУССТВО

Искусство перевода — тема широты необъятной, а еще Козьма Прутков говаривал: «Нельзя объять необъятное». Следуя мудрому этому афоризму, я коснусь в своих заметках только того, что мною проверено на собственном многолетнем опыте.

Перевод — искусство. Эту аксиому человек, посвящающий себя художественному переводу, должен принять со всеми, как говорится, вытекающими из нее последствиями. Одно из главных «последствий» состоит вот в чем: каждый настоящий писатель, каждый подлинный художник, подлинный мастер мобилизует все имеющиеся в его распоряжении изобразительные средства, чтобы достичь нужного ему художественного эффекта. Значит, и писатель-переводчик, воссоздавая его произведение на своем языке, должен по возможности мобилизовать все средства, чтобы достигнуть того же эффекта. Что же, на мой взгляд, содействует такой мобилизации?

Прежде всего — сознание, вошедшее в нашу плоть и кровь, что русский язык победит любые трудности, что он способен все передать, все выразить, что преград для него нет. Без этого сознания, без любви к родному языку переводчик рискует спасовать перед трудностями. Более того, он рискует попасть в плен к языку чужому. Вспомним гордые и математически точные слова Ломоносова из посвящения составленной им «Российской грамматики»: русский язык заключает в себе «великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка...» Это должно быть символом веры каждого писателя, не только оригинального, но и писателя-переводчика.

Органическая связь с народом, с его жизнью — это закон искусства, это его почва, это его воздух. Без этой связи искусство хиреет, искусство вырождается. Призыв к более тесной связи с жизнью имеет самое прямое, самое непосредственное отношение и к писателям-переводчикам. Без связи с жизнью нельзя создать полноценное оригинальное произведение, равным образом без связи с жизнью и перевод получится худосочный. Достоевский был глубоко прав, утверждая, что Пушкин оттого так полно воссоздал жизнь народов чужеземных, что он все время ощущал под собой родную почву. Если писатель-переводчик не видит красок родной земли, не ощущает ее запахов, он не воссоздаст и иноземного пейзажа. Если он не будет наблюдать за трудовыми процессами, он, переводя соответствующие описания, непременно наделает ошибок, ибо он не представляет себе этого конкретно. Если переводчик не наблюдает над психологией живых людей, ему трудно дастся психологический анализ. Но в силу специфики нашего рода искусства переводчик особенно внимательно должен прислушиваться к тому, как г о в о р и т его народ.

Язык писателя-переводчика, совершенно так же, как и язык писателя оригинального, складывается из непосредственных наблюдений над языком родного

народа и из наблюдений над родным литературным языком в его историческом развитии.

Наблюдения над живой разговорной речью, над ее оборотами, отдельными выражениями, над ее интонациями можно и должно вести всюду — на улице, в вагоне дачного поезда, в учреждении, в институте, на собрании, на прогулке. Каждый переводчик знает это по себе: все слова как будто бы найдены, а фраза тем не менее деревянная. Вспомним, как в таких же примерно обстоятельствах выразил эту же мысль наш товарищ по работе, наш родственник, наш друг,— и мы скажем: «Вот оно! Нашел!» Мы только чуть-чуть переставим те же самые слова, и вот уже звучит живая, непринужденная, непосредственная разговорная интонация.

Мы знаем, что у Чехова была записная книжка. Он называл ее своей литературной кладовой. Вот такую литературную кладовую хорошо бы завести и всем нам, переводчикам,— завести и непрерывно пополнять. С помощью этой литературной кладовой наш язык будет непрерывно освежаться. Так легче преодолеть опасность следования удобному «принципу»: «Штамп хорошо, а два — лучше». Без неустанных наблюдений над языком русского народа, без неустанных наблюдений над русским литературным языком — от Ломоносова и Державина, от Крылова и Пушкина до Горького и Ивана Бунина, до Ал. Толстого и Пришвина, до Шолохова и Федина — мы, переводящие на русский язык, не сможем передать словесные россыпи подлинника, не сможем угнаться за его языковым разнообразием.

В «Госпоже Бовари» Флобер описывает, как Эмма и Леон целый день ездили в карете. В этом месте он развертывает перед читателем длинную ленту синонимических глаголов — их у него восемнадцать. В моем переводе: карета «...пустилась в путь, двинулась, миновала; кучер осадил лошадь; лошадь рванула, галопом примчалась; выехав, затрусила; извозчик погнал лошадь...; экипаж ехал, понесся, в третий раз остановился; снова тронувшись с места, покатил, поднялся, пролетел; карета повернула обратно, карета колесила».

Когда я перевожу какого-нибудь автора, я всегда стараюсь найти ему некое, хотя бы приблизительное, соответствие в русской литературе. Это вовсе не значит, что я призываю самого себя или кого-либо «делать под», я только ищу ориентир, я ищу точку опоры. Когда я переводил роман Мопассана «Милый друг», я перечитал всего Чехова — от доски до доски. Я не взял у Чехова ни одного выражения, но я все время дышал нужной мне стилевой атмосферой. Я учился у Чехова той краткости, той сжатости, которая роднит его с Мопассаном. Когда я переводил «Коварство и любовь» Шиллера, я перечитал драмы Лермонтова и соответствующие главы из «Униженных и оскорбленных», «Идиота» и «Братьев Карамазовых» Достоевского. Лексика Лермонтова: «пламень чувств, кипение страстей, тайный яд страстей. могучая душа» — сослужила мне службу при воссоздании монологов Фердинанда.

Тут только вот что нужно иметь в виду: мы можем и должны вбирать в себя общую языковую атмосферу того или иного автора, той или иной эпохи, но нельзя заимствовать выражения, характерные именно для данного автора, им введенные в литературный обиход. В одном переводе с испанского, вышедшем в 1934 году, я прочел: «Лукавый царедворец». Это воспринимается как цитата из «Бориса Годунова». В изящном, легком переводе комедии Мольера «Любовная досада» блистательная переводчица Т. Л. Щепкина-Куперник вкладывает в уста одному из персонажей афоризм: «А прочее все — гниль». Создается впечатление, что Мольер был подражателем Грибоедова. Если верить А. К. Дживелегову, то не менее горячим поклонником Грибоедова был и Гольдони: граф Альбафьорита в его переводе «Трактирщицы» утверждает: «Между тем родом и этим родом дистанция огромного размера».

В рукописи моего перевода «Дон Кихота» Санчо Панса говорил: «Ничего, сеньор, все образуется». По смыслу и по колориту это точно соответствовало оригиналу, но теоретик и практик перевода А. В. Федоров справедливо указал мне в

рецензии, написанной для издательства, что Санчо Панса, по всей вероятности, «Анны Карениной» не читал. Опять-таки в рукописи моего перевода «Дон Кихота» один из персонажей говорил о другом, что у него «рыльце в пушку». По счастью, уже в процессе верстки я вспомнил, что это не народное выражение, а выражение Крылова, к тому же сращенное с сюжетом одной из его басен. С другой стороны, переводя того же «Дон Кихота» и ища наиболее точного эквивалента для некоторых повествовательных приемов Сервантеса, я уже с полным правом воспользовался повествовательными приемами, общими для целой эпохи в русской литературе (конец XVIII — первая половина XIX века): «В таких и тому подобных полезных и приятных разговорах прошло время до обеда»; «Но возвратимся к нашей повести». Это словесные формулы, которые принадлежат всем и никому в частности.

Разумеется, ряд трудностей, возникающих у писателей оригинальных, для переводчика не существует. Но у него есть и свои трудности, и какие трудности! Мыслим оригинальный писатель, облюбовавший себе какую-то одну определенную область. Так, например, Гусев-Оренбургский был по преимуществу бытописателем сельского духовенства. Это не бог весть какой диапазон, но, повторяю, это возможно. Переводчика судьба перебрасывает из одной области в другую. И тут опять-таки переводчику в первую голову должно пригодиться знание жизни. Но так как для того, чтобы переводить разных писателей, переводчик не в состоянии перепробовать самые различные профессии, то и для этой цели ему могут пригодиться не только рассказы бывалых людей, не только консультации специалистов, но и произведения русских писателей, причем иногда даже второстепенных. Когда я переводил эпизоды из «Дон Кихота», связанные с охотой, я перечитал не только знаменитую сцену охоты в «Войне и мире», не только «Медвежью охоту» и «Псовую охоту» Некрасова, но и охотничьи рассказы Мея.

Антоний Погорельский, писатель ныне почти забытый, но в свое время обративший на себя сочувственное внимание Пушкина, обративший, может быть, только потому, что Пушкин тогда еще не написал своих «Повестей Белкина», вот с какой поразительной точностью описывает звук: «Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху...» («Лафертовская маковница»).

Тем, кто переводит на русский язык, необходимо читать русских писателей каждую свободную минуту, только не уподобляться тому читателю, который «пейзаж пропускает, ищет любовь», нет — их нужно читать с карандашом в руке, нужно, как пчела, собирать мед с разных цветов. Это необычайно расширяет словарный диапазон переводчика, это помогает ему донести до русского читателя словесное богатство подлинника.

С проблемой словарного состава тесно связана проблема типизации. Мне могут возразить: «Но ведь переводчики не создают типов. Эта часть трудностей убрана с их дороги». Нет, не убрана. Тип нам не дан, а в большой мере задан. Мы не обдумываем типы, но мы их словесно реконструируем на нашем родном языке. И от того, насколько бережно и точно мы воссоздаем на нашем языке авторскую характеристику того или иного персонажа и его характеристику речевую, его прямую речь, зависит степень типичности образа, каким он предстает в нашем переводе.

Вообразим, что кто-нибудь из нас задумал бы перевести на любой язык рассказ Чехова «Унтер Пришибеев» и не сумел бы передать характерные особенности его языка, не нашел бы для них соответствующих выражений вроде: «Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности». Если мы в переводе сотрем, нивелируем выпукло воссозданный Чеховым жаргон Пришибеева, мы тем самым умалим степень типичности этого образа, то есть по существу извратим данное социально-историческое явление.

Если мы захотим перевести «На дне» Горького и не сумеем воссоздать характерную речь рабочего Клеща, бывшего аристократа Барона, «бутаря» Медведева, проститутки Насти, то наш труд будет напрасен. Если, читая в переводе описание

театра Омон из «Жизни Клима Самгина», мы не испытаем того же ощущения, какое возникает при чтении оригинала, ощущения липкой и вязкой пошлости всего того, что происходит на эстраде,— значит, это плохой перевод одной из лучших книг XX века.

Иной раз одно слово, взятое даже из смежного семантического ряда, может испортить все дело. Вспомним, как у Грибоедова Молчалин излагает свое кредо: «Во-первых, угождать всем людям без изъятья». Представим себе, что переводчик вместо «угождать» поставит довольно близкий по смыслу глагол «помогать»,— и вот уже нет классического образа подхалима, хотя бы вся остальная речевая характеристика была воссоздана верно.

Итак, разнообразный и гибкий словарь — вот еще одно необходимое условие успеха переводческой работы.

Память переводчика имеет свои пределы. А между тем переводчику необходимо иметь огромный запас синонимов, чтобы было из чего выбирать.

Часто бывает, что ты никак не можешь вспомнить какое-то выражение, а оно есть в данном случае единственно адекватное. Иной раз вы нашли подходящее по смыслу выражение, но оно нарушает ритм фразы, нарушает благозвучие или оно встречается у вас несколько выше или несколько ниже, а между тем у автора повтора нет, вы не имеете права обеднять язык автора, следовательно, вам нужно заменить его каким-нибудь синонимом, а синоним как нарочно выпал из вашей памяти. А что делать с такими авторами, как Сервантес или Рабле, нанизывающими одну синонимическую вариацию на другую? Вот тут-то вас и выручит ваша литературная кладовая, ваш словарь, который, конечно, не будет претендовать на научную ценность, но который будет служить вам подспорьем.

Вот, например, синонимическая вариация на тему бега: бежать, мчаться, духом домчаться, носиться, носиться как угорелый, припуститься, улепетывать, удирать, улизнуть, дунуть, дернуть, унести ноги, дать стрекача, броситься врассыпную, броситься наутек, дать тягу, бежать стремглав, во весь опор, во весь мах, во всю прыть, что есть духу, во все лопатки, вихрем, стрелой, со всех ног, опрометью, без оглядки, сломя голову, так, что сверкали пятки.

Какой может быть взгляд? Внимательный, пристальный, зоркий, напряженный, испытующий, изучающий, оценивающий, цепкий, проницательный, пронизывающий, проникающий в душу, тяжелый, подозрительный, настороженный, сторожкий, острый, сверлящий, буравящий, пронзительный.

Какое может быть дыхание? Частое, учащенное, прерывистое, затрудненное, стесненное. И — ровное, спокойное, легкое.

А сколько оттенков в русском смехе! Смеяться, рассмеяться, посмеиваться, усмехаться, хихикать, прыскать, фыркать, расхохотаться, смеяться до упаду, трястись от хохота, надрывать животы от хохота, покатиться со смеху, заливаться хохотом, помирать со смеху, лопнуть от смеха, смех разбирает, смех душит, раздаются взрывы хохота, раскаты смеха, дружный смех, громовой хохот.

Что можно сказать о дожде? Дождь накрапывает, дождь моросит, дождь идет, дождь зарядил, дождит, дождь льет, дождь льет ливмя, дождь поливает, дождь льет как из ведра, дождь лупит.

Разумеется, ни в коем случае нельзя ограничиваться «литературной кладовой». Нужно всегда помнить, что русский язык бесконечно богаче не только наших, так сказать, домашних литературных кладовых, но и всех Далей и Ушаковых, вместе взятых. Его не вместить ни в какие берега. Такой, я бы сказал, самодельный словарь переводчика — это только его «прожиточный минимум», не больше.

В «Домике в Коломне» Пушкин в шутливой форме выражает свой творческий принцип: «Из мелкой сволочи вербую рать».

Станиславский любил повторять завет Шепкина: «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры».

В русском литературном языке нет «плохих» слов. Есть плохие, а чаще всего просто неопытные переводчики, не умеющие, по замечательному выражению П. Антокольского, «вырвать из хаоса нужное слово» или употребляющие то или

иное слово не к месту. А наши редакторы, не во гнев и не в обиду им будь сказано, часто ни с того ни с сего ополчаются на какое-нибудь слово, подвергают его жесточайшей опале: то вдруг изгоняют слово «который», хотя бы в ущерб здравому смыслу и естественному течению фразы, то еще что-либо. Нет, дело не в самом слове, а в точности словоупотребления. Или иногда слышишь: «Это вульгарно». Разумеется, если переводчик вложит вульгаризмы в уста леди Мильфорд из «Коварства и любви», то он исказит ее образ, а вульгаризмы в устах музыканта Миллера, вышедшего из простонародья, вполне уместны, ибо именно так он говорит и у Шиллера.

Обратимся еще раз к Пушкину: «Истинный вкус,— писал он в 1827 году,— состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

Итак, при прочих непременных условиях (знание жизни, богатство языка) переводчику необходимо воспитывать в себе «чувство соразмерности и сообразности», иными словами — чувство меры, такт.

К сожалению, за последнее время у некоторых редакторов стала почти стереотипной фраза: «Это слишком по-русски». Дело в том, что иные доморощенные горе-теоретики смешивают русизмы, то есть речения, сращенные с реалиями русского быта, и просто сочные русские слова. Конечно, если в переводе мы наткнемся на: «Язык до Киева доведет» или «Не красна изба углами», то такие русизмы надо безжалостно вытравлять. Но потому-то и гениальны переводы Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Козлова, Гнедича, Достоевского («Евгения Гранде»), Тургенева (новеллы Флобера), Курочкина (Беранже), А. К. Толстого, Бунина, что они написаны на великолепном, богатейшем русском языке. Они поражают нас своей языковой яркостью и смелостью. Если мы будем постоянно себя ограничивать, если мы посадим себя на строжайший режим, на голодную языковую диету, то как же мы справимся с передачей изумительного языкового богатства таких авторов, как Шекспир, Сервантес, Рабле, Мольер, Гёте, где просто глаза разбегаются? Они «вербовали» свою «словесную рать» отовсюду — ведь они писали не на оскопленном волапюке. Сервантес использовал в своем «Дон Кихоте» язык мелкопоместного дворянства, язык знати, язык крестьянства, язык студентов, язык духовенства, язык рыцарских романов, данный и всерьез и пародийно, школярский жаргон, «блатную музыку». Ну-ка попробуйте посидеть тут на диете — Сервантес будет выглядеть у вас скелетом! Рабле пользовался языком провинциального дворянства, крестьянства, духовенства, вводил жаргон ученых схоластов, терминологию философскую, богословскую, медицинскую, архитектурную, филологическую, военную, спортивную, морскую, термины винодельческие, маслобойные, бочарные. Кажется, нет той профессии, терминов которой мы не нашли бы у Рабле. Он черпал отовсюду. Ну-ка попробуйте подойти к нему с меркой: «Это слишком по-русски» и «Это вульгарно»!

Не надо бояться, что введением сочных и ярких русских слов мы сотрем, закрасим национальный колорит подлинника. Национальный колорит достигается точным воспроизведением портретной живописи подлинника, воспроизведением бытовых особенностей, уклада жизни, интерьера, трудовой обстановки, свычаев и обычаев, воспроизведением пейзажа данной страны во всей его характерности, воспроизведением народных обрядов, поверий и т. д. Здесь я могу сослаться на опыт такого превосходного русского писателя, как Короленко. По-видимому, он считал, что злоупотребление иноязычными словами — это линия наименьшего сопротивления. Как всякий большой художник, он шел по линии сопротивления наибольшего. Он так описывал внешность якутов, их юрты, их утварь, их нравы и образ жизни, он так описывал якутскую природу, что по прочтении его рассказов у нас создается впечатление, будто мы вместе с ним пожили в дореволюционной Якутии. Его пример — наука переводчикам.

Полонский написал «Песню цыганки» («Мой костер в тумане светит...»), в которой нет ни одного цыганского слова, а цыгане ее тотчас подхватили и запели — значит, признали своей. А вот «цыганские романсы» и «цыганские рапсодии»

Сельвинского, несмотря на всю их дотошную и изощренную имитацию, в цыганский песенный обиход не вошли.

Если переводимый автор постоянно прибегает к провинциализмам, что же делать в таком случае переводчику? Последовать его примеру. Конечно, и тут нужны мера и такт, чувство соразмерности и сообразности.

Какие провинциализмы решился употребить я, переводчик Рабле? Только такие, которые понятны современному читателю без подстрочных примечаний и без заглядывания в Даля, равно как в переводе «Дон Кихота» и того же «Гаргантюа» я употреблял лишь такие архаизмы, которые понятны без подстрочных примечаний и без заглядывания в словарь Срезневского. Нельзя сооружать запруды между литературным языком и просторечием, между литературным языком и провинциализмами. Просторечие — это не только диалог или сказ. Стихия просторечия властно вторгается и в авторскую речь, в авторскую речь даже наиболее пуристичных художников слова. Подлинные художники слова не гнушаются этой стихией и не чураются ее. Они понимают, что без этой стихии их творчество мертво, они только прекрасно умеют обуздывать ее.

Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но я пользуюсь областными словами и в переводе «Госпожи Бовари» Флобера. И вот что дает мне на это право. Ведь по существу это «областной» роман. Недаром Флобер дает к нему подзаголовок: «Провинциальные нравы». Действие его происходит почти исключительно в заштатных городках или на хуторе, и только несколько эпизодов связано с Руаном. Общий «областной» колорит романа оказывает влияние на лексику. Провинциализмы просачиваются не только в диалог, но и в авторскую речь. Флобер называет невестку не только литературно — belle-fille, но и простонародно — bru — сноха. Он дает для слова «руль» термин, который можно найти только в словаре областных слов (bauce).

Понятно, я не имел намерения ставить провинциализмы непременно на те места, где они стоят у Флобера. Так, мне кажется, незачем придумывать вместо общепринятого и удобопонятного слова «руль» какой-то экзотический термин, выисканный у Даля. Зато в пейзаже у меня можно найти, допустим, «зеленя» и «большак».

Я вырос в средней полосе России и могу засвидетельствовать, что там говорили «большая дорога» только в случаях, так сказать, официальных. В разговорной речи существовали два понятия: проселок и большак.

Чувство соразмерности и сообразности не должно покидать переводчика и при решении вот какой важной проблемы: нужно раз и навсегда усвоить, что у всякого писателя, если только он подлинный художник, а не третьестепенный унылый эпигон, свое ви́дение мира, а следовательно, и свои средства изображения. Вот это «лица не общее выраженье», по классическому определению Баратынского, переводчик не должен, не смеет затушевывать, напротив, он обязан тщательно его вычертить. А между тем мы часто боимся смелости образов и оборотов речи, мы закрываем глаза на то, что они же заданы нам подлинником. Но только нельзя смешивать тяжелую поступь переводимого автора (скажем, Бальзака) с той корявостью, которую мы, переводчики, порой привносим в текст автора главным образом тогда, когда мы переводим буквально.

И все же перевод — это не стирка, не глаженье и не парикмахерская. Если автор вихраст, не следует его припомаживать. В связи с этим хочется привести золотые слова Гнедича: «Очень легко украсить, а лучше сказать — подкрасить стих Гомера краскою нашей палитры... но несравненно труднее сохранить его гомерическим, как он есть, ни хуже, ни лучше. Вот обязанность переводчика, и труд, кто его испытал, не легкий. Квинтилиан понимал его: легче сделать более, нежели то же» (предисловие к «Илиаде»).

Иной раз мы впадаем в крайность противоположную: мы принимаем обычную языковую метафору за необыкновенно смелое выражение, будто бы присущее данному автору. Одно время я довольно много переводил латиноамериканских писателей. И вот у одного из них я наткнулся на выражение, которое по-русски

буквально означало следующее: «Солнце вырывало отблески у ветровых стекол автомобилей». Мне это показалось смелым образом, напоминающим раннего Маяковского. И только впоследствии я убедился, что это расхожий штамп, соответствующий нашему: «Солнце зажигало отблески», «Солнце отсвечивало» и т. д. У меня же эта обыденная языковая метафора превращалась в образ, поставленный на ребро, нарочито и неправомерно задерживающий на себе внимание читателя.

Перед переводчиком литературных памятников былых веков не может не возникнуть проблема архаики.

Переводимый автор, как бы ни был он хронологически далек от нас, должен, по слову Маяковского, «как живой с живыми говорить». Это бесспорно. И тем не менее читателю необходимо дать почувствовать временную дистанцию. Как бы ни был понятен нам язык Гоголя, а все же мы мгновенно, с первых же строк, ощущаем временное различие между его языком и языком, скажем, Шолохова. А ведь есть такие произведения мировой литературы, как «Дон Кихот», где архаика дана в двух планах: и пародийно и совершенно всерьез — для передачи высокого парения, отличающего речи Дон Кихота, устами которого часто говорит сам автор.

Какой путь представляется мне здесь правильным? Путь советского исторического романа. Здесь я прежде всего и главным образом имею в виду творческий опыт А. Н. Толстого. А. Н. Толстой не прибегал к словесным раритетам, к вычурным архаизмам. Он употреблял только такие старинные речения, которые, сохраняя старинный колорит и создавая ощущение временной дистанции, вместе с тем без каких-либо подстрочных примечаний доступны и понятны современному читателю. Этим путем, как мне кажется, и должен идти в таких случаях переводчик. Словесный колорит эпохи может быть достигнут без «обонпол» и «обапол», не столько накоплением старинных слов, сколько вытравливанием явных модернизмов. Что касается старинных речений, то густо наложенным краскам я лично всегда предпочитаю тонкие мазки. Я отказался от архаических вычур даже в намеренно архаизированных сервантесовских пассажах.

Изучая язык русских классиков от сатирических повестей Крылова и романов Нарежного до «Мертвых душ», я находил в них выражения, которые, будучи адекватны по смыслу выражениям Сервантеса, вполне понятны современному читателю, и вместе с тем у читателя благодаря этим выражениям возникает ощущение временной дистанции.

Приведу самые простые примеры.

Теперь мы скажем: «Сразу виден художник». В старину говорили: «Сейчас видно», а не «сразу виден». Отсюда у меня в «Дон Кихоте»: «Сейчас видно неопытного искателя приключений». Вместо «занять оборону», «занять оборонительную позицию» я употребляю старинный оборот «изготовиться к обороне». Вместо «военной обстановки» я употребляю «военные обстоятельства». («Перемена в военных обстоятельствах»,— читаем мы в пушкинской «Истории Пугачева».) Кстати сказать, для батальных сцен «Дон Кихота» я перечитал ряд батальных сцен в «Истории государства Российского» Карамзина, в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке». В обличительных монологах Дон Кихота: вместо «несправедливость» — «неправда», «утеснение» вместо «угнетение». Специально для того, чтобы перевести разговор священника с каноником о драматургии из «Дон Кихота», я перечитал высказывания Пушкина о театре и драматургии, театральные рецензии Крылова, монографию Вяземского о Фонвизине. Отсюда у меня: «...назад тому несколько лет были играны три трагедии». «Комедии его бедны расположением» (то есть сюжетным и композиционным мастерством),— писал Вяземский о Сумарокове. Отсюда в моем переводе: «Посмотрев комедию замысловатую и отличающуюся искусством в расположении...»

Или: вместо как только — как скоро, вместо насколько мне известно — сколько мне известно, вместо насколько я понимаю — сколько я понимаю, вместо наверно — уж верно, верно уж («Мы

верно уж поладим...» — Крылов); вместо не вовремя — не в пору («И как вас бог не в пору вместе свел?» — Грибоедов); вместо честное слово — по чести.

Это все стилистические мелочи, но эти мелочи и воссоздают словесный колорит эпохи, по пословице: «Курочка по зернышку клюет».

В переводах пословиц и идиоматических выражений, мне думается, можно наметить две магистрали.

Если русская пословица точно выражает мысль автора и вместе с тем не связана с реалиями русского быта, а буквальное воспроизведение оригинала в данном случае затемнило бы ее смысл, то мы вправе заменить ее адекватной русской пословицей. В таких случаях читатель все равно наперекор переводчику мысленно пробился бы к ней.

У Ленина в «Что делать?» читаем: «Я мог бы также ответить немецкой пословицей: Den Sack schlägt man, den Esel meint man, или по-русски: кошку бьют, невестке поветки дают».

Второй путь ведет к созданию пословиц на смысловой основе подлинника, но с русским ритмико-синтаксическим обличьем.

Дон Кихот, умирая, говорит: «En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño». Буквально: «В прошлогодних гнездах нет птиц нынешнего года». Смысл: «К старому возврата больше нет». Я перевел это так: «Новым птицам на старые гнезда не садиться».

В первой части «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле есть глава о детстве Гаргантюа, сплошь построенная на идиомах. Здесь я сознательно пошел на разнобой, ибо разрешить эту проблему чисто формально, схоластически, значило бы повредить существу дела. В искусстве перевода, как и в искусстве вообще, ни одной задачи схоластическим путем разрешить нельзя.

«Бил собаку в назидание льву» — эта почти буквально переведенная идиома понятна по смыслу русскому читателю, но «прыгал с петуха на осла» — это для него ребус, это алгебраическая формула, под которую читатель вынужден подставлять любые арифметические значения, а между тем точный смысл этого хорошо передает русская идиома: «Начал за здравие, а кончил за упокой».

С моей точки зрения, «непереводимой игры слов» не существует и не должно существовать, за чрезвычайно редкими исключениями. Весь вопрос в мастерстве переводчика.

В подзаголовке третьей книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле просит читателей «подождать смеяться до 78 книги». Но беда, если переводчик будет всякий раз просить читателя подождать смеяться до тех пор, пока он не заглянет в комментарий. Установка здесь, мне кажется, должна быть такова: по возможности играть на тех же словах, на которых играет автор. Но и здесь необходимо соблюдать пушкинский принцип сообразности. Если каламбур имеет совершенно определенный социально-политический адрес, если он имеет идейное значение, переводчику надлежит напрячь все усилия и передать его с художественной точностью. Там же, где преследуется чисто звуковая игра, переводчик вправе отступить от буквы оригинала, если иначе ему не создать того самого комического эффекта, которого добивался автор.

В V главе II части «Дон Кихота» Санчо спорит со своей женой Тересой. Тереса стоит на том, что их дочь надо выдать за ровню. Санчо прочит ей в мужья человека знатного происхождения. В конце спора Тереса говорит: «I si estais revuelto...», то есть: «Ну, если уж ты такой перевернутый...», фигурально — «взбалмошный». «Recuelto, has de decir, mujer...» — поправляет ее Санчо, то есть — «решительный, настойчивый, надо говорить, жена». При переводе этого каламбура я исходил из психологического подтекста всего спора. Тереса считает, что Санчо безрассуден, это слово у нее, так сказать, на кончике языка. Вместе с тем слово «заблагорассудилось» слишком для нее длинное, трудное, и вот она говорит: «И если тебе уж так забезрассудилось...», — а Санчо ее поправляет: «Заблагорассудилось, должно говорить, жена...»

При решении проблемы перевода значащих фамилий опять-таки, следуя принципу сообразности, приходится сознательно идти на разнобой. Конечно, переводить такие имена, как Дон Кихот, Панса, Гаргантюа, Пантагрюэль, хотя все они значат что-то, нельзя — мы с ними свыклись, мы с ними сжились. Но вот другой пример. В XXII главе I части «Дон Кихота» каторжника Хинеса де Пасамонте стражники называют Хинесильо де Парапилья. Для русского уха оба эти имени звучат одинаково торжественно и экзотично. И если этого прозвища не раскрыть в переводе, то читатель останется в недоумении: почему, собственно, Хинес приходит в такое бешенство, когда его называют Парапилья? А дело-то в том, что Парапилья происходит от «para pillar», то есть «рожденный для грабежа», попросту — «грабитель». Я перевел его «Хинесильо де Ограбильо». Русская семантика облечена в испанский морфологический вид, ей придано испанское звучание. Гитарист, песенник, сердцеед и волокита дон Клавихо (то есть дон Колок — часть музыкального инструмента) переименован у меня в дона Треньбреньо. Доктора Ипека (рвотный корень) в «Милом друге» Мопассана я переименовал в доктора Елево. У Рабле фигурирует некий дюк де Франрепа, то есть герцог Любитель-поесть-на-чужой-счет. Я его назвал герцог де Лизоблюд. У Рабле иные главы состоят почти сплошь из перечисления значащих фамилий. Если их оставить без раскрытия в переводе, то как бы это перегрузило комментарий! И это лишило бы читателя огромного количества добавочных комических эффектов.

Вот фамилии дворян — соседей Грангузье: герцог де Лизоблюд, граф де Приживаль, сеньор де Скупердяй. А вот приближенные короля-агрессора Пикрохола: обер-шталмейстер Фанфарон, герцог Грабежи, военачальник Жру. А вот фамилии поваров: Филе, Уполов, Фрикасе, Блинки, Архижирей, де Волай, Подавай, Подливай, Суплакай, Жуйвуснедуй.

Рабле, озорник, забавник и насмешник, вообще хитер и неистощим на словесную выдумку и игру. Он изобретает новые слова, сращивает существительные, из кусочков разных глаголов сшивает один длинный. Отсюда в моем переводе «Гаргантюа и Пантагрюэля» — собирательно-презрительное «ханжатина», «толстобрюшество председателей судов», «звяк-звяки в кладилках», «мухоморительная речь», отсюда — «пройдохвосты» (сочетание «пройдохи» и «прохвоста»), орден «братьев-прожорливцев» (вместо прозорливцев), а ябедников «бацбуцзвезданхрясгрюктрюкбабахчебурахают» по ногам, и у одного из ябедников локоть оказывается «расхлобытрулуплющенный».

Синтаксис — одно из важнейших средств художественной выразительности. Для сервантесовского, например, синтаксиса характерны затейливые, богато разветвленные периоды. Я старался их сохранить. Но при этом я всеми силами стремился к тому, чтобы периоды эти были легко обозримы, чтобы читателю была видна их внутренняя логика, чтобы они были пронизаны ритмом, что́ всегда облегчает произнесение.

У Мопассана, всегда такого лапидарного, энергичного, мускулистого, встречаются длинные периоды, особенно резко выделяющиеся на общем фоне. Вправе ли переводчик прерывать глубокое дыхание автора? Думаю, что нет. Вопрос опять-таки в том, чтобы период естественно, без малейшей натяжки, воспринимался как единое целое, чтобы все его смысловые линии были прослежены до конца.

Вот примеры мопассановских периодов.

Портрет дочери:

«Крошечного роста, но стройная, с узкими бедрами, осиной талией, с миниатюрным личиком, на котором серо-голубые, отливавшие эмалью глаза были словно тщательно нарисованы прихотливой и тонкой кистью художника, она напоминала хрупкую белокурую куклу, и довершали это сходство слишком белая, слишком гладкая, точно выутюженная кожа, без единой складки, без единого пятнышка, без единой кровинки, и прелестное легкое облачко взбитых кудряшек, которым нарочно был придан поэтический беспорядок,— точь-в-точь как у краси-

вой дорогой куклы, какую иной раз видишь в руках девочки значительно меньше ее ростом».

Портрет матери:

«До сих пор это была сама добродетель, женщина с девственною душой, закрытой для страстей, свободной от побуждений чувственности, и вот у этой-то благонравной, рассудительной сорокалетней женщины бессолнечная осень, наступившая после нежаркого лета, неожиданно сменилась чем-то вроде чахлой весны, полной жалких, тронутых холодком цветов и нераскрывшихся почек, до странности поздним расцветом девической любви, пылкого непосредственного чувства, проявлявшегося во внезапных порывах, в манере вскрикивать, как шестнадцатилетняя девочка, в приторных ласках, в кокетстве, которое не знало юности и уже успело состариться» (Мопассан, «Милый друг»).

А вот пример из «Тартарена» Доде:

«И вот как-то раз, когда он ранним, розовым с прозеленью утром молча шел вместе со старым апостолом по деревне, внезапно сквозь мычанье коров и пенье петухов, приветствовавших восходящее солнце, до него долетел вопль человека, крик женщины, и крик этот, чередуя приливы и отливы, точно морская волна, то при потугах мощно вздымался, грозя просверлить небосвод, то — чуть отлегнет — замирал, переходя в тихий протяжный стон, стон, который узнает всякий, кто хоть когда-нибудь слышал его».

Вопрос, восклицание, обращение — все это должно быть отражено в переводе с одной только оговоркой: всякий раз нужно отдать себе отчет, что это — прием данного автора или же синтаксическая конструкция, характерная для данного языка вообще? Если мы имеем дело со вторым случаем, то, коль скоро того требует естественное звучание русской фразы, мы вправе заменить вопросительную интонацию, допустим, восклицательной.

Иной раз восклицания и вопросы слагаются у некоторых авторов в причудливые узоры, и эти узоры должны быть вычерчены в переводе.

Я стою за бережное воспроизведение синтаксических повторов, если они не случайны, а преднамеренны, если это особый художественный прием. У Мольера диалог Клеонта и Ковьеля в «Мещанине», когда они жалуются друг другу на коварство своих возлюбленных, почти сплошь состоит из таких перекличек, кое-где еще усиленных внутренними и краевыми рифмами:

«Клеонт. Так что же сравнится, Ковьель, с коварством бессердечной Люсиль?

Ковьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?

Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть!

Ковьель. После такого упорного ухаживанья, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне!

Клеонт. Стольких слез, которые я пролил у ее ног!

Ковьель. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца!

Клеонт. Как пылко я ее любил, любил до полного самозабвения!

Ковьель. Как жарко мне было, когда я за нее возился с вертелом, жарко до полного изнеможения!

Клеонт. А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной!

Ковьель. А теперь она пренагло поворачивается ко мне спиной!

Клеонт. Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары!

Ковьель. Это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплеухи!» («Мещанин во дворянстве»).

В воспроизведении звукописи опять-таки не должно быть ни малейшего формализма. Епископ Гоменац у Рабле, произнося речь против еретиков, нанизывает один «кровожадный» глагол на другой, причем эти глаголы связаны между собой одной рифмой. Здесь столь существен каждый глагол, он несет такую большую смысловую нагрузку, так хорошо характеризует изувера-епископа, что пожертво-

вать их смыслом ради единства рифмы мне показалось нецелесообразным. Я сохранил семантику этих глаголов, но дал несколько рифм:

«Сжигайте же, щипцами ущемляйте, на куски разрезайте, топите, давите, на́ кол сажайте, кости ломайте, четвертуйте, колесуйте, кишки выпускайте, распинайте, расчленяйте, кромсайте, жарьте, парьте, варите, кипятите, на дыбу вздымайте, печонку отбивайте, испепеляйте мерзопакостных этих еретиков...»

Шаляпин издевался над теми певцами, которые поют звук, или, как он иронически выражался, «звучок», а не то, что стоит за звуком, не мысль и не чувство, в этом звуке выраженные.

Самому Шаляпину было в высшей степени свойственно умение живописать звуками. Таким же даром наделила природа и недавно умершую Н. А. Обухову. Когда я слышу в ее исполнении романс на слова Тургенева «Утро туманное, утро седое...», я не только вижу перед собой картину осеннего седого утра, но и испытываю то же душевное состояние, какое испытывает лирический герой этого стихотворения-романса.

Звукопись в переводе должна быть как бы нечаянной и всегда спаянной со смыслом, должна быть подчинена смысловому заданию, должна быть средством, а не самоцелью, должна аккомпанировать мысли, чувству, настроению. Такой она всегда бывает у больших писателей в отличие от формалистов и штукарей.

С. Маршак, говоря о поэзии А. Твардовского, удивительно верно замечает: «Это приходит само собой, когда слух поэта так обострен, что слова для него не только что-то значат, но и звучат всеми своими гласными и согласными».

Но звучат они так не только для поэта, но и для прозаика, следовательно, должны звучать и для переводчиков. Если я, положим, задумал перевести на французский язык книгу Гиляровского «Москва и москвичи», книгу этого яростного следопыта, неутомимо «гнавшегося за жизнью дивной», то грош мне цена, если я пройду мимо его звукообраза: «Дождевой шумок душей».

Доде в «Тартарене на Альпах» при помощи словесной инструментовки описывает падение бесчисленных дождевых капель с веток деревьев. Я попытался передать это так: «...на всей горе, сверху донизу, воздух **по**лнился не**мо**лчным **пле**ском...»

Возьмем знаменитый монолог Базиля о клевете из «Севильского цирюльника» Бомарше. Если вслушаться в инструментовку этого монолога, то это свист, шипение, постепенно переходящее в гром. И это соответствует основной теме монолога — постепенному разрастанию клеветы:

«**С**перва **чу**ть **слы**шный **шу**м, едва ка**сающийся з**емли, будто ла**сточ**ка перед гро**з**ой, пьяни**ссимо**, ше**лестящий**, бы**стр**олетный, **сеющий** ядовитые **с**емена. **Чей**нибудь рот подхватит **с**емя и, пьяно, пьяно, ловким обра**зом с**унет вам в ухо. **З**ло **с**делано — оно **прорастает**, пол**зет** вверх, дви**жется** — и, **ри**нфо**р**цандо, по**шла** гулять по **с**вету **чертовщина**! И вот у**же**, неведомо от**чего**, клевета вы**прямляется**, **свистит**, **раздувается**, **растет** у ва**с** на глаза**х**. Она **бросается** вперед, **ширит** полог **с**вой, **срывается с** ме**с**та, увлекает **з**а **с**обой, **сверкает**, **гремит**...»

У де Костера в «Тиле Уленшпигеле»: «И слышал он жалобный вой ветра, громоподобный грохот волн морских да скрежет ракушек под чьим-то тяжелым ско**ком**».

Звуки, как и слова,— народ умный. Пренебрегать ими — значит себя же самого обкрадывать. Нужно уметь чутко вслушиваться в них и крепко держать их в руках, чтобы они не рассы́пались, не разбежались в разные стороны.

Мне хочется закончить мои заметки той же аксиомой, с которой я начал: перевод — искусство. А всякое искусство, помимо одаренности, требует знаний, сноровки, развитого глазомера, обостренного слуха.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

НЕЮБИЛЕЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ

К 70-летию И. С. Соколова-Микитова

В Сталинграде во время войны произошел довольно забавный случай. К нам в саперный взвод простым солдатом попал один писатель-журналист. Именно попал. Направлен он был в наш полк политотделом дивизии, конечно не бойцом, а корреспондентом, но угодил как раз в одну из тех суматох, которые происходили всегда, когда приход пополнения совпадал с немецкими контратаками. Это был симпатичный, простой, немолодой уже человек, которого в суматохе и темноте приняли за солдата и направили ко мне во взвод. Случай довольно редкий, но журналист этот (увы, я забыл его фамилию), воспользовавшись путаницей, решил сохранить свое инкогнито: захотелось на какое-то время влезть в солдатскую шкуру. Провоевал он в составе нашего взвода дней десять, не больше, потом был разыскан политотделом и отозван. За всю эту историю мне тогда порядочно-таки нагорело.

Нужно было только видеть ту растерянность и неловкость, которые охватили весь наш взвод, когда инкогнито неожиданно раскрылось. Подумать только: вместе спали, ели из одного котелка, вместе ходили на задания, порой и матючком обкладывали, а тут вдруг оказывается — писатель. Черт знает что! Все сразу вдруг перешли с ним на «вы», а когда он нам на прощание подарил еще свою маленькую книжечку очерков, изданную до войны каким-то областным издательством, совсем в тупик стали. Смотри, писатель, а вот поди ж...

Мнение о писателях у солдат было совсем определенное — это не обыкновенный человек, это что-то другое, чуть повыше. Во взводе у нас было несколько книг, среди них Чехов и томик Толстого. Помню, как в один из тихих вечеров (выпадали и такие!) бойцы читали «Холстомера» и никак не могли понять, «ну как это он мог так за лошадь написать». Это казалось каким-то чудом, недоступным нормальному человеку.

Да и весь внешний облик писателя (в томике Чехова был его портрет, где он сидит в кресле, спокойный, в крахмальном воротничке, в пенсне) говорил моим бойцам, в основном деревенским ребятам, сибирякам, что писатель, конечно же, сделан совсем из другого теста, чем они сами. Убедить их в обратном было невозможно.

К тому времени я и сам был знаком только с одним «живым» писателем — Дмитрием Уриным, который руководил до войны литературной студией в Киеве и нам, двадцатилетним мальчишкам, он, двадцативосьмилетний, казался уже и старым, и многоопытным, и вообще не таким, как все. Одним словом, из другого теста...

Писатель... Ну что это такое? Он знает больше, чем другие. Видит лучше, чем другие. Имеет право учить меня, читателя, чему-то. И не на словах, а в книге, черным по белому, это уже вроде как учебник... И всегда, прочитав ту или иную понравившуюся мне книгу, я задавал себе вопрос: а каков он, писатель, в жизни?

Похож ли на своих героев? Можно ли с ним вот так вот, по-человечески разговаривать? Ну и так далее, так далее, тысячи вопросов.

В результате у меня еще в те годы сложился некий выдуманный образ «идеального» писателя, которым я зачитывался бы и в то же время с которым при встрече мне было бы и легко и весело. Одним словом, хорошо...

Мне повезло — много лет спустя я встретился с таким писателем. Более того, я подружился с ним и думаю, что все, кому, кроме меня, выпало это счастье, благодарят судьбу за то, что она свела их с ним. Писатель этот Иван Сергеевич Соколов-Микитов.

Тут я чувствую на себе укоризненный взгляд Ивана Сергеевича: «Ну зачем вы это? Какой же я писатель? Не надо... Мы столько раз уже об этом с вами говорили, а вы вот и в статью — писатель... Я просто любитель.— И после паузы добавит: — Давайте выпьем за любителей, а?»

И мы выпьем за любителей. Какое это, в сущности, хорошее слово — «любитель»! Мне очень хотелось бы, чтоб оно потеряло свое теперешнее значение чего-то поверхностного (пусть сохранится для этого слово «дилетант»), а любитель пусть любит. Вот так, как Иван Сергеевич...

А он умеет любить. Все неподдельное, настоящее, простое, без вывертов, без фальши. А оно, простое и настоящее — будь то люди, звери, птицы,— в отместку любит его. Он как-то сказал: «Вы знаете, мне как-то в жизни очень повезло на хороших людей. Многих, очень многих я встречал. И они как будто не плохо относились ко мне...»

(Здесь я не могу не поправить Ивана Сергеевича — слова «не плохо относились» хочу заменить на «влюблялись». Говорю это со всей ответственностью, знаю по собственному опыту.)

Внук пишет Ивану Сергеевичу из Ленинграда: «А кошка-то наша, дорогой Диля, нашла твою старую куртку и сидит только на ней». Иван Сергеевич улыбается, пожимает плечами: «Чужая душа — потемки. Перед этой кошкой все в доме подлизываются, и баба и внук, кормят ее, ласкают, а вот спит только у меня». Иван Сергеевич явно тронут. Я тоже.

Я жалею, что так поздно познакомился с Иваном Сергеевичем — всего каких-нибудь пять лет. Увы, я не мог плавать с ним простым матросом на ближневосточной линии пароходного общества «РОПиТ», не мог бродить по кривым уличкам Константинополя или Александрии, пить вместе с арабами нечто обжигающее горло в кабачках Бейрута или Смирны, не мог я летать и на «Илье Муромце», на котором летал Иван Сергеевич в годы мировой войны. Да, всего этого я не мог — между нами все-таки двадцать лет разницы. Но встретиться где-нибудь на Новой Земле или на Земле Франца-Иосифа, на Шпицбергене, на Тянь-Шане я уже мог. Мог, но не свела судьба...

Зато мне повезло в другом. Я могу отложить сейчас листок, на котором пишу, спуститься этажом ниже и постучаться в комнату № 7 нашего дома отдыха.

— К вам можно, Иван Сергеевич?

И он ответит:

— Заходите, заходите. Вот и хорошо. Выкурим с вами по трубочке.

И я сяду в угол дивана, он, как всегда, в кресле у стола, большой, широкоплечий, в синем свитере с белыми оленями, и мы закурим. Иной раз Иван Сергеевич почешет этак затылок и взглянет лукаво:

— А что, если мы малость согрешим, а?

И мы малость грешим.

Люди, мало знающие Ивана Сергеевича, часто говорят: «Нелегкая, видать, у него жизнь была, грустный он какой-то...» Да, жизнь у него действительно была нелегкая, было в ней много интересного, было и счастье, было и горе, большое горе; но грусть — это не то слово, которое связывалось бы как-то с обликом Ивана Сергеевича. Хотя и это в какой-то степени есть, в той степени, в какой грусть необходима всякому человеку. Но сколько в нем, кроме того, доброты, и серьезности, и какого-то благородного покоя, и в то же время лукавого, изящ-

ного озорства, да и просто, я бы сказал, веселья. Одного только нет, начисто нет — нет фальши! Ни в чем — ни в мыслях, ни в поступках, ни в книгах. Он ненавидит фальшь, она ему противопоказана, и только в столкновении с ней — будь она в книге или человеке — он проявляет еще одно благородное свое качество — гнев.

О некоторых людях говорят: он интересный рассказчик, интересный собеседник. Откровенно говоря, я всегда боюсь таких людей. Рассказываемое этими людьми бывает обычно и умно, и интересно, и нужно, но в большинстве своем сами рассказчики настолько упиваются собственным пением, что к концу этого самого «собеседования» чувствуешь себя лишним.

Иван Сергеевич тоже любит и умеет рассказывать. В этом умении есть какой-то секрет. И, думается мне, заключается он в полном отсутствии чего-либо показного, актерского. В большом обществе (даже не в большом — четыре человека уже много) Иван Сергеевич всегда молчит. Он предпочитает посидеть вдвоем — «выкурить трубочку»; вот тогда и говорится и слушается лучше.

В позапрошлом году я прожил что-то около двух недель в «имении» Ивана Сергеевича на берегу Волги — в Карачарове. Собственно говоря, я жил в доме отдыха, в бывшей усадьбе князя Гагарина, но каждый день ходил к Ивану Сергеевичу в его маленький домик в лесу. Считалось, что я хожу туда работать. Я брал с собой папку, бумагу, карандаш и устраивался в маленькой уютной светелке за простым деревянным столом. Иван Сергеевич рылся в это время в каких-то бумагах в соседней комнате, перебирал книги или писал письма, потом невзначай вдруг появлялся в светелке, и работа моя, к великому моему удовольствию, на этом кончалась. Часы, проведенные в этой светелке,— одни из счастливейших в моей жизни.

Разговор всегда негромкий, неторопливый; в руке, большой руке охотника и моряка, обязательно трубка, она поминутно гаснет, чиркается спичка, несколько глубоких затяжек, спичка аккуратно кладется на стол — и рассказ продолжается. Бог ты мой, чего только не перевидал на своем веку Иван Сергеевич! Детство в глухой смоленской деревне, затем Смоленск, изгнание из реального училища по обвинению «в принадлежности к преступной ученической революционной организации», затем Петербург, Ревель, а дальше скитания, многолетние морские странствования, Черное и Средиземное моря, Греция, Англия, Германия, матросская жизнь... Затем солдатская — мотористом на первом русском бомбардировщике «Илья Муромец» (я был свидетелем встречи Ивана Сергеевича со своим пилотом — до чего ж это было интересно!), затем революционный Петроград, гражданская война на Украине... После войн опять странствования — четыре арктических экспедиции (на Новой Земле есть даже залив Соколова-Микитова!), исследование центральной части Таймырского полуострова — последнего «белого пятна» на карте нашей страны.

А сколько встреч и дружб...

Сидишь и слушаешь. И о чем бы, о ком бы ни шел рассказ — все интересно, будь то о Горьком, Бунине, Ремизове, Куприне, Грине или о большом друге японце-матросе, который копил несколько лет деньги на покупку «кавасаки» у себя на родине и продул их в карты в один вечер. А как приручают беркутов? Оказывается, его еще молодым слетком берут из гнезда, долго затем морят голодом и не дают спать (охотник тоже не спит), а когда беркутенок уж совсем при последнем издыхании, дают кусок мяса, и он твой раб на всю жизнь...

— Ну, а о том, как меня в Киеве в контрразведку посадили, это уже в другой раз... Всего не расскажешь.

И я только дивлюсь, сколько у Ивана Сергеевича еще ненаписанного. А ведь вышло более тридцати названий его книг! И каких книг! Как много в них рассказано правильного, невыдуманного, каким ясным, чистым русским языком они написаны!

Тридцать названий! Как много! И вот тут-то возникает у меня какое-то странное ощущение. Я никак не могу представить себе Ивана Сергеевича пишущим.

Как он стоит за штурвалом — представляю, и как с ружьем по лесу идет — тоже представляю, и даже как спускается в водолазном шлеме на дно морское (и такое было), а вот как он пишет — за столом на машинке, или в кресле, положив рукопись на колени, или, подобно Хемингуэю, стоя у бюро,— этого не знаю. Когда я читаю его вещи, я всегда слышу его голос. Будто это он мне все рассказывает. И вижу его. Вот в этом месте он чуть-чуть улыбнется, а здесь лукаво посмотрит на меня или, наоборот, строго, даже сурово, а тут вдруг замолкнет, потянется за спичками, начнет раскуривать трубочку... И мне почему-то кажется, что все эти рассказы не написаны — я уверен, что он просто рассказывает их, а слова сами ложатся на бумагу. Разве не может быть такого?

К читателям своим Иван Сергеевич относится очень по-дружески, с доверием и вниманием, поэтому, наверно, им никогда с ним не бывает скучно. Ведь рассказывает Иван Сергеевич всегда только о том, что видел собственными глазами. Потому так широк и разнообразен мир его книг. Но о чем бы ни писал он — о портах Средиземного моря, о берегах Африки или о Таймырском полуострове,— он всегда остается самим собой — писателем, который вырос на лесной смоленской стороне. Любовь к родной земле, к ее людям, к ее лугам, цветам, травам, к ее жизни, нынешней и минувшей,— придают особую цельность и сердечность его книгам.

«Люди, не порывающие связь с родиной и природой,— пишет Иван Сергеевич,— не могут почувствовать себя одинокими. Как в детстве, раскрыт перед ними зеленый сверкающий мир. Все чисто, радостно, светло в этом мире. И как в далекие дни детства, над головой усталого путника, прилегшего отдохнуть после похода, колышутся лесные цветы, высоко в небе кружит, высматривая добычу, коршун-канюк».

Среди хороших, верных книг нашей литературы книги Соколова-Микитова занимают свое, на первый взгляд, неброское (уж очень скромен сам Иван Сергеевич), а на самом деле доброе и прочное место. Их многое связывает с традициями русской классики, и вместе с тем их не отделить от наших дней с их открытиями, исследованиями, путешествиями. Читая книги Соколова-Микитова, всегда испытываешь радость от встречи с умным, серьезным, очень чистым и очень добрым человеком. И читатель этих книг тоже, по-моему, должен быть таким. Не зря Иван Сергеевич в своем предисловии к «Избранным произведениям» пишет: «Лучшей авторской радостью были неожиданные встречи с читателями, которых находил иногда в самых отдаленных уголках нашей страны. Этих молодых и старых читателей считаю своими лучшими, самыми надежными друзьями».

Что же сказать еще? Остается, по-видимому, поздравить юбиляра. Поздравляю Вас, дорогой Иван Сергеевич, и прошу разрешения в самый день Вашего семидесятилетия, если я по каким-либо причинам не окажусь рядом с Вами, «малость согрешить» за Ваше здоровье, пожелать Вам счастья, а себе не одну еще выкуренную вместе с Вами трубочку.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Левицкий. Не жалеть тепла для людей...— **М. Блинкова.** Куда ведут следы прошлого.— **М. Чудакова.** Гайдар и время.— **Н. Берковский.** Новая советская книга о Бальзаке.— **М. Злобина.** Вначале были пушки.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. У истоков «Правды».— **А. Сидоров,** член-корреспондент АН СССР. Книга о письме.— **Д. Щербаков,** академик. Средняя Азия глазами географа.— **Ю. Кормнов,** кандидат экономических наук. Решающий фактор развития общества.—**А. Турков.** Трезвость и оптимизм.

Литература и искусство

НЕ ЖАЛЕТЬ ТЕПЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ...

Миха Квливидзе. Надпись на камне. Стихи Перевод с грузинского. Гослитиздат. М. 1961. 240 стр.

Трудно судить о поэте по переводам его стихов, особенно если не знаешь языка, на котором они написаны. Остается только строить предположения, в какой мере поэтика автора сохранилась в переводе.

Переведенное на русский язык стихотворение как бы приобретает второе гражданство и становится фактом русской поэзии. В том случае, конечно, когда стихотворение звучит на русском языке так же естественно, как в подлиннике. Но самый искусный и талантливый поэт не сумеет при переводе вдохнуть жизнь в стихотворение, если этой жизни не было и нет.

Стихи М. Квливидзе на русский язык перевели А. Ахматова и Н. Заболоцкий, Е. Винокуров и Б. Слуцкий, А. Межиров и В. Корнилов, В. Боков и Д. Самойлов, М. Светлов и В. Соколов, Б. Ахмадулина и В. Звягинцева, М. Петровых и В. Тушнова и многие другие поэты, чья стихотворная и переводческая культура хорошо известна. Здесь поэты разных индивидуальностей, а книга выглядит удивительно цельной. Это не механическое соединение разношерстных стихотворений, каждое из которых живет изолированно от других, а единое лирическое повествование, выражающее личность автора — человека тонкого, впечатлительного и (да простится это слово) артистичного.

М. Квливидзе — поэт сосредоточенного и углубленного взгляда на мир. И взгляд его, питаемый внешними впечатлениями — картинами природы и судьбами современников, событиями настоящего и воспоминаниями о прошлом,— постоянно обращаясь вовнутрь, служит точкой отправления для напряженной душевной «работы». Это не умозрительный процесс, в котором мысли выстраиваются в крепко сколоченные силлогизмы, а сложная вязь ассоциаций — на первый взгляд, причудливых и своевольных, а по сути естественных и обоснованных. От мимолетных наблюдений, от контуров картины к постижению смысла вещей — таков путь мысли поэта. И оттого, что путь этот неотрывен от его опыта, оттого, что он не только пройден, но и пережит поэтом, он кажется таким выношенным и убедительным.

М. Квливидзе — поэт лирического дарования и лирической устремленности. Он говорит негромко и избегает декларативных высказываний, но мысль его отчетлива.

В стихотворении «Ушба», которое мастерски перевел Николай Заболоцкий, лирическое повествование движется извилисто, то уходя вглубь, то выражаясь с ясной прямотой. Спящая любимая, спящий Тбилиси («Голову он положил на колени горных хребтов»), необъятное небо и необъятная забота поэта о любимой, «высокая, гордая Ушба», безмолвная и покрытая снегом вершина, и — «словно цепочка рассыпанных зерен, снег прочертили следы пешехода... Их ни обвалы не стерли, ни бури, не поглотили их снежные вьюги»; и снова спящая любимая, в чьей душе обозначились «тени следов», которые ничто не могло стереть, и спутник любимой, ее муж:

Он не похож на того, кто дерзает
По неприступным скитаться вершинам.

О чем это стихотворение? О большой любви, перед которой бессильны и время и препятствия, об отпечатке, который откладывают в душе человека подлинные чувства, о чистоте и бескомпромиссности... Впрочем, это стихотворение невозможно пересказать. Чтобы почувствовать его «многослойный» смысл, его надо прочитать.

Книга М. Квливидзе дает отчетливое представление о склонностях, интересах, пристрастиях поэта.

Как и многие его сверстники — мальчики из интеллигентных семей,— автор рос в обстановке мирной и спокойной, и жизнь его текла неторопливо и размеренно:

Вспомнил время давнее совсем:
Мама.
Елка.
Скарлатина.
Брэм.
Школа.
Книги.
Все длиннее ряд их.
Дней прочтенных книжная стена...
Неожиданно — конец тридцатых.
И — война!

(Перевел Г. Сабгир)

Нельзя сказать, что предвоенные годы были идиллическими. Но у каждого возраста свои законы. И ощущение неожиданно прерванного детства передано здесь точно. Поэт давно стал взрослым, но и сегодня он мысленно обращается к тем, кто помог ему сохранить детство, а затем открыть большой мир жизни и найти свое место в этом мире. Поэтому столько стихов посвящено матери. Это не только дань памяти. Это живое ощущение большой роли, которую мать играла и продолжает играть в его судьбе. Это она научила его требовательно относиться к себе. Не жалеть «тепла для людей». Не сгибаться под ударами судьбы. Это она научила его верить в большие человеческие ценности. И любить жизнь. И храбро ее защищать. Здесь истоки его характера и мировосприятия — человеческого и, значит, поэтического. Здесь начало его духовной биографии.

У М. Квливидзе острый и наблюдательный глаз, подмечающий едва уловимые оттенки пейзажа. Поэт чувствует природу, понимает ее язык, постоянно общается с ней — и поэтому она каждый раз открывается ему в своей первозданности, поэтому знакомые и привычные картины Грузии обогащаются все новыми и новыми подробностями. Природа в его стихах движется, меняется, живет. Она то добрая, готовая умиротворить и приветить человека («Кружатся листья, как сухое пламя. Щебечут птицы, отходя ко сну. Неслышно кто-то ходит меж стволами и сторожит лесную тишину»); то тревожная и печальная («Здесь листья сжигают. Дым, серый и душный, стоит над землей, как мольба о пощаде, но хмурое небо глядит равнодушно и жертвует зеленью осени ради. Пронзительна стужа. И пламя костра — как кладбище золота и серебра»); то грозная, неумолимая и опасная («А горы, зубастые пасти разинув, случайной машине бедой угрожали»). И всегда неистощимо разнообразная, щедрая на свет и краски, рождающая отклики в душе поэта. Он пишет о сосне:

Она знавала холод и ненастье,
Житейских серых будней маяту
И все на свете отдала за счастье
Подняться на такую высоту.

(Перевел Е. Елисеев)

Это о дереве. И одновременно о человеке. О целеустремленности. О верности мечте.

Самая, пожалуй, характерная черта поэтического облика автора — это жажда жизни, изумление перед каждой ее подробностью, перед бесконечными и неисчерпаемыми ее проявлениями. Восхищение поэта вызывает тот, кто страстно привязан к жизни, кто всем существом своим чувствует

полноту ее, кто не в силах оторваться от нее, пока бьется сердце. Может быть, отчетливее всего это выражено в стихотворении «Расстрел», которое стоит привести полностью:

Эсэсовцы дорогой деревенской
Вели полуживого человека.
Был полдень. Отдаленный гул орудий
Напоминал весенний гром. По пыльной
Дороге пленник шел, едва ступая,
Ни помощи не ждал он, ни пощады.
Одни глаза еще живыми были,
И он смотрел, смотрел не отрываясь
В последний раз на этот мир знакомый:
Вот облако сквозное проплывает
Над черепицей чьей-то низкой кровли,
Вот плуг у двери кузницы закрытой—
Заржавленный, почти ушедший в землю,
Вот девочка с корзиною в ручонке,
Вот горы, горы... Как на них смотрел он!
Была такой неколебимой жажда
Смотреть на этот мир и видеть, видеть,
Что, и упав с пробитой грудью наземь,
Лежал он с незакрытыми глазами,
Как будто здесь, у края жизни самой,
Он собственную смерть хотел увидеть!

(Перевела В. Звягинцева)

Поэт грустит о том, что ему не дано прожить множество жизней. Ему кажется, что, проживи он их сто — и то не узнать в полной мере прекрасного богатства и неожиданного разнообразия жизни.

Грусть эта естественна, и, чтобы она не выродилась в звонкую, но пустую декларацию, надо не прозевать той единственной жизни, которая отпущена человеку. И прожить ее как следует. С пользой и со смыслом. Об этом думает поэт. Он не хочет довольствоваться малым:

Иду. Под метелью, в снегу по колена.
Не видно конца ни снегам, ни пути.
Но глаз мой остер и мечта неизменна:
Хочу одного я — весь мир обойти...

(Перевела В. Звягинцева)

Он хочет не только вобрать в себя мир, но и отдать себя миру. И он судит себя строго. Он не утешается тем, что он себя ничем особенным не запятнал,— никому не солгал, никому не изменил, никого не обманул. «И голос совести все строже: солгать себе или другим — да это ведь одно и то же!»

И поэт стремится всегда оставаться самим собой. Во всем — в работе, в любви, в своем отношении к людям. Он сдержан в выражении своих чувств, но чувства эти глубокие и тонкие. И важнейшей стороной облика поэта является его интерес к людям — интерес, очень органичный для него:

Мне не утратить к людям интереса,
И я, надеюсь, им необходим.
Что я один!
Я — как кусок железа —
Звеню тогда, когда столкнусь с другим...

(Перевел Е. Винокуров)

Поэт жаден до впечатлений. И это очень хорошее качество. Но, как принято выражаться, недостатки — продолжение достоинств. Иногда М. Квливидзе начинает фиксировать первые попавшиеся свои впечатления и говорить о них с ничем не оправданным пафосом.

Поэт случайно увидел в метро девушку «с красивыми ногами». Ну что ж, увидел так увидел. Мало ли какие прохожие попадаются нам на пути. Но автор держится на этот счет другого мнения. Он охвачен философической грустью. Он горюет о том, что никогда больше, видимо, не встретит незнакомку:

Как речка, что цветок уносит в море,
Ее унес журчащий эскалатор
На площадь Маяковского. А я
Один стоять остался, пригвожденный
К столбу забот семейных, на перроне,
С хозяйственною сеткой на руках...

(Перевел Е. Винокуров)

Если по поводу таких пустяков впадать в отчаяние, слез, конечно, не оберешься. Что до хозяйственной сетки — этой дежурной принадлежности трагического семейного рабства мужчин,— то она не мешает поэту в другом стихотворении («Счастье») чувствовать неоспоримые преимущества женатых перед холостыми...

Такие случайные стихи (хотя их и немного) не украшают книгу М. Квливидзе. А книга хорошая. Она написана поэтом искренним, цельным, думающим, интересным.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

★

КУДА ВЕДУТ СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

В. Берестов. Приключений не будет. «Дружба народов», № 11, 1961.

Автор научно-художественной повести «Приключений не будет» прежде всего оповещает читателя о том, чего в его произведении не будет.

Не будет любовного конфликта: «Мы люди семейные, и, кажется, у всех все в порядке».

Консерваторов в коллективе нет, бороться не с кем и перевоспитывать тоже некого.

Приключений, как заявлено уже в названии, тоже не будет, потому что они «бывают при плохой организации дела. Или по недосмотру». А хорезмская археологическая экспедиция, о которой рассказывает В. Берестов, тщательно подготовлена, и в составе ее — люди знающие, разумные, дисциплинированные.

Можно догадаться, против кого направлен скрытый саркастический смысл этих предупреждений. Археологи, геологи и люди других профессий, связанных с поездками, с отрывом от обжитого быта, то есть люди профессий признанно «необычных», часто с раздражением говорят о псевдоромантическом изображении их труда в беллетристике и в кино, о стремлении всячески обыграть эту самую «необычность», а в конце концов использовать ее как фон для пикантных сюжетов.

Так вот, знайте: «честно говоря, работа у нас пыльная, кропотливая, утомительная». «Мы, археологи, в общем-то живем сидячей жизнью. Сидим на раскопках, сидим в машинах, сидим в палатках».

Даже инструменты археологов-хорезмцев безнадежно прозаичны: нож, который можно «купить в любом хозяйственном магазине», и короткая малярная кисть (обметать поверхность раскапываемых памятников).

И все же искушенный читатель быстро догадывается: предуведомления автора — скорее всего намек на то, что произведение может быть достаточно увлекательным и без перечисленных привычных приемов и что он, автор повести «Приключений не будет», вроде бы и отваживается такое произведение создать. А кроме того, заявив об отказе от вымысла и о своем намерении твердо держаться конкретных фактов, автор дает себе некоторую свободу действий: теперь он может свободно вводить в повествование научный материал, цитировать то, что говорили и писали его учителя — С. П. Толстов и А. В. Арциховский и другие крупнейшие ученые, использовать специальную терминологию (правда, каждый раз поясняя ее); мало того, он не отказывает себе в удовольствии пофилософствовать и помечтать. А повесть действительно читается с интересом и удовольствием, и постепенно оказывается, что есть в ней свои тайны, находки, своя романтика и даже, если хотите, приключения. Да и как может быть иначе, если «археология, наука о старом, на каждом шагу открывает что-нибудь новое»?

По установившейся традиции, когда речь заходит о произведениях научно-художественного жанра, почти всегда начинаются попытки установить разного рода дефиниции: кто является героем этих книг (собственно наука, или ученые, или их поиски и т. д.), в какой степени допустимы эмоциональность и беллетристические приемы, что определяет грань между научно-популярным и научно-художественным произведением и т. п.

Небольшая, предельно достоверная повесть В. Берестова убеждает, что чисто художественный элемент и научный могут свободно и естественно переплетаться, усиливая и дополняя друг друга, что элемент научной популяризации может быть вполне уместен в научно-художественном произведении и что попытки установить обязательный тип героя для этих книг были бы столь же бесплодны, как и старания установить тип героя для художественного произведения вообще.

Герой повести «Приключений не будет», например, особый, так сказать комплексный: археологическая экспедиция, проводящая раскопки памятников раннего хорезмийского средневековья (восьмой век нашей эры). Все, что связано с экспедицией, является предметом художественного внимания автора: научные результаты работы археологов и сам ее процесс; люди, входящие в состав экспедиции, их жизненные и научные впечатления, их быт; люди, с которыми общаются во время летних работ археологи, — потомки жителей «земли солнца» [1],

[1] Хорезм — составное слово иранского происхождения: хор — солнце, зм — земля.

древних обитателей этих мест. Поэтому в повести и «время действия» двойное: современность и далекое прошлое, постепенно раскрывающее свои тайны.

С двумя задачами — научно-популярной и эмоциональной — справляется и основной научный сюжет повести. Начало его положено маленьким приключением: на территории замка, но — что важно! — не в специальном месте погребения, обнаружен череп человека. Это счастливая находка, она говорит о том, что замок и его обитатели погибли внезапно, после штурма. А ведь «чем полнее запечатлела земля трагедию древних людей и чем ужасней была эта трагедия, тем больше радостей ожидает археологов»,— не без усмешки над одержимостью ученых замечает автор. И далее он с таким увлечением рассказывает об ожидающих его исследовательских радостях, что нисколько не кажется неправдоподобным его признание в своей влюбленности в тот самый замок, «объект № 28», где был найден череп. А где любовь — там и тайны, и надежды, и ревность, и разочарования, и новое очарование. И мы начинаем следить за ходом работ с нетерпеливым ожиданием.

Правда, оказывается, что никакой собственной тайны у замка «№ 28» нет, но это нас не разочаровывает, так как мы уже захвачены теми секретами и загадками, что скрываются за глинобитными стенами, возведенными много веков назад, за пересохшими руслами древних каналов, за каждым узором на черепке.

Черепки... «Керамика восьмого века груба, часто плохо обожжена, в глине много примесей. Варварские узоры в виде вмятин и зашипов»; а задолго до того, во времена хорезмийской античности,— «что ни вещь, то произведение искусства!» Вероятно, каждый, кто сравнивал античность со средневековьем, не раз задавал себе вопрос, который встал перед автором: «А где же прогресс? Был ли прогресс?» Как же непрост путь прогресса, если в самом факте его мог усомниться человек, своими руками трогающий вещные останки давно ушедших времен! А между тем многочисленны и разнообразны шаги прогресса: они и в грубых известняковых жерновах, заменивших зернотерки, и в уменьшившейся ширине оросительных каналов, и в водоподъемном колесе, и во множестве других признаков постоянного стремления человека облегчить и усовершенствовать свой труд.

И опять мы возвращаемся к замку «№ 28»: ведь это его обитатели вращали жернова и копали каналы! Обратите внимание, как поэтична в своей строгой достоверности картина исторической реконструкции, созданная автором:

«...Вот я стою на полу, где уже тысячу лет никто не стоял. Я не застал хозяина, но его вещи, иногда поразительно живые, обстановка, в которой он жил, и, наконец, облик самого дома дают мне представление о человеке...

Человек хорошо вооружен. Он держит в конюшне рабочих лошадей и того скакуна, что понесет его в бой. Вокруг замка лежат поля. Рядом канал. Хозяин, глава большой семьи, выделившейся из общины, вместе со своими домочадцами, зависимыми людьми и домашними рабами обрабатывает поля, чистит арыки. В руках у него кетмень, за поясом меч. Он — «дихкан». Это слово еще не означало «крестьянин». На заре феодализма оно звучало как титул, который носили даже цари. И он царь в своих узких владениях, он никому не даст себя в обиду. Он беден, но горд и уверен в своей силе. У него, может быть, истрепанная одежда, но он полон достоинства... Он, этот вооруженный земледелец, делает историю, и в то же время он игрушка в руках ее еще не познанных сил. Он смутно подозревает, но пока не верит, что его потомки попадут в кабалу к ханам, эмирам, баям, что именно к этому на первых порах приведет его неутомимая деятельность, его мечта о счастье».

Какими же нитями связаны раздумья автора о человеке раннего хорезмийского средневековья и рассказ его о шофере Джуманазаре и орловской крестьянке, ставшей «туркменской женщиной»,— жене Джуманазара? Может быть, дело в том, что планировка дома шофера схожа с планировкой замка «№ 28»? Или что гараж — «чем-то похожий на принарядившуюся древнехорезмийскую крепость»? Или в схожести магических знаков, прочерченных на глине над входом в дом Джуманазара, с теми, что обнаружены на керамике бронзового века? Да, конечно, это все важно, значительно, это все — звенья доказательства того, что нынешние народы Хорезма — прямые наследники вооруженного землепашца, жизнь которого стараются изучить археологи во всех возможных подробностях. С глубоким человеческим интересом, с уважением относится

писатель к труженику давних времен: «То, что в современной жизни показалось бы отжившим, устарелым, для человека восьмого века было открытием, новым шагом вперед. И нельзя не уважать его за это, нельзя не ставить его выше всех богов, царей и героев древности. И стоит поднимать горы земли, стоит кропотливо изучать каждую комнатку, каждую клетушку в его доме, чтобы восстановить в памяти людей ячейку нового для того времени общества, чтобы воздать должное этому человеку и еще раз оглянуться на пройденный путь».

А как сложилась жизнь потомков этого человека? Достойны ли они своего славного предка? Оправился ли трудолюбивый, талантливый народ после всех бурь, выпавших на его долю? Нет, автор этих вопросов перед нами не ставит; он просто рассказывает о своих друзьях: узбеках, туркменах, арабах — колхозниках, землекопах, школьниках. И в этих маленьких, коротких рассказах — радость и гордость за людей, унаследовавших тысячелетнюю культуру своего народа и приобщившихся к жизни самого передового общества.

В самом небольшом эпизоде В. Берестов умеет и сообщить о каком-нибудь интересном событии, и дать образное представление о действующих лицах, особенно хорошо воспроизводя их национальные черты, и придать изложенному сдержанно юмористический оттенок. «Зашел я в палатку к рабочим провести первомайскую беседу. Ребята ждали меня, нарядные и торжественные. Я подбирал самые простые слова, чтобы Сабуру было легче переводить.

— Много лет назад в одном американском городе,— начал я.

— В 1886 году в Чикаго,— перевел Сабур.

Оказывается, ребята не хуже меня знали историю празднования Первого мая. Ну что ж, обратимся к международному положению... Я говорил, а Сабур почтительно переводил. Однако фразы в его переводе были куда длиннее моих. Сабур подкреплял мои слова новыми фактами из последних известий, которые он только что слушал на туркменском языке. А я сегодняшних известий еще не знаю. Я заинтересовался и попросил перевести их для меня. Сабур переводил, другие рабочие ему подсказывали, чтоб он ничего не упустил. Потом они поблагодарили меня.

— Спасибо, Валентин-ака, за интересную лекцию. Приходи еще».

Соседство в литературном произведении детей и старых людей часто придает ему особую, философскую поэтичность. У Берестова соседствуют дети и старость страны. Мальчики в высоких папахах, девочки в длинных платьицах, по-восточному вежливые, понимающие толк в каракулевых барашках, знающие, каких птиц надо гнать с полей, они во всем — обыкновенные современные ребята: любопытны, общительны, «любят технику, мечтают стать шоферами, трактористами, экскаваторщиками».

А тогда, когда «все было проникнуто тревожным ожиданием неизбежного нашествия»? Как тогда жилось ребятам? «Может, именно из-за них стены стали на сколько-то метров выше, а башни еще дальше выступили за пределы стен»?

В повести «Приключений не будет» есть одна особенность, которая не может не вызвать приятного чувства.

Хотя вся повесть умещается на тридцати журнальных страницах, в ней рассказано об очень многом, и при этом в ней нет никакой суетливости, нагромождения фактов, перенаселенности людьми. Повесть спокойна и неторопliва, чтение ее оставляет ощущение разговора с хорошим собеседником, который успел за небольшой срок и многое рассказать, и дать вам материал для собственных раздумий, и настроил вас на несколько лирический и философский лад. Разумеется, секрет благородного лаконизма всегда — в расчетливом, тактичном отборе деталей и мастерстве сплава различных элементов произведения. В. Берестову достичь этого, надо думать, помогли его поэтическая практика и научная работа.

Удачно избран им метод повествования — маленькими новеллами; они избавляют автора от необходимости протягивать обязательные связки от одного эпизода к другому и дают ему возможность каждый раз сосредоточиться на главном. Конкретные сведения по основному научному сюжету произведения часто переплетаются с раздумьями, и в этих отступлениях — нередко мечта и фантазия. Может быть, именно это и придает больше всего ощущения спокойствия и привлекательной непринужденности.

Правда, иногда хочется, чтобы этот общий спокойный тон был нарушен и чтобы та полемичность, которую мы ощутили в самом начале чтения, вышла за рамки чисто литературных вопросов. И все же, думает-

ся, главное, что вызывает устойчивую симпатию к повести,— это основной нерв ее: глубокий и острый интерес к человеку, к тому, который много веков назад пытался замкнуться от всех бед в своей крепости, и к тому, кто работает самыми современными машинами на земле, которую у него уже никто никогда не отнимет. И если речь идет даже о самой седой старине, то все равно — «следы прошлого приведут вас к людям. А потом и к самим себе, к своим мыслям, к заботам своего времени».

М. БЛИНКОВА.

★

ГАЙДАР И ВРЕМЯ

Вера Смирнова. Аркадий Гайдар. Критико-биографический очерк. Редактор В. Карпова. «Советский писатель». М. 1961. 204 стр.
Е. Путилова. О творчестве А. П. Гайдара. (Очерки). Редактор А. Трабский. Детгиз. Л. 1960. 168 стр.

Книги Гайдара, читанные и перечитанные, инсценированные и экранизированные, давно уже «разобранные» на детских читательских конференциях, которые проводят взрослые, сейчас перечитываются заново.

Свежий ветер современности перелистал страницы многих старых книг. С одних он сдул дешевую позолоту, с других — пыль дальних, недоступных полок книгохранилищ. С иных же книг мы снимаем сейчас тусклый лоск, наведенный равнодушными руками, высвобождая их подлинное, «правдивое и свободное» звучание.

Среди больших работ о Гайдаре, появившихся в последние годы, выделяется своей новизной книга Веры Смирновой.

Дело не только в большом фактическом материале, впервые введенном в литературный обиход. Дело в принципиально новом подходе к детскому писателю Гайдару, возвращающем его большой литературе и «большому» литературоведению.

Была такая многолетняя традиция, которая заставляла рассматривать книги детских писателей по существу как вневременные, кружащиеся в неизменном лабиринте узко «воспитательных» проблем, как некое «подсобное хозяйство» педагогики. С этой традицией спорит работа Веры Смирновой: «Гайдар ни в чем не ограничил себя как писатель: время, люди, идеи, борьба, основные конфликты нашей жизни тридцатых годов...— все было подлинным в его книгах. И эти книги нельзя отделять от всей советской литературы тридцатых годов...» Самую большую (и, «может быть, самую важную») главу своей книги В. Смирнова так и назвала — «Гайдар и его время».

Актуальность, своевременность книг Гайдара отмечали всегда. Но это часто оставалось только декларацией, общим местом.

В работе В. Смирновой нарушается традиция многих умолчаний.

Убедительно звучит слово критика о «Судьбе барабанщика», где время запечатлелось особенно явственно: «Еще не было войны, а уже многие семьи осиротели, распались. Подозрения, страх, осторожность нередко разъединяли товарищей по работе, друзей и близких. Люди, вчера еще бывшие на виду, работавшие в советских учреждениях, коммунисты, старые бойцы за революцию, исчезали из жизни надолго, часто навеки.

В это трудное время, в 1938 году, Гайдар написал свою «Судьбу барабанщика».

Писатель не мог не отозваться на то, что происходило вокруг».

«Судьба барабанщика», быть может, самая сложная из повестей Гайдара. В ней рассказывается о тринадцатилетнем мальчике, который остался без отца, без семьи и постепенно был вовлечен в темные махинации, почти в преступление. Но в решительный момент в нем с неожиданной силой проявляются то неподкупное мужество и внутренняя готовность к подвигу, которые были воспитаны в наших подростках революцией, и через три-четыре года повели их «на смертный бой» великой войны.

А рядом с этой чистой гайдаровской нотой заметны в повести и черты литературных схем. В центре ее сюжета — столь частая в литературе довоенного времени фигура шпиона. В конце появляется традиционный майор НКВД, разоблачающий, разъясняющий, сдержанный и подтянутый, наспех «очеловеченный» шаблонно-интимными интонациями.

Но время запечатлелось в повести не только своими пристрастиями. Глубоко права Вера Смирнова, когда стремится увидеть в «Судьбе барабанщика» иные проблемы эпохи, подлинные ее настроения.

И действительно, все это в повести есть. Неясная тревога, почти живая, подступающая по ночам к изголовью; мучительная раздвоенность чувств, тайная, почти запретная любовь мальчика к осужденному отцу; душевное его одиночество, отчаяние и яростная тоска по открытой, свободной жизни,— здесь проступают приметы особой трагической ситуации тех лет.

Много лет критики старались уверить читателя, что главное содержание повести — «призыв к бдительности». Доброму, человечному, до последней строчки честному таланту Гайдара навязывали черты зловещей настороженности и подозрительности, которая так омрачала в те годы жизнь нашей страны. Но стоит только прислушаться к голосу самого автора, взглянуть на героев повести его глазами — и станет ясно: он говорит о доверии к людям, о человечности.

Сейчас даже трудно представить, насколько, мягко говоря, непривычно звучало тогда отчетливо выраженное в повести сочувствие арестованному отцу Сергея. И хотя у Гайдара он осужден за растрату, а не за политическое преступление, растерянное одиночество его сына слишком напоминало тогдашнему читателю другие семьи, другие ситуации. И в годы, когда в глазах многих детей надолго застывал ужас отречения от своих отцов, вчера еще самых умных, мужественных, честных, а сегодня уже навсегда заслоненных от них страшным словом «враг народа»,— в эти годы так отрезвляюще прозвучал горестно-искренний голос Сергея: «Так в полудреме прощался я с отцом горько и крепко, потому что все же я его любил, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми».

Отец возвращается — его выпускают досрочно. Летят они с Сергеем в Москву, и когда на аэродроме встречают их друзья, то последние строки повести идут уже не от Сергея, а от автора: «И, конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто». Так высказал Гайдар свою веру в победу правды, в то, что хороший, честный человек непременно обретет свое доброе имя снова.

Незадолго до книги Веры Смирновой вышли очерки Е. Путиловой «О творчестве А. П. Гайдара». Они интересны обилием привлеченного исследователем архивного материала, серьезным анализом ранних книжек Гайдара, восстанавливающим путь в литературу красного командира Аркадия Голикова. Вдумчиво осмыслен автором большой материал о детской книге двадцатых—тридцатых годов. Вообще в отличие от целей, которые ставит перед собой Вера Смирнова, Е. Путилова стремится охватить все творчество писателя. Конечно, рамки исследования критик определяет для себя сам. Можно останавливаться и только на центральных книгах писателя, на том, что «осталось», как это делает Вера Смирнова. Но о поздних работах писателя, по-видимому, говорить все-таки нужно, даже если они в чем-то слабее предшествующих. Ведь слабость их уже не от неумения начинающего — причины ее глубже. Поэтому в книжке Е. Путиловой вызывают большой интерес страницы, посвященные почти не исследованным повести «Комендант снежной крепости» и киносценарию «Клятва Тимура» — последней большой работе Гайдара, где, как пишет критик, «о делах Тимура уже всем все давно известно, о нем написана книга, к нему приходят бесконечные письма, портреты членов команды печатаются в газете. Дела Тимура и его друзей стали явными, настолько явными, что взрослые уже сами обращаются к ребятам не только с просьбами, но и с требованиями...» А на чердаке уже «висят дощечки с надписями: «Сорить воспрещается», «Не болтайся без дела»...»

Разве этот замысел, скомканный начавшейся войной, не проливает свет на отношение Гайдара к движению, вызванному его книгой, к некоторым его слабостям, еще в зародыше замеченным острым взглядом писателя?..

Но традиция «критико-педагогических» сочинений порой мешает Е. Путиловой, и на страницах интересной работы появляется нечто вроде «персональных дел» героев, и пафос добросовестного исследователя подменяется пафосом пристрастного обвинителя. Речь идет о той же «Судьбе

барабанщика». «Сложные обстоятельства,— пишет Е. Путилова,— которые, казалось бы, могли если не оправдать, то хотя бы смягчить степень вины мальчика (арест отца, отъезд мачехи Валентины, одиночество), не вызывают у Гайдара никакого снисхождения — он судит героя без всякой пощады. В том, что Сережа быстро покатился вниз, виноват прежде всего он сам». Это несправедливо и по отношению к Сергею и к самому Гайдару. Гайдар писал, конечно, о детях, «без вины виноватых» (Вера Смирнова), оставшихся без семьи, без веры в себя. Гражданский — в высоком смысле слова — накал повести так силен, что новые факты об истории ее создания, приведенные в книге Веры Смирновой, не кажутся неожиданными. Они лишь подтверждают непосредственное читательское впечатление: «Знавшие первоначальный замысел повести говорят, что отец Сережи, героя «Судьбы барабанщика», был арестован по доносу, как политический преступник». «Я уверена,— замечает критик,— что исходил Гайдар из того, что в то время было типичней и чаще».

В небольших повестях Гайдара, которые «кажутся сначала такими простыми», Вера Смирнова сумела увидеть глубину «человеческой мысли, философии». Но одной повести критик в этом отказывает. Речь идет о «Тимуре и его команде», по мнению Веры Смирновой, самой «детской» из повестей Гайдара. Это только «новая советская игра», придуманная Гайдаром, «игра, в которой очень хитро и весело была организована подготовка детей к грядущим военным временам».

Примерно то же — в работе Е. Путиловой, где из десяти страниц о «Тимуре» восемь отданы рассуждениям о «большом значении игры в воспитании ребенка» и Гайдару сделан скучный комплимент: он «в повести «Тимур и его команда» пошел еще дальше в раскрытии возможностей детской игры». Но вспомним повесть. С каким-то слепым рвением стремится старшая сестра Жени, Ольга, оградить ее от «дурного» влияния Тимура. И когда, увидев однажды в парке Тимура рядом с хулиганом Квакиным, разгневанная Ольга подбегает к нему и кричит: «...У тебя на шее пионерский галстук, но ты просто... негодяй»,— когда потом Тимур стоит и молчит, и молчат рядом с ним Фигура и Квакин, озадаченные его гордостью, его непонятным благородством («Чего же ты молчал? — усмехнулся Квакин.— Ты бы сказал: это, мол, не я. Это они. Мы тут стояли, рядом»),— то это совсем не игра. Тут подлинность переживаний, которая захватывает не только читателя-ребенка.

Тимур давно уже «разобран» и расхвален и предложен детям — с чуть-чуть излишней настойчивостью — в качестве образца для подражания. И дети скороговоркой повторяют: Тимур был смелый, мужественный, находчивый... Есть в повести Квакин, который ворует яблоки. А Тимур не ворует. Он смелый, мужественный и т. д. Повесть давно уже сглажена, зачищена, зализана: исчезли куда-то и борьба, и горечь непонимания, и самоуверенно «взрослое» неприятие абсолютности детских представлений о доверии, честности, благородстве.

«Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь». Георгий находит эту записку. Он поражен тем, что Тимур, совсем не зная Женю, оставил ее утром одну в квартире. «Ты, друг мой, болен, и тебя надо отправить в сумасшедший». И вот хороший в общем-то человек, что называется «славный малый», вдруг меркнет, становится нестерпимо банальным, когда «насмешливо» читает эту записку, где с непостижимой безыскусственностью звучит непоказное, естественное, ничем не скованное, абсолютное доверие Тимура к людям.

«Тимур. я думаю, не вполне дорисован у Гайдара как характер, как мальчишка,— пишет Вера Смирнова.— Он требует читательского домысливания, довоображения». Те черты, «какие читатель угадывает в Тимуре, их, по правде сказать, не вычитаешь в повести...» Справедливо ли это? Ведь есть понятие «подтекста», и это как раз то, чего не «вычитаешь», что «домысливаешь». И можно ли упрекать за это писателя?

«Поздняя ночь. И черно-красной звезды на воротах не видно. Но она тут». На кинопленке такое не передашь. Но искусство слова позволяет нам угадать в темноте звезду на воротах и поверить, что люди, живущие здесь, всегда под охраной доброты и спокойного мужества.

Так и Тимур. В него веришь безотчетно, самозабвенно, со всей страстью, которую вызывает большое искусство. Я не знаю, «дорисовано» ли его строгое великодушие, его мужественное благородство. Я просто знаю, что оно тут.

Поэтому немного грустно читать, что «в художественном отношении эта повесть — не самое сильное произведение советского писателя». Но это, пожалуй, естественное право критика на бо́льшую симпатию к одним произведениям писателя, меньшую — к другим. Удивляет фраза, которая следует вслед за этим: «Сила ее — в воздействии, в современности, в своевременности ее воспитательского зачина, ее призыва к действию, в ее перспективности». Ведь сила самого критика как раз не в противопоставлении «художественности» и «воздействия», а в том полном погружении в замысел писателя, когда открывается внутренняя оправданность «формального» его воплощения, когда уже просто нельзя представить «воспитательское» отдельно от «художественного».

Тогда возникает великолепный рассказ о том, «Как была написана «Военная тайна». Это одна из глав книги, и, наверно, лучшая.

Когда мы говорим о Гайдаре, то всегда представляем что-то очень наше, советское. «Это почти неуловимо,— пишет Вера Смирнова,— это нельзя процитировать — подтвердить какими-то определенными строчками, но Гайдару удалось передать мироощущение советских ребят тридцатых годов, оно есть в атмосфере его книг, во всем поведении, в повадке его героев».

Но каким бы новым, насквозь советским ни был наш Гайдар, нельзя забыть, что от его творчества тянутся незримые нити к тому, что мы называем привычными и торжественными словами «великая русская литература», к ее моральной проблематике. Это углубленные, порой мучительные раздумья о совести и о верности себе. Это мысли о подлинном братстве людей, о безграничном доверии к человеку. Это те непрекращающиеся поиски идеала, которым, не в пример литературе зарубежной, отдали дань все русские писатели, те поиски, которые у Гайдара воплощались то в притягательном и туманном силуэте Марицы Маргулис, то в ясной и чистой необычайности малыша Альки, то в очерченном лирически и строго облике Тимура.

Талантливая книга Веры Смирновой подводит наконец черту под «ведомственным», школьно-педагогическим изучением Гайдара. Теперь его нельзя изучать иначе как большого русского писателя.

М. ЧУДАКОВА.

★

НОВАЯ СОВЕТСКАЯ КНИГА О БАЛЬЗАКЕ

Д. Обломиевский. Бальзак. Этапы творческого пути. Редактор С. Лейбович. Гослитиздат. М. 1961. 590 стр.

Книга Д. Обломиевского — итог большого и напряженного труда. Уже освоение одного только художественного наследия Бальзака — задача, требующая значительных усилий. К этому Д. Обломиевский присоединил и те ранние романы Бальзака, которые сам Бальзак позднее рассматривал всего лишь как предысторию его писательства, и всю обширную корреспонденцию Бальзака, и все его многочисленные статьи на темы литературные и публицистические. Этим огромным и разнородным материалом Д. Обломиевский свободно владеет, держит его в памяти и умело им пользуется по мере надобности. Со всей возможной широтой привлекая к делу факты, прямо связанные с самим Бальзаком, автор книги этим себя не ограничивает. Его книга превратилась в богатое содержанием исследование по истории французской прозы, в центре которого находится Бальзак, окруженный именами большего или меньшего значения. Едва ли ускользнул от внимания Д. Обломиевского хотя бы один сколько-нибудь характерный французский повествователь или романист первой половины XIX века. Приближенные к Бальзаку и к проблемам Бальзака, зачастую по-новому освещены Виньи, Виктор Гюго, Сю, Стендаль, Жорж Санд. Автор книги не теряет из виду лучших современников Бальзака. Он весьма присматривается и к писателям второстепенным, однако же знаменательным для французской прозы времен Бальзака, таким, как Арленкур, Поль де Кок, Альфонс Карр, Леон Гозлан, Шарль Бернар. Характеристики этих деятелей литературы достаточно полны, каждый из них очерчен и с социальной и с художественной стороны. Быть может, впервые дана точная аттестация такому писателю, как Поль де Кок, о котором сохранилась

только смутная дурная слава и конкретные представления о котором потеряны в истории литературы; в этом смысле можно бы сказать, что Поль де Кок — писатель столько же знаменитый, сколько и малоизвестный. Д. Обломиевский хорошо объясняет мещанскую сущность романов этого автора, безразличие его к большим вопросам исторической жизни, умышленную мелочность, пристрастие к домашнему быту, к его малозначащим делам. Поль де Кок вводится ради дополнительных красок, которые он дает в общей картине французской литературы времени Бальзака.

С полным основанием эта литература представляется нам высокой и героичной по духу своему и устремлениям: вспомним горячие отзывы Герцена, например, о французских писателях тех десятилетий. Однако же мы не даем себе отчета, что большой масштаб, возвышенный пафос и дальние возвышенные цели в эту эпоху вовсе не подразумевались сами собою. Были очень влиятельные писатели с противоположными тенденциями. Бальзак, Стендаль, Виктор Гюго встречали вблизи себя литературу, весьма к ним недружественную.

В известной степени наука и критика уже успели осветить взаимоотношения между реалистом Бальзаком и романтиками, современными ему. Книга Д. Обломиевского ощутимо пополняет наши представления о месте и роли Бальзака в среде его литературных современников. Бальзак не только противостоит романтикам — у него свои счеты и борьба с вульгарными реалистами. Поль де Кок или Шарль Бернар держались низких горизонтов, бытописательства, лишенного внутренних связей с духом истории и историзма Бальзак в начале своей литературной деятельности только начал отходить от реалистов этого толка, позднее он весь на враждебной им стороне. Вульгарные реалисты не в силах были справиться с духовными преимуществами соперников своих, принадлежавших к школе романтизма. Бальзак справился, потому что предварительно он преодолел и этот реализм невысокого полета, бедный и в отношении художественном и в отношении идейном.

Книга Д. Обломиевского — внутренняя история Бальзака, изложенная с возможной полнотой и систематичностью. Бальзак — давний герой наших историков литературы. Вероятно, ни один из писателей европейского Запада не изучен у нас так подробно и с таким многообразием подходов к нему. Однако хорошо известные работы В. Гриба, Б. Реизова, Б. Грифцова трактовали Бальзака с некоторым специальным уклоном каждая, хотя в каждом отдельном случае и выдвигались достаточно важные и серьезные темы.

Д. Обломиевский поставил своею целью охватить Бальзака целиком, и вряд ли можно указать на какие-либо вопросы, возбуждаемые Бальзаком и не получившие того или иного ответа в этой новой книге. Эволюция Бальзака прослеживается из периода в период, сначала политическая, потом в области общефилософских и эстетических идей и наконец в важнейшей области — практики Бальзака как художника. Д. Обломиевскому удается объяснить, как возникло в окончательных своих и победоносных чертах искусство Бальзака. От более скромных, интимно-домашних картин современности Бальзак идет к исторически осмысленному, грандиозному и многосложному ее изображению. В художестве он становится могучим соперником исторической и социальной науки, его романы дополняют и поправляют трактаты Адама Смита, Рикардо, Тьера, Минье, Гизо, он — Тацит и Макиавелли современной ему Европы, нравов ее, властей и учреждений. К сводной картине капиталистической цивилизации, к критике этой цивилизации, как они сложились у Бальзака, Д. Обломиевский приближает нас шаг за шагом.

Ценны и полезны попытки размежевать Бальзака с другим великим реалистом, его современником — Стендалем. Д. Обломиевский считает, что оба они различались по оценке социальных сил тогдашней Франции: по Стендалю — буржуазные силы только эпизод и частность, по Бальзаку — они определяют и поглощают все. Быть может, эти различия даны чересчур категорично, без должного внимания к развитию, которое проделал Стендаль. Тем не менее они едва ли не первый опыт провести черту, отделяющую друг от друга этих писателей, при абстрактном рассмотрении как будто действующих заодно, при более близком столь несходных между собою.

Полнота, энциклопедичность книги Д. Обломиевского не снимают упрека в известном упрощении и выравнивании проблем,

которое здесь наблюдается. Д. Обломиевский иной раз предпочитает плавно и последовательно выводить одни явления из других там, где, как кажется нам, вернее было бы противопоставлять их друг другу. Не всегда у Бальзака существует гармония, не всегда, как реки в море, политические идеи и эстетические идеи прямо и благополучно вливаются в художественную практику Бальзака. Вряд ли автору этой книги удалось доказать, что со временем идеи Бальзака, отвлеченно взятые, пришли в соответствие с объективным содержанием его романов. Разница между идейной программой Бальзака и от Бальзака не зависящими невольными выводами из его художественных произведений остается в силе.

Бальзак искал социального спасения. В реальном мире, который предлежал ему, не было этой спасительной стихии, Бальзак присочинял ее в своем легитимизме и католицизме, как бы приписывая и то и другое в виде обременительного постскриптума к своим романам. Тут была незавершенность, тут была коллизия. Д. Обломиевский, стремящийся к энциклопедичности, избегает драматизма, повествуя о внутренних путях Бальзака; естественно, что драма и энциклопедия не ладят друг с другом, не согласуются.

В книге Д. Обломиевского, на наш взгляд, очень важны страницы, где автор близко подходит к вопросам поэтики и стиля Бальзака. Хотя в книге эти вопросы мало разрабатываются, но зато даются очень хорошие введения к ним, намечены общие предпосылки, без которых нельзя ничего ни спрашивать, ни решать. Важны положения Д. Обломиевского, относящиеся к внутренней структуре романов Бальзака. Указана особая диалектика точек зрения внутри этих романов. Есть мир персонажей, и это еще далеко не весь мир в его настоящем объеме и в его настоящей глубине; есть более действенный и авторитетный мир, открывающийся нам от автора. Позиция персонажей далеко не совпадает с позицией авторской. Объективный мир, познанный в настоящих своих масштабах и с настоящим проникновением в его характер и законы,— это мир, каким автор видит его. Романтики любили строить роман вокруг гениальной личности, с которой тождественным было авторское сознание. Бытовой реализм исходил из обыденного сознания обыденных людей. Их бедные, их узкие запросы к миру становились единственным источником постижения мира каков он есть. Бальзак не пренебрегает, как это водилось у романтиков, обыденным сознанием дельца, клерка, лавочника, студента, светской женщины, светского человека, ибо в этом сознании содержится свой элемент истины, добытый практическим отношением к вещам вокруг. Но последней инстанцией, выше которой ничего нет, у Бальзака это сознание не остается. Мы бы сказали, завершая положения, намеченные у Д. Обломиевского, что в романах Бальзака происходит своеобразная борьба за истину, и это — поверх борьбы в других ее, более простых, материальных и зримых формах. И один, и другой, и третий персонаж претендуют на обладание истиной, и вот более глубокая и более богатая истина, прокламированная от имени автора, медленно образуется, питаясь от этих частных истин, от частной и несомненной правды, присущей каждому из действующих лиц при всех его особых уклонах и заблуждениях.

Д. Обломиевский сопоставляет тонко и верно эту диалектику узколичного и объективного, универсального — с другой диалектикой, более широкой по своему размаху и смыслу. В романах Бальзака действительность прозаичная, ординарная, буржуазно-деловая находится на одной стороне, и действительность поэтическая, исключительная, возвышенная — на другой. Между обеими сторонами существует у Бальзака живая связь, поэзия растет из прозы, нет дуализма, нет контрастов прекрасного и безобразного, которыми полны произведения романтиков. Положения эти верны, но мы дополнили бы их, спросив, какой же ценой достигается у Бальзака это единство самой неприглядной повседневности со стихией поэзии и красоты. Бальзак хорошо понимал и чувствовал, насколько неблагодатна для ценностей эстетики буржуазная почва. Она способна выращивать красоту только при условии, что красота окажется неполной, содержащей в себе приметнейшие подмеси прозаизма и уродства. Бальзак должен был ухудшить свой мир красоты, лишь бы только он казался вероятным, лишь бы реальные отношения поддерживали его. Единство поэзии и прозы покупается у Бальзака частичным, иногда заходящим далеко прозаизмом самой поэзии. Какой-нибудь старик Гранде, личность художественно внушительная, в то же вре-

мя духовно беден и духовно жестковат, груб и сух, почти вульгарен. Еще резче дан Гобсек, сильный умом и волей, в остальном вопиюще недоразвитый, бездарный в отношении души и сердца. Бальзак читателей своих не щадит. Ослепительные сцены потом показаны с изнанки. Великолепное становится бурно отвратительным. В романе «Шагреневая кожа» с красноречием необыкновенным рисуется чудовищный по затратам своим вечерний пир, заданный парижским банкиром. А затем описано утро, наступившее после пира, омерзительное утро гостей новейшего Тримальхиона, протрезвевших и ужасающе разочарованных в радостях, которым они предавались недавно.

Д. Обломиевский сравнивает Бальзака со Стендалем как писателей то близких, то резко расходящихся по своему стилю. Стендаль, считает Д. Обломиевский, сохранил некоторые обычаи романтиков; у Стендаля центральный герой в романе оставлен без объяснений, мотивы его поступков не раскрыты, зато он сам до конца видит и понимает, какие силы движут людьми вокруг него. В романах Бальзака Д. Обломиевский усматривает другой принцип — некоторый демократизм познания, люди любого масштаба и значения все в равной степени подвергаются аналитическому истолкованию, для поступков каждого указаны точные мотивы и причины. Мы думаем, эта мысль Д. Обломиевского любопытна, но несколько неверна. Еще Жан-Поль Рихтер в книге своей по эстетике различал значение и ранг литературных героев в зависимости от того, насколько тот или иной из них поддается раскрытию,— за героем возвышенным, незаурядным признается привилегия на таинственность. Мы думаем, что у Стендаля все и каждый из его героев становятся предметом анализа, исключений ни для кого не делается. Значительность героя или обыденность его выражаются и отмечаются тем, каков характер этого анализа: глубок или прост анализ, оперирует одними только близлежащими данными или же ищет объяснений души и дел героя, отвлекая нас в далекую даль, в большую жизнь эпохи. Как бы то ни было, анализ имеет сверх всего остального еще и стилистическое значение: наличие анализа или отсутствие его, масштаб и интенсивность его определяют, каков стиль, какова весомость персонажа, к которому анализ прилагается.

Д. Обломиевский дает в своей книге разборы главнейших романов Бальзака. Разбор «Шагреневой кожи» нам кажется самым сильным и интересным, хотя и не единственно возможным. Если «Шагреневая кожа» допускает еще и иные толкования, то мы не видим в этом порока. Никто не может притязать на последнее и окончательное толкование великих произведений литературы.

Изложение у Д. Обломиевского по форме своей доступно, как это подобает всякой настоящей науке. Работа Д. Обломиевского — «открытая книга». В ней нет излишеств терминологии, все предпосылки ясны, лежат на виду, нет ничего утаенного от читателей. Подкупает осторожность автора, в котором весьма развито чувство ответственности за каждое свое утверждение, за каждый сообщенный факт. Можно бы говорить об особом целомудрии, свойственном этой книге. Автор очень осторожен в выводах, он опасается переоценить достижения своей работы, представить их стоящими большего, чем они в себе заключают, и поэтому автор сдержан, когда ему приходится указывать, какие перспективы через его работу открываются для нас. Не всегда соглашаясь с автором, иной раз додумывая по-своему его положения, мы всегда в его же книге находим хороший материал и хорошие орудия для нашей собственной духовной работы. Автор нередко многое из того, что мог бы выразить сам, как бы переуступает своему читателю — из подлинного уважения к нему. Читатель этой книги запасается широким знанием Бальзака, его исторической и литературной эпохи, общими идеями, которые помогают найтись среди трудностей и сложностей исторического материала, а также импульсами для собственных раздумий по поводу всего, что довелось ему услышать от автора.

Н. БЕРКОВСКИЙ.

★

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ ПУШКИ

Мишель дель Кастильо. Танги. Роман. Перевод с французского Е. Шишмаревой. Детгиз. М. 1961. 190 стр.

Вот еще одна история наших дней, начинающаяся с пушечного выстрела. «В Испании вспыхнула война», и это было первым, еще смутным воспоминанием испанского мальчика Тангй. Во французском издании книга Мишеля дель Кастильо имеет подзаголовок: «Сын века». Выстрел, раздавшийся на улицах революционного Мадрида, пересек судьбы миллионов ровесников Танги и не только в Испании. Одни поняли это раньше, другие позже, но война настигла всех, вошла в их жизнь и стала их жизнью. История Танги, которая может показаться, по словам самого героя, «неправдоподобной» или во всяком случае исключительной, по существу вбирает в себя судьбы поколения. Она знаменательна для эпохи, перевернувшей нормы человеческого существования и сделавшей отклонение правилом, войну буднями, мир мечтой.

Путь Танги идет из Мадрида в концлагери «свободной» Франции и национал-социалистской Германии, мальчик проходит сквозь строй убийц и убитых, через разлуки, смерть, голод, унижения — пока, наконец, новая пушечная канонада не возвестила освобождение и вместе с ним начало новых надежд, столь же обманчивых, начало новых испытаний, борьбы, одиночества. Разбитые иллюзии — обычное завершение истории молодого человека XIX—XX веков; для Танги — это один из уроков детства, с которым он вступает в юность. Среди многочисленных героев обманутых поколений века Танги, кажется, самый несчастный и больше всех потерял. А он тем не менее не «потерянный», не «сердитый», также и не герой. Кто же он? Дитя человеческое, сумевшее стать человеком. Мишель дель Кастильо, автор книги, сказал бы: о с т а т ь с я человеком.

Детству и юности свойственно нетерпение. Мы мечтаем повзрослеть — до тех пор, пока не вырастем. А потом оглядываемся назад со смутным ощущением потери. Но вот литература XX века создала совершенно новый тип подростка, который не хочет становиться взрослым. В творчестве самых непохожих писателей — от Алена-Фурнье до Сэлинджера — детство становится как бы высшим нравственным мерилом, оазисом чистоты и естественности в мрачной пустыне взрослого мира. Так и в книге Кастильо «извечный» спор поколений приобретает совсем не традиционный смысл: сыновья судят отцов не с позиций каких-либо новых идеалов, а за обман, за отступничество от естественных законов человечности, в том числе и за растоптанное, несостоявшееся детство.

«Детство в наши дни» (так называется первая часть книги) — это очереди за хлебом в голодном Мадриде и голос матери по радио, призывающей массы к борьбе за счастье; это сумбурная и жестокая одиссея изгнания, бесконечные переезды, бегство от полиции, тоска и горечь одиноких вечеров в жалкой французской гостинице, пока мать ищет работу; тоска и горечь мыслей о доме, об отце, равнодушно отказавшемся от сына; это крик: «Грязные иностранцы!» — несущийся вслед; потом это чудесные сказки доброй Рашели в полутьме лагерного барака и неизбежность расставания со всем, к чему прилепилась душа. А дальше — это вагон для скота, увозящий детей в Германию, мертвый еврейский мальчик рядом с Танги и песня, которую запевает Танги, чтобы живым — пока еще живым — детям не так страшно было с мертвым... «Детство в наши дни» — это изощренные издевательства «капо» в немецком лагере, каторжный труд наравне со взрослыми, голод, голод, голод, озверение и разобщенность живых, трупы каждое утро, все больше трупов, мирный дымок над печью, где их сжигают, и единственная защита от всего этого — доброта друга и любовь к нему, немцу-заключенному Гюнтеру.

В десять лет Танги знает уже все, что можно знать о смерти и умирании, он уже привык к смерти, страданию, голоду, к ощущению своего и всеобщего бессилия. Но где-то под покорностью отчаяния все осталось по-человечески: живая душа не дает себя уничтожить. И дело тут, наверное, не только в обстоятельствах жизни, но и в качествах самой души. Среда влияет на человека, но на разных людей по-разному. Танги не совершает подвигов, он и не помышляет о борьбе, но человек в нем борется за то, чтобы остаться человеком,— и побеждает. Потому что это победа человека над бесчеловечностью — отдать свою

похлебку Гюнтеру, оставшемуся без обеда, или торопливо сунуть кусок хлеба почти незнакомому русскому пленному, еще более несчастному, чем он. Кусок хлеба... Танги плачет от счастья, когда Гюнтер приносит ему еду, но он уже не может плакать, когда Гюнтера уводят на смерть.

Вот и кончилось детство, а Танги так и не узнал, что это такое, кончилась война. За поездом, который увозит бывших заключенных на родину, бегут голодные немецкие мальчишки и кричат: «Кусок хлеба!..»

«Будет ли когда-нибудь на свете такая страна, где станут любить и защищать детей?» Танги «устал от того, что с ним обращались, как со взрослым», он хочет быть ребенком. Но почти ничего не изменилось для Танги после войны — католический приют, куда он попадает, мало чем отличается от фашистского концлагеря. А на земле теперь мир. Стало быть, таков нормальный порядок вещей?

В сущности, этот детский дом — одна из камер той огромной тюрьмы, в которой томится испанский народ. Маленький приютский мирок — сколок большого мира, его законченное воплощение: подавление личности, доносы, угрозы, тихое лицемерие и крикливое исповедание веры. Епископ проповедует на приютском празднике: «Разве металл не жаловался бы, если бы мог, когда кузнец бьет его молотом; и однако... он... становится произведением искусства! То же происходит и с вами, дети мои...»

Танги не захотел стать «произведением искусства». Он взбунтовался.

Испанские монахи, мучившие детей во имя божье, научили Танги ненависти. И сопротивлению — не только внутреннему, как это было в лагере, но и открытому, действенному. В сопротивлении Танги — бесстрашие предельного отчаяния, когда уже не на что надеяться. «Вы все — дерьмо!.. шайка воров и убийц!» — яростно кричит он монаху. Спустя годы дорога, на которую он вступил, одинокий и затравленный, приводит его в ряды бастующих рабочих. И опять это происходит не только из-за внешних условий, хотя они ужасны и побуждают к протесту, но также и в силу душевных качеств Танги, который вдруг почувствовал, что «эта жизнь все больше засасывала его, он постепенно привыкал быть несчастным, а именно этого он не хотел». С ранних лет Танги был — то душой, то разумом, глядя по обстоятельствам,— на стороне бесправных и униженных, против хозяев жизни. На цементном заводе он впервые почувствовал и силу народа.

Но забастовка кончилась, Танги вышвырнули на улицу, и он снова остался один.

Для Танги, чье детство прошло под знаком крушения революции, это поражение стало решающим. «Он продолжал любить жизнь и людей с отчаянным упорством», но он не верил уже «в новый мир, который хотели построить друзья его матери». Отрицая все то, что «кончается на «изм», он решительно отказывается участвовать в «партиях» и «битвах».

«Мир Танги был здесь и сейчас. В этом мире жили Себастьяна, Фирмен, отец Пардо и, может быть, другой Гюнтер» — люди, которых любил Танги и которые любили его и своей любовью, а не могуществом защитили от смерти, голода, озлобления. Танги мог бы вспомнить и многих других, но он не назвал бы среди них своей матери — она «...любила Человечество, Братство, Свободу... Поэтому она не могла много заботиться о своих близких».

Противопоставление человека человечеству не ново. Еще Достоевский отказывался от «высшей гармонии», ибо «не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». С тех пор человечество продвинулось далеко по многим направлениям — и к «высшей гармонии» и к «замученному ребенку». Достоевский и помыслить не мог бы о печах Освенцима и пепле Хиросимы. В эпоху массовых уничтожений, тотальных войн и репрессий жизнь человека чудовищно обесценилась. Надо было поставить все на свое место,— так возникло в искусстве стремление восстановить подлинную ценность человеческой жизни, заново почувствовать, понять, что нет ничего важнее и дороже человека — конкретного, единичного, живущего рядом с тобой. Этот мотив повторяется в современном искусстве на все лады — от Ремарка и Сарояна до Алена Рене, полемически приравнявшего в своем фильме трагедию одной девушки к трагедии целого народа. В такой форме проявляется здесь защитная реакция жизни на ужасы мировых войн и «мирных» промежутков между войнами. То есть на газовые камеры и атомную смерть столько же, сколько на замаскированную жестокость западных социальных систем.

В этом смысле книга Кастильо — одна из многих, идеи, которые развиваются в ней, традиционны для западного искусства. Нетрудно разбить эти идеи — их уязвимость очевидна. И все же «Танги» — совершенно особый случай.

«Жизненный материал», к которому обращается Кастильо, известен по рассказам очевидцев, официальным документам, романам. Но в данном случае этот страшный мир увиден глазами ребенка. Сопоставление этих несовместимых миров создает совершенно неповторимую интонацию печального и искреннего недоумения, которое страшнее, чем крик ужаса. В рассказе порой прорываются возмущение и ненависть, порой тихое покорное отчаянье, переходящее в усталое равнодушие, но чаще всего Танги недоумевает: «Как могут происходить такие ужасы?»; он хочет понять, но не может: за что он так наказан. Торопливые неумелые фразы кажутся написанными неловкой детской рукой. Это не литературный прием: Кастильо не является выдающимся стилистом, он «писал как умел», создавая роман, который даже в силу литературной неопытности автора (книга вышла, когда ему было двадцать четыре года) сразу воспринимается как человеческий документ. «Танги» принадлежит к числу тех книг, которые в равной мере являются фактом литературы и жизни. Не зная биографии автора, ни минуты не сомневаешься, что он писал о самом себе, хотя это и не имеет значения. А может быть, и имеет, потому что здесь погрешности формы и композиционная неорганизованность лишний раз убеждают (случай редкий и нетипичный), что все рассказанное было на самом деле.

В наше время в разных странах как раз усилился интерес ко всевозможным документальным свидетельствам, так что и среди бестселлеров все большее место занимают так называемые «нонфикшн» — невыдуманные истории. Правда об отдельных людях многими стала цениться выше, чем еще одна обнадеживающая или безнадежная концепция человека вообще

Любая великая истина может показаться банальной и даже сомнительной. Совсем не безразлично, к т о и п р и к а к и х обстоятельствах ее произносит. К тому же человечество на протяжении нескольких тысячелетий пользуется все тем же набором слов для обозначения совершенно несходных, порой противоположных понятий. В наше время нельзя уже без разъяснений и комментариев написать даже такие простые слова, как «свобода» и «добро». Ничто, пожалуй, так не скомпрометировано, как проповедь добра и любви к человеку. Всегда находятся охотники ее опровергнуть. Но, если этот призыв раздается из-за колючей проволоки концлагеря, вы вряд ли ответите на него скептической усмешкой. Потому Кастильо убеждает и тогда, когда более талантливые и опытные художники терпят поражение.

Читать эту книгу страшно. Мучительно зрелище бессмысленной жестокости, ощущение незашишенности, хрупкости человеческой жизни, втянутой в чудовищную мясорубку истории. Это не назовешь поединком — ведь не может быть поединка между машиной и человеком, попавшим в ее колеса. Но, пройдя вместе с Танги до конца его трагический путь, откладываешь книгу с чувством надежды. Человек сделан из материала самого высокого сопротивления. Танги выжил при обстоятельствах, когда не поддаться смерти уже подвиг. Он не только выжил — он вышел из самых трудных испытаний несломленным, не озлобился и не проклял мир. Пройдя школу ненависти, он остался добрым — это тоже победа. В современной литературе Запада не часто встречаются победители. Писатели разных идейных устремлений и талантов с отчаянием, горечью или цинизмом рассказывают бесконечные истории человеческих падений и капитуляций. В этот печальный хор врывается ясный голос Танги, утверждающий неистребимость добра. И его насущную необходимость.

Этот голос нельзя забыть.

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

У ИСТОКОВ «ПРАВДЫ»

В. Т. Логинов. Ленин и «Правда» 1912—1914 годов. Редактор В. Светцов. Госполитиздат. М. 1962. 244 стр.

Ленин и «Правда» — тема обширная, многогранная. Все первое десятилетие газеты, начиная со знаменательного номера от 5 мая (22 апреля) 1912 года и кончая теми номерами, которые врачи разрешили давать больному Ильичу, прошло под ленинским руководством. На каждом новом этапе насыщенных всемирно-историческими событиями десятилетий «Правда» была всероссийской трибуной Центрального Комитета партии, рупором ленинских идей, коллективным пропагандистом и организатором. Начало выхода «Правды» стало выдающимся событием не только в истории большевистской печати — это крупная веха и в истории Коммунистической партии Советского Союза. «Правда» знаменовала собой могучий подъем рабочего движения в России, прерванный первой мировой войной, но приведший в итоге к победе социалистической революции в 1917 году. Ныне «Правда», отмечающая свое славное пятидесятилетие,— боевой глашатай и организатор борьбы за выполнение решений XXII съезда КПСС.

Полувековой юбилей «Правды» заставляет снова и снова обращаться к апрельским дням 1912 года, когда впервые в России появилась ежедневная рабочая газета.

Двадцать третьего апреля 1912 года крупнейшие петербургские газеты сообщали о чем угодно, только не о том, что накануне вышел первый номер новой рабочей газеты «Правда».

Ни одна из буржуазных газет «не заметила» появления «Правды». Зато ее ждали питерские рабочие. В канун выпуска первого номера, в ночь с 21 на 22 апреля 1912 года, к типографии «Товарищество художественной печати» на Ивановской улице собрались рабочие со всех концов Петербурга. «Я помню эти памятные картины,— писал в своих воспоминаниях питерский булочник Б. И. Иванов,— когда в Петербурге на Выборгской стороне газетчики, продававшие газету, буквально брались с бою рабочими. «Правда», наша «Правда» вышла! — в этих возгласах толпы и отдельных лиц ясно была видна глубокая связь «Правды» с рабочими массами, ибо она была плоть от плоти этих масс. И потому была так дорога рабочим массам».

Дореволюционной «Правде» посвящено немало книг, брошюр, статей, диссертаций. И тем не менее есть тема, о которой молодой исследователь В. Т. Логинов сказал свое свежее слово, использовав новые, ранее не публиковавшиеся архивные источники. Книга «Ленин и «Правда» 1912—1914 годов» основана на материалах Краковско-Поронинского архива, переданного недавно Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС польскими друзьями. Ссылки на Центральный партийный архив встречаются едва ли не на каждой странице книги. Это не означает, однако, что автор выступает лишь в роли публикатора. Отнюдь нет. У В. Т. Логинова свое понимание темы, своя точка зрения. И он убедительно доказывает это.

На примере ленинского руководства «Правдой» в 1912—1914 годах автор — и в этом его основная заслуга — всесторонне раскрывает формы, методы и содержание партийного руководства печатью.

Обычно в историко-партийной литературе подчеркивалось количество статей и корреспонденций, написанных В. И. Лениным в «Правду» в 1912—1914 годах. Это, разумеется, очень важно. В настоящее время исследователи насчитывают двести восемьдесят четыре таких статьи, хотя есть все основания полагать, что эта цифра в результате новых разысканий и обоснования ленинского авторства увеличится. Но литературной работой для «Правды», работой весьма важной и нужной, не ограничивалась ленинская забота о массовой рабочей газете. В. Т. Логинову удалось убедительно показать, что все основные функции главного редактора «Правды» фактически выполнялись В. И. Лениным. На заседаниях и совещаниях ЦК РСДРП, проводившихся в 1912—1914 годах, неоднократно обсуждались насущные вопросы работы «Правды». По всем наиболее важным вопросам — определению тактической линии газеты, изменению состава ее редак-

ции, выпуску приложений и увеличению формата — «Правда» получала указания В. И. Ленина, ЦК РСДРП. Два примера.

Двадцать седьмого—двадцать девятого декабря 1913 года вопрос о положении легальной большевистской печати, в частности «Правды», ставится В. И. Лениным на обсуждение расширенного заседания ЦК РСДРП. В резолюции подчеркивалось: «Работа по укреплению «Правды» есть теперь основа всего Это в буквальном смысле слова самая насущная, самая важная очередная задача». Раньше исследователи знали об этом заседании только из такого источника, как... жандармский рапорт. Теперь в Краковско-Поронинском архиве В. И. Ленина обнаружен документ ЦК РСДРП, называвшийся «К сведению редакции».

Второго — четвертого апреля 1914 года в Кракове проходили заседания ЦК РСДРП. Руководил ими В. И. Ленин. На очереди дня была подготовка юбилейного номера «Правды» — к двухлетней годовщине. ЦК партии решил выступить на страницах «Правды» с воззванием ко всем рабочим — провести подготовку к 22 апреля под знаком дальнейшего укрепления и расширения связей с массами трудящихся. Центральный Комитет РСДРП потребовал также усилить агитацию за создание «железного фонда» рабочей печати. Предполагалось выпустить брошюру «Из истории рабочей печати в России», в которой должен был участвовать В. И. Ленин. И об этом заседании ЦК партии историки знали немного до тех пор, пока в Краковско-Поронинском архиве не была обнаружена протокольная запись всех основных решений, принятых на заседании.

В. Т. Логинов показывает в своей книге те трудности, с которыми пришлось столкнуться редакции «Правды» в 1912—1914 годах,— свирепствовавшую царскую цензуру, вынуждавшую литераторов-большевиков писать эзоповым языком, нехватку литературных сил, преследования и гонения охранки, засылавшей провокаторов в редакцию. В книге говорится и об ошибках «Правды», преодолевавшихся с помощью ЦК партии, В. И Ленина. Так, в конце 1912 — начале 1913 года в редакции «Правды» сложилось такое положение, что она практически оторвалась от ЦК: газета не печатала боевых материалов против ликвидаторов. Некоторые сотрудники «Правды» считали, что гневный тон, страстность изложения неуместны в политических статьях. В. И. Ленин в письме в редакцию настаивал на том, чтобы газета соединяла полную принципиальность с самой страстной, беспощадной войной с врагами партии — ликвидаторами, упрекал «Правду» за то, что она «сурьезнячает», жеманничает и не воюет вовсе!!»

Энергичными мерами ЦК партии это положение было выправлено. В редакции «Правды» были произведены перемены. Редактором газеты стал бежавший в конце ноября 1912 года из ссылки Я. М. Свердлов. В письме к нему В. И. Ленин дал развернутую программу перестройки газеты. Вскоре Владимир Ильич мог уже поздравить правдистов с успехом: «Сегодня узнали о начале реформы в «Дне» (конспиративное название «Правды».— *Ю. Ш.*). Тысячу приветов, поздравлений и пожеланий успеха. Наконец-то удалось приступить к реформе».

Книга В. Т. Логинова «Ленин и «Правда» 1912—1914 годов» на конкретно-историческом материале убедительно опровергает преувеличивавшуюся ранее в историко-партийной литературе роль Сталина в создании «Правды». Известно, что Сталин присутствовал на совещании в середине апреля 1912 года на квартире Н. Г. Полетаева. На этом совещании был составлен план первого номера газеты, причем заявление «От редакции» было поручено составить М. С. Ольминскому. Сталин же провел в Петербурге в это время всего лишь двенадцать дней. Утверждать, как это делалось в его краткой биографии, что «Правда» была создана «по инициативе Сталина» и именно им было «определено ее направление», было по меньшей мере необоснованно. В рецензируемой книге приведено достаточное количество материала, показывающего деятельность В. И. Ленина и передовых питерских рабочих-большевиков, создавших массовую рабочую газету «Правда».

Точно так же обстоит дело и с упоминавшейся реформой «Правды» в конце 1912—начале 1913 года. Все это раньше приписывалось Сталину, тогда как хорошо известно, что Сталин был в это время в Кракове, приехал в Петербург лишь 19 февраля 1913 года, а 23 февраля был уже арестован, успев выступить со статьей «Положение в с.-д. фракции», которая «пере-

добрила», по выражению Н. К. Крупской, в борьбе с ликвидаторами.

«Правда» 1912—1914 годов сплачивала вокруг себя большевистские литературные силы. На ее страницах печатались язвительные басни Демьяна Бедного, публицистика М. С. Ольминского, И. И. Скворцова-Степанова, статьи П. М. Керженцева, М. Н. Покровского, Ю. М. Стеклова. С первых же номеров «Правда» была тесно связана с А. М. Горьким. В декабре 1913 года ЦК партии вынес решение о легальной большевистской печати, в котором уделил внимание и «литературной стороне дела». «Желательно сделать содержание газеты,— указывалось в документе ЦК «К сведению редакции»,— более разнообразным. 1) Необходимо давать чаще беллетристику. 2) Обязателен маленький фельетон Демьяна Бедного».

«Правда» вышла 22 апреля (5 мая) 1912 года с подзаголовком «Ежедневная рабочая газета». Она сразу же стала всероссийской трибуной революционного пролетариата нашей страны. Еще весной и летом 1911 года в пригороде Парижа Лонжюмо в партийной школе, основанной В. И. Лениным, «ученики этой школы — рабочие,— вспоминала Н. К. Крупская,— говорили не раз, что необходима популярная газета, где рабочие сами принимали бы в ней участие, пошли писать в нее...» Весь материал книги В. Т. Логинова красноречиво подтверждает замечательные ленинские слова: «Правда» не только называлась рабочей газетой: название может присвоить себе любая газета. «Правда» была на деле рабочей газетой и по своему направлению, и по своему кругу читателей из рабочей массы, и по своему содержанию вообще, а в частности, по массе рабочих корреспонденций...»

Продолжая и развивая ленинские традиции большевистской печати, «Правда» за полвека своего существования дала немало образцов подлинно боевой марксистско-ленинской журналистики. Этот опыт достоин изучения. Было бы целесообразно составить сборник лучших публицистических выступлений газеты — статей, очерков и фельетонов, сохранивших свое звучание.

Рецензируемая книга посвящена первым двум годам выхода «Правды». Но разве не представили бы интерес книги на такие, скажем, темы: «Правда» в годы Великой Отечественной войны», «Правда» в борьбе за мир» и т. п. Полувековой опыт газеты ждет своих энтузиастов-историков.

Писатели и журналисты, все, кого живо интересует история большевистской печати, будут благодарны исследователю одной из самых интересных и знаменательных ее страниц — «Ленин и «Правда» 1912—1914 годов».

Ю. ШАРАПОВ,
кандидат исторических наук.

★

КНИГА О ПИСЬМЕ

В. А. Истрин. Развитие письма. Редактор Т. В. Вентцель. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 396 стр.

Русская и в особенности наша, советская наука насчитывает немало имен крупных деятелей, умевших увлеченно писать о своих исследованиях. Такими были С. И. Вавилов, В. А. Обручев, А. Е. Ферсман, Е. В. Тарле; нет такой области науки, в которой не было бы ярких и подлинно талантливых ученых-писателей. Как увлекательнейшие новеллы читаются исследования по арабской филологии И. Ю. Крачковского. И вместе с тем таких «радостных» книг очень мало. Не случайно все чаще возникает разговор о «сухом», «неудобоваримом» языке многих наших научных изданий. В ряде случаев впечатлению тягостной унылости способствует и внешний вид иных добротных и полновесных научных трудов. Но зато как радует появление работы из любой области знаний, которая может захватить читателя живостью и оригинальностью мысли, ясностью изложения.

Такой книгой является, на наш взгляд, «Развитие письма» В. А. Истрина — своеобразный и по самому своему предмету и по авторской трактовке труд, посвященный одному из величайших достижений древнего человечества.

Развитие письма!.. Мы к письменности привыкли настолько, что мало интересуемся тем, откуда она к нам пришла, как достигла она современного привычного вида. Давно признано, получи-

ло все права гражданства общее языковедение. Об истории же воплощения языка в письме, о письменах и о письменности у нас доселе не было настоящей оригинальной литературы. Не полностью помогают советскому читателю и имеющиеся у нас переводные труды вроде известной книги чешского ученого Ч. Лоукотки. Интересными были в свое время книги Б. Казанского («Разгаданная надпись»), И. Франка-Каменецкого («Как научились читать египетские письмена»), но касались они частных вопросов истории прочтения забытых древних письменных систем.

В. А. Истрин ставит перед собою задачу иную, более широкую, почти непосильную — оглядеть все системы письма, какие только были на земле, их классифицировать, их объяснить в возникновении и развитии и, неразрывно с этим, ввести читателя в самую лабораторию научной мысли о системах письма.

За последнее время мы стали посвящать все больше внимания истории науки, ее теориям и ее методологии. Книга В. А. Истрина дает читателям ответ и в этом отношении. Автор обладает примечательным талантом: искусно подводит он читателя к рассмотрению самых разных точек зрения на тот или иной предмет своей специальности; очень тактично сопоставляет и сталкивает эти различные взгляды и умеет в заключение указать свое мнение, обосновать его ясной и умной логикой. Читать книгу В. А. Истрина становится интересно даже тем, кто никогда раньше не касался этого предмета.

Книга о развитии письма стала также книгой о развитии науки, посвященной письменности. А так как письменность касается множества наук и областей культуры, то и книга В. А. Истрина оказывается в общем своем результате рассказом о культурном развитии человечества на всей земле, отраженном в зеркале письменных знаков любого языка. Интересную, нужную, новую по теме и выполнению книгу подарил нам автор. Книгу умную, и мы бы даже сказали хитроумную: специалисту известно, в каких лабиринтах приходится блуждать автору, обозревающему все необозримое множество письменных систем, от первобытного общества до современности.

Не знаем, следует ли излагать здесь содержание книги. Одинаково ясно и интересно написана она и в своей общей, теоретической части, где автор рассматривает отношение письма к языку и мышлению или общие закономерности развития письма, и в специальных главах, где говорится о происхождении письма, о различных видах письма на разных этапах исторического развития.

В. А. Истрин сумел не заблудиться в дебрях чисто хронологической информации или последовательного историзма. И в этом его большая заслуга. Он показывает умение обобщать, видеть общее в частном, и притом в столь различном частном,— общее принципиальное, а не случайно встреченное.

Главы книги, прослеживающие путь от картинно-изобразительного — еще не «читаемого», только видимого и понимаемого «письма» — через письмо-слово (логографическая письменность) [1] к слоговому и затем к буквенно-звуковому, нашему письму, строятся логически и убедительно. Отдельные письменные системы, на каких бы континентах и в каких бы странах они ни развивались, послушно и удобно укладываются в цельную и в то же время мозаическую картину общего достижения человечества — в письменность. Загадочные письмена великих государств доколумбовой Америки логически находят себе место рядом с древним кипрским письмом, отделенным от письмен народов майя двумя тысячелетиями. Что ж, именно в таких сопоставлениях наиболее отчетливо выявляется принципиальная смелость суждений ученого.

В. А. Истрин весьма тактично полемизирует со многими специалистами в области письменности. Смысл его книги в том, что тема и проблема письма синтетичны. Она в такой же мере относится к кругу филологических, как и исторических наук. Она соприкасается и с археологией, и с историей, и с техникой, входит в историю культуры, близка к истории графического искусства. Всех областей человеческого труда и творчества приходится касаться историку письма.

Руны были священны; «письменник» был и жрецом, и мудрецом, и героем, и суевером. Иероглиф был конденсатом, сгустком замечательного остроумия, изобретательства и наблюдательности художника — человека древнего Египта и древнего Китая. С по-

[1] Заметим, что В. А. Истрин вводит в свою специальную область знания не только новую убедительную классификацию, но и новую терминологию, гибкую и точную.

трясающей экономией сил и средств, с огромной убедительной наглядностью «по законам красоты» был вырезан, изваян, выкован алфавит великих культур античности. А славянские предки народов значительной части СССР «читали и гадали» чертами и рисунками. Об этих «чертах и резах» не столь давно замечательную работу провел академик Б. А. Рыбаков, уже после выхода в свет книги В. А. Истрина установив ряд календарных знаков и обозначений старой Руси.

Есть и у пишущего эти строки пожелания к книге В. А. Истрина. В ней следовало бы рассмотреть ошибки, в которые впадали ученые давних и не столь давних времен. Сколько подлинно забавного (и трагического: ибо бывают и забавные трагедии и трагические нелепости) говорилось в свое время Афанасием Кирхером, иезуитом XVII века, и русским ученым сановником XIX столетия А. Гедеоновым о «символизме» древнеегипетских иероглифов! Сколько остроумия бывало потрачено — мимо цели! — первыми толкователями письмен ацтеков вроде Брассера де Бурбура, о котором пишет и В. А. Истрин! С другой стороны, жаль, что не упоминает он заслуг русской науки в разыскании и публикации долатинских надписей древней Италии, например открытия осской эпиграфики профессором И. В. Цветаевым, создателем московского Музея изобразительных искусств. Имена В. В. Латышева и Н. П. Лихачева заслуживали бы того, чтобы В. А. Истрин упомянул их в своей работе. Первое из них встречается у В. А. Истрина только в списке литературы.

На одном вопросе автор этих строк должен остановиться в силу своей специальности искусствоведа. В «Заключении» книги В. А. Истрин говорит о «влиянии», которое оказывает на письменные знаки, на письмо изобразительное искусство (стр. 364). Это стоит объяснить. Речь идет, конечно, не о «влиянии» (термин, который давно пора применять в более уточненном и дифференцированном значении), а о том, что начертание письменного знака, техника, орудия и материалы письма находятся наравне с произведениями искусства в том культурном единстве, которое мы именуем «стилем». В иных случаях (книжная иллюстрация, миниатюры рукописных книг) очертание самого буквенного знака со своей стороны не только «влияет» на рисунок человеческих фигур, но даже определяет его. Древние новгородские рукописи доходят до необычных по своей занятности слияний фигуры и буквы. Чего стоит, в частности, знаменитый пример академического (в Ленинграде) евангелия XIV века, в котором буква «М» изображена в виде двух рыбаков, вытаскивающих сеть с рыбою и переругивающихся друг с другом непечатными словами, написанными около каждой фигурки!

Вообще хотелось бы, чтобы автор, проследивший возникновение буквенного знака из рисунка, коснулся тех моментов, когда буквенный знак вновь превращается в изображение или в обрамление для него. Это — проблема орнаментации книжного письма, создания заглавных букв, особо сложно трактовавшихся на том решающем рубеже, на каком письмо переключилось в печать.

Письмо было и, конечно, осталось постоянным и верным спутником человеческого общества от его зарождения до нашего времени. В. А. Истрин бережно и талантливо обрисовал общую картину развития различнейших систем письменности, существовавших в мировой истории. Такая книга у нас создана впервые.

А. СИДОРОВ,
член-корреспондент АН СССР.

★

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА

Э. М. Мурзаев. Средняя Азия. Очерки природы. Редактор О. С. Васильева. Географгиз. М. 1961. 248 стр.

Тот, кому приходилось летать над просторами Центральной Азии, никогда не сможет забыть ее величественные хребты, прогянувшиеся на многие тысячи кнлометров, ее бескрайние пустыни, степи и яркие пятна зеленых оазисов. Но, если, кроме того, ему удалось посетить республики Средней Азии с их горными районами, оазисами предгорий и барханами пустынь, путешествовать по долинам бурных рек, близко

изучать особенности природы и быт разноплеменного населения, — он навсегда полюбит эту удивительную, полную контрастов страну, лежащую под солнцем южных широт нашей родины.

Именно к числу таких людей относится географ Э. М. Мурзаев, отразивший свою любовь к Средней Азии и знание ее в новой отличной книге «Средняя Азия». Она конспективна по изложению и написана в несколько необычном плане для географического издания.

В ней описаны четыре среднеазиатские республики: Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Что же объединяет это описание и что наиболее специфично для Средней Азии? Степи, пустыни и горы, протянувшиеся на 2350 километров от берегов Каспия до границ с Китайской Народной Республикой. Природные условия и процессы, протекающие здесь, совсем особенные и не похожи на природу других районов нашей страны. В первую очередь это относится к ее резко континентальному, сухому климату: контрасты ее природных явлений поистине грандиозны.

Средняя Азия целиком лежит в зоне пустынь. А это значит, что и горам здесь присущи все закономерности процессов, характерных для пустынь. Но совсем особые черты и особый ландшафт присущи оазисам Средней Азии, возникшим в результате человеческой деятельности. Человек отнял у пустынь засушливые пространства и превратил их в плодородные, цветущие угодья. Он освоил в многовековом опыте природные особенности Средней Азии и создал новый географический ландшафт оазисов.

Сжатое описание природных зон Средней Азии, процессов, формирующих ее географические ландшафты, ее природные ресурсы, а также объяснение явлений, характерных для этой обширной области земного шара, и составляют содержание рецензируемой книги. Ее должен прочесть каждый специалист, работающий в Средней Азии,— преподаватель географии и естествознания, историк и археолог. Она принесет большую пользу и всем тем, кто собирается совершить путешествие в юго-восточные районы нашей великой страны. Скупые, но хорошо, а местами и образно написанные страницы полны богатого содержания, отвечающего самым современным данным.

И тем не менее у читателя остается чувство некоторой неудовлетворенности. Оно вызвано не столько автором, сколько установками самого издательства, искусственно отрывающими географическую среду от человека и его полной событиями истории. В результате споров между географами и социологами, которые считают, что человек подлежит ведению социальных наук, в такого рода научно-популярных изданиях читатель почти ничего не находит о человеке, который своим упорным трудом в многовековой борьбе с самой природой и ордами завоевателей создал современные культурные ландшафты и подчинил себе природные стихии. А как много захватывающе интересного может почерпнуть читатель из истории далекого прошлого, когда, например, античные хорезмийцы и сопредельные с ними саки (скифы) освоили низовья Аму- и Сыр-Дарьи, оросив водами этих рек миллионы гектаров пустыни. И далее он узнал бы, что не усыхание климата Средней Азии было причиной гибели этих «земель древнего орошения», а социальные явления. Читателю, несомненно, захотелось бы познакомиться с населяющими Среднюю Азию народами — создателями своих национальных культур, древнейших систем ирригации, древнего горного промысла, ряда сельскохозяйственных растений, прочно вошедших в обиход современного хозяйства.

И мне хотелось бы высказать пожелание, чтобы в дальнейшем, печатая такие полезные книги, как рецензируемая, Географгиз перестал бы рассматривать географию различных районов нашей родины в отрыве от населяющего их человека и его исторического прошлого.

Академик **Д. ЩЕРБАКОВ.**

★

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

И. В. Дудинский. Мировая система социализма и закономерности ее развития. Редактор Е. Лепникова. Соцэкгиз. М. 1961. 295 стр.

Если представить себе земной шар как огромную арену соревнования двух мировых социальных систем, говорил на XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев, то мы увидим, что социализм шаг за шагом отвоевывает у старого мира одну позицию за другой.

Социализм как общественный строй уже победил на одной четверти земного шара, под его знамена стало свыше одного миллиарда человек — более одной трети человечества. На долю социализма уже в 1960 году приходилось 36 процентов мировой промышленной продукции. Это значит, что по производству ее на душу населения страны социалистической системы уже выигрывают соревнование с капитализмом. Социализм серьезно потеснил капитализм не только в промышленности, но и в других отраслях материального производства — решающей сфере человеческой деятельности.

Теперь мировая социалистическая система, силы, борющиеся за социализм, а не капитализм определяют главное направление и главные особенности развития человеческого общества, и никакие потуги империализма не могут приостановить поступательное развитие истории, дальнейшие решающие победы социализма, для которых заложены прочные предпосылки. В чем состоят эти предпосылки? Как ускорить час победы социализма в мирном экономическом соревновании с капитализмом? Эти вопросы огромной теоретической и практической значимости стоят в центре внимания марксистско-ленинских партий, они глубоко исследуются советскими экономистами, учеными всех социалистических стран.

Среди недавно вышедших книг, посвященных актуальным экономическим проблемам развития мировой социалистической системы, особое внимание привлекает книга И. В. Дудинского «Мировая система социализма и закономерности ее развития». В начале работы автор рассказывает о возникновении мировой социалистической системы, ее закономерностях, об общих чертах и особенностях развития стран социализма. Понятно, что при изложении вопросов теории автор не мог, да и не должен был обойтись без краткой характеристики успехов стран социализма во всех отраслях экономики.

Социализм в каждой стране социалистического содружества уже одержал решающие победы. На долю социалистического сектора в промышленности приходилось уже в 1960 году 98—100 процентов (лишь в ГДР — 89 и ДРВ — 81 процент), в сельском хозяйстве 71—100 процентов, в оптовой торговле 100 процентов, в розничной 75—100 процентов. Объем промышленного производства в социалистических странах в 1961 году возрос по сравнению с 1937 годом в 7,5 раза, а в капиталистических — только в два раза. Значительно повысился удельный вес промышленности в народном хозяйстве стран социалистического лагеря. В среднем в них на долю промышленности приходится уже 75 процентов всей продукции. Все это говорит о коренных структурных сдвигах в экономике, о быстром превращении аграрных стран в индустриально-аграрные, а промышленных социалистических стран — в государства самого высокого уровня экономического развития.

Страны мировой системы социализма вступили в новый этап развития. Главная особенность его состоит в том, что СССР уже начал развернутое строительство коммунизма, а многие другие страны завершают построение социалистического общества. Всем известна ленинская формула: коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Власть народа установлена во всех странах социализма. Это значит, что первая часть формулы воплощена в жизнь в масштабах всей системы. Теперь дело за выполнением второй ее части — полной электрификации всех стран. В этом направлении сделано немало. Уже в прошлом году страны социалистического лагеря вырабатывали почти в шесть раз больше электроэнергии, чем в довоенный период. Германская Демократическая Республика, например, по производству электроэнергии на душу населения уже в 1959 году значительно превзошла ФРГ, Францию и Италию. Эти страны остались далеко позади Чехословакии и ГДР также по добыче угля.

На Чехословакию (которую, кстати говоря, Англия, Франция и Италия не могут догнать и по выплавке стали) приходится сейчас два процента мировой промышленной продукции, тогда как проживает в ней всего полпроцента населения земного шара.

Историческая миссия мировой системы социализма состоит в том, чтобы совместными усилиями в кратчайший срок превзойти мировую капиталистическую систему сначала по общему объему производства, а затем наиболее развитые капиталистические страны по объему его на душу населения и по уровню жизни. Об увеличивающемся трудовом вкладе народов социалистических стран в решение этой задачи свидетельствуют приводимые в книге данные о росте производительности труда за 1950—1960 годы. В большинстве европейских социалистических стран производительность труда за этот период увеличилась в два с лишним раза. А производительность труда, по определению В. И. Ленина, является в конечном счете самым главным, самым важным для победы нового общественного строя.

Бесспорные успехи социалистических стран и еще более значительные перспективы не заслоняют в рецензируемой книге больших и трудных проблем, ожидающих своего решения. Автор неоднократно обращает на них внимание читателя, особенно в главах о международном социалистическом разделении труда и координации народнохозяйственных планов развития. Он, например, справедливо говорит, что экономисты социалистических стран еще не дали научно обоснованного критерия для правильного определения роли различных стран в производстве тех или иных изделий. Но, как нам думается, мало только сказать, какие проблемы стоят перед экономистами социалистических стран: еще важнее наметить конкретные пути их решения. Именно эти вопросы представляют сегодня наибольший интерес, а на них, к сожалению, читатель не находит удовлетворительного ответа в книге И. В. Дудинского.

Автор правильно поступил, выделив самостоятельную главу: «Социалистический интернационализм — основа взаимоотношений братских стран». Братские партии превыше всего ставят общие интересы социалистического содружества. Они трезво учитывают, но не выпячивают на первый план особенности, присущие отдельным странам. Переход к коммунизму единым фронтом — важнейшая закономерность развития мировой системы социализма.

«Если каждая страна будет идти в одиночку, обособленно, то она не сможет в полной мере использовать для победы социализма богатые возможности, которые дает социалистическая система,— говорил Н. С. Хрущев в речи на V съезде Социалистической единой партии Германии.— Действуя в одиночку, она не сможет в современных международных условиях обеспечить надежную защиту социалистических завоеваний, гарантировать их от покушений империалистов».

Строительство социализма в самоизоляции от других социалистических стран противоречит интересам народов, избравших социалистический путь развития. Тем большего осуждения заслуживают югославские ревизионисты и албанские догматики.

Настоящий интернационализм заключается в сочетании усилий по развитию национального хозяйства каждой социалистической страны с общими усилиями по упрочению и расширению экономического сотрудничества и взаимопомощи всех стран содружества. Такова, неоднократно подчеркивал Н. С. Хрущев, столбовая дорога дальнейшего подъема мирового социалистического хозяйства.

Хорошее впечатление оставляют предпоследние две главы книги, в которых рассматривается рост экономического могущества мировой социалистической системы, ход и перспективы экономического соревнования двух систем. Правда, И. В. Дудинскому удалось рассказать только о ближайших перспективах развития социалистических стран — до 1965 года. Четко нарисовал контуры будущего мира социализма XXII съезд КПСС, принявший новую партийную Программу. В 1980 году один Советский Союз будет производить почти в два раза больше промышленной продукции, чем ныне ее вырабатывает весь несоциалистический мир. Что же касается всех социалистических стран, то согласно расчетам советских экономистов на их долю придется к этому году свыше двух третей промышленной продукции всего мира. При этом общий объем продукции промышленности возрастет более чем в восемь раз,

а сельского хозяйства — почти в четыре раза.

Это будет означать историческую победу социализма в мирном экономическом соревновании с капитализмом, полное экономическое поражение капитализма как общественного строя.

Как логическое завершение книги воспринимается последняя небольшая глава — «Социалистическое содружество — решающий фактор в обеспечении прочного мира». И действительно, несокрушимая военная и экономическая мощь социалистического лагеря уже теперь представляет такую силу, которая способна надеть смирительную рубаху на любого агрессора. Когда же социализм одержит полную победу в сфере материального производства и превосходство сил мира и социализма станет абсолютным, возникнет реальная возможность навсегда исключить мировую войну из жизни общества, даже если капитализм сохранится в некоторых странах.

Оценивая книгу в целом, смело можно сказать, что автор в основном справился со своей задачей и сумел рассказать обо всем комплексе основных проблем мировой социалистической системы достаточно убедительно, хорошим литературным языком, в доступной для массового читателя форме.

О многом заставляет задуматься эта книга, многое она разъясняет. Все это хорошо. Досадно только, что в ней не обошлось без неточных формулировок (например, о сочетании международного разделения труда с рентабельностью внешней торговли; стр. 155), без прямых ошибок в цифрах и стилистических «клякс». Так, на странице 201 читатель узнает, что наука превращается в «непосредственную (!) силу общества», а не в непосредственно производительную силу. Если верить данным таблицы на странице 213, то в 1960 году в СССР произошло «чудо» — объем промышленного производства по сравнению с 1955 годом сократился (в действительности же он увеличился более чем в полтора раза). Есть и другие, менее существенные опечатки.

Существует в народе поговорка: «Торопись, но медленно». Понимать ее надо так: «Поспешай, но ошибок не делай». Что касается полезной и нужной книги И. В. Дудинского, то недочеты в ней никак уж не объяснить торопливостью: книга сдана в набор 29 августа 1960 года, подписана в печать почти год спустя — 2 августа 1961 года, а в продажу поступила только в конце года. Такие книги надо издавать быстрее — они нужны не только экономисту, студенту или преподавателю, но и миллионной армии пропагандистов и агитаторов.

Ю. КОРМНОВ,
кандидат экономических наук.

★

ТРЕЗВОСТЬ И ОПТИМИЗМ

Гарри Зихровский. Индия осушает свои слезы. Древняя страна на новом пути. Перевод с немецкого А. Е. Криволуцкого. Под редакцией М. К. Федоренко. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 304 стр.

Интересно наблюдать, как идет вширь и вглубь познание жизни, быта, истории, культуры стран, еще так недавно фигурировавших с эпитетами «таинственная» или «загадочная».

Сначала удивляются диковинкам, несходству с привычным, нарушениям мерок, казавшихся незыблемыми.

«Сведения о Китае,— с огорчением писал еще в начале нашего века замечательный исследователь и пропагандист китайской культуры В. М. Алексеев,— сводятся к «Гейше» и Вун Чхи («Кит, кит, кит-Китай, что за чудный край»), китайскому фарфору, китайским пыткам, китайскому чаю, китайской грамоте, китайским церемониям, китайским косам и т. п.».

Точно такой же набор ходячих представлений существовал и об Индии: магараджи, тигры, священный Ганг, йоги и прочее.

Затем происходит своего рода инфляция экзотики. Тадж-Махал и пагоды до того скомпрометированы бойкими гидами и туристскими проспектами, что читатель уже куда больше интересуется обыденной жизнью, кипящей вокруг прославленных памятников.

И журналистика охотно идет ему навстречу, предлагая Индию «без чудес», или «без покрывала», или «как она есть».

Однако при всей предпочтительности подобного подхода в нем также таится элемент шаблона, породивший за последнее время достаточное количество «путевых очерков», где одни и те же типы радушных бедняков или барственных колонизаторов предстают, как у прежних провинциальных фотографов, то на фоне «моря со скалами», то возле «старинного замка» невесть какой эпохи.

Эпоха «моментальных фотографий» в этом жанре прошла. Многие читатели могли бы, никуда не выезжая, поделиться с иным автором той суммой сведений, какой он намеревался одарить их после своего путешествия.

Поэтому, признаюсь, не без некоторого опасения приступал я к чтению новой книги австрийского журналиста Гарри Зихровского «Индия осушает свои слезы. Древняя страна на новом пути».

Нарушая укоренившееся у рецензентов правило говорить о недостатках «под занавес», скажу, что автор мог бы избежать некоторых повторений сказанного им в прежней книге — «Индия без покрывала». Но в целом это действительно н о в а я встреча с н о в о й Индией. При этом я имею в виду не только то, что это история новой поездки в страну. Хотя Зихровский вовсе не отказался от известной броскости в подаче материала, от выбора эффектного ракурса, в его новой книге больше пристальности и раздумья. Он, видимо, «заболел» Индией, ее сложной и до сих пор нелегкой судьбой. Все с бо́льшим количеством людей он сталкивается, принимая живое участие в их зачастую фантастической судьбе. И при всей объективности Зихровского из его рассказа явствует, что у него есть в сегодняшней Индии свои любимцы, воплощающие то ее завтра, какое хотелось бы видеть этому прогрессивному журналисту.

Растущая громада плотины Бхакра—Нангал, крупнейшее предприятие в Азии по производству удобрений — Синдри, сталелитейный комбинат в Бхилаи представляют в глазах автора ценность не только как технические достижения, но и как заметные вехи на пути к будущему.

Видя, как преобразил окрестность Нангалский канал, крестьяне исподволь готовят будущие, сейчас засыпанные песком пустыня поля и «с нетерпением ждут того дня, когда вода придет и к ним, чтобы на ее волнах пуститься в плавание из средневековья к лучшему времени».

С трудом, после бесчисленных споров и уговоров, но в жизнь деревни входят и минеральные удобрения, тем более необходимые в Индии, что «натуральные» на поля никогда не попадают: ведь высохшие коровьи лепешки — это «уголь и электричество индийского крестьянина»!

А комбинат в Бхилаи радует индийцев не только уже выплавляемой сталью, но и драгоценным опытом, который дружески передают им советские инженеры и рабочие. Даже американский журнал «Бизнес уик» свидетельствовал, что благодаря русским «индийцы фундаментально изучают свою специальность». Еще более красноречиво говорят об этом сами «ученики»: «Здесь мы работаем бок о бок с русскими. В других же местах мы работаем под командой иностранцев».

Новое появляется в древней стране не только в виде этих индустриальных гигантов или города Чандигарх, который весь от начала до конца строится по указаниям известного архитектора Корбюзье. В быт многих деревень входят невиданные дотоле вещи: школы, гигиенические мероприятия, новые способы обработки земли, элементы кооперации.

Разумеется, наивно думать, будто бы провозглашение независимости Индии разом разрешило все былые трудности. Читая книгу Зихровского, я подумал, что страна эта удивительно напоминает недавно освобожденный от врага город, когда линия фронта ушла еще недалеко, когда саперы еще должны найти и обезвредить мины, оставленные коварным противником, когда люди ютятся в жалких лачугах и голодают. Но даже и это сравнение не исчерпывает всей сложности положения, в каком находится Индия! Ведь прежние «хозяева» Индии, англичане, сохранили за собой контроль и над многими княжествами и над значительной частью промышленности, а с другой стороны подкрадываются более молодые хищники.

Зихровский сдержанно, но достаточно ясно рисует и двойственный характер действий индийской буржуазии, определяющей политику правящей партии.

Разумеется, проведение аграрной реформы в индийской деревне — дело необычайно трудное, но вряд ли только этим объясняются медленность ее проведения и огром-

ный выкуп, который должны получить помещики.

Зихровский с большим уважением и симпатией относится к Джавахарлалу Неру, но считает, что «противоречия, так часто проявляющиеся в действиях» этого выдающегося государственного деятеля, объясняются тем, что он «находится в плену своего класса».

Любопытно свидетельство его собственной дочери, сказавшей в беседе с Зихровским: «После освобождения лицо партии Национальный конгресс изменилось. Со смертью Махатмы Ганди многие его соратники покинули нас... В Конгресс же устремился поток карьеристов и оппортунистов, претендентов на посты и должности, тех, кто вдруг «почувствовал любовь к родине». Они внесли непривычную, гнетущую атмосферу в ряды партийного руководства, распространилось ханжество и кастовый дух, партия стала «почтенной»...»

Народ неминуемо сравнивает эти черты со скромностью и простотой вожаков Коммунистической партии.

Но еще более важным мерилом для оценки той или иной партии являются практические результаты ее деятельности для массы. Весь мир облетела история недолгого пребывания у власти в штате Керала коммунистического правительства Е. М. Ш. Намбудиripада. Это был единственный из союзных штатов, который претворял в жизнь все, что Национальный конгресс лишь обещал.

И хотя правительство Индии под давлением реакционных сил, напуганных растущей популярностью коммунистов Кералы, в нарушение конституции отстранило правительство Намбудиripада от власти, но этот наглядный пример навсегда останется в памяти народа.

«Вчерашний мир... еще не умер, хотя мир будущего уже родился»,— такими словами начинается первый же раздел книги Зихровского. Их справедливость ощущает читатель до самой последней ее страницы.

Трезвость и оптимизм сочетаются в этой книге, которая написана другом Индии, найдет теплый прием у ее друзей и, несомненно, умножит их число.

А. ТУРКОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЛЕНИН — ТОВАРИЩ, ЧЕЛОВЕК. Сборник документов и воспоминаний. Госполитиздат. М. 1962 192 стр. Цена 21 к.

Небольшая книга. И лицо Ильича, смотрящее с ее обложки,— родное всем трудовым людям, и название, найденное составителями,— как нельзя лучше характеризуют содержание этой книги. Это сборник, в котором помещены многочисленные письма, записки и резолюции Владимира Ильича Ленина, а также отрывки из воспоминаний тех, кому посчастливилось бывать рядом с Ильичем, работать под его руководством, встречаться с ним.

Очень трудно пересказать содержание сборника. «В этой книжке все одинаково важно — от маленького отрывка из кировских воспоминаний о Ленине до обычной записки самого Ленина, написанной наскоро карандашом на заседании Совета Народных Комиссаров. Важно потому, что необходимо по идее и теме сборника, который должен оставить нам многосторонний и приближенный портрет Ленина — товарища, человека. И по этой одной причине невозможно пересказывать содержание сборника, ибо пришлось бы пересказать все». Так пишет во вводной статье к сборнику лауреат Ленинской премии писатель-драматург Николай Погодин. И это совершенно верно.

Об огромном внимании Ильича к товарищам, к трудовым людям, к их нуждам, о скромности, чуткости и доброте, о простоте и душевности, о человеке большого сердца рассказывается в этой книге. Материалы (в том числе и фотоиллюстрации), вошедшие в сборник, помогут читателю еще ярче представить дорогие черты Владимира Ильича Ленина — великого и простого, жизнерадостного и отзывчивого человека, черты коммуниста-революционера, ставшие образцом для людей, строящих новый мир, светлое здание коммунизма.

Л. Торопов.

★

Г. А. НАЛИВАЙКО. О пропашной системе земледелия. Издательство Министерства сельского хозяйства РСФСР. М. 1962. 112 стр. Цена 19 к.

Автор этой книжки — директор Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства — выступал в Целинограде с докладом о пропашной системе земледелия 22 ноября 1961 года на зональном совещании работников сельского хозяйства Казахстана в Целинограде Никита Сергеевич Хрущев сказал: «...тов. Наливайко, прошу вас, хорошенько поработайте... приведите все в систему, чтобы можно было издать ваш доклад. И за учебу, товарищи, за учебу! Учиться надо, учиться никому не стыдно и никогда не поздно. Только овладев знаниями, можно двигаться вперед».

И вот перед нами эта книжка — ценное пособие для работников села. Г. Наливайко написал свою работу на основе анализа деятельности коллектива Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства, опытных станций смежных областей, государственных сортоиспытательных участков и обобщения опыта передовых колхозов и совхозов.

Богатый материал, собранный автором, позволил разработать основные начала пропашной системы земледелия и доказать ее преимущество перед травопольем. Работа Наливайко, как он сам замечает, относится прежде всего к зонам Сибири и Целинного края. Много ценного найдут в ней и труженики других зон.

В книжке подробно рассказывается о роли злаковых растений в увеличении органического вещества и азота в почве. Специальный раздел посвящен удобрению полей при пропашной системе. Автор убедительно доказывает, что насыщение севооборотов кукурузой, сахарной свеклой, горохом, бобами дает наибольшее количество кормовых единиц с каждого гектара пашни.

Пропашная система земледелия решает в комплексе проблемы и полеводства и животноводства. В брошюре рассказывается о новом типе кормления скота, о целесообразности перехода на круглогодовое стойловое содержание животных с использованием силосованной кукурузы, богатой початками, сахарной свеклы, кормовых бобов и других зернобобовых культур.

Труженики колхозов и совхозов, прочитав эту небольшую книжку, еще глубже усвоят основы агротехники пропашной системы земледелия. Речь в ней идет о правильной обработке почвы, сроках сева, мерах борьбы с сорняками, регулировке предпосевных почвообрабатывающих орудий. И это не просто теоретические рассуждения — автор приводит экономические обоснования новой прогрессивной системы ведения сельского хозяйства.

Ив. Виноградов.

Н. А. БЕСТУЖЕВ. Опыт истории Российского флота. Судпромгиз. Л. 1961. 172 стр. Цена 54 к.

Известный декабрист Николай Александрович Бестужев был «созвездием талантов»: блестящий моряк, способный изобретатель глубокий экономист, вдумчивый краевед — исследователь Сибири, самобытный художник и выдающийся историк. Во всех областях своей разносторонней деятельности он выступает как передовой человек своего времени, неутомимый борец за благо народа и патриот своей родины.

В советское время много сделано для распространения и изучения замечательного наследия Бестужева. В недавно вышедшей книге впервые полностью опубликована его рукопись по истории русского флота — первый в отечественной историографии конспективный обзор истории русского военного и торгового мореплавания вплоть до замечательной победы регулярного флота у Гангута в 1714 году.

Ценность труда столь велика, что даже арест его автора не позволил предать эту рукопись забвению. Спустя три года после декабрьского восстания видный деятель флота Г. А Сарычев просил начальника Главного морского штаба о продолжении работы, начатой Бестужевым. Несмотря на то, что труды декабристов оказались под строгим запретом, царские чиновники вынуждены были разрешить пользоваться рукописью ряду историков флота. Среди архивных бумаг одного из них — А. В. Висковатова — обнаружил эту рукопись доцент Ленинградского университета С. Л. Пештич.

Труд Н. А. Бестужева и в наше время сохраняет большой интерес, ибо автор широко использует документы, в том числе и не дошедшие до наших дней. Он стремится дать событиям прошлого не казенно-официальную, а собственную живую оценку; горячо полемизирует с реакционными карамзинскими взглядами на историю России. Уже на первых страницах Бестужев выступает против антинаучной норманской теории происхождения русского государства, утверждавшей неспособность России и русского народа к самостоятельному развитию.

Предпосланная труду Бестужева вступительная статья Г. Е. Павловой правильно оценивает роль автора книги. К сожалению, Г. Е. Павлова повторяет ошибочную версию, будто бы Бестужев официально занимал должность историографа русского флота. На самом деле он в 1822 году был лишь прикомандирован к Адмиралтейскому департаменту «без выключения из флота» для «собирания и приведения в порядок надлежащих исторических сведений, касающихся до Российского флота».

В целом же следует отметить высокий уровень научного редактирования книги и хорошее полиграфическое оформление. Специалисты и все те, кто интересуется историей нашего Военно-Морского Флота, получили интересную книгу.

С. Осокин,
капитан II ранга.

★

В. ЖЕЛЕЗНИКОВ. Хорошим людям — доброе утро. Рассказы. Детгиз. М. 1961. 144 стр. Цена 31 к.

Существует старая пословица: мир не без добрых людей. Какая бы беда ни случилась, не надо отчаиваться, всегда найдутся люди, которые помогут, не оставят в несчастье. И не обязательно это будут родные, близкие, друзья. Может быть и так, что выручат тебя из беды совсем незнакомые прежде люди. Надо лишь самому быть добрым и справедливым.

Вот эта не новая, но всегда правильная мысль и лежит в основе рассказов В. Железникова. Герои ее — крестьяне, врачи, продавцы, летчики, строители, моряки. Они делают добро не из-за желания славы или в надежде на благодарность, а потому, что это их органическая потребность, потому что иначе они не могут.

Если бы хирургом Самсоновым руководило только чувство профессионального долга, вряд ли бы он смог спасти жизнь тяжело раненному метеорологу Гатову. Каждого больного он считал своим родным, близким человеком. За жизнь каждого из них он считал себя ответственным («Самолет идет санитарным рейсом...»). Чем, как не огромной любовью к человеку, можно объяснить поступок деда Ионека, разыскивавшего в течение нескольких лет Катерину Нашокову, чтобы переслать ей последнее неотправленное письмо мужа, погибшего на чехословацкой земле: «Слава богу, наконец-то, я нашел Вас. Теперь получу ответное письмо, и тогда я успокоюсь» («Хорошим людям — доброе утро»). Старый пилот Андрей Беспалов знал, что, несмотря на пургу, на потерю связи, иркутский самолет не может не прилететь на аэродром, потому что ведет его «отличный парень! Я его еще с войны знаю. Тогда он мальчишкой был» («Ослик и пятый океан»).

Мальчишки присутствуют почти в каждом рассказе сборника. Они смотрят на мир открытыми глазами, без предвзятости. Их трудно обмануть. И писатель не без умысла во многих рассказах передоверяет речь маленьким героям.

Он как бы отходит в сторону и не вмешивается в немного наивное и доверительное повествование юного рассказчика, предоставляя ему самостоятельно разбираться в том, что хорошо и что плохо, где добро и где зло И малолетний герой не подводит автора. Симпатии читателя, безусловно, на стороне тех, кого любит и кому доверяет рассказчик, для которых слова «человек человеку — друг» не пустой звук, а священная заповедь.

Г. Койранская.

С. МАШИНСКИЙ. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Гослитиздат. М. 1961. 543 стр. Цена 1 р. 41 к.

Как-то М. Пришвин, характеризуя двух высоко ценимых им писателей — Гоголя и Аксакова—и называя того и другого гениальными, в то же время заметил, что «Гоголь присутствует в революции, а Аксаков, как Гомер, остается где-то в золотом веке русского прошлого».

Достоинством книги С. Машинского является то, что автор не соглашается отнести творчество С. Т. Аксакова к прошлому и всей своей работой показывает ценность писателя для людей сегодняшнего дня и будущих поколений.

С. Машинский говорит своим читателям о том, как много правды сказано Аксаковым о русской природе — этом источнике душевного здоровья человека, о значении природы для формирования ребенка, его духовного мира, о силе чувства матери, о поэзии крестьянского труда, о лукавом и добром юморе народной сказки. Особо подчеркивает исследователь высоту нравственной позиции Аксакова в книгах о природе и в «Детских годах Багрова-внука».

Много интересного и ценного сказано автором об особенностях художественного мастерства Аксакова, книги которого, по выражению С. Машинского, свободны от «книжности», и в них все предметы быта, как и у Крылова (по определению Гоголя), выступают как бы сами собой, и самая жизнь дается вне словесной оболочки.

Трудной и до настоящего времени еще не полностью разрешенной проблемой изучения творчества С. Т. Аксакова остается выяснение вопроса о близости его взглядов к позициям славянофилов. Достоинством главы «В кругу славянофилов» является стремление автора охарактеризовать славянофильство в его сложности и противоречивости. В книге справедливо отмечается и близость и расхождения С. Т. Аксакова со славянофилами и большая широта и жизненность его воззрений. Однако именно в силу того, что Аксаков, как это неоднократно и правильно подчеркивает С. Машинский, в теоретическом плане был человеком неискушенным, этот вопрос, как нам кажется, должен был бы ставиться несколько иначе, чем это сделано исследователем. Сопоставление воззрений С. Т. Аксакова и славянофилов нужно было бы проводить не только на материале теоретических изысканий писателя в области эстетики и его отзывов о различных художественных явлениях, как это имеет место в книге, но в первую очередь на материале художественных произведений Аксакова. Такой подход был бы самым естественным в отношении к художнику слова.

Обилие документального архивного материала в книге С. Машинского не превратило ее в сухое ученое сочинение. Напротив, множество неожиданных догадок, удачных сопоставлений и гипотез делают книгу интересной и для широкого читателя.

Э. Войтоловская.

С. ЭЙЗЕНШТЕЙН. Рисунки. «Искусство». М. 1961. 226 стр. Цена 2 р. 60 к.

Сергей Эйзенштейн... Прославленный мастер советского кино, на долгие годы определивший пути его развития... Превосходный и острый публицист... Тонкий и умный педагог... И прекрасный художник, наблюдательный, яркий, своеобразный, оставивший нам в наследие огромное количество рисунков.

Издательство «Искусство» выпустило отдельным сборником часть рисунков С. Эйзенштейна, хотя все, что он рисовал, было только выражением его творческих поисков и предназначалось для работы в области театра или кино. Но его талант был так ярок, неповторим, что ныне мы рассматриваем его многочисленные рисунки, сделанные то на полях рукописи, то на обрывках листков из блокнота, то на театральных программах, как самостоятельный вид его творчества.

Эйзенштейн рисовал много, страстно и легко. Свободная и быстрая линия его рисунков послушно следовала за художественной волей и ясным творческим воображением, создавая нескончаемую вереницу человеческих характеров, то едко сатирических, то таинственных, то драматических. В одних случаях это портреты, нарисованные почти с натуры, в других — портреты воображаемые, в третьих — образы, создаваемые для будущих фильмов или театральных постановок.

Рисунки, собранные на страницах сборника, не претендуя на полный охват графического творчества художника, дают ясное представление об Эйзенштейне-рисовальщике, постоянными спутниками которого были перо и карандаш.

В первом разделе книги представлены рисунки разных лет — портреты людей живых или вымышленных, сценки, наблюдаемые в действительности или созданные острым воображением художника-режиссера. Одни из них более ярки и выразительны, другие более просты и спокойны. Одни более экспрессивны, другие более пластичны, но все они очень современны как по умению видеть, так и по умению рисовать. Все они живут своей особой жизнью. И во всем слышится «разрушительный присвист памфлета», как писал сам Эйзенштейн в одной из своих статей о комедии.

В качестве примера можно наугад взять любой из рисунков — будь то «С. С. Прокофьев дирижирует» или «Поездка на дачу», «Упражнения на выразительность» или «Старик Прис» — все нарисовано уверенно и без поправок и в соответствии со словами самого художника—«без оттушовок и иллюзорно наводимых теней».

Во втором разделе — театральные эскизы, сделанные С. Эйзенштейном к постановкам «Мексиканца», «Воровки детей», оперы Р. Вагнера «Валькирия». Это по преимуществу эскизы костюмов, очень пластичные и очень выразительные.

И, наконец, в третьем разделе собраны рисунки к фильмам «Да здравствует Мекси-

ка!», «Иван Грозный», «Александр Невский». Это и отдельные образы, и отдельные зарисовки, и эскизы для действующих лиц, и наброски декораций, и разработки отдельных эпизодов и кадров. Эти рисунки наиболее «подсобны» и с наибольшей ясностью рассказывают о том пути, которым шел к созданию фильмов режиссер-художник. Познанию этого процесса помогают включенные издательством в этот раздел фотографии кадров представляемых фильмов.

В сборнике не только воспроизведены рисунки Эйзенштейна. В нем даны две статьи самого художника, статьи, как всегда, глубокие, интересные,— «Как я учился рисовать» и «Несколько слов о моих рисунках». В них с предельной ясностью автор, рассказывая о своем графическом творчестве, дает почувствовать не только характер своих поисков, но и глубину замыслов и широту влечений.

Внимательному и обстоятельному разбору графики Эйзенштейна посвящены две другие статьи сборника — «Режиссер-график» О. Айзенштат и «Режиссер видит фильм» Г. Мясникова. Открывается сборник кратким предисловием, написанным Юрием Пименовым,— «Рисунки Эйзенштейна».

Все это делает сборник более чем интересным и содержательным и позволяет включить его в ряд наиболее ценных изданий по советскому искусству. Если же учесть при этом и превосходное, с большим вкусом и выдумкой сделанное В. Степановой (ныне покойной) и В. Родченко оформление и прекрасное полиграфическое его исполнение одной из будапештских типографий, то можно с уверенностью сказать, что издательство «Искусство» выпустило книгу, которой оно вправе гордиться.

Андрей Гончаров.

★

Р. БЕНЬЯШ. Георгий Товстоногов. «Искусство». Л.—М. 1961. 190 стр. Цена 32 к.

За последний год Г. Товстоногов поставил в ленинградском Большом драматическом театре имени М. Горького несколько новых пьес. «Не склонившие головы» Н. Дугласа и Г. Смита, «Океан» А. Штейна, «Четвертый» К. Симонова, «Моя старшая сестра» А. Володина — каждая из этих постановок по-своему взволновала публику, вызвала много откликов и споров. Общее привлекательное качество этих столь разных спектаклей — современность. Дело, конечно, не просто во времени действия. Острые проблемы сегодняшнего дня подняты театром на уровень больших моральных и эстетических обобщений.

Хочется разобраться глубже в творчестве режиссера, занявшего столь заметное место в советском театре наших дней. Книга Р. Беньяш — первая серьезная работа об искусстве Товстоногова. Она написана в живой и изящной литературной манере и интересна, конечно, не только профессионалам. Это и биография, и творческий портрет, и первый эскиз театроведческого исследования. В книге сказано много верного о принципах режиссуры Товстоногова, о своеобразии его как творческой личности. Что общего между монументальной «Оптимистической трагедией» и психологически камерной пьесой «Пять вечеров»? Почему один и тот же режиссер смог заинтересоваться и судьбой Юлиуса Фучика («Дорогой бессмертия») и той борьбой с бюрократами и рутинерами, которую ведет агроном Настя Ковшова («Первая весна»)? Р. Беньяш помогает нам разобраться в этом. Она отмечает свойственное Товстоногову тяготение к высокой гражданственности, к героике — именно это делает его художником подлинно современным. А «героическое и будничное,— говорит Р. Беньяш,— сосуществуют рядом, подчас не отделимые одно от другого. И то и другое может стать предметом искусства, потому что обыденное вовсе не равнозначно мелкому. Все дело в том, что извлекает художник из обыденного. Умеет ли различить в потоке будничных поступков то лучшее, что делает человека человеком». Товстоногов умеет представлять высокий подвиг жизненно достоверно. Но он умеет и другое — открывать силу страстей, большое человеческое благородство в гуще нашей советской повседневности.

В книге дан анализ всех основных работ Товстоногова с 1934 по 1960 год. И важно отметить, что при этом автору удается воспроизвести атмосферу спектакля, заставить читателя почувствовать, будто он сам видит и слышит то, что происходит на сцене.

Т. Мотылева.

★

В. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ. Галина Сергеевна Уланова. «Искусство». М. 1961. 171 стр. Цена 1 р. 35 к.

Искусство Галины Улановой — совершенное по форме и небывало глубокое по содержанию — притягивает к себе не только многочисленных любителей балета, но и стало предметом исследований советских и зарубежных специалистов. В Берлине издан труд Франца Фюмана «Галина Уланова». В Америке Альберт Кан работает над записками, посвященными творчеству великой русской балерины.

В книге В. Богданова-Березовского много хороших строк и страниц. Автор, отлично зная музыку и балет, убедительно рассказывает о взаимосвязи танца и произведений лучших композиторов прошлого и настоящего «Лебединое озеро» Чайковского, «Золушка» Прокофьева и другие произведения охарактеризованы с большим пониманием дела. Правдиво написано о хореографической скупости, проявленной балетмейстерами при создании спектаклей «Ромео и Джульетта» и особенно «Бахчисарайский фонтан». Интересны и важны рассуждения об уникальной музыкальности образов, созданных Улановой, о ее выдающейся ро-

ли в формировании советского балетного репертуара, в утверждении психологического реализма искусства русского классического танца. Очень хорошо написано о классе Улановой, о ее ежедневном обязательном экзерсисе, который даже сам по себе — произведение искусства.

В десяти главах книги, в ее вступлении и заключении дано последовательное перечисление, а порой и анализ главных (к сожалению, не всех) ролей, исполненных лучшей балериной современности со дня ее дебюта на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.

Рассказ о Джульетте, Золушке и Катерине («Сказ о Каменном цветке») — выступлениях в трех балетах Прокофьева — значителен раскрытием смысла музыки, мелодических и ритмических особенностей творений композитора. Много интересного содержат главы «Попутные роли» и те, в которых мы читаем о выступлениях Улановой в балетах на пушкинские темы — в «Бахчисарайском фонтане» и в «Медном всаднике». Но лучше всего описана, пожалуй, удача балетмейстера Л. Лавровского и исполнительницы центральной партии в его балете на музыку Глиэра «Красный цветок»: Уланова в роли Тао Хао предстает в книге наиболее живой и достоверной.

Жизель, которой совершенно справедливо посвящена специальная глава, проигрывает в несколько сентиментальном изложении автора. Этот оттенок менее всего оправдан, когда речь идет о творчестве Улановой, утверждающем силу и красоту человеческого чувства и отвергающем чувствительность.

Неправомерным для большой книги представляется и чисто газетная полемика с Ю. Слонимским об адажио из «Спящей красавицы» и с В. Красовской об Улановой в кинофильмах. Безотносительно к правоте Слонимского и ошибкам Красовской эта запоздалая дискуссия кажется неуместной в книге. Еще более огорчительны фактические ошибки в тексте, начиная с количества школьных лет, которые Уланова провела в классе своей матери М. Ф. Романовой и в классе А. Я. Вагановой, и кончая неточностями в перечислении правительственных наград, полученных балериной.

Все это тем более досадно, что перед нами «издание второе — исправленное и дополненное» (первое издание вышло в 1949 году).

Жаль, что при доработке своей книги автор упустил такие важные моменты, как широкая общественная деятельность, внутрисоюзные гастроли Г. Улановой, и не рассказал о ее новой плодотворной работе с молодежью. И жаль, что не переиздается замечательная по мысли и языку книга безвременно погибшего талантливого критика В. Потапова (Голубова) «Танец Галины Улановой».

А. Илупина.

КАРЛ СЭНДБЕРГ. Линкольн. Сокращенный перевод с английского Б. Грибанова и Л. Шеффера. «Молодая гвардия». М. 1961. 704 стр. Цена 1 р. 22 к.

О герое этой книги Маркс писал с восхищением: «...это был человек, никогда не сдававшийся перед невзгодами, не опьянявшийся успехом, непреклонно стремившийся к своей великой цели, никогда не компрометировавший ее слепой поспешностью, спокойно соразмерявший свои поступки, никогда не возвращавшийся вспять, не увлекавшийся волной народного сочувствия, не падавший духом при замедлении народного пульса, смягчавший суровость действий теплотой доброго сердца, освещавший улыбкой юмора омраченные страстью события, исполнявший настолько скромно и просто свою титаническую работу, насколько пышно, высокопарно и торжественно совершают свои ничтожные дела правители божьей милостью,— словом, он был одним из тех редких людей, которые, достигнув величия, сохраняют свои прекрасные качества. И скромность этого великого и прекрасного человека была такова, что мир увидел в нем героя лишь после того, как он пал мучеником».

Карл Сэндберг, поэт и биограф Авраама Линкольна, словно бы следовал этой характеристике. Любовь к своему великому соотечественнику, строгое внимание к фактам истории и, несомненно, блистательное перо позволили ему создать образ замечательного человека — безграмотного лесоруба и сплавщика леса, ставшего выдающимся государственным деятелем, защитником бедных и угнетенных, вечной гордостью Америки. Автор нигде не опускается до наивной беллетризации, вышивания по исторической канве, он уважителен к истории и своему герою и не стремится его ни приподнимать, ни приспособлять к веяниям своего времени. Именно потому со страниц книги встает живой Линкольн — бесстрашный в своих суждениях и поступках, несколько грубоватый, с чисто американским юмором и сердечностью человека, знающего почем фунт лиха, всегда движимый одним побуждением — заботой о благе людей. «Величие Наполеона, Цезаря и Вашингтона,— писал уже Лев Толстой,— равносильно лунному лучу при свете линкольнского солнца».

Радость от книги К. Сэндберга — это радость от встречи с ярким народным и поистине бессмертным характером. И омрачает эту встречу то, что вышла книга в значительно урезанном объеме. В послесловии говорится, что в связи с этим переводчики проделали «большую и трудную работу», отчего книга вроде бы даже выиграла. Но это, конечно, не так. Хорошие книги всегда проигрывают от постороннего, хотя бы и самого деликатного вмешательства. А здесь о деликатности не могло быть и речи: книга сокращена наполовину.

А. Кондратович.

ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ. Дом на солнцепеке. «Советский писатель». М. 1961. 184 стр. Цена 27 к.

Жанру биографической повести не очень у нас везет в последнее время. Биографические очерки, выходящие в серии «Жизнь замечательных людей», в какой-то степени заполняют этот пробел, но все же выходит не так уж много талантливых романов и повестей, посвященных выдающимся людям и их делам. Книга Леонида Волынского о Винсенте Ван-Гоге — одна из таких книг.

Она написана с подлинным знанием дела и проникнута искренней любовью к художнику. О его горестной судьбе рассказано так, что перед читателем возникает удивительно живой и цельный образ этого странного, одержимого страстью к своему искусству человека, всю свою жизнь посвятившего людям труда и, как они, трудившегося всю жизнь.

Можно по-разному относиться к картинам Ван-Гога. Для одних этот сын голландского пастора с его ошеломляюще неожиданной живописью олицетворяет долгожданную смелость и новизну художнического видения мира, для других его полотна — искусство, адресованное узкому кругу знатоков и ценителей.

Ван-Гог Леонида Волынского — это художник, видящий землю и живущих на ней рабочих людей прекрасными и, как никто, умеющий запечатлевать и показывать эту красоту.

Автор книги убедительно доказывает в ней, что Ван-Гог был смертельно враждебен буржуазному обществу не только своим художническим подвижничеством и независимостью, но и органической, родственной близостью к крестьянам и углекопам.

«Быть может,— пишет Волынский,— недалек час, когда потомки нуэненских ткачей, горняков Боринажа, рыбаков Шевенингена, углекопов Дренте соберут рассеянное по миру наследие Винсента... А пока этот час еще не наступил, пока на планете нашей люди по-прежнему борются, страдают и гибнут, затоптанные фарисейством и равнодушием, пока существует все то, что убило Винсента,— прислушаемся к его голосу».

Иными словами—научимся шире смотреть на вещи, откажемся от узости, заставляющей отвергать искусство таких художников, как Ван-Гог и многие его современники, только на том основании, что требуется усилие, чтобы почувствовать прелесть их непривычной манеры.

Мы богаты, но это не значит, что нам следует расточать богатства, принадлежащие нам,— речь ведь идет не о всеядности, а об умении находить красоту там, где она существует.

Леонид Волынский призывает нас к этому в своей книге, и, надо думать, он прав. Ведь широта взглядов никогда не мешала людям понимать вещи правильно.

Г. Мунблит.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

О перестройке управления сельским хозяйством. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 марта 1962 года. 16 стр. Цена 2 к.

Н. С. Хрущев. За мир, труд, свободу, равенство и счастье! Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа города Москвы 16 марта 1962 года. 32 стр. Цена 4 к.

Н. С. Хрущев. Современный этап коммунистического строительства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством. 448 стр. Цена 75 к.

Н. С. Хрущев. Коммунизм — мир и счастье народов (Сборник речей, бесед и выступлений). В двух томах. Том I. Январь—сентябрь 1961 г. 407 стр. Цена 68 к. Том II. Октябрь—декабрь 1961 г. 368 стр. Цена 68 к.

А. Володин. В поисках революционной теории (А. И. Герцен). 112 стр. Цена 13 к.

М. Галин. Философия отчаяния и страха. 128 стр. Цена 16 к.

Л. Зак. Славные традиции солидарности (Борьба французского народа против интервенции в Советскую Россию в 1918—1920 гг.). 128 стр. Цена 15 к.

Ким Ир Сен. Избранные статьи и речи. 250 стр. Цена 1 р. 25 к.

И. Лейберов. Пламенный солдат революции (Н. И. Подвойский). 120 стр. Цена 15 к.

Н. И. Матюшкин. Двадцатый съезд КПСС. 144 стр. Цена 17 к.

Мысли о религии. 244 стр. Цена 35 к.

О коммунистическом отношении к труду. 288 стр. Цена 46 к.

О чем не говорилось в сводках. Воспоминания участников движения Сопротивления. 455 стр. Цена 69 к.

Ф. Н. Петров. 65 лет в рядах ленинской партии. Воспоминания. 160 стр. Цена 19 к.

В. Платковский. Политическая организация общества при переходе к коммунизму. 144 стр. Цена 16 к.

Ю. З. Полевой. Из истории рабочей печати. 1883—1900 гг. Очерки литературно-издательской деятельности первых марксистских организаций в России 1883—1900 гг. 264 стр. Цена 53 к.

Н. Соловьев. Семья в советском обществе. 152 стр. Цена 17 к.

III съезд Партии трудящихся Вьетнама. (Ханой, 5—12 сентября 1960 года). 304 стр. Цена 57 к.

Участницы великого созидания. 424 стр. Цена 74 к.

В. Фетов. Американский империализм в Африке. 104 стр. Цена 10 к.

XIV съезд Коммунистической партии Израиля. Тель-Авив — Яффа, 31 мая—3 июня 1961 года. 200 стр. Цена 24 к.

СОЦЭКГИЗ

Б. Кузнецов. Против буржуазных концепций по аграрному вопросу. 141 стр. Цена 19 к.

Общественные фонды и рост благосостояния народа в СССР. 223 стр. Цена 45 к.

В. П. Смирнов. Тунис (Экономический очерк). 71 стр. Цена 10 к.

Л. Б. Теплинский. Советско-афганские отношения. 1919—1960. Краткий очерк. 214 стр. Цена 58 к.

Н. Н. Яковлев. Новейшая история США. 1917—1960. 624 стр. Цена 1 р. 83 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Алга. На новой Волге. Стихи. Перевод с чувашского. 96 стр. Цена 13 к.

Ю. Боршош-Кумятский. Играй, трембита! Стихи. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 9 к.

Е. Винокуров. Слово. Новые стихи. 100 стр. Цена 13 к.

И. Вишневская. Борис Лавренев. 284 стр. Цена 56 к.

И. Григорьев. Зори да версты. Стихи. 160 стр. Цена 19 к.

Л. Зивельчинская. Заметки о литературном мастерстве. 196 стр. Цена 50 к.

В. Канторович. Заметки писателя о современном очерке. 372 стр. Цена 88 к.

В. Лифшиц. Открытая тетрадь. Стихи. 112 стр. Цена 14 к.

К. Орешин. О чем говорят деревья. Стихи. 68 стр. Цена 6 к.

И. Осипов. Дальняя разведка. Очерки. 228 стр. Цена 44 к.

В. Парфентьев. Никитские ворота. Стихи. 72 стр. Цена 7 к.

Г. Плоткин. Ясно вижу. Стихи. Перевод с украинского. 84 стр. Цена 12 к.

Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сборник второй. 584 стр. Цена 1 р. 11 к.

Р. Рождественский. Необитаемые острова. Стихи и поэмы. 180 стр. Цена 30 к.

И. Сельвинский. О времени, о судьбах, о любви. Стихи. 188 стр. Цена 35 к.

И. Сенченко. Рубин на Соломянке. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 228 стр. Цена 43 к.

Ю. Слепухин. Перекресток. Роман. 486 стр. Цена 82 к.

Л. Смирнов. Земной непокой. Стихи. 100 стр. Цена 11 к.

А. Сорокин. Добрый рассвет. Стихи. 80 стр. Цена 10 к.

Е. Старикова. Поэзия прозы. Статьи. 272 стр. Цена 72 к.

Л. Сулаберидзе. Надписи на скалах. Стихи. Перевод с грузинского. 68 стр. Цена 7 к.

Ш. Торосян. Люблю тебя, жизнь! Стихи. Перевод с армянского. 80 стр. Цена 9 к.

Е. Трощенко. Статьи о поэзии. 256 стр. Цена 63 к.

Х. Хавпачев. С добрым утром! Рассказы. Перевод с кабардинского. 216 стр. Цена 30 к.

Г. Холопов. Гренада. Роман. 336 стр. Цена 45 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Аксель Бакунц. Повести и рассказы. Перевод с армянского. 287 стр. Цена 59 к.

Самуил Галнин. Стихотворения. Перевод с еврейского. 295 стр. Цена 43 к.

Тишка Гартный. Хозяин. Рассказы и повести. Перевод с белорусского. 383 стр. Цена 75 к.

Евгений Долматовский. Стихи и песни. 247 стр. Цена 40 к.

Калмыцкие сказки. Перевод с калмыцкого. 183 стр. Цена 39 к.

Стивен Крейн. Алый знак доблести. Роман. Рассказы. Перевод с английского. 290 стр. Цена 53 к.

Монгольские сказки. Перевод с монгольского. 239 стр. Цена 45 к.

Новелла современной Румынии. Перевод с румынского и венгерского. 623 стр. Цена 1 р. 11 к.

Ицнок-Лейбуш Перец. Избранное. Перевод с еврейского. 463 стр. Цена 69 к.

Панчатантра (Сборник индийских басен). Перевод с санскрита. 471 стр. Цена 1 р.

Н. Степанов. Н. А. Некрасов. Критико-биографический очерк. 264 стр. Цена 76 к.

Чешская сатира и юмор. Стихи. Рассказы. Фельетоны. Очерки. 407 стр. Цена 75 к.

Е. С. Шаблиовский. Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. 1838—1861. 271 стр. Цена 86 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Ажаев. Предисловие к жизни. Повесть. 208 стр. Цена 46 к.

Мих. Алексеев. Вишневый омут. Роман. 328 стр. Цена 63 к.

Анри Аллег. Бойцы в плену. Перевод с французского. 208 стр. Цена 45 к.

Ирина Гуро, Лидия Фоменко. Анри Барбюс. 272 стр. Цена 58 к.

А. Днепров. Мир, в котором я исчез. Повести и рассказы. 104 стр. Цена 15 к.

А. Елагина. Соловьиная роща. Очерки и рассказы. 144 стр. Цена 21 к.

Дина Злобина. Весны. Стихи. 72 стр. Цена 9 к.

Н. Кальма. Стеклянный букет. Рассказы и повесть. 200 стр. Цена 44 к.

Владимир Лучосин. Человек должен жить. 256 стр. Цена 54 к.

Эмил Манов. Конец рода Делии. Роман. Перевод с болгарского. 336 стр. Цена 97 к.

Николай Майоров. Мы. Стихи. 112 стр. Цена 33 к.

Георгий Миронов. Короленко. 367 стр. Цена 70 к.

Наш современник. Очерки, повести, стихи. 328 стр. Цена 60 к.

М. Привалов. Гордость рабочего человека. 176 стр. Цена 24 к.

Анатолий Софронов. Я вас люблю. Стихи и песни. 255 стр. Цена 48 к.

Корней Чуковский. Жизой как жизнь. Разговор о русском языке. 176 стр. Цена 39 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

А. А. Галкин. Версаль и рейнские сепаратисты. 110 стр. Цена 17 к.

История немецкой литературы. Том I. IX—XVII вв. 471 стр. Цена 1 р. 75 к.

С. Д. Кунисний. Русское общество и Парижская Коммуна. Отклики в России на франко-прусскую войну и Парижскую Коммуну. 176 стр. Цена 54 к.

Ю. С. Мусабеков. Юстус Либих. 1803—1873. 216 стр. Цена 80 к.

Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. 548 стр. Цена 2 р. 16 к.

С. И. Огнев. Жизнь леса. 160 стр. Цена 52 к.

Ю. А. Писарев. Освободительное движение юго-славянских народов Австро-Венгрии 1905—1914 гг. 420 стр. Цена 1 р. 88 к.

Писатели народов СССР. 340 стр. Цена 1 р. 43 к.

А. Ф. Платэ, Г. В. Быков, М. С. Эвентов. Владимир Васильевич Марковников. Очерк жизни и деятельности. 1837—1904. 152 стр. Цена 54 к.

Г. Н. Севастьянов. Подготовка войны на Тихом океане (сентябрь 1939 г.— декабрь 1941 г.). 592 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. М. Сидельников. Русская народная песня. Библиографический указатель. 1735—1945 гг. 171 стр. Цена 50 к.

Современное трудовое законодательство империалистических государств (Очерки). 336 стр. Цена 1 р. 40 к

Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. Перевод с английского. 240 стр. Цена 1 р. 8 к.

М. А. Усиевич. Развитие социалистической экономики Венгрии. 216 стр. Цена 92 к.

Г. А. Хайченко. Игорь Ильинский. 216 стр. Цена 1 р. 10 к.

Эйнштейн и развитие физико-математической мысли. Сборник статей. 239 стр. Цена 1р. 8 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. В. Бешенцев. Военная идеология западногерманских реваншистов. 144 стр. Цена 32 к.

А. М. Дроздов. Таврические дни. Повести и рассказы. 256 стр. Цена 43 к.

И. М. Жигалов. В море — дома. Повести и рассказы. 400 стр. Цена 76 к.

Л. И. Ковин. Так летели снаряды. 224 стр. Цена 35 к.

И. Лашков. Трудный поиск. Стихи. 104 стр. Цена 22 к.

А. Т. Марченко. Дозорной тропой. Повесть. 184 стр. Цена 31 к.

В. Д. Соколов. Русское сердце. Рассказы. 192 стр. Цена 45 к.

И. П. Третьяков. Имя мое — солдат. Рассказы. 208 стр. Цена 41 к.

ГЕОГРАФГИЗ

Аэрометоды изучения природных ресурсов. Сборник. 328 стр. Цена 1 р. 31 к.

Н. С. Асоян. Нигерия. 88 стр. Цена 13 к.

З. Дичаров. В страну таежных следопытов. 104 стр. Цена 16 к.

Ю. К. Ефремов. Курильское ожерелье. 318 стр. Цена 70 к.

Е. Зингер. На ледниках Новой Земли. 158 стр. Цена 33 к.

Р. Кент. Курс N ву Е. 272 стр. Цена 74 к.

В. А. Кожевников, Л. А. Седов. Лаос. 46 стр. Цена 7 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Эммануэль д'Астье. Боги и люди. 1943—1944. Перевод с французского. 142 стр. Цена 28 к.

Фриц Бааде. Соревнование к 2000 году. Сокращенный перевод с немецкого. 253 стр. Цена 61 к.

Ганс Бек. О марксистской этике и социалистической морали. Перевод с немецкого. 251 стр. Цена 79 к.

А. Видаль. Анри Барбюс — солдат мира. Перевод с французского. 408 стр. Цена 85 к.

Враг всего мира. Факты и документы. Перевод с немецкого. 310 стр. Цена 73 к.

Г. Гейден, М. Клейн, А. Козинг. Философия преступления. Против идеологии германского империализма. Перевод с немецкого. 483 стр. Цена 1 р. 72 к.

Жорж Гови. Испанская кровь. Рассказы. Перевод с французского. 171 стр. Цена 43 к.

Девушка Мэн. Рассказы. Перевод с вьетнамского. 167 стр. Цена 43 к.

Луис Энрике Дэлано. Ольга. Роман. Перевод с испанского. 112 стр. Цена 30 к.

Стефан Дернберг. Рождение Новой Германии. 1945—1949. Перевод с немецкого. 527 стр. Цена 1 р. 92 к.

Станислав Ришард Добровольский. Над Вислой рекой. Стихи. Перевод с польского. 133 стр. Цена 25 к.

Даниель Жиллес. Под сенью благодати. Роман. Перевод с французского. 206 стр. Цена 55 к.

Конрад Ильген. Дружба в действии. Экономическая помощь Советского Союза социалистическим государствам и экономически слаборазвитым странам. Перевод с немецкого. 268 стр. Цена 50 к.

Ф. Кутта. Резервы роста производительности труда. Перевод с чешского. 250 стр. Цена 97 к.

Манфред Кюнне. Охотники за каучуком. Роман об одном сырье. Перевод с немецкого. 437 стр. Цена 96 к.

Хесус Лара. Наша кровь. Роман. Перевод с испанского. 263 стр. Цена 86 к.

Ладислав Мнячко Смерть зовется Энгельхен. Перевод со словацкого. 262 стр. Цена 71 к.

Двиджендранатх Мишра Ниргун. Новеллы. Перевод с хинди 82 стр. Цена 21 к.

Чандракирана Саунрекса. День рождения. Рассказы. Перевод с хинди. 77 стр. Цена 19 к.

Г. Селзам. Марксизм и мораль. Перевод с английского 285 стр Цена 92 к.

Чамил Сиярич. Бихорцы. Роман. Перевод с сербохорватского. 220 стр. Цена 80 к.

Турецкие народные пословицы и поговорки. Перевод с турецкого. 55 стр. Цена 10 к.

Дж. Уилер. Экономические проблемы автоматизации в США Перевод с английского. 318 стр. Цена 1 р 15 к

Экономическая география Румынской Народной Республики. Перевод с румынского. 550 стр. Цена 2 р. 78 к.

СЕЛЬХОЗИЗДАТ

В. Г. Комяхов. Организаторская работа — залог успеха. 79 стр. Цена 8 к.

Т. Д. Лысенко. Почвенное питание растений — коренной вопрос науки земледелия. 184 стр. Цена 31 к.

П. Е. Никифоров. Работа машин на повышенных скоростях. 112 стр. Цена 30 к.

П. Е. Сапунов. 62 центнера зерна кукурузы с гектара. 80 стр. Цена 10 к.

В. С. Шмалько. Технология сельскохозяйственных продуктов. 447 стр. Цена 87 к.

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗЕРНЕШР»

Мехти Гусейн. Трудная осень. Повесть. Перевод с азербайджанского. 164 стр. Цена 28 к.

Л. Полонский. В осажденном Бресте. Повесть. 124 стр Цена 23 к.

КИРГИЗГОСИЗДАТ

Г. С. Битюков. Великий путешественник и географ Н. М. Пржевальский. 64 стр. Цена 8 к.

Касымалы Джантошев. Каныбек. Роман. Перевод с киргизского. Книга 1. 421 стр. Цена 81 к. Книга 2. 530 стр Цена 99 к.

«РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК»

П. К. Лановенко. Жемчужина Белогорска. Роман. 297 стр. Цена 42 к.

С. К. Мишура. Берсжаны. Роман. 460 стр. Цена 92 к.

ТЮМЕНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Д. Н. Скурлаев Семейная реликвия. Рассказы и повесть 72 стр. Цена 11 к.

О. М. Чернова По закону. Рассказы. 125 стр. Цена 35 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова. 1. Тел. К 5-76-97.
Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 26/III 1962 г. Подписано к печати 28/IV 1962 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 94 000.
А 02084. Зак 595.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.